

Всеволод СОЛОВЬЕВ

КАПИТАН ГРЕНАДЕРСКОЙ РОТЫ



Всеволод Сергеевич Соловьёв

Капитан гренадёрской роты (Сборник)

XVIII век. На троне Российском восседает чужеземец курляндский — регент Эрнст Иоганн Бирон. Бывший конюший, фаворит императрицы Анны Иоанновны, про которого один австрийский посол сказал как-то: «Бирон говорит с лошадьми как человек, а с людьми — как лошадь».

С каждым днем все более свирепеет курляндский временщик, лакеи да шпионы доносят ему о заговорах и недовольствах. В руках Бирона большое дело, империя огромная, а тут какие-то недовольные солдаты, какие-то офицеры, народ какой-то, которого он знать не знает и знать не хочет. Надо на кого-то положиться, а положиться-то не на кого.

В романе Всеволода Соловьёва «Капитан гренадёрской роты» живо повествуется о дворцовых интригах времен бироновщины — малоизвестного в литературе периода русской истории.

Содержание:

- Об авторе (статья), стр. 5–6

- Всеволод Соловьёв. Капитан гренадёрской роты (роман), стр. 7—212
- Всеволод Соловьёв. Княжна Острожская (роман), стр. 213—412

Содержание

#1	0006
Об авторе	0007
Капитан гренадерской роты	0012
Часть первая	0012
Часть вторая	0239
Княжна Острожская	0445
Предисловие	0445
Часть первая	0450
Часть вторая	0644

Всеволод Соловьев
Капитан гренадерской роты
(Сборник)

© ООО «Издательство „Вече“», 2013
© ООО «Издательство „Вече“»,
электронная версия, 2016
* * *

Об авторе

Популярный в конце XIX века романист Всеволод Сергеевич Соловьев, «один из наших Вальтер-Скоттов» (как его прозвали современники), родился в Москве 1 (13) января 1849 года. Он был старшим сыном крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева, чья многотомная «История России» до сих пор является одной из серьезнейших работ по изучению прошлого нашего отечества. Дом Соловьевых был местом встречи многих выдающихся москвичей своего времени. Здесь, например, бывали историки Т. Н. Грановский и П. Н. Кудрявцев, собиратель народных сказок А. Н. Афанасьев, знаменитые писатели братья Аксаковы и А. Ф. Писемский, а также много других интересных людей. Такое окружение не могло не вдохновить юношу, сподвигнув его на самостоятельное творчество. В литературу Соловьев вступает как поэт, публикуя в журналах небольшие стихотворения (по большей части без подписи) и короткие рассказы. В 1870 году Всеволод заканчивает учебу на юридическом

факультете Московского университета и поступает на службу во 2-е отделение Императорской канцелярии. Но мечта о серьезном занятии литературой не покидает новоявленного чиновника. В 1872 году Соловьев знакомится с Ф. М. Достоевским, которого позднее назовет своим «учителем и наставником». С детства воспитывавшийся в православном духе, Всеволод решает написать роман о борьбе православия с католицизмом, точнее — с иезуитским орденом, пришедшим на западные русские земли. Опубликованный в 1876 году роман «Княжна Острожская» имел большой успех и навсегда определил дальнейший путь Всеволода Соловьева — он становится писателем-историком. В течение нескольких лет один за другим появляются его романы: «Юный император», рассказывающий о царствовании Петра II, «Капитан гренадерской роты» — об эпохе дворцовых переворотов XVIII столетия, «Царь-девица» — о жизни царевны Софьи Алексеевны, «Касимовская невеста» — о несостоявшейся женитьбе царя Алексея Михайловича на Ефимии Всеволодской. Главным произведением

Соловьева в тот период становится пятитомная эпопея «Хроника четырех поколений», объединившая романы «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы». Этот цикл охватывает большую эпоху, от Екатерины II до Александра I, рассказывая о судьбах нескольких поколений медленно разоряющегося дворянского рода Горбатовых. Среди героев этих книг — Потемкин, братья Орловы, Сперанский, Аракчеев и другие.

Продолжая писать исторические романы, Соловьев вместе с тем переживает острый душевный кризис. Разочаровавшись в косной «государственной» церкви, Всеволод вступает на тропу духовных исканий. Он обращается к спиритизму, индуизму и буддизму. Под влиянием младшего брата, знаменитого философа Владимира Соловьева, писатель начинает увлекаться мистикой. Однако настоящая духовная близость между братьями отсутствовала, их отношения не выходили за рамки холодной светской любезности. К 1884 году относится знакомство Всеволода Соловьева с Еленой Петровной Блаватской. Писатель на-

деялся получить духовную поддержку от учения «женщины с феноменами» (как он сам именовал Блаватскую), но его ждало разочарование. В 1892 году Соловьев пишет книгу «Современная жрица Изиды», в которой резко осуждает теософские идеи и личность Е. П. Блаватской. Позднее писатель признал ошибочность своей критики, но тогда он уже находился под новым религиозным влиянием — личности святого праведника Иоанна Кронштадтского, впоследствии канонизованного церковью. Духовные искания Всеволода Соловьева нашли свое отражение в знаменитой диалогии «Волхвы» (1889) и «Великий розенкрейцер» (1890). Некоторые исследователи полагают, что образ священника Николая в этих романах воплотил в себе многие черты Иоанна Кронштадтского. На страницах диалогии появляется и другая интересная личность — граф Калиостро, которого писатель изображает не совсем так, как принято рассматривать образ этого сомнительного «вершителя тайной истории». Работал над диалогией Всеволод Сергеевич главным образом в Париже, где в Национальной библиотеке он

внимательно изучал труды ученых и мистиков, таких как Парацельс, Эккертсгаузен, Николая Фламель. Писатель скончался 20 октября (2 ноября) 1903 года в Москве, оставив после себя около двух десятков романов, многие из которых теперь возвращаются к современным читателям, после почти векового забвения.

Капитан гренадерской роты

Часть первая

I

По берегам речек Мьи и Фонтанной расположены широкие аллеи густо разросшегося Летнего сада. Этот сад разбит при Петре в парке, прежде принадлежавшем майору шведской службы Конау.

Тут, окруженный цветниками, возвышается дворец Летний, во времена Петра — небольшой деревянный домик, но теперь превратившийся в настоящий дворец, роскошно отделанный и назначенный при императрице Анне для помещения принцессы Анны Леопольдовны. Принцесса жила в нем недолго, и в последнее время здесь поместилась сама императрица вместе с семейством герцога курляндского. Здесь она скончалась, и всего несколько дней как вынесли ее тело. Старые вековые деревья сада, еще недавно зеленые, быстро осыпались от ветров и непогоды и стоят, по временам стуча холодными голыми сучьями. Ни одного цветка не осталось

в клумбах. Не то дым, не то туман да мелкий частый дождик закутывают все своей дымкой. У главного дворцового подъезда расположен караул Преображенского полка. Солдаты стоят навтыжку, как истуканы, не смеют даже носа почесать, как ни щекочет лицо дождик. И солдаты и офицеры знают, что здесь, в Летнем дворце, неведомо откуда следят за ними чьи-то глаза зоркие и что им надо держать ухо востро, не то как раз какая ни на есть беда стряется. Знают они также, что теперь, вот в эти последние дни, с самой смерти императрицы, особенно зорко следят за ними глаза эти невидимые и что государь-регент с каждым днем все более и более свирепеет.

Немало дум да забот неотложных теперь у преображенцев, но на карауле они молчат, только иной раз переглянутся друг с другом выразительно: «Мол, постой, погоди, теперь ни гугу, а вот уже потолкуем!»

Ко дворцу то и дело подъезжают кареты сановников. На всех лицах выражается по большей части плохо скрываемая робость.

В первых приемных комнатах все вопросительно поглядывают друг на друга, все

неловко. У каждого в голове одна мысль: «Вот каких дел мы понаделали, сотворили его регентом, а теперь оказывается ух как плохо! Что ни день, труднее с ним справляться». Но никто не выражает этих мыслей друг другу, все более молчат, дожидаются выхода герцога.

А тот и не думает выходить.

В обширной комнате, устланной мягкими, пушистыми коврами, заставленной всевозможными роскошными безделушками, перед огромным письменным столом сидит регент Российской империи. Перед ним на другом кресле — кабинет-министр, князь Черкасский.

Когда-то красивое и тонкое, но теперь уже обрюзгшее, покрытое мелкими морщинами лицо Бирона неровно подергивается, его ноздри раздуваются, он судорожно сжимает кулаки и, очевидно, едва себя сдерживает.

Несколько минут продолжается тяжелое молчание, наконец, регент подымается с кресла и останавливается перед Черкасским.

— Что же такое? — говорит он сначала резким шепотом, но постепенно возвышая го-

лос. — Что же это такое? Ты думаешь, ты первый приходишь ко мне говорить о таком скверном деле? Уж много слышал! Вот тут, — он указывает на стол, где разложена кипа бумаг, — вот тут не одно признание. Бестужев был... его племянник Камынин тоже раскрыл замысел гвардейцев...

— Слышал я об этом, знаю, — проговорил Черкасский.

— А! Знаешь! — с пеной у рта повторил Бирон и взглянул на Черкасского так, как будто тот был виноват в чем-нибудь. — Знаешь! Это и есть, что раньше нужно было все это знать, мешкать нечего!.. Нельзя так вот сидеть здесь, сложа руки. Пойди, князь, распорядись схватить этих негодяев, этого Пустошкина, Ханыкова и Яковлева и всех к делу причастных, а с Головкиным я сам уже буду потом разделываться, не уйдет он у меня из рук!

И Бирон в ярости так стиснул себе руки, что они даже хрустнули.

Черкасский поднялся.

— Да если что-нибудь, пусть сейчас же мне доносят, не опаздывают...

— Кажется, и так все быстро делается, — проговорил Черкасский.

— То-то быстро... да не на кого положить-ся!

В злобе и тревоге регент сам уже не знал, что говорит, и все больше картавил русские слова, так что Черкасский едва удержал невольную улыбку и спешно вышел из кабинета.

Бирон остался один. Он долго ходил по мягким коврам или, вернее, метался по комнате, отбрасывая руками и ногами все попадавшиеся ему предметы и не замечая этого. Глаза его наливались кровью, рот кривился.

— Так вот как, вот как! — думал он. С первого же дня начал милостями, а они и этим недовольны. Они погибель мою замышляют, вот как!

Он совсем терялся в своих мыслях, в своей тревоге и бешенстве. Он не умел владеть собою, не умел быть хладнокровным, благоразумным, когда нужно. Голова его отказывалась работать именно тогда, когда настоятельно требовалась эта работа. К тому же все нахлынувшие в последние дни доносы были

для него совершенную неожиданностью. Он думал, что пришло время исполнения его заветных мечтаний. Ему казалось, что теперь так легко это исполнение, а между тем вот являются препятствия... Надо перехватить этих людей, запытать их, убить, уничтожить...

«Но кто знает, что будет дальше? Много кругом шпионов, но разве можно на людешек здешних полагаться? Того и жди: найдется злоумышленник, проберется тайно, убьет и пожалуйста...»

На мгновение панический страх даже охватил Бирона; он побледнел и вздрогнул. И в эту минуту мелькнула у него мысль, что, может быть, лучше было бы не заноситься так высоко и приготовить себе мирное, спокойное существование. Но мысль эта только мелькнула и сейчас же исчезла, потому что он ушел слишком далеко от возможности подобных мыслей, давно успел он позабыть свою прежнюю жизнь.

Он не имел уже ничего общего с курляндцем Эрнстом Иоганном Бироном, мелким служителем при маленьком дворе герцогини Анны Ивановны. Он забыл, что еще не очень

давно курляндцы отказывались признать его дворянином; теперь он считал себя самым законным курляндским герцогом и правителем Российской империи. Жизнь его удалась невероятно. Он никогда не работал над собою; природа дала ему только красивую наружность, и одна эта наружность привела его к тому положению, в котором он, наконец, очутился.

Давно, давно, в первые годы молодости, по приезде в Митаву молодой вдовы Анны Ивановны, как-то случайно его глаза встретились с ее глазами. Ни о чем он тогда не думал, ничего не замышлял и даже не заметил, что герцогиня внимательно на него смотрит. Однако скоро этого не замечать стало невозможно, герцогиня с каждым днем смотрела все внимательнее, и, в свою очередь, внимательнее и смелее стал глядеть на нее Бирон. Прошло несколько месяцев — и из мелкого служителя, умевшего возиться только с лошадьми, он превратился в самого близкого друга герцогини курляндской.

Скучавшая, запуганная, многими теснимая Анна, чувствовавшая себя одинокою и

беззащитной, привязалась к нему всей душой, полюбила его на всю жизнь, бесповоротно, совсем отдалась ему в руки. И он, в свою очередь, к ней привязался. Может быть, искренность этой привязанности во всю жизнь была единственным добрым его чувством.

С тех пор он не разлучался с герцогиней, а она думала его мыслями и говорила его словами. Вместе приезжали они в Москву на коронацию маленького императора Петра II, вместе плакались на то, что никто не обращает на них внимания. Бирон из кожи лез, обдывая маленькие делишки герцогини, заручаясь добрым расположением нужных людей, обещая найти в Курляндии для императора и фаворита его, Ивана Долгорукого, хороших собачек. О, как он бился тогда, вернувшись в Митаву, разыскивая этих собачек. Всю Курляндию изъездил, но собаки оказались не нужны.

Собаки им не помогли — помогла судьба нежданная, негаданная, которая через годы возвела герцогиню Анну на престол российский. И твердо оперся о престол этот Эрнст Иоганн Бирон. Теперь ему приходилось рас-

поряжаться и властвовать не в маленьком митавском дворе, теперь в его руках оказалась вся огромная и совсем неизвестная, даже непонятная для него Россия. Но такая громадная задача его нисколько не смутила, он даже и не постарался приготовиться к своей новой роли. Он приехал из Курляндии со старою и беспричинною ненавистью ко всем русским и ко всему русскому, не хотел по-русски учиться, знал только один немецкий язык, да и то лишь свое родное курляндское наречие; не имел никакого понятия о политике.

Он по-прежнему умел только к лицу принарядиться, ловко вскочить на коня, сыграть партию в карты. С такою-то подготовкой, с такими талантами и качествами начал он вмешиваться в правление Россией, начал все делать по-своему и, может быть, ни разу ни над чем не задумался. Он знал, что кругом многие его ненавидят, что народ смотрит на него как на злодея, но ему до этого не было никакого дела. Он знал, например, что австрийский посол, граф Остен, выразился про него, что он говорит о лошадях и с лошадьми как человек, а с людьми — как лошадь; и он смеялся над

этим. Он знал, что немало людей из-за него обливаются слезами и кровью — и смеялся. Ему ничего не стоило подписать кому угодно смертный приговор, и он подписывал рукою беззащитной от него Анны.

Так как же мог он теперь остановиться на какой-нибудь благоразумной мысли? Теперь он потерял своего единственного друга, добрую императрицу. Он искренне всплакнул над ее гробом и, конечно, рассуждал так, что нужно же чем-нибудь вознаградить себя за эту потерю. Он нашел, что такой наградой может быть только бесконтрольное управление Российской империей... А тут: какие-то солдаты, какие-то офицеры, народ какой-то, которого он знать не знает и знать не хочет, силятся вырвать у него эту награду, это наследие, оставшееся от старого друга!..

«О негодяи, негодяи! — бешено шепчет он, переставая метаться по комнате, присаживаясь к столу и разбирая лежащие на нем бумаги. — Всех запытаю, всех уничтожу — другие не посмеют!»

Он снова начинает перечитывать доносы. Вот подробный донос Камынина, вот тут дру-

гой; вот еще один донос, где говорится о том, что в войсках есть движение в пользу принцессы Елизаветы.

Бирон медленно, строчка за строчкой, очевидно, плохо разбирая, прочел эту бумагу и отложил ее в сторону. На его лице не обнаружилось новой досады; к этому доносу почему-то он отнесся хладнокровно.

Вот еще одна бумага: это что такое? «А!» — снова яркая краска вспыхнула на лице регента, и он быстро и громко зазвонил в стоявший на столе колокольчик.

Через несколько секунд почти неслышно приотворилась маленькая замаскированная дверца, и из нее выглянула большая, заплывшая жиром голова любимого камердинера Бирона.

— Что, того адъютанта стерегут? — спросил регент по-немецки.

— Стерегут, молчит! — ответил камердинер.

— А в приемных много лиц?

— Много, ваша светлость...

— Ну и пускай дожидаются; в кабинет никого не пускать — я ухожу.

Камердинер исчез, а Бирон еще минуту простоял посредине комнаты.

«Что офицеры и солдаты! — бешено думал он. — Ничего бы сами собою не задумали, все это оттуда, от брауншвейгских происходит. Ну, да от меня не увернетесь!»

Он вышел из кабинета маленькой дверцей, пошел по коридорам, спустился в нижний этаж и вошел, наконец, в довольно темную просторную комнату под сводами. Двери в эту комнату охранялись четырьмя вооруженными людьми.

У сыровой стены, на деревянной лавке сидел высокого роста и плотного сложения довольно еще молодой человек, адъютант принца брауншвейгского — Граматин. Он сидел здесь с утра.

Его арестовали, как потом говорил Бирон, по одному «сумнению», для того, чтобы через него выведать обо всем, творящемся у принца.

Граматины подняли рано утром с постели, едва дали время одеться, в наглухо закрытой карете привезли в Летний дворец и провели в эту комнату. Сейчас пришел туда сам Бирон и

начал кричать на него. В первые минуты Граматин не особенно смутился, показал только на секретаря Семенова, адъютанта князя Пютяту и нескольких других семеновских офицеров, что они к присяге Бирону не склонны, а желают держать сторону принца брауншвейгского; про принца же объявил, что тот запретил допускать к себе Семенова.

Услышав это, Бирон стал кричать еще пуще.

— Нет, ты от меня не утаишь! — наступал он на Граматина. — Теперь не хочешь сказать всю правду, так после скажешь в пытке! Или ты думаешь, что твой принц отстоит тебя? Вот увидишь! Не принцу твоему со мною тягаться. Сиди здесь, да одумайся лучше...

И регент ушел от него, а вот теперь опять не стерпел, вернулся, так ему хотелось поскорей узнать о замыслах принца брауншвейгского.

Сразу, входя в комнату, Бирон заметил необыкновенную перемену, происшедшую за эти несколько часов в Граматине. Рослый и плотный, мужественного вида адъютант, несмотря на свою внешность, не был героем.

Сидя взаперти в этой мрачной комнате, совсем нетопленной, да вдобавок еще и на тощий желудок (он со вчерашнего дня ничего не ел), бедный Граматин сообразил, что дело его плохо, — принц брауншвейгский ему не защита: сам дрожит перед Бироном. Захочет регент, так все теперь сделает; пожалуй, этак и действительно пытаться станут, а потом и голову отрубят. Невеселые картины, одна за другой, все ярче рисовались в воображении Граматина, и к тому времени, когда вошел к нему вторично Бирон, он уж был окончательно запуган и готов на что угодно.

— Ну, что ж, одумался? — начал регент, свирепо взглянув на несчастного адъютанта.

Тот встал с лавки, вытянулся во весь рост и, заикаясь, обливаясь холодным потом и не смея взглянуть на своего мучителя, охрипшим от страха голосом прошептал:

— Одумался.

— Так рассказывай все подробно, что знаешь...

Но исполнить это было чрезвычайно трудно. Граматин разинул рот, что-то такое начал и заикнулся.

— Да говори же, говори так, чтобы я слышал и понимал! — нетерпеливо повторял Бирон. — Говори, ведь я тебя не ем, я требую только знать правду.

Граматин собрал все свои силы, откашлялся и начал:

— Во... во... во второе же сего октября же, когда все милостивейшая государыня тяжело заболела, то доносилось его светлости принцу...

— Без светлостей! — вдруг почему-то окончательно выходя из себя, закричал регент. — К делу!

Этот окрик совсем смутил Граматина; у него дрожали руки и ноги. Он начал что-то такое шептать неясное, в котором слышалось только: «Я говорю, он мне говорит».

Бирон терял всякое терпение.

— Ничего не понимаю! — кричал он. — Говори яснее, отставляй слово от слова!

Граматин снова откашлянулся и начал, действительно отставляя слово от слова:

— И тогда же пришел я в покои ее высочества, государыни принцессы Анны, где увидел секретаря Семенова, и он мне сказал:

«Что-де, братец, ведь-де наши господа деньги-то приняли, да и замолчали». А я на это ему сказал, что как соизволят, нам что за дело. Что еще попадешь напрасно в беду. И он, Семенов, мне сказал, инде перестань говорить, и я ему сказал, что перестал! Да у нас уж и запрещено. И он мне сказал...

— Черт, — завопил Бирон, накидываясь с кулаками на Граматина, — молчи!.. «Он мне сказал, я ему сказал!..» Сейчас тебе принесут бумагу и чернила, пиши все, а я тебя не понимаю. Да смотри, все напиши подробно, не то берегись у меня, запытаю; вижу ведь тебя, ничего не скроешь!

Он вышел из комнаты, прошел к себе в кабинет, распорядился, чтобы Граматину дали бумаги и заставили его писать подробную повинную.

Через полчаса герцог вышел в приемную, сухо раскланялся с давно дожидавшимися его сановниками и, почти не сказав никому ни слова, велел подавать себе карету.

— В Зимний дворец! — раздражительно крикнул он, когда лакеи суетились вокруг кареты и захлопывали дверцы.

Молодая принцесса Анна Леопольдовна только что вышла из спальни своего сына, трехнедельного императора. Она попробовала было с ним возиться, но он скоро надоел ей, и вот она оставила его на попечение нескольких женщин, приставленных к нему, а сама спешила в свои апартаменты, где, как она знала, ее поджидает неизменный друг, без которого она не могла, кажется, прожить минуты, фрейлина ее, Юлиана Менгден.

Анна Леопольдовна довольно рано проснулась в это утро, но до сих пор еще и не думала одеваться. Волосы ее были распущены, голова повязана белым платком, на плечи накинут утренний капот. Это была её любимая одежда, в которой она, если только было возможно, оставалась даже иной раз в день.

— Юля, Юля! Где ты! — кричала принцесса, проходя по комнатам и не видя своего друга.

— Здесь, иду сейчас! — откуда-то издали наконец раздался звонкий, свежий голос, и через несколько мгновений перед Анной Леопольдовной появилась запыхавшаяся молодая девушка.

— Где ты пропадаешь, Юля? Я ждала тебя, думала, ты зайдешь туда, в спальню.

Она нежно обняла и поцеловала свою подругу.

Большая разница замечалась между ними. Анна Леопольдовна была невысока, нежного сложения, с чертами неправильными, но приятными и не то утомленными, не то просто сонливыми глазами. На ее бледном и только изредка и на мгновение лишь вспыхивавшем молодом лице постоянно лежало какое-то наивное, почти детское выражение.

Фрейлина Менгден была высокого роста, статная и крепкая девушка, с быстрыми огненными глазами, маленьким вздернутым носом и резко очерченным характерным ртом. На ее щеках постоянно горел густой, здоровый румянец. Она говорила громким, немного резким, но не лишенным приятности голосом. В каждом ее движении выглядывала смелость, решительность и энергия.

— Какая ты хорошенькая, Юля! — говорила Анна Леопольдовна, продолжая обнимать молодую девушку и с любовью в нее вглядываясь. — Как ты хорошо причесалась сегодня,

только для кого же? Не такое теперь время: никого не видишь, только один супруг мой, — она презрительно подчеркнула это слово, — на глаза попадается, для него не стоит рядиться. Видишь, я как! С утра вот не одеваюсь...

— Ах, это нехорошо, Анна! — ответила Менгден. — Пойдем, дай я тебя одену.

Она говорила принцессе «ты» и даже при посторонних с трудом преодолевала эту привычку.

— Одеваться? Ни за что! — замахала на нее руками принцесса. — С какой стати я буду одеваться? Так гораздо лучше, удобнее. Разве ты не знаешь, что для меня наказание быть одетой? Тут жмет, там жмет, держись прямо, сиди точно аршин проглотила... Нет, спасибо!.. А что, скажи мне, пожалуйста, написала ты то письмо?

Бледное лицо принцессы при этом вопросе покрылось румянцем.

— Написала, вот, прочти...

Юлианна Менгден осторожно вынула из кармана сложенный лист бумаги и подала его принцессе.

Та с живостью, так мало ей свойственной, схватила эту бумагу, развернула и принялась жадно читать.

По мере того как она читала, румянец все больше и больше разгорался на щеках ее. Наконец, она окончила чтение, подняла глаза на Юлиану и проговорила:

— Хорошо, хорошо, очень хорошо, это самое я и хотела сказать ему!

— Все же бы лучше сама написала, — с маленькой усмешкой и пожимая плечами, заметила Менгден. — Вот уж я бы ни за что никому не поручила писать такие письма!

— Да ведь ты все равно знаешь все мои мысли, — оправдывалась принцесса, — так это одно, что я пишу сама, что ты. А ты знаешь, что для меня придумывать письмо — это такое наказание! Гораздо лучше и скорее, вот я возьму и перепишу его. Посмотри, нет ли кого тут и дай мне самой лучшей бумаги и чернильницу. Сейчас вот сяду и перепишу, а потом ты уж, пожалуйста, поторопись и распорядись хорошенько, чтобы скорее оно было отправлено в Саксонию, да так, чтобы никто и не узнал об этом.

Юлиана опять пожалала плечами, опять усмехнулась.

— Нет, видно, возьму твое письмо, да и понесу показывать его принцу!

Она пошла за бумагой и чернильницей.

Анна Леопольдовна снова развернула написанную другом черновую и принялась ее перечитывать. И если б кто посмотрел на нее в эти минуты, то очень бы изумился: так изменилось лицо ее, так оно оживилось, так похорошело.

Но для того, чтобы понять оживление принцессы, нужно заглянуть в ее прошлое.

Анна Мекленбургская была любимой племянницей императрицы, которая с тринадцатилетнего возраста взяла ее к себе во дворец и удочерила, как тогда выражались.

К маленькой Анне была приставлена гувернантка, госпожа Адеркас, сумевшая обворожить императрицу и почти всех придворных своими манерами, прекрасной наружностью, любезностью и вообще всякими приятными качествами. Со своей воспитанницей госпожа Адеркас тоже очень сдружилась. Она не слишком мучила ее занятиями, делала ей

мало замечаний, сквозь пальцы смотрела на ее лень и некоторые причуды.

Скоро, благодаря стараниям венского двора и уговариваниям Левенвольде, подкупленного Карлом VI, был приглашен в Россию принц Антон Брауншвейгский. Он переехал в Петербург и оказался девятнадцатилетним юношей, худеньким, маленьким, неловким и застенчивым. Цель его приезда была известна всем, в том числе и Анне Леопольдовне: он переселился в Россию для того, чтобы сделаться супругом молодой принцессы. Она, даже несмотря на свой возраст, очень заинтересовалась таким открытием и с нетерпением ждала принца. Но увидав его, сделала гримаску: он ей очень не понравился. Не понравился он также императрице, но Анна Иоанновна все же решила, что дело уже сделано, не гнать же его обратно. Она говорила приближенным: «Принц мне нравится так же мало, как и принцессе, но высокие особы не всегда соединяются по склонности. Впрочем, как мне кажется, он человек миролюбивый и уступчивый, и я, во всяком случае, не удалю его от двора, не хочу обижать австрийского

императора».

И вот юному брауншвейгскому принцу было оказано всякое внимание. Его сделали подполковником кирасирского полка, который и назвали в его честь Бевернским. Он остался жить при русском дворе и ожидать совершеннолетия своей невесты.

Все силы употреблял он для того, чтобы с ней сблизиться, чтобы ей понравиться, но не сумел ничего достигнуть. Она выказывала ему явное нерасположение, холодность, даже часто в глаза смеялась над ним. «Ну что ж, еще девочка совсем, а вот скоро вырастет, тогда переменится», — думал бедный принц.

Но время шло. Анна Леопольдовна из девочки превратилась в девушку и не изменилась. Напротив, ее нерасположение к принцу, ее насмешки над ним стали доходить до самых неприятных размеров. Наконец, она начала просто раздражаться и совсем уже не сдерживала себя в его присутствии. И все это делала она особенно явно с тех пор, как при дворе появился молодой, красивый саксонский посланник, граф Линар.

Этот молодой человек сразу произвел

неотразимое впечатление на Анну Леопольдовну, и скоро во дворце разыгралась история. Оказалось, что молоденькая принцесса призналась в своей страсти госпоже Адеркас, и та вместо того, чтобы сделать ей строгое внушение и донести обо всем императрице, сразу вошла в ее интересы и стала покровительствовать ее страсти. Она устроила два-три, хотя и невинных, но тем не менее опасных свидания между Линаром и принцессой. Все это подсмотрели любопытные люди и донесли государыне.

Госпожу Адеркас вместе с ее горбатенькой, некрасивой, но умненькой дочерью, бывшей подругой Анны Леопольдовны, выслали из Петербурга; а вслед за ними и Линар, по просьбе императрицы, был отозван своим двором.

Бедная Анна Леопольдовна после неоднократных и грозных разговоров с императрицей, после удаления Адеркас и Линара почувствовала себя совершенно несчастной, долго мучилась, плакала, не выходила из своих комнат, а когда, наконец, вышла, то оказалась уже совсем непримиримым врагом

принца Антона Брауншвейгского.

Бирон, конечно, все это знал в подробностях и решился воспользоваться ненавистью принцессы к жениху для того, чтобы женить на ней своего старшего сына Петра.

Он ничего об этом не сказал императрице и начал с того, что под предлогом военного образования принца Антона отправил его воевать с турками в армию Миниха.

Долго воевал принц, почти целых два года, несколько раз отличался, — хотя Миних потом и уверял, что никак не мог узнать, что такое принц Антон: рыба или мясо. Наконец, вернулся в Петербург, получил за храбрость чин генерал-майора, ордена Александра Невского и Андрея Первозванного.

В его отсутствие не произошло никаких перемен. Бирон ничего не добился. Анна Леопольдовна по-прежнему была невестой и даже встретила нового андреевского кавалера несколько любезнее. Он несказанно этому обрадовался и возобновил свои ухаживания. Тогда Бирон решился действовать прямо: объяснился с императрицей и предложил своего сына Петра в женихи принцессе.

Этот план был вовсе не по вкусу государыне, и она оказалась поставленной в самое тяжелое положение. Она совершенно отвыкла отказывать в чем-либо своему любимцу, — он давно уж делал из нее все, что хотел, — но, несмотря на свое ослепление, на свою беззаветную любовь к Бирону, соединенную даже с каким-то страхом, Анна Ивановна все же, в известные минуты, находила в себе силу воли. Она не отказала Бирону, сказала только, что поговорит с племянницей и пускай та сама решит, неволить ее она не станет.

И точно; она предложила Анне Леопольдовне сделать окончательный выбор между сыном герцога курляндского и принцем Антоном.

К этому времени молодая принцесса уж давно успокоилась, примирилась со своей разлукой с Линаром. Она не любила принца Антона, не находила в нем ровно ничего для себя привлекательного, но дело в том, что Бирона и все его семейство она не только что не любила, но даже ненавидела. Перед ней было два зла, конечно, надо было выбрать меньшее — и она выбрала принца Антона. Вообще

все это время она находилась в каком-то странном состоянии, дремота одолевала ее, мысли в голове совсем не работали, и ко всему она была равнодушна, пуще всего не любила общества. Когда по необходимости показывалась, то терялась, скучала и при первой возможности уходила в свои комнаты и шушукалась там с другом своим, Юлианой Менгден.

Равнодушно приняла она предложение принца Антона, равнодушно принимала поздравления окружавших, а когда ее свадьба была совершена с большим великолепием и торжественностью, так же равнодушно отнеслась к новому своему положению.

Прошел год — родился у нее сын, а через несколько дней скончалась императрица.

Анна Леопольдовна поплакала искренно. Но много ей плакать не давали, говорили, что это вредно для ее здоровья в ее теперешнем положении; она слушалась этих советов и перестала плакать.

Теперь она родительница царствующего государя, Иоанна III. Жизнь невеселая по-прежнему, по-прежнему вместе с нею муж

нелюбимый, который теперь ей просто смешным кажется. Над ними обоими владычествует тот же ненавистный Бирон. Плохо, совсем плохо живется, и отрада одна только в вечном неизменном спасителе — сне глубоком, сне без сновидений.

Но не далее как вчера был у нее с Юлианой разговор о графе Линаре. И вдруг оживилась Анна Леопольдовна, и вдруг ей показалось, что теперь возможно стало снова увидеться с этим милым, не забытым ею человеком.

Решились они послать ему тайно письмо, чтобы он просился снова в Россию. Это-то письмо, составленное Юлианой, жадно так читала и перечитывала Анна Леопольдовна...

Перед нею, наконец, бумага и чернила, она осмотрела перо и опять, наказав Юлиане прислушиваться в соседней комнате, чтобы кто не пришел, принялась переписывать.

Письмо уже было почти готово, когда вбежала Юлиана и сказала, что идет принц.

— Вот еще нашел время! — с досадой проговорила Анна Леопольдовна. — Особенно его-то теперь недоставало!

— Да я удержу его, а ты скорей дописывай.

И она побежала навстречу принцу Антону. Он шел к жене озабоченный и растерянный. Его маленькая, худенькая фигурка, бледное лицо с застывшим выражением наивного испуга действительно производили не совсем выгодное для него впечатление.

— Где принцесса? — спросил он Юлиану.

— Здесь, у себя, читает что-то, — отвечала молодая девушка.

Он хотел пройти мимо, но она его остановила.

— Принц, что с вами, отчего вы так расстроены? — спросила она и постаралась выразить на своем лице большое участие.

Он взглянул на нее, остановился и протянул ей руку.

— Да что, Юлиана, совсем плохо, — сказал он. — Вот иду все объяснить жене, услышите.

— А вы мне-то, мне-то скажите, что с вами, не пугайте! — говорила она, лаская его своим взглядом и не выпуская его руку.

Он слабо ей улыбнулся, даже на глазах его показались слезы. Он поднес ее руку к своим губам и крепко поцеловал.

— Ах, Юлиана, вы не поверите, как мне до-

рого ваше участие!

Она ничего не говорила, только продолжала ласкать его взглядом и чутко прислушивалась, когда можно будет выпустить его руку.

Но он, конечно, не мог и вообразить об ее хитрости, он видел только ее нежный взгляд и даже на мгновение позабыл о своем горе.

Он уже давно решил, что жена для него безнадежна, что она его не любит и никогда любить не будет. Да и в себе самом не замечал он к ней особенной страсти.

Ему гораздо больше нравилась Юлиана Менгден, и магические взгляды этой красивой и смелой девушки не в первый раз трогали его чувствительное сердце.

Теперь, может быть, он не ограничился бы даже поцелуем ее руки и пошел бы дальше, несмотря на всю свою природную скромность и застенчивость, но в это время Юлиана слышала через комнату шаги Анны Леопольдовны и выпустила руку принца Антона.

— Принцесса идет, — сказала она.

Молодой человек неловко отскочил от фрейлины и пошел навстречу жене.

— Что это у вас такое странное лицо? —

спросила Анна Леопольдовна, не обращая никакого внимания на супружеский поцелуй принца Антона (она не видала его со вчерашнего вечера, и жили они на разных половинах). — Случилось что-нибудь? Верно, опять Бирон?

— Конечно, он! — отвечал плаксивым голосом принц. — Всех забирает. Представьте себе, сегодня чуть свет арестовал Граматина, до нас добирается. Ведь это что ж такое? Ведь дня спокойно прожить невозможно. Я знаю, чего он хочет: ему мало того, что он сделал себя регентом, ему хочется совсем нас уничтожить. Вот посмотрите, не сегодня-завтра он станет добиваться, чтобы нас вон выслали из России. Что же это такое?

В голосе его уже совсем слышались слезы.

— Так надо действовать! — вмешалась Юлиана. — Как будто у вас мало сторонников?!

— Конечно, надо действовать, — снова заговорил принц. — Да как? Вот только что начнешь, а он уж и похватал всех!..

Не успел он договорить, как в комнату без всяких необходимых церемоний вбежал один

из его камер-юнкеров и спешно доложил, что государь-регент приехал и идет прямо сюда.

— Как? Сюда, без доклада? — проговорили разом принц и принцесса.

Они возмутились, но в то же время оба страшно перепугались и стояли неподвижно, с бледными, вытянутыми лицами.

В соседней комнате действительно раздавались быстрые, неровные шаги, и через несколько мгновений на пороге показался Бирон.

По всем его движениям и по лицу было заметно волнение и бешенство.

Он вовсе непочтительно поклонился принцу и принцессе, обошелся на этот раз без всяких необходимых и неизбежных вежливостей и уже хотел было говорить что-то, но принц Антон нашел в себе мужество перебить его.

— Что вам угодно, герцог? — сказал он, стараясь по возможности придать храбрый вид своей маленькой фигурке. — Что это вы так прибежали, и прямо сюда, и без доклада? Видите, принцесса не одета.

— Ах, извините, принцесса, — раздражи-

тельно выговорил Бирон, — я не рассчитывал, что у вас все еще раннее утро продолжается. Впрочем, теперь, право, не до церемоний... Что ж это вы, ваше высочество! — еще насмешливее обратился он к принцу. — Что это вы такое затеваете, скажите на милость?!

— Что я такое затеваю?! — с явной дрожью в голосе и во всех членах, но с тем же старанием казаться бодрым прошептал принц. — Ничего не затеваю!

— Нет-с, вы затеваете, и затеваете скверные вещи, вы хотите учинить массакр, рубку людей устраиваете! Так что ж, вы думаете, что я так вам это и позволю? Что ж, вы думаете, очень я боюсь вас?!

Принц и принцесса испуганно, с пересохшим горлом и остановившимися глазами, глядели на этого бешеного человека, забывающего всякие приличия, и даже позабыли внутренне возмущаться его поведением.

Но Юлиана Менгден, более хладнокровная и внимательная, стоя в сторонке, наблюдала за Бироном. Ей ясно было, что если принц и принцесса так трусят и трепещут, то и Бирон, в свою очередь, несмотря на всю дерзость и

бешенство, трусит и трепещет, может быть, не меньше их. Вот он чуть не в третий раз повторяет: «Вы думаете, я боюсь вас?!» — и одной этой фразой показывает, что точно, боится. Не их он боится, а знает, что за ними стоит огромная сила — миллионы: войско и народ. И этот громадный призрак так для него страшен, что за ним он даже не различает испуганных фигур принца Антона и Анны Леопольдовны.

— Что же это вы, на своей Семеновский полк надеетесь? — продолжал кричать Бирон, — Так не бойтесь, и на него надежда плохая. Вы думаете, у меня глаз нет, ушей нет? Напрасно так думаете. Вот сегодня ваш Граматин все рассказал; так знаете ли, что за такие дела, хоть вы и родители государя, а можете очень поплатиться? Вы не забывайте, что, будучи родителями государя, вы в то же время и его подданные. А как с подданными, умышляющими государственные смуты, с вами легко справиться. Советую образумиться, — затем и приехал, чтобы сказать вам это, — советую вовремя образумиться и не учинять массакра, не то сильно раскаетесь...

В то время как лихорадочная, исполненная всяких тревог и волнений жизнь шла в Зимнем и Летнем дворцах, третий, небольшой, дворец, помещавшийся близ Царицына луга, там, где теперь казармы Павловского полка, поражал своею тишиною. Не было здесь никакого съезда, не было парадных караулов; хоть и часто заглядывали сюда гвардейские солдатики, но все больше с заднего крыльца, да тихомолком. В этом дворце жила царевна Елизавета.

Немало русских людей, задумывавшихся над судьбою отечества, обращались мысленно к этому дворцу и все ждали: не будет ли оттуда какой новости.

Многие предсказывали, что скоро цесаревна даст о себе знать, потребует признания своих законных прав, и права эти, конечно, будут признаны.

В смутное время, когда с таким трудом и с такими хитросплетениями решается вопрос о престолонаследии, пора явиться перед народом дочери Петра Великого. Многие русские люди не только что думали об этом, но и жда-

ли этого с сердечным замиранием, с горячей надеждой. Тяжело им было молчать и ждать, но они молчали и только всеми силами старались что-нибудь проведать про царевну, узнать ее мысли, допытаться, почему она медлит. А узнать о ней был один только путь, через тех же солдат-гвардейцев, которые давно называли ее своей матушкой и любили ее без памяти. Да как было и не любить ее солдатам и русскому народу? Эта любовь соединялась в них с чувством жалости, а народная жалость — великое дело. Жалели цесаревну за долгие годы ее печальной жизни, жалели за то, что она, матушка, все терпела, ни на что не жаловалась, никого не обидела дурным словом, встречала всех приветом да лаской.

Знали про нее также, что еще во дни первой молодости многим иноземным принцам-женихам она отказала для того, чтобы только остаться в России, жить со своим народом.

Всекие рассказы про нее ходили. Вспоминалось о том, как жила она, забытая и обойденная, в подмосковном селе Покровском.

Всякую нужду тогда терпела, да мало тужила о нужде этой, забыла пиры да банкеты, отказалась она от всякого блеска. Только принарядиться любила по-прежнему и не раз выходила, особенно в праздники, на широкую деревенскую улицу, светлая да прекрасная, как солнце небесное, нарядная и приветливая, улыбалась народу, заводила хороводы с деревенскими девками, пела с ними песни, да не то что пела, а и сама им песни складывала.

Все знали, что стоит заглянуть теперь в Покровское в день праздничный — и поют там, заливаются:

*Во селе, селе Покровском,
Середь улицы большой
Расплясались, разыгрались
Красны девки меж собой.*

Эту песню сложила цесаревна, и всякий малый ребенок ее знал, и все поют ее, припоминая чудный свежий голос матушки Елизаветы, и будут петь еще долгие годы, и не умрет о ней никогда память в селе подмосковном.

Но непродолжительна была веселая жизнь деревенская, закатилось красное солнышко

Покровского. Переехала цесаревна в Петербург, по зову императрицы Анны. Появилась она при дворе, сияя своею красотою и своими нарядами, но что же увидела? Императрица встречала ее неласково, хоть и вежливо: чувствовалась затаенная зависть в каждом слове. Старые друзья все отвернулись, да мало друзей и прежде было. Все как есть будто позабыли, чья она дочь, никому до нее дела не было. Одна только императрица не забывала, чья дочь цесаревна, и жадно в нее всматривалась — все боялась: «А вдруг как она права свои заявлять станет, вдруг наберет себе партию большую, как бы беды не случилось».

И вот были вечно приставляемы к цесаревне всякие шпионы, доносилось о каждом ее слове и каждом движении, вся ее подноготная расписывалась. Долго не могла успокоиться Анна Ивановна, не видела она, не замечала, что ни о каких заговорах и не думает цесаревна.

А время шло, и мало-помалу ложились его темные следы на светлое лицо Елизаветы, проходила ее первая молодость. Изменилась она и видом и характером. Кто знал ее во

дни Екатерины и потом, в краткое царствование Петра II, кто помнил ее беззаботной, вечно веселой, вечно смеявшейся и шутлившей девушкой, теперь с трудом узнал бы ее. Все реже и реже озарялась она улыбкой, реже смеялась и шутила, никого теперь она не передразнивала, ни на кого карикатур не рисовала, никого не поднимала на смех, как, бывало, делала это со светлейшим князем Меншиковым и многими другими высокими особами.

Напротив, теперь ее разговор сделался серьезный и осторожный. Она взвешивала каждое слово; на всем лице ее лежала печать тайной, давнишней печали. Сама чудная красота ее, о которой издавна немало толков шло по всей Русской земле, о которой прокричали на весь мир иностранные резиденты, приняла совсем другой характер. Она не уничтожилась, не потемнела, даже распустилась еще пышнее. Но только это была красота уже не юная, это была красота узнавшей жизнь и цену жизни, много пережившей и перестрадавшей женщины.

Все близкое, все дорогое и любимое давно

ушло и погибло. Счастливое детство воспоминалось, как сон далекий и светлый, ничего от него не осталось. Не такую долю отец с матерью ей готовили; да где эти отец и мать? Раньше всех покинули. Ну, а после них что было? Сестра дорогая осталась, любимая, и та умерла безвременно, далеко — не удалось с ней и проститься.

Потом был добрый и милый мальчик, страстно привязанный к цесаревне: его сначала отвратили от нее, а потом погубили злые люди.

Была у цесаревны и другая дорогая ей, далеко не всем ведомая привязанность.

Не на радость любило ее сердце: все те, кого она любила, так или иначе были у нее отнимаемы, и, в конце концов, осталась она одна и видела вокруг себя только недружелюбные взоры, и некому было ей сказать задушевное слово, не с кем было поплакать, не с кем было поделиться и своим горем, и своими надеждами.

Но без теплой привязанности, без ласки не могла жить Елизавета. Много сокровищ тайло в себе ее горячее сердце, и непременно на-

до было, чтобы кто-нибудь пользовался этими сокровищами.

Другая бы на ее месте возненавидела всех, кипела бы только злобой да жаждой мести, строила бы свои ковы. Но цесаревна не была на это способна. Она только плакала временами, да так тихо, так сокровенно, что никто и не знал о слезах этих. Она махнула рукой на врагов своих и в душе себе сказала: «Бог с ними». Она решилась уйти от них, видя что между нею и ними, и той жизнью, которая окружает их, нет теперь ничего общего. Но что ж ей было делать с собою? Чем наполнить жизнь свою — учиться? Она и так всегда много училась, и легко ей все давалось; к тому же ей хотелось живой деятельности, общения с живыми людьми. И вот она выходила на широкую Покровскую улицу и пела с деревенскими девками свои песни, и нянчила, и крестила детей деревенских, и по временам забывалась. Забывала все свое прошлое, все будущее, жила душою с народом. Из дочери Петра Великого, из царевны русской, превратилась в покровскую красавицу.

А потом, и в Петербурге, когда появление

при дворе сделалось поневоле для нее пыткой, она снова старалась у себя найти свою прежнюю жизнь, найти новую связь с народом.

Ее подозревали в честолюбивых планах. Но долго, долго честолюбие не закрадывалось в ее сердце, она сходилась с гвардией не ради каких-либо планов, а просто ради собственного удовольствия.

Она и в детстве, еще при жизни Петра, всегда была окружена офицерами и гвардейскими солдатами, и теперь, по возвращении в Петербург, те же офицеры и солдаты составили ее любимое и почти единственное общество. Не проходило ни одного дня, чтобы она не крестила ребенка, родившегося в каком-нибудь из гвардейских полков, и не угощала изобильно отцов и матерей.

С самого раннего утра обыкновенно дожидались ее выхода несколько солдаток. Они приносили ей своих ребятишек, и она ласкала этих ребятишек, дарила им всякие обновки, сама наблюдала за шитьем и сама шила для них всякую одежду. А разболеется кто, — тоже ее дело, — сейчас советуется она со сво-

им медиком, Лестоком, и заставляет его лечить. Нужда ли в чем встретится солдатам, цесаревна всегда готова помочь всеми зависящими от нее мерами, готова отдать последнюю копейку, а денег у нее немного, так немного, что часто даже долги делать приходится.

Скучно цесаревне, повеселиться немного захочется, опять кто же и развеселит ее, как не те же гвардейцы.

Есть у нее дом, известный под именем Смольного; он стоит неподалеку от Преображенских казарм. Так вот она едет туда и часто там ночует. Там собираются у нее преображенские солдаты и офицеры, она устраивает вечеринку, потчует их, и всем привольно и весело, никто не стесняется, время незаметно проходит.

«У принцессы Елизаветы ассамблеи для преображенских солдат», — посмеиваются во дворце. Но цесаревна не обращает никакого внимания на эти подсмеивания.

И моложе была, так не заботилась о том, что скажут люди, не боялась толков да пересудов, а теперь старше стала, так чего уж бо-

яться! За всяким мнением, за всякой сплетней и насмешкой не угонишься.

В последнее время, а особенно с того дня, как стали ходить слухи о серьезной болезни императрицы Анны, друзья цесаревны — солдаты и офицеры — не раз намекали ей, что «скажи, мол, матушка, слово — и все за тебя, как один человек, встанем, отстоим твое законное наследие!»

Но цесаревна с милой, ласковой улыбкой прикладывала палец к губам и шептала им:

— Тише, тише... Если Богу угодно, все придет в свое время, а теперь еще рано. Не хочу я подвергать вас опасности, потерпите...

И солдаты, и офицеры, и весь народ русский терпели и ждали, затаивая в себе убеждение, что рано или поздно, а орлиная дочка будет на престоле.

Что ж она медлила? Теперь давно уж не было в ней легкомыслия, теперь она уж вступила в зрелый возраст и много думала наедине сама с собой. Вот уж она действительно начинала видеть, что скоро может произойти с ней большая перемена, и было ей страшно подумать об этой перемене. Она так от всего

отстала, о чем когда-то хоть и редко, но все же иногда думала. Она уж сжилась со своей незаметной долей. Ей не нужно престола, ей не нужно блеска, не в нем счастье. Но если это необходимо для блага России, она, конечно, не задумается. Только, в таком случае, дело это надо делать осторожно. Действительно надо позаботиться об участии тех, кто готов за нее и в огонь и в воду, действительно все необходимо сделать так, чтоб невозможна была неудача, чтоб никто ради нее не заплатил жизнью. И еще нужно сделать так, чтобы не быть ничем обязанной посторонним, чтоб никакой швед не мог требовать себе награды. Если это неизбежно, она дойдет до престола, но с помощью одной только своей любимой гвардии. Ни одной пяди земли русской, ни одной пяди земли, добытой и завоеванной отцом ее, она не уступит. И для всего этого следует ждать и теперь только внимательно во все вглядываться, чутко ко всему прислушиваться. И она вглядывается и прислушивается. Она знает обо всем, хоть и нет у нее шпионов на жаловании, просто к ней приходят ее солдаты и рассказывают все, что

Слышат.

Она знает, что уже началось движение в войске, но что войско еще само хорошенько не понимает, чего ему нужно. Есть голоса за нее, а все-таки больше теперь голосов за принца и принцессу брауншвейгских.

«Ну и пусть делают, что хотят! — думает Елизавета. — Пусть добиваются своих принца и принцессу. Добьются и увидят, что обманулись, что не то совсем надо, и опять захотят нового, и уж настоящего. Захотят навсегда вырваться из рук немцев, и вот тогда я одна только у них буду, тогда уж не явится разногласий, не за кого будет со мной спорить. Тогда, если будет сделано мое дело, некого мне будет бояться, а теперь... Нет, теперь рано: поспешишь, людей насмешишь, а уж я не хочу никого смешить собою... Пусть теперь брауншвейгские!..»

IV

Дом цесаревны Елизаветы не по одной только тишине, бывшей вокруг него, составлял противоположность Зимнему и Летнему дворцам: он и внутри был мало похож на них. Там царствовала необыкновенная

роскошь, заставлявшая изумляться иностранных резидентов, здесь убранство было довольно просто, а в иных покоях так даже замечалась некоторая неряшливость. Штат прислуги у цесаревны был незначителен, да к тому же, хоть она в последнее время и получала со своих имений около сорока тысяч рублей ежегодно, но не могла на эти средства заботиться об отделке своего дома и подновлять его. Все ее деньги шли на подарки окружающим и солдатским семействам. И когда ей хотелось купить себе самой какую-нибудь обновку, часто приходилось занимать на это где только возможно.

Весь этот день Елизавета не выезжала, ссылаясь на нездоровье и дурную погоду; в сущности, она просто не хотела никому на глаза теперь показываться. Она знала, что в городе идет сильное движение, что гвардия волнуется, и боялась, как бы при ней некоторые солдаты не произвели чего-нибудь несвоевременного.

Утром, по обычаю, в задних своих комнатах принимала она солдаток, осведомлялась о здравии своих крестников, раздавала обнов-

ки и лекарства. Никто из сановников не посетил ее. Обедала она со своей всегдашней компанией и вот теперь, после обеда, сидит в теплой, слабо освещенной комнате и играет в шашки с камер-юнкером своим, Петром Ивановичем Шуваловым.

Рядом с ними помещается старый закадычный друг цесаревны, Мавра Шепелева, а взад и вперед по комнате шагает, думая какие-то тайные думы, хирург Лесток.

Ни малейшей принужденности не чувствуется в отношениях этих трех лиц к цесаревне. Шувалов серьезно обдумывает свои ходы в шашках и всеми силами старается выиграть партию.

Лесток, прохаживаясь по комнате, по временам что-то мурлычет себе под нос и пощелкивает пальцами о попадающуюся мебель.

Мавра Ивановна погружена в работу: шьет что-то и, только изредка взглядывая на играющих, произносит односложные фразы, относящиеся к неудачному ходу то того, то другой. Глядя на них со стороны, можно подумать, что они просто убивают время, как много лет и делали это.

Но теперь не то, теперь осталась только внешняя сторона прежней этой жизни, а между тем у каждого на душе лежит большая забота. Каждый сознает, что приходит наше время, что скоро начнется новая жизнь, и каждый невольно мечтает об этой жизни, старается заглянуть в близкое будущее.

Мавра Шепелева ждет не дождется дня, когда увидит на престоле своего старого друга. О себе она не думает, ей всегда хорошо, лишь бы только улыбнулось полное счастье цесаревне. С детства знает она ее, одиннадцати лет еще назначена была к ней камер-юнгферрой, а потом сделалась ее фрейлиной и другом.

Только раз пришлось им разлучиться, когда Елизавета уступила ее своей любимой сестре Анне Петровне и снарядила ее в Киль, откуда она должна была как можно чаще, подробнее извещать обо всем, что там творится.

После ранней и неожиданной смерти Анны Петровны вернулась Шепелева снова к Елизавете и уже не расставалась с нею. Знает она каждый день ее жизни, каждую думу. Каждую радость и беду переживали они вме-

сте. Издавна она привыкла в мыслях своих не отделять себя от Елизаветы и теперь, помышляя о том, что может совершиться, часто рассуждает сама с собой: «Что будет, когда мы достигнем престола?!»

Петр Иванович Шувалов тоже ждет не дождется грядущих радостных дней. Много планов и много надежд честолюбивых копошится в его молодой голове — и он бы всеми силами поторопил этот день. Он находит, что время давно уже пришло, и не раз в жарких разговорах толкует об этом; но его мнениям еще не придают особенную силу, еще живут умом ганноверца Лестока, хирурга, а хирург объявляет, что ждать нужно.

Партия окончена, цесаревна проиграла. Мавра Шепелева без церемонии хлопнула её по плечу.

— Ну что, матушка, опростоволосилась? А уж как шашки-то подошли, ни за что бы не уступила Петру Иванычу.

— Ничего, Маврушка, ничего, — отвечала, засмеявшись, Елизавета, и все прекрасное лицо ее на мгновение озарилось, — ничего, если шашечную игру проиграла, шашки уступлю

кому угодно, вот бы другую игру не проиграть только!

Лесток вышел из комнаты, но сейчас же и возвратился.

— Цесаревна, — сказал он, — гости к вам.

— Кто это?

— Да кто же, как не маркиз, — ответила Шепелева за Лестока. — Кто к нам теперь тихомолком по ночам приезжает, словно на любовные свидания? Наверное он!

— Он и есть, — сказал Лесток.

— Так просите его, — опять улыбнулась Елизавета, — и оставьте нас; может быть, это и действительно любовное свидание.

— В таком случае мне ревновать надо, — смеялась Шепелева, — я, право, совсем влюблена в маркиза, никогда еще не видывала такого красавца.

Она взяла под руку Шувалова и вместе с ним вышла из комнаты.

Елизавета осталась одна. Через несколько мгновений дверь отворилась снова, и к цесаревне приблизился, едва слышно ступая по мягкому, несколько уже истертому ковру, маркиз де ла Шетарди, французский послан-

НИК.

— *Soyez le bien-venu, marquis*[1], — с ласковой улыбкой обратилась к нему Елизавета, протягивая руку и приглашая его сесть рядом с собой.

Маркиз грациозно поместился на кресле.

Шепелева очень преувеличивала, говоря о нем, что такого красавца она еще не видала.

Шетарди был уже не первой молодости и вовсе не красавец, но у него было одно из тех тонких, художественных, загадочных лиц, которые так нравятся женщинам. Небольшого роста, стройный и гибкий, роскошно, но без шаржировки и со вкусом одетый, он, очевидно, чувствовал себя в своей стихии, когда являлся в обществе, и по преимуществу в женском.

Еще девять лет тому назад маркиз де ла Шетарди начал в Берлине свое дипломатическое поприще; скоро он обратил на себя всеобщее внимание как замечательный дипломат, и действительно он был совершеннейшим типом дипломата того времени. Он обладал всеми нужными для этого качествами: он был рожден для интриги. Лукавый, дву-

личный, умеющий незаметно и тонко подкопаться под врага, расставить ему сети, поймать его в ловушку и при этом остроумный и любезный, знающий, как влезть в душу человека, баловень женщин, — таков был маркиз де ла Шетарди.

Фридрих II выражался о нем в одном из своих писем: «Le marquis viendra ici la semaine prochaine, — c'est un bonbon pour nous»[2].

Эта конфетка явилась, наконец, в Россию для того, чтобы укрепить дружбу между русским двором и французским.

Немного потребовалось ему времени, чтобы сразу понять все, что здесь творится, и увидеть, чего ему надо добиваться. Он понял, может быть, раньше всех, как непрочно положение Бирона и брауншвейгских, и в последние дни оказался большим другом цесаревны Елизаветы. Действительно, точно на любовное свидание приезжал он к ней вечером, в темень, в закрытой карете.

Теперь, усевшись рядом с цесаревной, он, конечно, начал с комплиментов; в те времена еще легко было говорить комплименты, не боясь их пошлости. Он сделал как бы неволь-

ное сравнение между ужасной невыносимой погодой, все ужасы которой он чувствовал даже в закрытой карете, и светлым, цветущим видом царевны.

Она ответила ему, что в такую отвратительную погоду, в такой сырой вечер нетрудно показаться светлой и цветущей.

— Но оставим погоду и меня, я жду от вас новостей, маркиз, — заговорила Елизавета. Она прекрасно говорила по-французски, ее с детства приучили к языку этому, так как Петр думал впоследствии выдать ее за французского короля Людовика XV, за того маленького мальчика, которого носил он на руках в бытность свою в Париже и которого назвал в письме своей к Екатерине «дитей весьма изрядной образом и станом».

— Да какие новости, ваше высочество! — сказал маркиз. — Сегодня печальные новости, регент продолжает аресты, и арестованных пытаются. Сегодня, мне передавали, была пытка: пытали гвардейских офицеров. Ужасы с ними там делают, в этом, как он у вас там называется, застенок... так, кажется?

Елизавета невольным и искренним дви-

жением закрыла лицо руками и вздрогнула.

— Ах, это ужасно, — сказала она. — Так вот видите, маркиз, почему я медлю? Не упрашивайте же меня, не уговаривайте. Не за себя я трушу, а что же вы хотите, чтоб я безвинных погубила?! Да поймите же вы, поймите, что я не вынесу, если из-за меня кого-нибудь пытаться будут, потом часу спокойного иметь не буду.

Маркиз пожал плечами.

— Да ведь все равно, принцесса, ведь уж и за вас тоже пытаются. *Vous savez, on a arrete ce matelot Tolstoy*[3], ведь он то же самое вытерпел, что и остальные, не знаю только, что с ним теперь сделали.

Елизавета сидела совсем больная.

— Знаю, знаю, — проговорила она, — но, по крайней мере, я здесь не виновата, я ничего не поручала ему, а о нем не имела никакого понятия.

— Я могу только преклониться перед вашим человеколюбием и добротой вашего сердца, которая мне хорошо известна, — заговорил снова маркиз, — но мне кажется, что вам следует торопиться, и именно для того,

чтобы прекратить эти пытки и казни. Виделся я сегодня со шведским министром, и много мы с ним о вас говорили. Он тоже того мнения, что наступает для вас самое благоприятное время. Мы оба всеми силами готовы способствовать вам, принцесса. Дело можно обделать так, что неуспех окажется невозможным. Шведский министр гарантирует вам помощь со стороны Швеции, а я буду служить вам деньгами.

«От французских денег я не откажусь, — придется, конечно, к ним обратиться, — подумала Елизавета. — Но что касается до шведской помощи — нет, на это не согласна! Ничем я не буду обязана шведам, чтобы потом ничего не смели они от меня требовать». Но, конечно, этой своей мысли она не высказала Шетарди, и он решился, наконец, проститься с нею, опять-таки не добившись от нее никакого решительного ответа.

Выйдя из комнаты цесаревны, он встретился с Лестоком, остановил его и начал доказывать выгодность своих предложений и предложений Швеции, необходимость торопиться.

— Я с вами совершенно согласен, маркиз, — ответил Лесток, — но вы напрасно думаете, что от меня зависит многое.

— Ах, не говорите, не говорите, mon cher[4], — протянул ему руку маркиз. — Заезжайте ко мне — мы потолкуем.

Лесток любезно расшаркался и обещал непременно приехать в первую свободную минуту.

Цесаревна, оставшись одна, долго сидела в задумчивости и даже не заметила, как к ней подошел кто-то. Наконец, она очнулась и увидела пред собою высокого, стройного молодого человека.

Он был одет очень просто: в темный суконный казакин. Но эта простота одежды еще более выставляла необыкновенную красоту его.

Он глядел на цесаревну ясными светлыми глазами, и она невольно забыла все думы от этого взгляда.

— Где это ты пропадал весь вечер, Алеша? — обратилась она к нему.

— Да вышел после обеда немножко прогуляться и встретился с знакомым офицером, — отвечал, улыбаясь, молодой человек.

В его выговоре слышалось малороссийское произношение. Елизавета пристально взглянула на лицо его, на его румяные щеки и укоризненно покачала головой.

— Знаю тебя, Алеша, встретился с знакомым офицером, ну и зашел, конечно, к нему, ну и выпили изрядно. Эх, как тебе, право, не стыдно!..

— Нет, цесаревна золотая, коли бы я изрядно выпил, так не смел бы явиться перед твоими ясными очи, а вот, видишь, стою как ни в чем не бывало, значит, не изрядно выпил.

— Ну, да, да, рассказывай! Вот лучше скажи, не слышал ли чего нового?

— Расскажу, расскажу, только позволь сесть, устал я.

— Садись, кто же тебе мешает?

И Алексей Григорьевич Разумовский с видимым удовольствием опустился в мягкое кресло.

— Страшные дела делаются: Бирон теперь, что зверь лютый, — всех пытается.

— Да, слышала я уж это, сейчас маркиз сказывал. Только имени он, конечно, назвать не мог. Кого же пытали, знаешь? Хоть страшно

и расспрашивать об этом, да все-таки знать нужно, говори.

— Пытали рано утром Ханькова, Аргамакова и Алфимова, поднимали их на дыбу. Ханькову дали шестнадцать ударов, а Аргамакову и Алфимову по четырнадцать ударов, все это доподлинно известно, а после них, слышал я тоже, приводили в застенок и на дыбу поднимали Яковлева, Пустошкина, Семенова и Граматина. Сам генерал Ушаков присутствовал, только вот к вечеру уехал.

Цесаревна грустно и внимательно слушала Разумовского, а он продолжал передавать ей все, о чем слышал, о чем говорил в этот день со своими знакомыми.

Он постоянно приносил ей городские новости. Из его рассказов она могла составить верное понятие о том движении, которое начинается в ее пользу в гвардии. И она очень любила эти рассказы, потому что Разумовский передавал все точно и подробно и в то же время не вставлял своих замечаний, не давал советов, не лез со своими убеждениями и уговариваниями.

Долго так беседовали они, и никто не нару-

шал их разговора. Лесток зашел было на минуту в комнату, да и опять вышел. Но вот и говорить не о чем, все переговорено и передано.

— Спой мне что-нибудь, Алеша! — обратилась Елизавета к Разумовскому. — Да только тише, теперь громко петь не годится.

Разумовский не стал долго задумываться. Он закинул голову, и в тихой комнате раздались нежные звуки чистого прекрасного тенора.

Он запел старую казацкую песню и с первых же слов забыл все окружающее, ушел всею душою в звуки.

Цесаревна оперлась головою на руки, не отрываясь смотрела на певца и жадно слушала. Песня кончена, а слушать все хочется.

— Спой еще что-нибудь, да только русское!

Разумовский на мгновение задумался, и вдруг на лице его мелькнула хитрая улыбка. — Придумал! — сказал он. И запел:

*Я не в своей мочи огонь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно, и без тебя
скучно,*

*Легче б ты не знати, нежель так
страдати
Всегда по тебе.*

Цесаревна все так же жадно слушала, но с каждым новым звуком лицо ее принимало все более и более грустное выражение. Вот и слезы затемнили светлые глаза ее и скатилась по полным румяным щекам. Слишком знакома была ей эта песня: она сама сочинила ее в прошедшие юные годы, в минуты глубокой, теперь уж позабытой, тоски и горячего молодого чувства. «Зачем все это снова напомнил неразумный Алеша?»

— Замолчи, замолчи! — наконец не выдержала цесаревна и поднялась со своего места. Она подошла к Разумовскому, спутала своей нежной белой рукой его кудри.

— Ах ты, голова бестолковая, — печально и ласково сказала она, — какую песню петъ выдумал!..

— А что ж, разве дурна моя песня? — наивно и изумленно спросил Разумовский. — Никогда не певал я еще при тебе, государыня, эту твою песенку, думал, поблагодарствуешь, что ее выучил.

— Эх ты, Алеша, Алеша! — повторила цесаревна. — Прежде бы спросил, допытался, когда та песенка мною сложена да про кого сложена, а потом бы уж пел мне. Оставь меня, уйди теперь, вели собирать ужин.

Он взглянул на нее и, с почтением и любовью прижавшись губами к протянутой ему руке, вышел исполнить ее приказание.

А у нее снова показались на глазах слезы.

— Глупый Алеша! Зачем он все это напомнил?! — почти громко шепнула она.

Ей вспомнилось прошлое, связанное с этой песней. В теплой тишине ее комнаты встал перед нею позабытый, когда-то горячо любимый образ молодого красавца Шубина.

Этот Шубин был гвардейский прапорщик. Его красота, ловкость и решительность обращали на него всеобщее внимание.

Молодая принцесса тоже любовалась им, как и все другие, и сама не заметила, как зародилось в ней к нему глубокое, страстное чувство. Она приблизила его к себе; сделала своим ездовым. Она даже мечтала навсегда соединить его судьбу со своею: мечтала выйти за него замуж.

А он со своей стороны употреблял всю энергию для того, чтобы принести ей пользу. Он был любим всеми товарищами-гвардейцами. Он сблизил ее с гвардией, сделал ее популярной в войске. Если теперь случится то, о чем они все думают, если и взойдет она благополучно на престол отцовский, то началом всего этого она обязана Шубину. Он для нее работал первый и первый же за нее поплатился страшно. Движение в гвардии было замечено. Шубина схватили; светлые мечты разлетелись прахом. Никогда уж более не видала цесаревна своего друга. Его засадили в каменный мешок, в нору каменную, где нельзя было ни лечь, ни сесть.

Всячески осведомлялась она о судьбе его, наконец узнала, что услали его в Камчатку. И еще пуще насмеялись над ним и над нею; насильно женили его на камчадалке, и сделали все это тайно. Сослали его под чужим именем, и запрещено с тех пор упоминать его имя.

Страшные, тяжкие дни переживала тогда бедная цесаревна.

Ее чувство к Шубину было не простым ми-

молетным чувством: она любила его искренне и долго, долго плакала по нем и долго не могла примириться со своею судьбой. Одно только время, мало-помалу, залечило ее раны. Сердце просило жизни, искало любви и ласки. Прекрасный образ несчастного Шубина побледнел и расплылся в тумане воспоминаний; в сердце Елизаветы появился новый, не менее прекрасный, живой, веселый и беззаботный образ молодого казака и певца Алеши Разума.

«Глупый Алеша! Зачем он это все напомнил?!» — повторяла цесаревна и долго не могла остановить своей тоски, все мерещились ей прежние картины.

Так печальной, задумчивой и вышла она к ужину и наказала Алексея Разумовского за его недогадливость тем, что почти и не замечала его присутствия в этот вечер.

V

На следующее утро цесаревна едва успела надеться, как ей доложили, что приехал герцог. Она удивилась несказанно и даже не могла победить в себе невольного волнения.

Все эти последние дни она не видела Биро-

на. Она знала, какое тревожное это для него время, знала, что он всюду теперь раскрывает заговоры, пытается людей. Она слышала, что вчера ездил он в Зимний дворец и там кричал на принца и принцессу.

Мавра Шепелева узнала все это из верного источника и сейчас же, конечно, подробно рассказала царевне.

Зачем же он приехал? Какое это будет свидание и чем оно кончится? Наверно, и тут же все дело заключается в открытии какого-нибудь заговора: опять кто-нибудь из офицеров попался... Что, если он вздумает и на нее кричать? Она не потерпит этого! Чем же тогда кончится? Конечно, ей с ним еще можно побороться, конечно, она тогда будет вынуждена поторопиться с исполнением своего плана... Но идти наобум, когда еще ничего не созрело, очень может быть — потерпеть неудачу и погибнуть!.. Лучше уж заранее приготовиться ко всему, заранее заставить себя быть хладнокровной, ничем не возмущаться, вынести его дерзости, его крик... Да, это нужно, это необходимо ради дела, ради всей будущности...

Но вытерпит ли она, вынесет ли? Нет, ни за что! При одной мысли о том, что Бирон будет кричать на нее и она станет это равнодушно, молчаливо слушать и склоняться перед ним, краска стыда и негодования бросилась в лицо Елизаветы.

— Нет, я не потерплю этого. Я не позволю, чтоб этот холоп кричал на меня! — сверкнув глазами, сказала она Мавре Шепелевой.

Ее сердце быстро стучало.

На добром и по обыкновению спокойном лице ее выразилось горделивое чувство и негодование. Вся обида, все смущение, вызванные этим неприятным ожидаемым свиданием, как не бывали. Она вышла в свою приемную к Бирону, высоко держа голову. Холодная и величественная. Она точно была в эти минуты орлиною дочерью.

Бирон, бесцеремонно сидевший в кресле, ожидая ее появления, быстро встал к ней навстречу и протянул ей руку.

Было мгновение, когда ей захотелось не дать ему своей руки. Она взглянула на него, и, если б увидела в нем какие-нибудь признаки раздражения, если б увидела что-нибудь дерз-

кое или даже непочтительное в его обращении к ней, она бы и не дала ему руки.

Но он стоял перед нею в довольно почтительной позе, любезно и ласково улыбался. Он протянул ей руку первый, без всякой мысли о том, что это не совсем прилично, по простой, издавна приобретенной привычке думать, что его рукопожатие должно приносить честь даже принцессе.

И она не начала первая ссоры. Она любезно ему улыбнулась, поместилась на маленький диванчик и грациозно указала ему кресло возле себя.

— Извините, ваше высочество, — начал Бирон, — я слишком рано к вам сегодня. Но ведь день столько же часов имеет теперь, как и всегда, а дел у меня с каждым днем прибывает. Через час я должен быть в чрезвычайном собрании кабинет-министров. Затем до позднего вечера каждая минута у меня разобрана... только поэтому и решился к вам захватить так рано.

Она с изумлением его слушала и глядела на него. Совсем не такого приступа к разговору ожидала она.

— Какое дело привело вас ко мне, герцог? — спросила, наконец, цесаревна, слабо и неопределенно улыбнувшись.

— Не дело, — ответил Бирон, — и если в этом вопросе вашем — упрек мне, что не посвятил вас до сих пор, то сознаю себя заслуживающим этот упрек и прошу у вас прощения. Я не по делу, а именно потому, что давно уж собирался...

Елизавета удивлялась все больше и больше.

— Но если вы непременно хотите дела, — продолжал Бирон, — то, пожалуй, вот и дело есть. Знаете, ваше высочество, что ведь я понастоящему должен считать вас своим врагом. Скажите мне: вы недовольны тем, что я выбран регентом? Вы недовольны завещанием императрицы? Вы находите, что император Иоанн III имеет меньше права на престол российский, чем вы?

Он говорил это тихо, не раздражаясь, и внимательно смотрел на Елизавету.

«А! Вот и начало!» — подумала она. У нее шибко забилося сердце, кровь бросилась в лицо, потом отхлынула.

Она побледнела, но сделала над собой усилие и заговорила спокойным голосом:

— Что за вопросы? Неужели во все эти десять лет вы не могли узнать меня? Неужели вы до сих пор думаете, что я мечтаю о престоле и что он мне нужен? Кажется, я все делала, чтобы разубедить вас. Неужели нельзя жить спокойно? Неужели такая уж приманка для меня престол этот? Ведь вот вы теперь управляете государством и жалуетесь мне, что дни коротки... А я ленива, герцог, и уж не так молода, чтобы отвыкать от своей простой и спокойной жизни...

— Однако вы в самом деле, кажется, за серьезное приняли мои вопросы! — улыбнулся Бирон. — Не беспокойтесь, ваше высочество, я вас знаю и именно хочу доказать, что не обращаю ни малейшего внимания на то, в чем меня иногда хотят уверить. Я не подозреваю вас, смотрите...

Он вынул из кармана пакет с бумагами.

— Поглядите это, — продолжая улыбаться, сказал он и протянул пакет Елизавете.

Она взяла, развернула бумаги и увидела, что это копии с показаний капрала Хлопова,

Толстого и других, схваченных по обвинению в желании возвести на престол цесаревну. У нее невольно дрогнули руки, когда она проглядывала эти бумаги.

Она знала, что эти признания даны под страхом смерти, даны во время истязаний в Тайной канцелярии.

— Я не знаю этих людей, я никогда их не видала! — окончив чтение, сказала цесаревна, и слезы слышались в ее голосе.

— Уверен, что вы их не знаете, — медленно произнес Бирон. — Чего же вы так волнуетесь?

— А вы бы хотели, чтоб я не волновалась, узнавая о мучениях людей, которые, не зная меня, мне преданы и из-за меня подвергаются этим мучениям? Послушайте, герцог, если вы уверены во мне, как говорите это, то должны понимать, что эти люди не могут быть никому опасны. Что же видно изо всех признаний, и наверное здесь еще сказано даже больше, чем было на самом деле, что же видно? Одни только слова. Эти люди не опасны, пожалейте их...

Она взглянула на него умоляющими глаза-

ми, она говорила волнуясь, тяжело дыша и совершенно забывая, что это волнение может показаться подозрительным Бирону, что, глядя на нее, он может заподозрить ее участие в заговоре.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг улыбнулся.

— Я и так пожалел их ради вас.

— Вы не казните их, нет? Что вы с ними сделаете? Скажите ради Бога! — даже поднялась она со своего места.

— Я не казню их, — опять медленно и продолжая улыбаться сказал регент, — я только удалю их отсюда.

— Правда? Вы мне обещаетесь, как пред Богом?

— Обещаюсь.

Елизавета протянула ему руку, которую он почтительно и нежно поцеловал.

Наконец цесаревна несколько поуспокоилась и могла снова рассуждать хладнокровно.

Первая пришедшая ей мысль была: что же все это значит? С чего такая любезность? Нет ли тут какой ловушки? Она и прежде, давно,

особенно в последние годы царствования Анны Ивановны, ничего не видала от Бирона, кроме любезностей. Одно время при дворе даже замечали, что он просто-напросто ухаживает за ней. Толковали о том, что он в нее влюбился.

Отчасти это была правда: цесаревна действительно производила на него сильное впечатление! Он разделял общую участь всех людей, знавших ее.

Появляясь на придворных балах, она всегда была там первою красавицей. Кому она раз ласково улыбнулась, кому сказала приветливое слово, тот уж никогда не мог забыть этой минуты.

А ласковых улыбок и приветливых слов выпало немало на долю Бирона.

Елизавета, поставленная в необходимость хитрить и лукавить, поневоле чувствовала себя обязанной быть как можно более любезной с таким всеильным человеком, как Бирон. Она знала, что захочет он, и настанет конец ее тихой жизни. Она знала, что ему ничего не будет стоить уговорить императрицу, и тогда с ней не поцеремонятся. И вот она толь-

ко всеми силами старалась избегать встречи с ним, но, когда встречалась, не отказывала ему в своей улыбке и любезном слове.

«Что ж это он в самом деле? — думала она теперь. — Неужели точно за мной ухаживать приехал? Неужели дошел до того, что станет изъясняться в любви своей... он — Бирон!»

Снова краска негодования залила ее щеки. И она в этом негодовании и в своих мыслях даже не слышала, что говорит он. А он говорил, на что-то жаловался...

Наконец она вслушивается, он действительно жалуется, плачется на свое положение, на то, что никто не хочет понять его, что все замышляют теперь, как бы его погубить, что у него враги есть лютые, принц и принцесса брауншвейгские...

— Часу спокойно не дадут вздохнуть, принцесса! — грустным голосом говорит Бирон. — И не на кого положиться, не с кем отвести душу. Оттого вот к вам и приехал, откровенно поговорить захотелось. Может быть, хоть вы-то меня немножко пожалеете...

«Так и есть! — мелькнуло в голове Елизаветы. — Вот сейчас начнется в любви призна-

ние!»

— И что же они воображают, что так уж сладко мне мое регентство! — каким-то даже патетическим голосом и ударив себя рукою в грудь говорил Бирон. — Они ошибаются. Что, кроме мучений, всяких забот, опасностей, приносит мне оно? Если я его принял, то никак не для себя, а для государства. Ну что ж, ну я откажусь, кто ж тогда всем управлять будет? Принц Антон, принцесса Анна? Хороши правители!.. Да и сам император, мало того, что новорожденный, мало того, что можно двадцать раз погубить все государство, пока он вырастет, ведь ко всему и надежда на него плохая, может, слышали, какой ребенок? Совсем нездоровый ребенок, того и жди, скончается. Вот вы говорите, что никогда у вас мысли не было о престоле, жизнь свою покойную больше любите, а напрасно это. Я был бы очень счастлив видеть вас на престоле.

«Вот она и ловушка!» — подумала Елизавета.

— Мне кажется, — твердо и решительно сказала она, глядя прямо в глаза Бирону, — мне кажется, если бы вся Россия просила ме-

ня, я и тогда бы отказалась.

Ей почудилось, будто в это мгновение улыбка скользнула на губах Бирона, но, во всяком случае, тотчас же от этой улыбки и следа не осталось. Он заговорил опять самым горячим и искренним, по-видимому, тоном:

— Да, я вас принимаю, принцесса, вы совершенно правы, но надо же вам подумать о будущем государства, надо же добиться того, чтоб престол российский перешел к достойному избраннику. Разве только один и есть новорожденный Иоанн Антонович? Что ж они думают, брауншвейгские, что все мы забыли о голштинском принце Петре, вашем племяннике? Он уж вырос, и, как слышал я и знаю из верного источника, юноша здоровый и достойный.

«Вторая ловушка!» — подумала Елизавета, но ничего не ответила Бирону и слушала, что дальше говорить он будет.

— Что же они думают, — продолжал регент, — у них, что ли, я буду спрашиваться? Вот посоветуемся с вами да и пошлем письмецо принцу Петру. Думаю, что и вы будете рады видеть племянника, ваше высочество?!

Он, улыбаясь, глядел на нее. Она хорошо знала, что этот племянник — сын дорогой, любимой сестры ее, Анны Петровны, был привидением во все время царствования покойной императрицы, что Анна Ивановна и Бирон не иначе называл его, как «голландским чертушкой». А теперь к этому чертушке Бирон вдруг письмецо задумывает!

Ну, что ж теперь делать? Как отвечать ему? Сказать, что не хочет видеть племянника — это будет неестественно, да и он этому все равно не поверит. Согласиться на это письмецо — выйдет оно уликой против нее... Она молчала.

— Что ж, принцесса, — опять ласково взглянул на нее регент, — не хотите разве приезда племянника?

— Приезда племянника, конечно, хочу, — ответила Елизавета, — и если вы заставите его приехать, он может быть уверен, что я порадуюсь встрече с ним, но сама я писать не стану — я, герцог, ни в какие дела не вмешаюсь.

— О, как вы недоверчивы! — покачал головою Бирон. — Вы в самом деле думаете, что я

недругом к вам явился, напрасно! Искренне и говорю с вами. Право, нам нужно теперь быть ближе друг к другу — и мы будем близко, потому что оба заботимся о благе России...

«Боже мой! Это он-то заботится о благе России», — в негодовании думала она, но молчала.

— Да, нам нужно быть вместе, — повторил он. — Я серьезно помышляю о принце Петре, я знаю, что, утвердив его здесь, спокойно могу отказаться от этого тяжелого бремени регентства. Но тут вопрос еще и другой, следует и о вас подумать.

— Что ж обо мне-то думать? — пожалала плечами Елизавета. — Только оставьте меня жить так, как я живу: я ничего не прошу, ничего не добиваюсь...

— Вы хотите сказать, что совершенно довольны своей жизнью, но позвольте мне не совсем поверить вам, принцесса. Я не могу представить себе вас всегда одинокою. Вы еще так молоды...

— Я не молода, — перебила она тихо.

— Вы так прекрасны. Я знаю, как упорно всегда вы отказывали женихам, но я осме-

люсь все же явиться к вам сватом.

Елизавета широко открыла на него глаза.

«Это еще что такое? Кого ж он мне будет сватать, себя, что ли, от живой жены? Или, может быть, дошел до того, что развод задумал со старухой?!»

— Не сватайте мне никого, герцог. Кажется, я уж говорила вам, что решила никогда не выходить замуж, да теперь, пожалуй что, и поздно, не для чего... проживу и так.

— Решайте, как знаете, а я должен исполнить свою обязанность.

— Кто же этот новый жених мой?

— Видите ли, есть один молодой человек, — шутливым тоном, но все же с некоторым смущеньем заговорил Бирон, — и этот молодой человек давно уж страдает по вас. Он искренне любит вас, принцесса, и был бы бесконечно счастлив, если бы вы благосклонно приняли любовь его, сделали бы честь, отдав ему свою руку.

Бирон встал и низко поклонился Елизавете.

— Не откажите, прошу за своего сына Петра!

Елизавета побледнела. Она хотела говорить, но язык ее не слушался. Она до глубины души была возмущена этим предложением. Сын Бирона, шестнадцатилетний мальчик — ее муж, сын Бирона, тот самый, которого чуть ли не с колыбели отец безуспешно сватал за Анну Леопольдовну!

Так вот чем все разрешилось! Вот объяснение этого визита. Что теперь делать? Сейчас отказать, он никогда не простит этого и все сделает, чтоб погубить ее. А между тем он стоит и ждет ответа, он стоит с наклоненной головою и ждет.

— Герцог, — наконец начала она, — я так изумлена вашим предложением, оно так неожиданно, что я ровно ничего не могу сказать.

— Разве вы никогда не замечали чувства моего сына? — спросил вдруг Бирон.

Она едва совладала с собой.

«Какой глупый, какой низкий вопрос!»

— Я никогда ничего не замечала... я не могла даже себе представить, чтоб такой юноша, как ваш сын, мог обращать внимание на какую-либо женщину...

— Правда... мой сын еще юноша, но это ровно ничего не значит, его чувство к вам глубоко, искренне... да и, наконец, разве в нашем положении можно заботиться о разнице лет?.. Я знаю и ценю ваш ум, принцесса, я знаю, уверен, что вы на все взглянете настоящими глазами... Что же, изволите надеяться?..

— Ради Бога, не спрашивайте меня, я вам говорю, вы так меня поразили, я никак не ожидала ничего подобного...

Она взглянула на него и ясно увидела, что с ним шутить невозможно, что, откажи она ему теперь, когда у него в руках такая сила, он не задумается так или иначе погубить ее. И ей безумно, страстно захотелось отказать ему, посмеяться над ним, показать ему, наконец, как низко она его ставит, выразить, что она оскорблена этим предложением, что сын его, этого вчерашнего герцога курляндского, этого конюшего из Митавы, ей не пара. Но не потому не пара, что он сын бывшего конюшего, об этом она никогда не думала, даже не потому, пожалуй, что он совсем почти ребенок, а потому что он сын Бирона, врага России,

врага всего, что ей дорого.

Но благоразумие заставило ее снова совладать с собою.

Она вспомнила, что должна удержаться именно ради всего, что ей дорого, должна побороть свои чувства не для себя. И она, опустив глаза, прошептала:

— Я ничего не имею против вашего сына, он хороший юноша. Но ведь я уж не молоденькая девочка, чтоб так скоро решиться, и тем более вы знаете мое отвращение от мысли о замужестве. Я вам не отказываю, но прошу только: дайте мне время хорошенько подумать.

— Подумайте, принцесса, — сказал Бирон, — да, действительно тут нужно хорошенько подумать. И я надеюсь, что при уме вашем и при вашем благоразумии вы действительно хорошо подумаете. Вы увидите тогда, что нам очень надо быть вместе, если будем действовать дружно. Вы видите теперь, что я не враг вам, что я пришел говорить по душе, искренне. Вы видите, что я ничего дурного не замышляю против вас. Я пришел звать вас в союзницы для общего блага... И

вот, когда хорошо вы подумаете, то поймете, какая сила мы будем, если вы не откажете моему сыну, если принц Петр Голштинский сюда явится, и, кто знает, может быть, ему приглянется моя дочь...

«Вот что он задумал! Ловко! Да, видно, точно нужно действовать скорее и решительнее. Ждать опасно!» — думала Елизавета.

А герцог уже прощался.

— Мне пора в собрание, давно пора. Так я могу уехать от вас с надеждою?

— Да, я очень благодарна вам, — проговорила цесаревна, протягивая ему на прощанье руку.

Еще ни разу в жизни не приходилось ей так солгать, как теперь, еще никогда не видала ее в таком раздраженном состоянии Мавра Шепелева, как по отъезде герцога курляндского.

VI

От Елизаветы Бирон действительно отправился в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета.

Там все были уж в сборе, хотя многие не знали еще, зачем, собственно, призваны на

этот день герцогом.

«Что он будет делать? Каков-то войдет?» — думали иные.

Еще вчера видели его в самом раздраженном состоянии. Он ни от кого не скрывал своего бешенства. Но теперь он вошел со спокойным лицом, любезно раскланялся на все стороны, перекинулся дружескими фразами с некоторыми сановниками и спокойно уселся в свое высокое кресло.

По обеим сторонам его поместились: Остерман, Миних, Черкасский и Бестужев. Несколько поодаль сидел генерал Ушаков, начальник Тайной канцелярии.

— А его высочества еще нет? — спросил Бирон.

Но не успели ответить, как дверь растворилась, и на пороге залы показалась маленькая, худенькая фигура принца Антона. Он входил с бледным, перепуганным лицом и робко озирался во все стороны.

Когда он получил рано утром приказание явиться в это заседание, то с ним чуть дурно не сделалось. Он знал, что должен будет разыгрывать здесь роль подсудимого, что бу-

дет окружен врагами.

Он так трусил, что даже решился было во все не отправиться, остаться и лучше уж у себя выслушать приговор.

Анна Леопольдовна едва уговорила его не делать этого; не срамить себя таким малодушием.

Он неловко, то краснея, то бледнея, поклонился собранию, как-то боком сел на оставленное для него место и опустил глаза, не смея ни на кого поднять их и пуще всего боясь встретиться со взглядом Бирона.

Он чувствовал, что все на него пристально смотрят, и еще больше терялся, бледнел и краснел от этого сознания.

На него действительно все смотрели и от него переводили взгляды на лицо регента.

Бирон молчал. Он, очевидно, наслаждался смущением своего противника и хотел по-дольше потомить его, помучить.

Так прошло около четверти часа. Все молчали, ожидая первого слова регента, и только некоторые передавали друг другу шепотом и сейчас же принимали опять строгий вид и внушительно откашливались.

Среди царствовавшего в зале молчания можно было, однако, расслышать странные, совсем не подходящие к этой минуте звуки. Кто-то по временам стонал, тяжело охал и даже слегка вскрикивал.

Этот кто-то был граф Остерман.

Он весь ушел в свое кресло, так что из-за стола было видно одно только его бледное, толстое лицо, да и то нижняя часть этого лица, так как верхнюю прикрывал зеленый зонтик.

Великий Остерман, — неизменная, живая душа государственного управления, — в последние годы объявил себя безнадежно и тяжело больным. По целым месяцам он сидел в своем кабинете, и когда ему необходимо было появиться на каком-нибудь чрезвычайном и важном заседании, то его туда переносили, и он с первой и до последней минуты обыкновенно стонал и охал, не снимал со своих глаз зеленого зонтика.

Многие внимательные и насмешливые люди того времени говорили, что этот зонтик очень удобная штука. Из-под него можно гораздо лучше и безопаснее наблюдать окружа-

ющих, а самому не поддаваться никаким наблюдениям.

Этот таинственный зонтик, эта вечная агония издавна служили Остерману верную службу.

Стеная и охая и представляя из себя жалкую карикатуру, он обдeldывал смелые, большие дела, достигал своих хитро задуманных целей, а в опасные минуты стушевывался и скрывался, и никто ничего не спрашивал с больного, умирающего человека.

Теперь он стонал и кряхтел с особенным удовольствием и даже не замечал действительной мучительной ломоты в ногах. Он знал, что заседание будет интересно, что принц Антон должен сыграть комическую сцену, а Андрей Иваныч очень любил комические сцены, если сам мог быть в них безопасным зрителем.

— Ох, — простонал он, обращаясь к сидевшему рядом с ним фельдмаршалу Миниху, — плохо я вижу, но мне кажется, что его высочество принц сегодня дурно себя чувствует. У него такое слабое здоровье, вы, граф, плохо укрепили его в ваших походах.

Миних ничего не ответил. Он давно уже пристально глядел на принца Антона и думал. Он думал о том, что если бы бедный принц знал его теперешние мысли, то, может быть, несколько бы ободрился и не глядел таким испуганным зверьком, не дрожал бы так под взглядом Бирона. Но он ни звуком, ни взглядом не ободрил принца. На его старом, сухом, красивом лице никто не мог прочесть его мыслей.

Наконец, Бирон прервал тяжелое, долгое молчание.

— Господа кабинет-министры, сенаторы, генералы, — обратился он к собранию на своем ломаном невозможном русском языке, — мы просили вас собраться для того, чтобы выяснить одно очень важное дело. Но прежде всего нужно кое с чем вас познакомить. Генерал, — обратился он к Ушакову, — прочтите показания, сделанные в Тайной канцелярии.

Страшный генерал Ушаков, сидевший до тех пор неподвижно, пошевелился на своем месте, откашлянулся и развернул лежавшие перед ним бумаги.

Теперь взоры всех обратились уж оконча-

тельно в сторону принца.

Антон Брауншвейгский побледнел еще больше, его губы тряслись, зубы стучали. Он знал, какие бумаги разбирает и готовится читать Ушаков.

Ушаков начал.

Это были признания приверженцев брауншвейгской фамилии, это было показание Граматина.

Ушаков читал медленно, слово за словом, и все внимательно слушали, и никто даже не нашел комичным слог Граматина, который на каждом шагу бессмысленно повторял: «Он мне сказал, я ему сказал».

У принца Антона уж голова кружилась. Он не слышал ни одного слова. Ему казалось, что все это собрание, все эти обращенные к нему лица качаются из стороны в сторону, начинают какую-то страшную, дикую пляску.

Лицо Ушакова с длинными седыми усами, иссиня-красноватым носом и опущенными теперь на бумагу глазами, казалось ему таким огромным, ужасным; это было лицо карающей Немезиды.

На Бирона принц ни разу не решался даже

и взглянуть. Он знал, что если взглянет, так уж ни за что не вытерпит. Ему хотелось убежать отсюда или скрыться куда-нибудь под стол, но он не мог даже шевельнуться.

Наконец, все мысли остановились в голове его. Он продолжал слушать, ничего не понимая, только каждое слово, произносимое густым басом Ушакова, больно отдавалось в голове.

Но вот чтение окончено.

— Ваше высочество, — обратился к принцу регент. — Вы слышали? Потрудитесь же сказать нам: правда ли все это или здесь клевета? И если клевета, то опровергните ее.

Принц Антон молчал.

— Ваше высочество, я не знаю, чем вы недовольны. Я, кажется, делаю все, что могу; вот вам назначено двести тысяч рублей в год, тогда как цесаревна будет получать всего только пятьдесят тысяч. Мы всегда, кроме того, были готовы исполнить всякое ваше желание, а вы недовольны. Скажите мне, наконец, — тут голос регента, сначала тихий и даже довольно мягкий, зазвучал сильнейшим раздражением. — Скажите мне: чего бы вы

хотели? Что вам угодно?

Принц продолжал молчать.

— Прошу вас, говорите, молчать невозможно теперь: мы все ожидаем от вас ответа!

Принц Антон хотел было подняться со своего места, но сейчас же опять и упал в кресло и, совершенно бессильный, помимо своей воли и неожиданно для себя самого произнес прерывающимся голосом:

— Я хотел произвести бунт и завладеть регентством.

Крупные слезы показались на глазах его, и он еще ниже опустил голову.

Тогда генерал Ушаков обратился к нему и начал громким, резким голосом:

— Если вы, ваше высочество, будете вести себя как следует, то все станут почитать вас отцом императора; в противном же случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. Конечно, вы были обмануты по вашей молодости и неопытности, но если бы точно вам удалось исполнить свое намерение и нарушить спокойствие империи, то я, хоть и с крайним прискорбием, а обошелся бы с вами так же строго, как и с последним под-

данным его величества.

Если бы несчастного принца Антона можно было теперь испугать, то, наверное, эта неожиданная и резкая выходка Ушакова заставила бы его вздрогнуть всем телом. Но он был так уже смущен и перепуган, что ничто больше не могло производить на него впечатления. Он даже почти не обратил внимания на слова Ушакова и ничего ему не ответил.

Тогда заговорил Бирон в сильном волнении, но тщательно скрывая свое раздражение:

— Да и на каком основании низвергать вы меня вздумали? Что ж, я самовольно разве похитил власть? Если я регент, то по распоряжению покойной императрицы, по согласию всех здесь присутствующих. Я не воровски занимаю свое место. Но что ж, я имею, конечно, право отказаться от регентства, как то и значится в уставе, и если это собрание сочтет ваше высочество больше меня способным к управлению империей, я сейчас же передам вам управление.

Он замолчал и обвел всех быстрым взором. Его щеки несколько побледнели. «А вдруг!.. —

мелькнуло в голове его. — Но нет, не посмеют», — сейчас же он себя успокоил. И точно, не посмели.

Раздался голос Бестужева.

Этот голос подхватили многие.

— Нет, как можно! Вы вполне достойны. Мы просим вас оставаться регентом для блага земли Русской.

Бирон с нескрываемым самодовольством взглянул на принца Антона, а затем приподнял со стола лежавшее перед ним распоряжение императрицы Анны о регентстве и, указывая на него Остерману, сказал:

— Та ли это бумага, которую вы сами отнесли к императрице для подписи?

— Да, та самая, — с легким стоном ответил Андрей Иванович.

— В таком случае, я не желаю, чтоб могла повториться подобная сцена. Если вы все действительно признаете законность этого документа, если вы действительно желаете видеть меня во главе правления, то я прошу вас, всех здесь присутствующих, подписать эту бумагу и приложить свои печати.

Невольно как бы электрическое движение

пробежало по собранию.

Много здесь было людей, которые Бог знает что дали бы, чтоб иметь возможность не подписывать. Но подписал Остерман, подписал Миних, подписал Бестужев, Черкасский, Ушаков: не подписать невозможно. И бумага переходила из рук в руки, и все ее подписывали. Дошла очередь и до принца Антона.

Дрожащей рукой окунул он перо в чернильницу и начертил на бумаге свое имя.

Бирон вздохнул полной грудью. Еще собирая это заседание, еще в первые его минуты он в глубине души своей трепетал за исполнение своего плана. Несмотря на все свое легкомыслие и близорукость, он очень хорошо знал, как мало можно надеяться на людей. Он знал, что эти люди, за минуту перед тем до земли ему кланявшиеся, могли вдруг восстать против него и погубить. Он знал, что, может быть, стоило только раздаться двум-трем влиятельным голосам, и все без исключения подхватят эти голоса, и он погибнет. Но смелых голосов не нашлось. Кабинет-министры сочли для себя выгодным не изменять ему, и все остальное стадо, конечно, пошло за

своими пастырями.

И вот вчерашних тревог и волнений как не бывало.

Герцог курляндский, снова почувствовав под собою твердую почву, мгновенно преобразился. Он уже сидел в своем кресле гордый и надменный, с презрительно сжатыми губами.

— Теперь, ваше высочество, — обратился он к принцу Антону, — мы вас не задерживаем, вы свободны. А так как мне кажется по вашему виду, что вам нынче нездоровится, то можете оставить залу и вернуться домой. Советую вам обратиться к доктору и полечиться.

Бледный принц медленно поднялся со своего места, неловко откланялся собранию и поспешил удалиться.

Выйдя из залы и видя, что никто его не арестует, что лакеи почтительно отворяют ему двери, он тоже вздохнул свободнее. Он ожидал гораздо худшего.

«Авось теперь уж не будут больше мучить, авось теперь отделался?!» — думал он... и ошибался.

Бирону было мало заручиться подписями сановников, ему нужно было добить врага окончательно, отрезать ему путь сообщения с гвардией. Недаром при последнем своем посещении Зимнего дворца он кричал: «Вы на ваш Семеновский полк рассчитываете!» Он теперь порешил, что от принца Антона должно отобрать его звания, его военные чины подполковника Семеновского полка и полковника кирасирского Брауншвейгского полка. Нельзя успокоиться, покуда в его руках эти должности, покуда он в качестве начальника может действовать на войско.

Отпустив членов заседания, Бирон удержал Миниха и сказал ему, что следует написать от имени принца Антона просьбу об увольнении его ото всех военных должностей.

Фельдмаршал Миних, хоть и очень задумывался в последние дни насчет брауншвейгских, хоть тайная его мысль и могла успокоить принца Антона, все же согласился подслужиться регенту. Унизить принца даже было в его видах, лишь бы только не унизить принцессу. Она ему нужна, а сам принц Антон

только мешает. Его можно терпеть единственно в качестве неизбежного зла, и, следовательно, во всяком случае нужно по возможности уменьшить это зло.

Таким образом, в тот же день просьба была готова. Написал ее не сам фельдмаршал, а поручил это дело своему сыну и немедленно же доставил ее Бирону.

— Только если отошлете вы эту просьбу графу Остерману, то прошу вас, ваша светлость, велеть переписать ее: я не хочу, чтоб Остерман видел почерк моего сына. Он догадается, что все это идет через меня, а это не только бесполезно, но и вредно может быть.

— Хорошо, хорошо, велю переписать, — ответил Бирон.

В просьбе принца Антона, якобы обращаемой им к своему сыну, новорожденному императору, говорилось: «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею мои военные чины низложить для того, чтобы при вашем императорском величестве всегда неотлучно быть».

Бедный принц Антон очень изумился, ко-

гда ему принесли для подписания эту бумагу и он прочел ее. Он в первый раз узнал себя таким нежным, заботливым отцом.

Ему было чрезвычайно жалко отказаться от Семеновского и кирасирского полков, но Анна Леопольдовна вышла из себя, узнав, что он не хочет подписывать бумагу.

— Что ж это вы в самом деле, погубить нас думаете?! — кричала она. — Неужели еще надо вам растолковывать, что если вы не подпишете, так тут нам и конец, вас непременно вышлют из России или, хуже, засадят в какую-нибудь крепость? Да это еще ничего: может быть, там вы бы одумались, а ведь на вас-то не остановятся, ведь и меня погубят, и сына нашего погубят. Сейчас подписывать, сейчас!

Она вложила ему в руки перо, и он подписал это заявление о своих нежных родительских чувствах.

Через несколько дней военной коллегии дан был указ, в котором говорилось:

«Понеже его высочество, любезнейший наш родитель желание свое объявил имевшиеся у него военные чины снизложить, а

мы ему в том отказать не могли, того ради, через сие военной коллегии объявляем для известия. Именем его императорского величества, Иоган, регент и герцог».

При дворе рассказывали, что принцесса Анна Леопольдовна, заставив мужа подписать прошение, сейчас же отправилась к Бирону, объявила о своем поступке, уверила его, что отлично понимает свое положение и всеми силами негодует на действия мужа. Она даже бросилась на шею герцогу, умоляла его не давать гласности неразумным делам принца Антона и обещала сама неотступно присматривать за ним. И она стала присматривать.

Принц Антон очутился как бы под домашним арестом.

Он не мог никуда выходить, его вечно стерегли то жена, то Юлиана Менгден.

Против такого стража, как Юлиана, сначала он ничего не имел, даже рад был раскрыть ей свою душу и плакаться на свои несчастья. Она внимательно и участливо его слушала, но все же он наконец с глубоким сожалением должен был сознаться самому себе,

что она больше страж, нежели друг его.

VII

Бирон торжествовал. Как еще несколько дней тому назад он упал духом и считал себя чуть не на краю гибели, так теперь он совершенно убедился, что эта гибель миновала, что для него нет ровно никакой опасности, что стоит он твердо и может снова делать все, что угодно.

В этой уверенности его поддерживал и Бестужев.

— Ну, так внушайте же все это кому следует, — сказал Бирон Бестужеву после долгого с ним разговора. — В особенности иностранным резидентам внушайте, что никакого волнения больше нет, что мне некого опасаться, что никто не стоит у меня поперек дороги.

Бестужев поспешил исполнить это. Он говорил многим, что, если б захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно, хоть он и отец императора, но вместе с тем и его подданный. «Петр, — говорил он, — подал пример, что имеет право сделать отец с бунтующим сыном. То же самое, наоборот, может сделать и сын с бунтующим отцом,

своим подданным. Принц Антон до сих пор рассчитывал на венский двор, но теперь он увидел, что этой опоры для него не существует. Мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но вообще можем сказать, что дело наше выиграно».

С некоторыми нужными людьми Бестужев пускался и в дальнейшие откровения. Он говорил, что рисковал своей головой и не имел ни одной минуты спокойной в первые три дня после кончины императрицы, так как знал свойства русского народа. По первому толчку этот народ в состоянии принять что-нибудь решительное, но потом, только прошла первая минута, делается совершенно апатичным и послушным. Таким образом, в деле признания Бирона регентом нужно было пустить в ход необыкновенную быстроту. Для этого, еще при жизни императрицы, Бестужев и изготовил манифест о регентстве, его напечатали в ночь смерти императрицы, вместе с присяжною формой. Приводить к присяге должно было тотчас же, не дожидаясь того, чтобы какие-нибудь беспутные голо-

вы успели что-либо затеять. Важные и страшные были минуты, событие великое. Петербург населен обильно, так что нечего удивляться, если нашлось несколько недовольных, странно только, что не оказалось их гораздо больше. Но вот все успокоено, цель достигнута, будущее обеспечено. «Теперь, — заканчивал Бестужев свою исповедь, — остается делать одно, — щедро награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в ком будет замечено дурное направление».

Бестужев мог говорить все, что ему угодно, мог успокаивать и себя, и Бирона, и всех, кого ему нужно было успокоить, но все же всякий разумный и наблюдательный человек хорошо видел и понимал, что положение регента далеко не прочно.

Что такое было открыто? Вовсе не серьезный заговор, а просто неосторожные слова некоторых молодых солдат и офицеров, которые в первом пылу негодования не удержались, не дождались удобного случая, не высмотрели себе надежного вожака.

Но наблюдательные люди, прислушивающиеся к общественному настроению, ясно ви-

дели, что пройдет еще немного времени, соберется серьезная и осторожная партия, найдется ей способный решительный вожак — и следует ожидать очень важных событий.

Конечно, из лиц, близко стоявших к герцогу курляндскому, были такие, которые это понимали, но ни один человек не нашел нужным предостеречь регента, обратить его внимание на некоторые знаменательные факты, и он оставался в сладкой уверенности, что победил своих врагов и очистил себе широкую дорогу.

Давно уж он не был в таком счастливом настроении духа. Он только негодовал на себя за то, как мог допустить в себе такую слабость, смутиться, испугаться. Ему хотелось окончательно позабыть о днях этой слабости, наглядно доказать самому себе, на какой недостижимой высоте стоит он и как твердо его положение. Он хотел показать это, конечно, и иностранным резидентам для того, чтобы при дворах Европы утвердилось настоящее и должное о нем мнение.

Как же это сделать? Есть один способ показать себя в полном блеске — это собрать у се-

бя во дворце всех сановников, принца и принцессу брауншвейгских, цесаревну Елизавету, унизить брауншвейгских публично.

Но теперь сделать это было трудно; нельзя же давать бал, когда чуть ли что не вчера предана земле императрица.

«Ну, бал не бал, а собрать всех все же можно!» — решил, наконец, Бирон и стал рассылать всем приглашения в такой форме, что каждый не знал, зачем его приглашают, и, во всяком случае, не ожидал найти во дворце регента большого собрания.

Вечером 5 ноября все покои Летнего дворца осветились. Впрочем, освещение было не яркое, да и вообще все было так устроено, что дворец вовсе не имел праздничного вида. Многочисленная прислуга была в глубочайшем трауре. Всем было приказано говорить как можно тише и шуметь как можно меньше.

Скоро стали съезжаться приглашенные. Приехал и принц Антон с Анной Леопольдовой, и Юлиана Менгден, и цесаревна, приехали кабинет-министры, за исключением Остермана (он лежал, запершись, в своей

комнате), приехали посланники.

Некоторые гости с изумлением поглядывали друг на друга, не понимая, что такое затеял Бирон, и ожидая, что в этот вечер должно, во всяком случае, произойти нечто особенное. Другие же сразу догадались о желании Бирона просто-напросто поломаться и похвастаться.

Гости проходили целым рядом комнат, не встречая хозяина и хозяйки.

В эти последние тревожные дни всех захватила как бы новая жизнь, всем казалось, что прежняя жизнь прошла безвозвратно, что со смертью императрицы Анны окончилось все старое.

Но этот Летний дворец, эти комнаты и вся обстановка разом вернули всех в прежнюю атмосферу. Здесь, во дворце герцога курляндского, только императрицы Анны не было, а все, что ее окружало в последние годы, осталось неизменно. Те же шуты и шутихи, карлы и карлицы встречали гостей и чопорно им раскланивались, та же «девка Софья» и «девка турчанка Катерина» в своих фантастических, но теперь траурных костюмах шмыгали

по комнатам и куда-то исчезали.

Наконец, и в приемной герцогини не было ни малейшей перемены.

Она, как во все торжественные дни, с тех пор как Бирон был провозглашен герцогом курляндским, сидела на своем высоком кресле, или, вернее, троне.

Это была далеко уж не молодая, не красивая и болезненная женщина с желтым осунувшимся лицом и бледными глазами без всякого выражения. Если про Бирона толковали, что он с лошадьми обращается как человек, а с людьми как лошадь, то про жену его Бенитну Готлиб, урожденную фон Тротта-Трейден, можно было придумать много и более обидное.

Императрица Анна полюбила ее единственно за преданность и глупость.

Бенитна рабски подчинялась всем требованиям и капризам герцогини курляндской и в 1723 году вышла замуж за Бирона для того, чтобы прикрыть собою его отношение к герцогине. С тех пор она сделалась неразлучной спутницей Анны Ивановны, при восшествии на престол которой была пожалована статс-

дамой.

Анна Ивановна все свое время обыкновенно проводила в семействе Бирона, вместе с ними обедала.

Вследствие такой близости к царствующей государыне Бенитна Готлиб давно уж считала себя владетельной особой, а когда наконец превратилась в герцогиню курляндскую, то ее тщеславию и гордости и границ не было. Она поражала всех своею роскошью, бестактностью и дурными манерами.

Много всяких анекдотов ходило на ее счет при дворе, но, конечно, эти анекдоты скрывались со всевозможною тщательностью, и люди, тихомолком смеявшиеся над герцогиней, в ее присутствии падали ниц перед нею.

Теперь герцогиня, супруга регента, конечно, считала себя уж окончательно превыше всех смертных. Она величественно восседала на своем троне и, хотя была одета в черное траурное платье, все же не могла отказать себе в удовольствии блеснуть бриллиантами. Ее голова, шея и руки так и блестели, так и переливались всевозможными огнями. Каждый из входивших гостей почтительно подхо-

дил к ее трону. Она не шевелилась, а гости должны были, осторожно склоняясь, целовать ее руки, — да, руки, и не руку, потому что если кто вздумал бы поцеловать одну только руку, то этим оскорбил бы ее смертельно. У нее целовали руку и прежде, а с тех пор как она стала герцогиней — должна же быть какая-нибудь разница — и вот уже несколько лет происходило это целование обеих рук, и все подчинялись такому неожиданному нововведению, боясь весьма важных и неприятных последствий.

Теперь, наверное, Бенитна Готлиб, подставляя свои руки гостям, думала о том, что как же это, ведь вот она в новом звании супруги регента, значит, целования двух рук мало. Очень может быть, что она мечтала о том времени (а время это должно наступить очень скоро, вот только кончится срок траура), когда перед нею будут склоняться до земли, когда станут прикладываться к башмаку ее.

Рядом с герцогиней, тоже на каком-то особенном подобающем царственной принцессе сидалище, помещалась ее дочь Гедвига, ма-

ленькая, худенькая четырнадцатилетняя девочка.

Гедвига не наследовала от отца своего его физической красоты, не наследовала и от матери ее глупости.

Девочка эта была немного горбата и вообще плохо сложена. Лицо с чертами неправильными, зато глаза необыкновенно живые и умные.

Несмотря на всю ее некрасивость, она обращала на себя невольное внимание придворных; ее давно уже знали. Ее первое появление в обществе, при дворе, произошло во время празднования свадьбы принцессы Анны Леопольдовны. Тогда двенадцатилетняя Гедвига отправлялась в придворную церковь в роскошной золоченой карете, окруженная целой свитой. При свадебной церемонии она стояла рядом с императрицей, во время официального придворного обеда сидела рядом с новобрачной, а вечером на балу управляла танцами.

С первых лет детства к ней были приставлены всевозможные учителя и учительницы, а природные способности дали ей возмож-

ность многому научиться. Она знала несколько языков и вообще обладала многими научными сведениями, что было большой редкостью в то время. Манерам и обращению она училась не у матери, с первого же своего появления обратила на себя всеобщее внимание умением держать себя, своей живостью и остроумием; об ее находчивости, об ее милых ответах и суждениях много говорилось.

В последнее время, несмотря на то что она была маленькой горбуньей, вокруг нее постоянно вертелась целая толпа поклонников. Ей вечно твердили об ее уме, талантах, о красоте даже. Оригинальная девочка поневоле часто задумывалась и жила какой-то двойною жизнью — двойною потому, что после льстивых речей, всеобщего почтения и благоговения она уходила в семейную обстановку, где к ней совсем иначе относились.

Отец не любил ее: ему нужна была не такая дочь, ему нужна была дочь действительно красавица, которая своей красотой могла бы способствовать упрочению его положения, которая могла бы стать невестою одного из европейских принцев крови.

Бирон не мог выносить бледного, умного лица Гедвиги, ее горба и очень часто без всякой видимой причины раздражался на нее, бранил ее, не стесняясь выражений. Впрочем, теперь и на ее счет он успокоился. Он поставил себя в такое положение, когда можно было обойтись и без красоты Гедвиги. Будь она в двадцать раз безобразнее, это не помешает ей сделать самую блестящую партию: мы уже видели, что теперь он прочил ее в жены голштинскому принцу Петру.

В этой же парадной приемной комнате находился и сын регента, Петр, наследный принц курляндский, подполковник конногвардии, кавалер орденов Св. Александра Невского и Св. Андрея с бриллиантовой звездой.

Ему было всего шестнадцать лет, но он уже умел с полным сознанием своего достоинства носить эту бриллиантовую звезду и важно раскланиваться входившим сановникам.

Это и был тот самый воздыхатель-претендент, от имени которого Бирон явился сватом к цесаревне Елизавете.

Глядя на его важную фигуру и совершенно

еще ребяческое лицо, ясным становилось негодование, вызванное в Елизавете предложением Бирона.

Действительно, подобный брак был только смешным безумством, только один Бирон мог этого не заметить. И только один Бирон с его постоянной легкомысленною близорукостью и диким чванством мог поверить тому серьезному тону, которым цесаревна ему ответила.

Наконец все гости были в сборе; позже всех явились принц Антон и Анна Леопольдовна.

Герцогиня курляндская едва кивнула головой принцессе, а принц должен был, по примеру прочих, поцеловать ее руки.

Вообще все присутствующие заметили, что только к одной цесаревне герцогиня отнеслась благосклонно. Величественным и комичным жестом указала ей на кресло возле себя и даже процедила сквозь зубы какую-то незначительную, но любезную фразу.

Вот дамы разместились на почтительном от хозяйки расстоянии; мужчины стояли, переминаясь с ноги на ногу. В приемной цар-

ствовало полное, натянутое молчание.

Все ожидали герцога, и герцог, наконец, вышел. Что за торжественный был его выход!

Еще за несколько минут распахнулись двери, целая фаланга камер-юнкеров и разных чинов двора выстроилась наподобие военного караула.

Войдя в приемную, Бирон сделал общий поклон, и в этом поклоне выразилась вся его смешанная гордость и напыщенность. Это был такой поклон, которого он даже не позволял себе при императрице Анне.

Его надменное лицо на мгновение озарилось улыбкой только тогда, когда он подошел к Елизавете и протянул ей руку, затем он сказал несколько слов фельдмаршалу Миниху, Бестужеву, а на принца Антона и Анну Леопольдовну не обратил ровно никакого внимания, как будто бы их совсем тут не было.

Анна Леопольдовна сидела как на углях. Теперь она ясно понимала, что и весь-то этот вечер был задуман только для того, чтобы оскорбить ее и ее мужа.

Она обращала безнадежные взоры на своего друга Юлиану. Но Юлиана была далеко от

нее и вообще ни в чем не могла помочь ей.

Принц Антон тоже сознавал себя до конца оскорбленным. Он даже забыл о своей робости. Он был возмущен. Он чувствовал находившее на него бешенство. Ему хотелось броситься к Бирону и просто-напросто его ударить.

Анна Леопольдовна заметила и поняла его состояние. Она знала, что, несмотря на всю свою робость и бесхарактерность, на него находили иногда минуты, когда он делался смелым. Она видела, что пришла теперь именно такая минута и что вот, того и гляди, он позволит себе что-нибудь невозможное и вечер кончится ужасным скандалом, может быть, окончательной их гибелью.

От всех этих мыслей бедной принцессе чуть не сделалось дурно.

VIII

Герцогиня курляндская наконец вполне наслаждалась своим величием; все приглашенные были уже в сборе и перецеловали у нее руки. Так как она уже успела показать себя принцессе брауншвейгской, то и решилась покинуть свой трон.

Она медленно приподнялась и поплыла через приемную в другие комнаты.

Гости вышли из неподвижности. Раздались наконец громкие фразы; общество несколько оживилось.

Бирон дружелюбно взял под руку Бестужева и прошел с ним в кабинет.

— Ну что, вот видите, как я их сегодня отделал? Не могли же иностранцы этого не заметить! — шепнул он ему дорогой.

Бестужеву хотелось сказать, что очень-то пересаливать все же не следует: не ровен час опять, пожалуй, что-нибудь может зацепиться, но он взглянул на самодовольное, так и сиявшее чванством лицо регента и не сказал ничего.

Был еще один человек, который внимательно наблюдал теперь за регентом. Этот человек был фельдмаршал Миних.

Он поглядел вслед удалявшимся регенту и Бестужеву и подошел к принцессе Анне Леопольдовне. Теперь она одна оставалась в приемной вместе с Юлианой.

Она была так взволнована и так слаба, что даже не могла подняться с места. Она с боль-

шим трудом удерживала слезы.

— Что с вами, принцесса? — спросил Миних. — Вы, кажется, нездоровы сегодня?!

— Нет, я здорова! — подняла она на него глаза, наполненные слезами. — Я здорова, но разве вы не видели, до чего здесь доходят? За что меня оскорбляют? Что я им сделала?

В дверях оказалась маленькая Гедвига Бирон. За нею следовал маркиз де ла Шетарди, шведский посланник Нолькен, князь Черкасский.

Маркиз что-то, верно, очень любезное и веселое говорил Гедвиге. Она улыбалась и отшучивалась.

Миних быстро взглянул на Юлиану, показал ей глазами по направлению вошедших, шепнул: «Теперь нельзя», — и быстро вышел из комнаты.

Он пошел по залам с видом рассеянного и скучающего человека, но в то же время внимательно прислушивался ко всякому разговору.

Фельдмаршал Миних теперь уже был совсем старик, но его высокая, стройная фигура была крепка по-прежнему. Он, очевидно,

немало времени проводил перед зеркалом и желал так же удачно воевать с временем, как воевал с врагами России.

Издавна, возвращаясь ко двору после удачных походов, он любил, чтобы к его репутации храброго воина и знаменитого полководца присоединялась и репутация светского, привлекательного человека.

На придворных балах он постоянно являлся разряженным и раздушенным, приглашал на танцы самых красивых дам, ухаживал, любил целовать хорошенькие ручки и говорить комплименты. Его лицо при этом расплывалось в сладких улыбках, и, глядя на него, трудно было себе представить, что это тот самый человек, который на войне отличался и смелостью и жестокостью.

Но кроме грома сражений, кроме целования хорошеньких ручек, у фельдмаршала была еще одна страсть: непомерное честолюбие. Ему мало было заслуженной славы героя и полководца, ему нужна была слава государственного человека, первое место в России.

Если он способствовал Бирону в доставлении ему регентства, но именно потому, что

надеялся играть при таком неспособном правителе первенствующую роль. Он думал, что Бирон сейчас же предоставит ему звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских, но Бирон и не подумал это делать.

Бирон давно уж боялся Миниха и ясно соображал, что нужно, по возможности, оттеснить такого опасного соперника. Смелые, энергичные, талантливые люди ему были не нужны.

Ко всему этому присоединилась еще ссора Миниха с братом регента, и, наконец, в последние дни фельдмаршал ясно понял, что ждать ему теперь нечего и что, следовательно, ему необходимо все переделать. И он уже не задумывался над тем, как он все переделает. Он был не из тех людей, которые способны несколько раз решаться и отказываться от своих планов. Пришла благая мысль, осознана необходимость действовать — нельзя терять ни минуты.

«Я не буду так глуп, как ты, — мысленно обратился Миних к Бирону, — не стану, как ты, добиваться для себя регентства. Ты подумай»

мал, что можно забрать власть в руки и удерживать ее без всякой поддержки, что можно распоряжаться в стране, где тебя ненавидит народ и все окружающие без исключения. Нет, я буду управлять страной, но поддерживаемый благодарностью тех, кого освобожу от тебя. Ты вот собрал нас всех для того, чтобы поломаться перед нами, чтоб публично втоптать в грязь отца и мать того ребенка, которого ты называешь своим императором. Ты и ломаешься! Ты и бесчинствуешь! И где же тебе видеть, что ни одного нет человека в этих залах, кто бы заступился за тебя хоть одним словом, когда придет твоя трудная минута! Что же, торжествуй, слепой крот! Гляди на меня и думай, что я друг твой! Нет, другом ты меня не считаешь, так думай, что я бессильный старик и что тебе меня нечего бояться».

И точно, Бирон в эту минуту глядел на Миниха, но, конечно, не мог прочитать его мыслей.

Однако какое-то неуловимое, неожиданное чувство мелькнуло в душе регента. Он проходил из зала в залу. Все, перед кем он ни останавливался, невольно как-то вытягива-

лись, обдергивались и склонялись перед ним. Но это его не удовлетворяло.

Ему казалось, что все же чего-то недостает в этом всеобщем почтении, и опять неясное опасение шевельнулось в нем. Точно ли все улажено? Точно ли навсегда почва тверда под ногами? Ему на глаза попалась фигура принца Антона.

Вот принц подходит к одному посланнику, потом к другому. Что-то оживленно говорит им. «Это он на меня жалуется!» — в бешенстве подумал Бирон.

«Вот, вот, так и есть! Он сегодня что-то смотрит совсем не так робко и растерянно, как тогда, в чрезвычайном заседании. Он ободрился, значит, есть же кто-нибудь, кто его ободряет! Значит, есть же что-нибудь, на что он надеется».

Снова ярость и бешенство затуманили голову Бирона.

На него находил один из тех припадков, которым он все чаще и чаще стал предаваться в последнее время и с которыми никогда не боролся. Он терял всякое соображение.

Ему вовсе не нужна была и не входила в

его расчеты публичная ссора с принцем брауншвейгским, но он теперь почему-то прямо пошел на него, нарочно зацепил его и не извинился.

Принц невольным движением отшатнулся и нервно схватился за эфес своей шпаги.

Багровая краска ударила в лицо Бирона. Он повернулся к принцу, остановился перед ним со всеми признаками сильного бешенства и громко, на всю залу крикнул:

— А! Так вы уже и за шпагу хватаетесь! Что ж, я готов и этим путем с вами разделаться, если вы хотите!

Все онемели от неожиданности этой сцены. Анна Леопольдовна, вошедшая в эту минуту в залу, слабо крикнула и с ужасом глядела на Бирона.

— Я вовсе не угрожал вам шпагой, — отвечал принц Антон, позабывший всю свою робость от этого нового оскорбления, — но вы сделали мне дерзость, вы толкнули меня и не извинились.

— И не думал толкать вас, даже и не видел, что вы тут, — кричал Бирон, — и извиняться мне перед вами нечего! А! Вот как вы теперь!

Я думал, вы раскаялись, я думал, вы оставили ваши преступные замыслы, но, видно, на вас ничего не действует. Видно, меры кротости не для вас! Так не беспокойтесь, вы не найдете себе защитников. Все знают, что вы и ваша супруга называете русских канальями, что вы хотели всех генералов и министров арестовать и побросать в воду. Никто не позволит вам бесчинствовать в России, и если вы думаете, что нас мало, чтоб заступиться за честь русского народа, так погодите, скоро приедет еще новый заступник, родной внук Петра Великого, принц голштинский. Он отучит вас называть русских канальями!

Еще с первых же бешеных слов Бирона все поспешили незаметно выйти из залы, чтобы потом не попасться ему на глаза, чтоб не оказаться во что-нибудь замешанными.

Одна принцесса Анна упала бессильно в кресло да так и осталась, заливаясь слезами.

Принц Антон, бледный и снова трепетавший, стоял перед Бироном. Он хотел говорить, хотел возражать, защищаться, возмущаться этому новому, ничем не вызванному оскорблению, но при бешеной фразе Бирона о

принце голштинском снова растерялся и не мог уже говорить ничего. Бирон наконец излил свою злобу. Он вдруг замолчал и почти выбежал из залы.

Он кинулся к себе в кабинет, заперся и велел никого не впускать.

Теперь он уже сознавал, какую глупость сделал, сознавал, что все это было не нужно, что все это может быть только для него вредно, а это еще больше его раздражало и выводило из терпенья.

Ему захотелось теперь выбежать опять туда, в приемные комнаты, разбранить всех, без исключения, и всех выгнать. Он едва удержался от этого.

Какая-то тоска непонятная, тоска дурного предчувствия захватила его. Неясные, неопределенные, но страшные мысли стучались в голову, так что, наконец, стала кружиться голова. Ему мерещилось что-то длинное, бесформенное, что враги его уже торжествуют, что он пал и над ним издеваются, его с презрением топчут те самые люди, над которыми, несколько минут перед тем, он так издевался, которые казались ему такими ни-

чтожными, такими безвредными. И это сознание, это ощущение было так мучительно, что он все бледнел и трясся, как в лихорадке.

Наконец, он сделал над собою усилие и очнулся.

«Что же это я, с ума схожу? — подумал он. — К чему все это? Что это мне показалось? Какой вздор! Какая бессмыслица! Ведь ничего такого нет и быть не может, и именно теперь быть не может! Я все распутал! Я сильнее, чем когда-либо! Никто со мной не справится: некому!»

Он успокаивал себя, он смеялся над своими большими грезами, а между тем все та же беспричинная тоска, то же тяжелое предчувствие давило его: они оказывались сильнее действительности, бывшей перед его глазами.

Когда Бирон выбежал в бешенстве из залы, принц Антон подошел к жене.

Она остановила свои слезы и взглянула на него страшным взглядом, в котором почудилось ему просто отвращение.

— Что вы опять наделали? — сказала она. — Разве вы не давали мне слова, что бу-

дете вести себя как следует? Что это за наказание!..

Бедный принц заломил в отчаянии руки.

— Ach, mein Gott! Mein Gott![5] — глухим голосом прошептал он. — Это такая жизнь, что остается только покончить как-нибудь с собою! Вы-то чего на меня? Вы думаете, что я что-нибудь сделал, что я сказал ему хоть одно слово? Ровно ничего. Он же толкнул меня. Я даже и за шпагу-то схватился вовсе не для того, чтобы пригрозить ему, так схватился. Да и, наконец, разве возможно выносить подобные оскорбления? Я не могу! Я не могу!..

Невольные, мучительные слезы показались на глазах принца.

Он был действительно жалок в эту минуту.

— Успокойтесь, принц! — раздался над ними тихий голос.

Они взглянули. Возле них стояла высокая фигура фельдмаршала Миниха.

— Ах! Теперь вовсе не до утешений! — раздражительно махнул рукою принц Антон. — Хорошо вам говорить «успокойтесь» — вас никто не оскорбляет! Да и с чего вы нас уте-

шать вздумали? Сами делали его регентом, сами хотели нашего унижения! Принцесса! — обратился он к жене. — Я не могу здесь больше оставаться, я уезжаю.

— И я тоже! — прошептала она.

Но он ее не слушал, он быстро уходил.

Она поднялась, чтобы идти за ним.

— Погодите! — сказал ей Миних. — Принц раздражен, принц ничего понять не хочет, я не могу говорить с ним. К тому же я хочу именно говорить с вами. Я понимаю, что дела не могут оставаться в таком виде. Нужно предпринять что-нибудь решительное. Положитесь на меня! Теперь, конечно, здесь рассуждать невозможно, могут услышать, помешать нам. Вообще не надо показывать вида, что между нами есть что-нибудь общее. Завтра я буду у вас, принцесса. Потерпите несколько часов, успокойтесь! Я вам ручаюсь, что у меня есть средство помочь вам, и я помогу! Вот вам мое слово — слово солдата, на которое вы можете положиться.

Анна Леопольдовна взглянула на фельд-маршала.

Он говорил так серьезно. В его лице выра-

жалось столько искренности! Она была так несчастна, ей так нужно было получить хоть какую-нибудь надежду, хоть кому-нибудь довериться, и она доверилась Миниху. Крепко сжала она его руку и поспешила вслед за мужем.

Миних огляделся, никого нет.

Но он не заметил, что в то время, как он доканчивал свою фразу и как Анна Леопольдовна жала его руку, на пороге залы показалась цесаревна Елизавета.

Она остановилась в дверях, постояла несколько секунд и скрылась.

«А, — подумала она, — значит, дело уже началось. Так вот кто дельцом оказывается: старый фельдмаршал! Что же, он хорошо все обделает, он на это мастер! Пожалуй, что он единственный человек, которому бы я доверилась, если бы он пришел ко мне. Но не ко мне он пришел! Он забыл о моем существовании даже! Он забыл... но я этого не забуду! Когда-нибудь он, может быть, раскается, что позабыл обо мне, а теперь пусть возводит брауншвейгских, хорошо, так лучше! Все делается к лучшему! Да, к лучшему! Значит, вот я

теперь скоро освобожусь и от этого!..»

Она взглянула на входившего и, очевидно, направлявшегося к ней принца курляндского, Петра.

«Невыносимо, да и опасно было бы долго тянуть эту комедию. Фельдмаршал, хоть вы и позабыли обо мне, но все же огромную услугу мне оказываете!»

Петр Бирон был уже возле нее.

Он весь вечер этот, по приказанию отца, ухаживал за нею.

Она сделала все, чтобы быть с ним любезной, но многого это ей стоило.

Она знала, сколько пристальных и насмешливых глаз глядит на нее. Она знала, что многие отлично понимают истинный смысл этих любезных разговоров позабытой, принужденной цесаревны с шестнадцатилетним сыном регента и, наверное, многие воображают, что это она сама задумала такое дело и, во всяком случае, рада этому.

Действительно, все заметили ухаживания принца Петра.

Маркиз де ла Шетарди многозначительно шепнул Нолькену:

— Посмотрите, кажется, принцесса Елизавета нас с вами уже находит слишком старыми людьми, она отдает предпочтение этому юноше.

— Нет, она слишком умна для этого, — ответил Нолькен, — она очень умна и гораздо хитрее, чем я думал сначала! Наверно, она ведет ловкую игру, только жаль, что нас не принимают в игру эту.

Бессмысленный вечер Бирона совершенно расстроился.

Сам он не выходил больше из кабинета, да и герцогиня курляндская громко сказала, что у нее очень болит голова сегодня.

Через полчаса все гости уже разъехались с темным сознанием какой-то приближающейся катастрофы. Кто был повнимательнее и ясно видел, те думали:

«Если он сам не знает, что делает, если его поступками начинает руководить одно какое-то безумие, значит, скоро конец ему!» И все радовались этому скорому концу и только рассчитывали теперь свои собственные шансы.

Мало-помалу Летний дворец погрузился в

тишину. По опустевшим темным залам бродила только какая-то тень. Эта тень была «девка дура арапка», которой не спалось.

Она переходила из комнаты в комнату, останавливалась перед зеркалами, всматривалась в свое черное, едва освещенное лунным светом лицо, делала себе самой ужасные гримасы и по временам хохотала. И ей что-то не по себе было весь этот вечер, — может быть, и она предчувствовала близкую бурю.

IX

На следующее утро Анна Леопольдовна проснулась довольно рано и даже решилась одеться. Она с нетерпением и замиранием сердца ждала Миниха.

Чем больше думала она о своем положении, тем оно представлялось ей безнадежнее, и, кажется, не будь с ней Юлианы, всегда умевшей вовремя поддержать ее, она дошла бы до отчаяния.

Принц, не спавший всю ночь и не имевший никакой поддержки, уже давно дошел до отчаяния.

Он рано утром хотел было съездить к Остерману, посоветоваться с ним, даже велел

заложить себе экипаж, но сейчас же и раздумал. Ему страшно было теперь выехать из дворца — все казалось, вот, вот возьмут и арестуют, и при всем народе!

Он направился было в комнаты жены потолковать с нею, но она его не впустила. Тогда он снова вернулся в свой кабинет, заперся, стал думать, думать — и мысли приходили ему все такие страшные, такие печальные, что, наконец, он не выдержал и всплакнул.

Он уже не думал о свержении Бирона, не желал для себя ничего, ему хотелось только как бы нибудь вырваться отсюда, уехать обратно к себе домой и вздохнуть на свободе.

И если б ему сказали теперь, что его ожидает только одно изгнание, он бы положительно обрадовался. «Но нет! Нет, не выпустит он меня! — отчаянно думал бедный принц. — Что ж он выдумает? Что он с нами сделает?»

А в это время у подъезда Зимнего дворца остановилась карета фельдмаршала. За этой каретой была и другая, в ней сидело несколько человек кадет.

Миних и кадеты были немедленно допу-

цены к Анне Леопольдовне.

Миних представил кадет принцессе.

— Вы хотели выбрать себе пажей, ваше высочество, — сказал он, — так вот соблаговолите взглянуть на этих юношей; может быть, кто-нибудь из них и удостоится чести служить вам.

Принцесса подняла глаза на мальчиков.

Все они были, как на подбор, красивые, прекрасно сложенные, с живыми глазами и здоровым румянцем на щеках.

Анна Леопольдовна на мгновение задумалась:

«Но разве не насмешка это? Ей приводят выбирать пажей, а завтра, быть может, ее самое с позором выгонят из дворца этого!»

И более чем когда-либо ей показалась страшною мысль удалиться отсюда, от всего блеска, который ее окружает.

Вдруг ей, постоянно убегавшей от блеска и общества, страстно захотелось видеть себя на первом месте, окруженною блестящей свитой. Ведь она имеет на это право!

Все так и должно быть! Неужели нет никакой возможности уничтожить ее злодеев?

Вчера Миних говорил с таким участием и прямо выразил, что может помочь ей. А если в самом деле поможет? Что-то он будет ей говорить? Чем кончится это свидание? Вот он теперь воспользовался предложением представления этих кадет, чтоб быть у ней, чтоб говорить с ней! О! Дай Бог, чтоб все хорошо кончилось! Надо спасти себя, надо непременно, тем более что еще сегодня утром Юлиана Менгден принесла ей известие о том, что письмо ее к Линару вручено надежному человеку и наверное в скором времени будет доставлено по назначению. Линар приедет! Новая жизнь начнется... Да!.. Она начнется — она должна начаться!

И Анна Леопольдовна, за несколько минут совсем убитая и растерянная, вдруг вся, с молодым порывом, отдалась надежде. Она еще раз и уже ясными, живыми глазами взглянула на кадет.

— Кого же мне выбрать? Я не знаю! — любезно улыбнулась она, обращаясь к Миниху. — Такие милые дети — мне их всех хотелось бы при себе оставить. Но их много, нельзя. Право, все мне нравятся. По-моему, нет

между ними худших и лучших, так что остается кинуть жребий. Юлиана! — крикнула она в соседнюю комнату.

Юлиана сейчас же явилась.

— Принеси, пожалуйста, платок, моя милая, — сказала принцесса, — да нарежь семь бумажек. На четырех из них напиши «паж», а три оставь пустыми.

Юлиана вышла исполнить приказание принцессы.

Анна Леопольдовна любезно обратилась к кадетам, стала их расспрашивать о том, кто они? Откуда? Сколько им лет?

Кадеты, вытянувшись в струнку, почти-тельно отвечали. Каждый из них с ужасом думал о том, что вдруг он вынет пустую бумажку, каждому так хотелось быть пажом у этой милой, молодой принцессы.

Но вот и бумажки готовы. Они скручены в трубочки, положены в платок, перемешаны.

Принцесса взяла своей маленькой белой рукой платок за четыре уголка, встряхнула его и приказала кадетам подходить одному за другим.

Подошел первый кадет, вынул бумажку,

дрожащими руками развернул ее. Она была пустая.

Неудержимые слезы показались на глазах бедного мальчика.

Принцесса ласково потрепала его по плечу и сказала:

— Очень жалею, мой милый, но такова судьба! Больше четырех пажей мне теперь выбрать невозможно. Если б могла, конечно, всех вас при себе бы оставила.

Мальчик, едва удерживая рыдания, отошел в сторону. За ним еще более трепетно пошел другой. Этот вынул бумажку со словом «паж» и весь расцвел.

Принцесса протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.

Затем сразу вышли две пустых бумажки; остальные уж и брать не приходилось.

Анна Леопольдовна всем протягивала руку; новые пажи ее целовали.

— Фельдмаршал, — обратилась она к Миниху, — будьте так добры, распорядитесь, чтоб этих милых детей хорошенько угостили, прежде чем они отправятся обратно. А сами ко мне вернитесь.

Миних увел мальчиков и через несколько минут вернулся.

— Теперь, ваше высочество, — прямо начал он, — мы можем без помехи говорить с вами, и я очень рад, что вы одни. Я хорошо понимаю ваше положение. Я вижу, как вы страдаете, и нахожу, что теперь именно пришло время приступить к чему-нибудь решительному.

Надежда, мелькнувшая было перед Анной Леопольдовной, снова исчезла.

«Приступить к чему-нибудь решительному! Что это значит?» — подумала она.

— То есть на что же мне нужно решиться, граф? — вопросительно взглянула она на Миниха. — Решаться не на что! Мы до такой степени окружены шпионами, каждый наш шаг известен! Все нам преданные люди уже схвачены!..

Миних улыбнулся.

— Это показывает только, что следует действовать осторожно, а не так, как до сих пор действовал принц. Да! Нужно действовать осторожно и решительно.

Анна Леопольдовна вздрогнула. Ей уж

представилось, что Миних вовлек ее в новый заговор, что этот заговор, конечно, сейчас же будет открыт Бироном. Ей мерещилась уж даже не просто ссылка, а пытка и Бог знает что!

— Нут, нет, граф! — торопливо перебила она. — Я не хочу ничего. Я ни о чем не мечтаю. Регент желает нас уничтожить, удалить отсюда, ну что ж! Я согласна. Я уеду и от всего откажусь... Но мне только одно нужно, чтоб меня не разлучали с сыном, чтоб мне позволили увезти его с собой. Больше мне, право, ничего не нужно!..

Миних продолжал чуть заметно улыбаться.

— Граф, вы имеете влияние на регента, ради Бога, уговорите его, чтоб он позволил мне взять с собою сына...

— Не стану я его уговаривать, принцесса, — отвечал Миних, — и я вовсе не затем сюда приехал, чтоб слышать от вас такие слова. Как! Вы хотите всем пожертвовать? Хотите пожертвовать собою и даже вашим сыном, императором? Бог с вами, принцесса, разве это возможно? Нет! Перед вами открывается самая лучшая будущность! Я явился к вам для

того, чтоб сказать вам, что пришло время действовать и что я готов служить вам всеми моими силами. Вы говорите, что Бирон хочет вас уничтожить; может быть, это и правда! Даже больше — я должен вам прямо сказать, что это правда. Я знаю, что он очень желает вашего удаления, ну так и с ним нечего церемониться. Мы его уничтожим прежде, чем он успеет оглянуться; скажите мне только слово, разрешите действовать, и я надеюсь, все будет хорошо кончено!

Принцесса, услышав эти слова, так испугалась, как будто бы Миних объявил ей о том, что вот сейчас должны явиться и схватить ее и запереть в крепость. Она была в эти последние дни так напугана Бироном, она так привыкла верить в его всемогущество. Она не могла представить себе, что этот человек может быть уничтожен — и кем же? Ею!

Еще сейчас она себе повторяла, что нужно освободиться, она мечтала о новой жизни, и вот, когда ей предлагают эту жизнь, она вся трясется от страха.

Потом еще одна страшная мысль приходит ей в голову: а ну как Миних только играет

роль преданного ей человека! Ну как он просто-напросто подослан самим Бироном и теперь вот пойдет и донесет ему, что она задумывает новый заговор, что она желает его свергнуть?!

— Нет! Нет, граф! — отчаянно повторила она. — Я ни о чем не думаю, я ничего не желаю замыслить, а просто страдаю от оскорблений, которые меня заставляют выносить. Я просто хочу уйти от этой невыносимой жизни, вздохнуть спокойно. Мне ничего не нужно, только бы мне оставили сына и позволили с ним уехать куда-нибудь подальше.

Миних пожал плечами.

— Вы не можете желать только этого! Вы не имеете, наконец, права перед всей Россией! От Бирона страдаете не вы одни: все от него страдают! Нужно же с этим покончить! Нужно от него избавиться.

— Я не знаю, — прошептала принцесса, — регент нас ненавидит, но, может быть, он незаменимый человек для государства! И, должно быть, так! Вы же, граф, и способствовали его утверждению регентом.

Лицо Миниха оживилось.

Он наконец понял, в чем дело.

— А! Вы не верите моей искренности, ваше высочество! Вы меня сейчас упрекнули в том, что я способствовал утверждению Бирона регентом, да, я этому способствовал! Я не скрываюсь, да и нельзя мне скрываться, но не стану я скрывать и причину, заставившую меня это сделать. Если я старался о регентстве Бирона, то только для того, чтобы побудить покойную императрицу назначить себе преемника. Иначе же, поверьте, преемник престола не был бы назначен, Бирон не допустил бы этого. Императрица умерла бы без завещания, и представьте себе, в какое ужасное положение была бы поставлена Россия? Были бы страшные беды, да и вы страдали бы не меньше, а, наверно, больше, чем теперь, и не было бы исхода из этого положения.

Анна Леопольдовна внимательно слушала.

Миних говорил с все возрастающим жаром и, наконец, добился того, что совершенно убедил ее. Она поверила его искренности.

— Я верю вам, верю, граф, — сказала она, протягивая ему руку, — и, надеюсь, вы мне простите мое сомнение. Войдите и в мое по-

ложение: ведь просто не знаешь, кому верить, кого бояться. Со всех сторон враги, недоброжелатели! Но теперь я вам верю и знаю, что только на одного вас я и могу положиться. Вы только один и в состоянии спасти меня! Но я не могу, я не смею требовать от вас этого спасения: спасая меня, вы слишком многим сами рискуете. Мне за вас страшно.

— За меня не бойтесь, — возразил Миних, — я знаю, что делаю. Я приехал только за вашим согласием, и если вы мне его даете, то я прошу вас успокоиться. Мне надо только несколько часов все лучше обдумать. Я надеюсь одержать новую победу — и на этот раз без всякой крови! Только прошу я вас: не говорите ничего принцу. Я очень рад, что не застал его здесь; принц слишком неосторожен, и я боюсь, что он, пожалуй, замешает в это дело Остермана. А теперь вся остермановская хитрость нам ничем не поможет, только повредит. Он будет медлить, он будет раздумывать, тогда как медлить и раздумывать невозможно. Да и наконец... наконец, я за Остермана не отвечаю, и я сомневаюсь даже, чтобы этот человек был искренне расположен к

вам, принцесса! Если его руками будет свержен Бирон, то правителем окажется принц, а я, говоря откровенно, желаю одного: я желаю сделать вас правительницей, принцесса!..

Снова светлая надежда охватила Анну Леопольдовну. Она восторженно глядела на Миниха. Этот решительный, самоуверенный человек теперь казался ей действительно всемогущим.

Он так говорил, что слушая его, нельзя было ему не верить. Он, очевидно, знает, что делает, и все, что говорит он про Остермана, про принца, совершенно справедливо. Если б точно был уничтожен Бирон и правителем объявлен принц Антон, то принцессе тоже хорошего ожидать нечего: в последнее время ее отношения к мужу совершенно испортились. Нет! Уж если будет такое счастье, что избавятся они от лютого своего врага, то нужно о себе думать и себе все устроить!

— Благодарю вас! — со слезами на глазах прошептала Анна Леопольдовна, крепко сжимая руку Миниха. — Благодарю вас! Я ни слова не скажу мужу. Я полагаюсь только на вас одного. Но Боже мой! Если вам предстоит

опасность, если вы не совсем уверены в успехе, оставьте это дело!

— Завтра утром я скажу вам мое последнее решение, — отвечал Миних, вставая, — а теперь до свидания, принцесса, прошу — успокойтесь и ободритесь, — только с бодрым духом и можно что-нибудь сделать, а страх только погубит!

Миних вышел, и вслед за ним появилась Юлиана Менгден. Она все время стояла тут, в двух шагах, за портьерой и слышала весь разговор. И Анна Леопольдовна знала, что она его слышит, и ничего против этого не имела: все равно она не могла бы скрываться от Юлианы.

Она бросилась на шею своему другу и зарыдала. Это был даже какой-то истерический припадок, так что Юлиана долго не могла ее успокоить. Но вот, наконец, слезы остановились. Принцесса откинулась головою на спинку кресла и обратилась к Юлиане, не выпуская руки ее:

— Ну, скажи мне, что ты об этом думаешь? Должна ли я на него положиться? Сделает ли он то, что обещает?

— Я думаю, — сказала Юлиана, — что если на кого-нибудь полагаться, то именно на него. И у меня еще сегодня с утра какое-то хорошее предчувствие; я уверена, что все устроится самым лучшим образом.

— Да? Ты уверена? У тебя предчувствие? — радовалась принцесса.

И это хорошее предчувствие Юлианы ее ободряло даже гораздо больше, чем все слова Миниха.

Они стали рассуждать о том, что будет, когда они свергнут Бирона и когда придет Линар.

Но долго говорить о Линаре им не удалось: принц Антон не вынес наконец своего одиночества и почти вбежал в комнату. Он очень изумился, застав жену и Юлиану с радостными, оживленными лицами; они, очевидно, даже только что смеялись.

— Есть время смеяться и радоваться! — мрачно сказал принц. — Тут вот, того и жди, нас всех арестуют, а вы смеетесь!

— Конечно, вы делаете все возможное для того, чтобы нас арестовали, — заметила ему принцесса, — но Бог даст, и не арестуют. Да и

если б даже арестовали, так неужели так же трусить, как вы трусите? Знаете ли, что я еще никогда в жизни не встречала такого труса!

Лицо принца вспыхнуло, но он тщетно искал слов, чтобы ответить на эту обиду. Он сам в последнее время сознавал себя ужасным трусом. Он только недружелюбно взглянул на жену и опять вышел из комнаты.

Вслед ему раздался смех Анны Леопольдовны.

— Видишь, — сказала она, обращаясь к Юлиане, — и я умею кое-что устраивать, когда надо. Ты-то пока еще думала, как нам от него отделаться, а я сказала одно слово, и он выбежал, как ужаленный. Ну, теперь не вернется, мы можем говорить без помехи.

И они снова начали передавать друг другу все свои планы и надежды, и снова имя Линара постоянно повторялось в их речи.

Х

На безоблачном, бледно-голубом, с легким розоватым оттенком небе, в слабом морозном тумане вышло солнце, и оживились петербургские улицы. Недавно выпавший снег, скрепленный первым морозом, ярко

блестел и переливался радужными цветами. В почти безветренном воздухе прямыми белыми столбами поднимался дым из труб. Петербургский люд весело приветствовал ясный зимний денек и как-то оживленнее спешил по улицам.

И никто не знал и не догадывался, что этот ясный денек задался не даром, что он готовит большое событие. Не догадывались об этом даже и те, кто давно уже ожидал этого события...

Регент Российской империи, герцог курляндский Бирон, вышел в дорогой собольей шубе на крыльцо Летнего дворца, вдохнул полной грудью свежий чистый воздух и весело огляделся.

Перед ним в почтительной неподвижности стоял караул гвардейский; его окружала многочисленная свита, ловящая каждое его слово, каждое движение. Прямо в его глаза заглядывало зимнее солнце и смеялось и искрилось.

Герцог обернулся.

За ним стоял принц Антон Брауншвейгский.

Если б принц Антон знал, о чем в эту минуту идет разговор между его женою и фельд-маршалом Минихом в Зимнем дворце, он не ответил бы, конечно, такой почтительной улыбкой на взгляд регента. Но он ничего не знал: принцесса ему не сказала и только как-то странно улыбнулась, когда он объявил ей, что отправляется к регенту и намерен всячески постараться сойтись с ним снова.

— Не уезжайте, принц, зайдите в манеж, я вам покажу моего нового жеребца — удивительное животное! — сказал довольно любезно Бирон.

— С большим удовольствием, — ответил принц Антон. — Вы знаете, что лошади, особенно такие лошади, каких вы умеете выбирать себе, это моя слабость.

Бедный принц уже окончательно начинал льстить регенту. Он знал, что только этим способом и можно смирить его.

И действительно, Бирон еще любезнее улыбнулся.

— Да, лошади... лошади, — проговорил он, — это благородная слабость.

И он, весело жмурясь от яркого солнца, по-

спешил в манеж, взяв руку принца Антона.

Вся свита почтительно за ними последовала.

Знаменитый жеребец был выведен и подробно осмотрен.

Регент снял с себя шубу, привычным легким движением вскочил на нервно дрожащего коня и проехался по манежу.

На него действительно можно было любоваться в эти минуты: так он держался на лошади. Все присутствовавшие усиленно громко восхищались и конем и наездником.

Бирон начинал увлекаться своей любимой забавой. Он пускал лошадь галопом и вдруг осаживал ее на всем скаку, заставлял ее ходить мерным шагом, описывал по манежу удивительные круги, грациозно выделял цифры и буквы, как конькобежец на льду. Его глаза разгорались, на бледных щеках выступил румянец, он радостно кивал головою на шумные фразы восхищения, раздававшиеся после каждого удачного его фокуса. Ему было хорошо, весело, привольно.

Но вдруг глаза его потухли, со щек исчез румянец. Что же такое случилось? Или конь

неловко оступился? Или в великолепном коне этом герцог заметил какой-нибудь недостаток? Нет! Конь держал себя безукоризненно, и чистота его породы была вне всякого сомнения. Что ж? Или между окружающими, между этими восхищающимися зрителями герцог заметил какое-нибудь подозрительное лицо, уловил чей-нибудь недружелюбный взгляд, чье-нибудь непочтительное слово? Нет! Зрители все до одного были прекрасными актерами, все до одного изображали собою воплощение восторга и благоговения.

Просто какая-то неясная мысль мелькнула в голове регента, и даже не мысль, а что-то совсем неуловимое, какое-то странное, непонятное ощущение. Это ощущение в последние дни все чаще и чаще начинало преследовать Бирона. Оно являлось внезапно, среди самых веселых мыслей и мигом разгоняло эти мысли, мигом наполняло всю душу каким-то мучительным страхом ожидания чего-то ужасного и неминуемого.

Бирон остановил коня и спрыгнул на землю.

Его встретили самые вычурные фразы по-

хвал и удивления, но он уже слушал их рассеянно и долго не мог прийти в себя, долго не мог избавиться от непонятного мучительного чувства.

Вот уже раздражение послышалось в голосе: он всегда кончал раздражением в подобные минуты.

Принц Антон, видя, что регент снова в дурном настроении духа, поспешил откланяться и уехал к себе, боясь какой-нибудь неприятной сцены.

Из манежа Бирон отправился прямо во дворец и не выходил до обеда.

К обеду приехали между прочими Левенвольде и фельдмаршал Миних.

Миних, по своему обычаю, был любезен и весел, с чувством целовал руки у герцогини курляндской и говорил комплименты ее дочери Гедвиге.

К регенту он относился также с необыкновенной почтительностью, и, глядя, на него, каждый, конечно, признал бы в нем самого преданного, неизменного друга этого семейства. А между тем ловкий и смелый план уже окончательно созрел в голове фельдмаршала.

Улыбаясь и любезничая, почтительно, дружеским тоном беседуя с Бироном, он знал, что пройдет еще несколько часов — и этот самый Бирон будет в руках его. Он еще утром окончательно приготовил принцессу Анну Леопольдовну: прямо объявил ей, что в нынешнюю ночь намерен схватить Бирона.

Сначала принцесса начала, как и вчера, отказываться, говорила, что не может допустить, чтобы Миних ради нее жертвовал своей жизнью и всем своим семейством. Советовала ему, по крайней мере, хоть стовориться с другими, с Левенвольде, например.

Но Миних отвечал ей, что она обещала положиться на него одного, что он никого не хочет вовлекать в опасность и намерен сам, один сделать все дело.

Анне Леопольдовне уже нечего было возражать ему, и она со слезами на глазах стала восхищаться его великодушием и смелостью.

— Ну, хорошо, — сказала она на прощанье, — только, ради Бога, делайте поскорей. Если б вы знали, как я волнуюсь!..

— Медлить не буду, — отвечал Миних, — да и нельзя мне медлить: мой Преображен-

ский полк завтра сменится по караулам, тогда будет труднее.

И вот он отправился обедать к Бирону и теперь чувствовал даже какое-то раздражающее наслаждение в том, что вот он сидит посреди них, со своей заветной тайной, которую не открыл никому, даже родному сыну, что они все смотрят на него как на своего человека...

«Если б он знал, — думал Миних, поглядывая на регента, — если б он знал, что у меня в мыслях и что должно совершиться сегодня, он немедленно бы велел схватить меня, и я бы тогда не вырвался из когтей его. Но он не знает и не узнает».

И фельдмаршал наслаждался все больше и больше.

Обед шел довольно вяло. Хозяин был все сумрачен, а хозяйка и никогда не отличалась разговорчивостью и любезностью. Беседу поддерживал опять-таки Миних, постоянно шутивший с Гедвигой.

Но вот одна фраза неожиданно поразила Миниха и заставила его вздрогнуть.

Левенвольде вдруг, ни с того ни с сего, об-

ратился к нему и сказал:

— А что, граф, я давно хотел спросить вас: во время ваших походов вы никогда ничего не предпринимали важного ночью?

«Что это такое? — быстро мелькнуло в голове Миниха. — Что это значит? Неужели он знает что-нибудь? Неужели подозревает? Откуда же?.. Сегодня утром принцесса советовала мне обратиться к нему, а теперь вот он задает мне такой вопрос... Может быть, она с ним виделась! Может быть, что-нибудь сказала! Но, в таком случае, ведь это ужасно! Ведь он все может испортить!»

А между тем нужно было ответить, нужно было совладать с собой и успокоиться, иначе Бирон заметит. Весь успех дела висит на волоске.

Какое-нибудь неосторожное движение, ничтожное слово — и все пропало!

Но Миних умел владеть собой. Через секунду его волнения как не бывало. Он спокойно взглянул на Левенвольде и отвечал:

— Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-либо чрезвычайное ночью, но мое правило — пользоваться всяким благо-

приятным случаем.

Левенвольде замолчал, и разговор на том кончился.

А мрачное настроение Бирона все продолжалось. Он встал из-за стола рассеянный и молчаливый. Он несколько раз не ответил на обращенные к нему вопросы: очевидно, со всем их не слышал!

Это заметили все, даже его жена.

— Что с вами? — обратилась она к нему.

— Ничего! Мне что-то не по себе, — рассеянно ответил он.

— В таком случае ведь нужно посоветоваться с доктором, — заметил Миних.

— Нет, не нужно, я не болен, может быть, устал сегодня в манеже: много ездил!

С этими словами Бирон направился в свои покои.

Но он еще обернулся на пороге и сказал Миниху:

— Приезжайте, граф, вечером: много дел скопляется, поговорить нужно.

Миних сказал, что приедет, а сам подумал, что в таком случае исполнение его плана запоздает часа на два.

«Но больше чем на два часа ты от меня не ускользнешь», — закончил он свою мысль.

Скоро во дворце стало темно: все разъехались.

Бирон не выходил из кабинета. Он то принимался читать лежащие на его письменном столе бумаги, то бросал их и нервно ходил по комнате. Тоска давила его все больше и больше и, наконец, дошла до того, что он почувствовал себя самым несчастным человеком и не знал, отчего так несчастлив, не знал, что такое творится с ним. Что это: болезнь приближается страшная или беда подходит?

Но он не в силах был решать эти вопросы, он просто наконец перестал думать. Мысли путались, находило полузабытье какое-то странное.

В этом полузабытьи он встретил вернувшегося по его зову Миниха. Он пробовал говорить с ним о делах, но фельдмаршал с изумлением замечал в нем необыкновенную рассеянность.

Вслед за отъездом Миниха Бирону подали какой-то пакет с надписью по-немецки. Он развернул его и прочел.

Это было письмо от Липмана, банкира-еврея, который когда-то ссужал Бирона деньгами и которому в последние годы герцог курляндский сильно протезировал.

Липман извещал его светлость, что затевается нечто недоброе, что герцогу необходимо принять меры. Просил его назначить ему аудиенцию, говорил, что он явится с другим своим товарищем, Биленбахом, и на словах передадут все, что знают...

Бирон прочел это письмо и даже его не понял. Перечел еще раз.

«Что такое? — подумал он. — Нужно послать за ними сейчас же! Нужно узнать!»

Рука его уже протянулась к колокольчику, но он не позвонил. Письмо упало на ковер. Герцог опустил голову на руки и забылся.

А в это время Миних, вернувшись к себе, велел позвать своего первого адъютанта, подполковника Манштейна.

Манштейн застал фельдмаршала в туфлях и халате, совсем готовым идти в спальню.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил он.

— Вот что, мой милый, — спросил Ми-

них. — Никуда не уезжайте, останьтесь эту ночь у меня, вы мне понадобится очень рано. Я велю вам приготовить постель, ложитесь сейчас и постарайтесь скорее заснуть; я вас разбуду, когда надо будет.

Манштейн изумленно взглянул на фельдмаршала, но тот так ничего и не пояснил ему и пошел в спальню...

Миних снял с себя халат и туфли, лег на постель, прикрылся одеялом и стал думать.

Ему казалось, что он лежит в походной палатке, что через несколько часов ему предстоит генеральное сражение, что перед ним неприятельская армия, которую победить нужно.

И, действительно, он готовился к генеральному сражению, но ему предстояла битва, непохожая на те, в которых он одерживал свои блестящие победы, ему предстояла битва один на один с могущественным неприятелем, битва не при громе пушек, а в глубокой тишине морозной зимней ночи. От этой битвы зависела не только судьба его, но даже судьба целого Русского государства.

Но мысли начинают путаться, берет дре-

мота, глаза сами собою смыкаются.

Миних вскочил с постели, снова надел халат и туфли и начал ходить по комнате.

«Нет, этак заснешь!» — думал он. Взглянул на часы: уже скоро два часа. Он снова снял халат и начал одеваться. Вот он уж готов. Он кликнул своего камердинера, велел поскорее заложить карету, да тихо, не будить никого, и чтоб кучер дожидался во дворе.

Камердинер вышел, а Миних отправился будить Манштейна.

Манштейн сладко спал, забывши все любопытство, возбужденное в нем непонятным поступком фельдмаршала. Но вот он проснулся, протер глаза и увидел перед собою Миниха в полной парадной преображенской форме.

— Одевайтесь скорее, — сказал Миних. — Нам пора ехать.

— Куда ехать? — спросил Манштейн.

— В Зимний дворец, а оттуда в Летний!

Глаза Манштейна широко раскрылись: он начинал понимать, в чем дело.

— Я думаю, что могу на вас положиться, — проговорил фельдмаршал, протягивая ему ру-

ку. — Ведь вы готовы идти со мною?

— Еще бы! — с нервной дрожью сказал Манштейн. — Куда угодно, на какие угодно опасности.

— Вы понимаете, в чем дело?

— Понимаю, ваше сиятельство! Вы можете на меня положиться.

— Благодарю вас. Впрочем, я и так в вас уверен.

Через несколько минут с заднего двора дома Миниха выехала карета и быстро помчалась по направлению к Зимнему дворцу.

На петербургских улицах стояла глубокая тишина: все спало мертвым сном, только кое-где за воротами лаяли собаки, только, покачиваясь со стороны на сторону, разводя руками и о чем-то рассуждая сама с собою, через улицу плелась жалкая, отрепанная фигура пьяного мастерового.

Быстро мчавшаяся карета чуть было не наехала на эту фигуру. Пьяный мастеровой, однако, вовремя отшатнулся, повалился на снег и долго бессмысленно глядел на удалявшуюся карету. Он не понимал, что это такое промчалось, да и где же ему было понять? Если б не

только пьяный мастеровой, но и весь Петербург проснулся и увидел эту карету, то и тогда бы никто не понял, как много она значит.

Эта карета приснилась только метавшемуся в тревожном сне регенту Российской империи, да и то приснилась в виде чего-то огромного, бесформенного, ужасного, несущегося на него со сверхъестественной силой и готового раздавить его.

XI

Карета объехала Зимний дворец кругом и остановилась у заднего подъезда. Здесь было все пусто; только сторож дремал, закутавшись в тулуп. Он даже не слышал, как подъехала карета, и не окликнул входивших на крыльцо Миниха и Манштейна.

Они поднялись по темной лестнице, отворили какую-то дверь.

— Кто там? — услышали они из соседней комнаты, но ничего не отвечали. К ним вышла заспанная служанка и, увидя их, вскрикнула.

— Не кричи! Не кричи! — сказал Миних. — Ничего не случилось! Поди поскорей и разбуди фрейлину, госпожу Менгден.

— Да как же вы прошли? Ведь здесь... здесь гардеробная принцессы! — шептала изумленная и испуганная служанка.

— Поди и разбуди госпожу Менгден! — строго повторил Миних.

Служанка удалилась, не смея ослушаться генерала.

Юлиана не заставила себя долго ждать.

Она появилась в пеньюаре, непричесанная, но с блестящими, вовсе не заспанными глазами.

Она, очевидно, еще не ложилась и дожидалась.

— Ну что... что? — обратилась она к Миниху. — Ведь ничего дурного? Нет?

— Ничего дурного. Надо разбудить принцессу, мне необходимо увидеться с нею, я буду дожидаться здесь...

— Хорошо, сейчас!

Юлиана быстро скрылась.

Не прошло и пяти минут, как она вернулась снова и пригласила Миниха следовать за нею.

Манштейн остался в гардеробной.

Миних прошел две комнаты и увидел пе-

ред собою принцессу.

Маленькая лампочка тускло освещала большую комнату; но все же и в этом полумраке можно было заметить, как бледна и как трепещет Анна Леопольдовна.

— Неужели вы решились? Неужели сейчас все должно быть? — дрожащим голосом спросила она, подавая руку Миниху.

— Да, сейчас, сейчас — или никогда! — твердо проговорил он. — Теперь отступить невозможно. Вы должны решиться, перестать колебаться, перестать бояться: все благополучно кончится, даю вам в этом слово.

— Я решилась, — прошептала принцесса. — Чего же вы от меня требуете?

— Надо объявить офицерам и солдатам, а затем необходимо, чтобы вы ехали со мною в Летний дворец. Моя карета здесь дожидается.

— Мне... с вами ехать? — в ужасе всплеснула руками Анна Леопольдовна. — Нет, граф, ни за что! Делайте, что хотите, но я... я не поеду! Это выше сил моих!

Краска раздражения вспыхнула на щеках Миниха, но он удержался.

— Хорошо... пожалуй... и без этого обойтись можно. Только здесь-то, перед офицерами, вы должны выказать твердость. Обещаетесь ли вы мне в этом?

— Да, обещаюсь! — сказала Анна Леопольдовна, прислонившись к спинке высокого кресла. Ее ноги дрожали.

Миних вышел к Манштейну и приказал ему позвать к принцессе, этим же задним ходом, всех караульных офицеров.

Сделав это распоряжение, он снова вернулся к Анне Леопольдовне и всячески старался ободрить ее.

Когда офицеры, изумленные и еще не понимавшие, в чем дело, показались на пороге комнаты, принцесса совершенно овладела собой.

Она сделала несколько шагов вперед и грациозно поклонилась вошедшим.

— Я призвала вас, господа, — обратилась она к ним дрогнувшим, но громким голосом, — чтобы просить вашей помощи. Вы знаете мое расположение ко всем вам, ко всей войску. Я, кажется, никогда не подавала вам повода быть недовольными мною?

— Конечно, ваше высочество, — разом сказали офицеры. — И ради вас мы всегда готовы жертвовать нашей жизнью.

— Благодарю вас! — продолжала принцесса. — Так вот, видите, я и решаюсь требовать от вас жертвы! С самой минуты кончины императрицы я не знаю покоя. Меня, моего мужа и моего сына-императора преследует регент. Он хочет удалить нас из России. Он хочет совершенно завладеть всем. Он осыпает обидами и оскорблениями, он обращается со мною не как с матерью императора. Мне нельзя, мне стыдно даже сносить эти обиды. Я долго терпела, но наконец решилась его арестовать и поручила это фельдмаршалу Миниху. Надеюсь, что вы будете повиноваться своему генералу и помогать ему исполнить мое поручение.

Офицеры выслушали эти слова с очевидною радостью.

— Матушка! Ваше высочество! Давно мы все этого желаем, и вы несказанно обрадовали нас вашими словами. Исполним вашу волю, хотя бы пришлось положить жизнь свою!

— Благодарю вас! — прошептала растро-

ганная принцесса и протянула к ним руки.

Они кинулись целовать эти протянутые руки, а Анна Леопольдовна каждого из них целовала в лоб.

Но тут твердость ей изменила. Она бессознательно опустилась в кресло и едва слышно сказала Миниху:

— Ступайте! Да хранит вас Бог!

Миних подал знак офицерам — и они все вышли.

Сошедши с фельдмаршалом вниз, офицеры тотчас кинулись к караульным солдатам, поставили их под ружье.

Перед солдатами показался Миних, и, прежде чем они его узнали в ночном сумраке, он заговорил с ними.

— Ребята! — сказал он. — Нужно спасти императора и его родителей от человека, присвоившего себе власть и творящего всякие беззакония; готовы ли вы идти за мною?

— Рады стараться! Хоть в огонь пойдем за тобою! — весело крикнули солдаты, наконец дождавшиеся минуты, которой они давно и страстно ожидали.

Тогда Миних начал распоряжаться. Он

оставил сорок человек здесь, при знамени, а с восемьюдесятью, в сопровождении нескольких офицеров и Манштейна, отправился к Летнему дворцу.

Тихо по пустой темной улице подвигалось это шествие.

Вот и Летний дворец; перед входом караулы.

Миних остановился со своим отрядом и послал Манштейна объявить дворцовым караулам о намерении Анны Леопольдовны.

Все чутко прислушивались и приглядывались. Ничего не слышно, только заметно движение в карауле.

Манштейн бегом возвращается и объявляет, что там с радостью его выслушали и даже предложили свою помощь при аресте герцога.

— Так возьмите с собой одного офицера и двадцать солдат, — обратился Миних к Манштейну, — и ступайте, арестуйте Бирона, а если он станет сопротивляться, так и убейте его. Мы будем вас ждать.

Манштейн с двадцатью солдатами направился ко дворцу; наружный караул сейчас же

пропустил его. Уже входя на крыльцо, он велел солдатам следовать за собою издали и как можно тише. А сам пошел дальше.

Он один — караульные во внутренних комнатах ничего не знают, пропустят ли они его? Может быть, задержат? Может быть, вместо благополучного и блестящего исполнения этого неожиданного, смелого плана Манштейну предстоит арест и затем казнь? Но смелый подполковник быстро отогнал от себя эти мысли и твердою поступью пошел дальше.

Караулы всюду пропускали, они знали, что это старший адъютант фельдмаршала, и, конечно, думали, что он явился к регенту с каким-нибудь важным делом.

Манштейн прошел целую анфиладу комнат и остановился. Он не знал, куда ему идти дальше, не знал, где спальня регента. Спросить у лакеев нельзя, поднимется шум.

Он решился идти все вперед и вперед, авось выйдет именно туда, куда ему нужно.

Он прошел еще две комнаты, очутился перед запертыми на ключ дверьми, сильно рванул двери, и они отворились, потому что не

были приперты задвижками вниз и вверх.

Манштейн вошел в большую комнату. В углу, на высокой мраморной подставке горела лампа, заслоненная резным абажуром.

Прямо перед собою, в глубине комнаты Манштейн заметил огромную, роскошную кровать под балдахином.

Он на цыпочках подошел по мягкому ковру к кровати, откинул штофную занавеску и разглядел Бирона и его жену. Оба они спали крепким сном.

Бирон, почти всю эту ночь метавшийся и ежеминутно вскакивавший с постели, наконец утомился и заснул. И уже ничего ему не грезилось. Его не возмущали больше страшные сновидения, призраки. Он дышал мирно. Лицо его было спокойно.

Манштейн стоял у кровати с той стороны, где лежала герцогиня.

— Проснитесь! — громко сказал он.

Но они не просыпались.

Тогда он наклонился еще ближе к кровати и сказал громче:

— Проснитесь!

Бирон и его жена разом открыли глаза, ис-

пуганно взглянули на Манштейна и приподнялись с подушек.

— Что это? Что? — с ужасом выговорил регент.

Герцогиня взвизгнула и закрылась одеялом.

— Арестую вас именем его императорского величества! — громко произнес Манштейн, обнажая шпагу.

— Караул! — отчаянным голосом крикнул Бирон.

— Караул! — взвизгнула под одеялом герцогиня.

При этом Бирон вскочил, и Манштейну показалось, что он хотел спрятаться от него под кровать. Действительно, он прятался, но в то же время продолжал кричать «караул!».

— Молчите! — грозно выговорил Манштейн, быстро обежал кругом кровати и старался схватить регента.

Тот начал обороняться и кричать еще громче.

— Молчите! Вас все равно никто не услышит. Я привел с собой много солдат, и если вы будете сопротивляться, то я убью вас.

Бирон вздрогнул.

Манштейн схватил его и крепко держал до тех пор, пока не явились солдаты.

Между тем вся уже комната наполнена народом.

Герцогиня все лежит, закутанная одеялом, и визжит.

Манштейн передал Бирона солдатам. Но когда они подошли, чтобы взять его, он вдруг собрал все свои силы, сжал кулаки и стал отмахиваться направо и налево. Солдаты кинулись на него, но долго не могли совладать с ним.

Завязалась отчаянная борьба. Рубашка регента разорвана, его колотят по чему попало сильные, мозолистые руки. Он все еще отмахивается, но, наконец, сил больше нет. Его повалили на ковер, засунули носовой платок ему в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли из спальни.

Несчастный Бирон был в забытьи, не шевелился, и со стороны можно было подумать, что это несут безжизненное тело.

В первую секунду, когда голос Манштейна разбудил его, он подумал, что случилось что-

нибудь очень важное и что Манштейн прибежал предупредить его. Ему и в голову не могла прийти мысль относительно фельдмаршала Миниха; он даже сразу не поверил ушам своим, когда услышал слова Манштейна: «Арестую вас».

Но Манштейн повторил эту ужасную фразу.

Неужели действительно это арест и падение? Неужели его могут арестовать... здесь, в его Летнем дворце, в его спальне? Здесь, по крайней мере, он считал себя в безопасности; ведь кругом народ, бездна прислуги, караулы! Значит, что же?.. Значит, все в заговоре... все?! Но это ведь не может быть! Этот негодный Манштейн прокрался, как вор... Стоит только крикнуть — и сбегутся люди, схватят этого Манштейна, весь этот низкий заговор рушится! И он еще раз посмеется над своими врагами, да как посмеется, что потом ни у кого уже не поднимутся руки на него, никто не решится выдумывать заговор...

Караул! Караул! — повторяет Бирон, а между тем никто не является ему на помощь.

Вот и солдаты! Его хватают. Мысли его

остановились; он совершенно машинально отбивался от солдат. Но его схватили, связали, и он уже ни о чем не думает. Он все забыл. Ни страха, ни ужаса, ни отчаяния, ни злобы нет в нем. Он только чувствует, как мало-помалу начинает разбалчиваться его тело, как крепко скручены руки, как неловко солдаты несут его. Ему трудно дышать, у него болят челюсти, у него противно во рту от всунутого платка. И он старается делать языком и зубами осторожные движения, чтобы как-нибудь освободиться от этого платка. Но нет, видно, ничего не поделаешь!

Он начинает сердиться на то, что никак не может помочь себе. Он сердится на этот несносный платок и снова придумывает всякие хитрости, как бы каким-нибудь образом освободиться от платка. Все его мысли и все его чувства поглощены этой работой.

Ему уже начинает казаться, что и дело-то все в одном только платке, что стоит от него освободиться, и тогда все кончено, тогда не останется ничего больше страшного и дурного. Потом он вдруг начинает думать о том, что же дальше будет? Но он не думает о своей бу-

душности, а думает только о том, что будет через минуту, через пять минут, через час. Куда его повезут и как повезут? Неужели в одеяле? Ведь холодно, мороз, да и неприлично. «Нет! Что-нибудь да сделают, непременно сделают!» — успокоительно заканчивает он и только ждет с любопытством.

Он уже о платке позабыл, как-то привык к этому неприятному ощущению во рту...

Его снесли вниз, в караульную. Сняли с него одеяло и закутали солдатской шинелью.

«А! Солдатская шинель, — подумал он. — Как же это я не догадался? Конечно, в солдатскую шинель должны закутать, во что же больше? Так будет теплее! Только вот как ноги?»

Но о ногах регента никто не подумал, он так и остался босиком. Солдаты вынесли его на улицу, тут дожидалась подъехавшая карета Миниха, его посадили в карету. С ним сел офицер.

— Куда? — спросил кучер.

— В Зимний дворец! — отвечал офицер, захлопывая дверцу.

Карета уехала, и даже пьяный мастеровой

не встретился ей на дороге.

Никто не знал и не подозревал, в каком странном маскарадном костюме проехался этой морозной ночью регент Российской империи. Только солдаты, стоявшие группами около Летнего дворца, тихомолком послали ему свои не особенно любезные приветствия...

Герцогиня курляндская, закрывшись с головой в одеяло, продолжала визжать все время, пока происходила борьба в спальне. Она перепугалась до того, что почти обезумела. Она слышала бряцание оружия, слышала крики своего мужа, понимала, что его хватают, расслышала или, вернее, почувствовала, как он упал, как замолк, но она не решилась выглянуть из-под своего одеяла.

«Он молчит, не кричит больше, должно быть, его убили!» — И она сама перестала визжать и лежала неподвижно, ожидая, что вот, вот, сейчас и ее убьют. Но, может быть, ее не заметят! Надо лежать тише! И она совсем притаила дыхание.

«Уходят из комнаты! Все тихо. — Она взглянула: — Никого нет! — На полу, у постеле-

ли, оторванный кусок рубашки герцога. — Что же это такое?»

Сама себя не помня, с выкатившимися страшно глазами она кинулась из спальни, бежала по комнатам в одной рубашке и босиком выбежала из дворца.

Солдаты, толпа... но она их не боится, она ничего не помнит, она забыла, в каком она виде, не чувствует холода.

Подъезжает карета, в карету сажают кого-то. Она угадала, что это муж ее, и она бежит по двору, по снегу босыми ногами за ворота. Хочет кинуться к карете. Но какой-то солдат бросается и схватывает ее.

Она опять кричит и отбивается. Она вцепилась зубами в руку солдата, но солдат ни на что не обращает внимания и тащит ее.

— Что прикажете с нею делать? — спрашивает он, подтаскивая герцогиню к Манштейну.

— Отвести во дворец, — отвечает Манштейн и спешит скорей к Миниху за приказами.

Герцогиня продолжает кричать и кусаться. — Отвести во дворец! — ворчит солдат. —

Легко сказать, да как это я сделаю? И в какой дворец? Назад, что ли, али туда, в Зимний? Карета-то вон, вишь, уехала, а другую где теперь взять? Что же это, значит, на своей спине везти? Ишь, злющая, как вцепилась! Зубы-то! Зубы-то... вон до крови прихватила. Э, да где же с ней тут возиться!

Не долго думая, он отшвырнул ее от себя и быстро скрылся.

Несчастливая герцогиня упала на кучу снега. Она уже перестала кричать. Она дрожала всем телом и, наконец, потеряла сознание. Долго так лежала она, раздетая, на снегу, пока наконец один из офицеров не подошел к ней. Он ужаснулся, увидя ее в таком положении, и крикнул солдатам.

Солдаты сошлись и окружили ее. Она не шевелится. Что же, сейчас, пожалуй, станут издеваться над нею? Да и как не издеваться! Теперь она бессильна. Еще несколько часов тому назад она мнила себя чуть что не императрицей; она протягивала свои руки для поцелуев сановникам и принцам; она была олицетворением человеческой гордости и тщеславия. По одному ее слову всех этих солдат и

этого офицера расстреляли бы. Но теперь она бессильна! Она лежит обнаженная на снегу, и только слабая дрожь, по временам пробегающая по ее членам, показывает, что она еще не умерла, еще дышит.

Ее все ненавидели, все, кто знал и кто даже не знал ее. Никто не говорил о ней ни одного доброго слова, так как же теперь не издеваться над ней! Но между тем ни офицеры, ни солдаты не стали издеваться.

— Ах, Боже мой! — смущенным голосом проговорил офицер. — Посмотрите, ради Бога, жива ли она? Ведь как, бедная, выбежала! В одной рубашке! Этак схватит смертельную болезнь!

— Да! Ночка-то морозная, и замерзнуть недолго! — говорит один солдат.

— Так возьмите ее скорей, разотрите, оденьте, снесите во дворец. Да бережней поднимайте! Скорей, давайте шинели! Нельзя же так! Ведь в самом деле замерзнет!

Солдаты бережно подняли герцогиню, скинули с себя шинели, закутали ее и понести обратно во дворец растирать и одевать. И никто не встретил их в пустых комнатах. Фрей-

лины и камеристки герцогини, вся многочисленная прислуга, все, даже «дуры» и карлицы, попрятались кто куда мог и не подавали никаких признаков жизни.

XII

— Юлиана, куда же ты ушла? Вернись, останься со мною! Не отходи от меня! — повторяла Анна Леопольдовна, следуя за Менгден, которая вышла было, чтобы причесаться и одеться.

Юлиана вернулась. Принцесса взяла ее за руку и крепко держала, не выпускала.

— Боже мой! Что-то там такое? Посмотри на часы! — шептала она. — Как долго идет время! Что там делается?

Юлиана взглянула на часы: еще рано! Всего пятый час в начале.

— Успокойся, ради Бога! — сказала она принцессе. — Разве в один час можно повернуть все это дело?! Теперь, того и жди, вернется фельдмаршал, и уж, конечно, наверное все благополучно: иначе он дал бы знать.

— Ах, нет! Боюсь, Юля, боюсь ужасно! Ведь Бирон всегда был подозрительным человеком, а уж теперь с этими заговорами, конеч-

но, принял все меры. Схватили нашего фельд-маршала, адъютанта его и всех солдат пере-хватали... Что ж теперь будет?

Принцесса заплакала.

Менгден не знала, что и делать с нею.

Она стала всячески ее успокаивать, но ни-чего не помогало.

Принцесса выпустила руку своего друга, бросилась на ковер, закрыла лицо руками и стала молиться, но молитва не успокаивала. Каждая минута казалась ей чуть ли не часом.

— Что это? Что? Юля, поди посмотри!

Юлиана выбежала из комнаты и через несколько секунд вернулась с радостным ли-цом.

— Все, слава Богу, благополучно! — почти закричала она. — Регент здесь!.. Схвачен... Миних идет с докладом... и уже не оттуда, не через гардеробную, а парадным ходом.

Анна Леопольдовна схватилась за сердце, так оно вдруг шибко забилося.

Неужели такое счастье? Или, может быть, Юлиана обманывает? Но нет, вот и сам фельд-маршал. На его сухом, красивом лице изобра-жается торжество. Он, улыбаясь, подходит к

принцессе. Она протягивает ему руку, она его обнимает и плачет.

— Поздравляю, ваше высочество, все благополучно!

— Друг мой! Голубчик! Я уж и не знаю, как благодарить вас, — всхлипывает Анна Леопольдовна на плече Миниха. — Как же это? Что же было? Скорей... скорей рассказывайте!

— Так он здесь, здесь, в караульне? — вдруг забывая свои волнения и слезы, радостно всплеснула руками Анна Леопольдовна и даже подпрыгнула, как ребенок. — Здесь? И не вырвется?

— Где уж теперь вырваться! — улыбнулся Миних.

— Но постойте! Погодите! — вдруг опять тревожная мысль промелькнула в голове принцессы. — Ведь солдат мало, вдруг его вырвут его приверженцы?

— Какие же приверженцы? — спросил фельдмаршал. — Мало что-то он нажил себе приверженцев! К тому же я обо всем подумал. Все, кого можно опасаться, теперь, наверно, тоже уже арестованы. Я послал Манштейна к Густаву Бирону, а другого своего адъютанта,

Кенигфельса, к Бестужеву. Не бойтесь, никто от нас теперь не уйдет.

Анна Леопольдовна окончательно успокоилась и с несвойственной ей живостью отдалась порыву вдруг нахлынувшего на нее счастья.

Она то пожимала руку Миниху, то бросалась на шею Юлиане.

— Боже мой! Чем мне заплатить вам за это? Как мне отблагодарить вас?

— Теперь об этом нечего думать, — спокойно проговорил фельдмаршал, — теперь следует заботиться только об одном: получше, покрепче вам устроиться. Да еще нужно скорей объявить принцу, а то он до сих пор, кажется, ничего и не знает.

— Ах, об нем-то я совсем и позабыла! — самым наивным тоном сказала принцесса. — Да, конечно, нужно объявить ему. Поди, Юлиана, заставь его подняться, приведи сюда.

Миних на мгновение задумался.

— Так вот что, принцесса, — наконец, сказал он, — вы подождите здесь принца. Объявите ему сами, объявите, что по всеобщему желанию вы будете правительницей, а я сой-

ду опять вниз. Я не думаю, чтобы принц стал с вами спорить... но если понадобится вам, то вернусь.

— Оставайтесь, оставайтесь, — торопливо перебила Анна Леопольдовна, — лучше вы ему скажите, вы лучше скажите.

— Нет, мне неловко, — решительно возразил Миних, — я выйду.

И, не слушая возражений принцессы, он быстро скрылся из комнаты.

Через несколько минут в сопровождении Юлианы Менгден показался принц Антон.

— Зачем вы меня подняли? — обратился он к жене, изумленно посматривая на ее сияющее, счастливое лицо своими заспанными, несколько опухшими глазами.

— Кое-что случилось... Вы себе спали, а между тем фельдмаршал граф Миних арестовал Бирона. Бирон теперь внизу...

— Не может быть! — даже попятился от изумления и стал протирать себе глаза принц Антон. — Не может быть! Что это за шутки неуместные!

— Не шутки, а правда. Проснитесь! — сказала принцесса.

Принц Антон наконец понял, что его не обманывают, понял, что случилось то, о чем он не смел и грезить еще за несколько минут перед этим. Он хотел кинуться вниз в караульную, чтоб собственными глазами увидеть сверженного регента, но жена его остановила.

— Зачем вы пойдете? Куда? Оставайтесь лучше здесь — потолкуем хорошенько.

Он покорно остановился и задумался.

— Как же теперь? Кто ж теперь всем управлять будет? И каким образом такое дело сделано без моего участия? Каким образом мне даже никто и не заикнулся об этом? Что же я-то такое тут? — начинал он разгорячаться. — Разве я не отец императора?!

— Конечно, отец, — отвечала принцесса, — но ведь и я тоже мать его и родная внучка царя Ивана Алексеевича. Мои права были поруганы Бироном, и вот я приказала арестовать его. За меня войско, за меня весь народ русский! С сегодняшнего дня я правительница России до совершеннолетия моего сына.

Принц Антон окончательно уже проснулся.

— А, так вот как! Вы без меня обошлись! Может быть, и меня прикажете арестовать, ваше высочество?

— Перестаньте говорить вздор, — очень серьезно заметила Анна Леопольдовна. — Я намерена предоставить вам всевозможный почет, одним словом, сделать все вам угодное, только надеюсь, что вы не станете со мною бороться. Недоставало еще, чтобы между нами начались ссоры! Успокойтесь лучше! Предоставьте мне быть правительницею, а себе возьмите самую спокойную жизнь, какую можно только представить — вам будет гораздо лучше!

Принц чувствовал себя глубоко оскорбленным, но в то же время все мучения, которые должен он был пережить до этого утра, совершенно его расстроили и сломали всю его небольшую энергию.

«Что же, — подумал он, — дело уже сделано, да, может, так и лучше, меньше ответственности, меньше опасности. Пускай их управляют как знают».

Он снова взглянул на жену, подошел к ней и протянул руку.

— В таком случае позвольте вас поздравить, ваше высочество! — шутливым тоном с улыбкой сказал он, целуя руки Анны Леопольдовны. — Перепоручаю себя вашим милостям.

Она прикоснулась губами к его лбу и шепнула:

— Да! Так-то лучше!

Она стала ему рассказывать все подробности этой ночи.

Юлиана вышла объявить Миниху, что все сошло благополучно.

Фельдмаршал сейчас же явился, рассыпался в любезностях перед принцем, был до такой степени почтителен и любезен, что бедный принц Антон окончательно примирился со своим второстепенным положением и от всего сердца благодарил Миниха.

Долго они сидели и толковали. Уже светать начинает, пора за работу — впереди еще много дела.

— С чего мы теперь начнем? — спросила принцесса. — Да, конечно! — сейчас же вспомнила она. — Прежде всего нужно послать за Остерманом.

— Он болен, — проговорил Миних.

— Что ж такое, что болен? Он всегда болен, но теперь нужно, чтоб он немедленно сюда явился. Разве без него обойтись можно? Он сейчас все устроит. Он сейчас увидит, где есть опасность, которую мы в нашей радости может не заметить. Конечно, скорей!.. Скорей за Остерманом!

— Пожалуй! — проговорил Миних.

Он сошел вниз и послал сказать Остерману, что принцесса просит его немедленно явиться к ней в Зимний дворец...

XIII

Граф Андрей Иванович Остерман с самого необычайного заседания, созванного Бироном, того заседания, где так смутили и распекли бедного принца брауншвейгского, не выходил из своей комнаты. Он уже тогда, вернувшись домой, сказал жене, что теперь ему придется быть долго больным, потому что в воздухе носится что-то неладное. Регент торжествует, брауншвейгские унижены, но это еще ровно ничего не значит.

И вот Андрей Иванович, сидя запершись в четырех стенах, пустил в ход все свои таин-

ственные средства для того, чтобы хорошенько понять положение дела и узнать, что теперь ему предпринять следует.

По вечерам через кухню в его кабинет прокрадывались какие-то фигуры: то будто мужик, то будто баба. Но этот русский мужик говорил с ним на чисто немецком языке; у бабы появлялся совершенно мужской голос.

Андрей Иванович внимательно выслушивал своих тайных посетителей и мало-помалу начинал понимать, в чем дело. Он знал, что торжество Бирона минутно, что народ и войско его ненавидят, понимал, что скоро нужно его будет уничтожить. Кто же его уничтожит? Конечно, он, Андрей Иванович, и, конечно, так, что сам будто в стороне останется. Ему уже не в первый раз решать судьбу России: много лет, с самой смерти Петра Великого, он привык все делать по-своему, никому о том не говоря, ни с кем не советуясь.

Он в эти последние дни решал новую задачу. Он знал, что можно действовать и в пользу брауншвейгских, и в пользу цесаревны Елизаветы, и аккуратно, во всех подробностях, высчитывал все выгоды того и другого

решения.

Он весь был погружен в эту работу, никого не принимал. Жена его всем сказывала, что Андрею Ивановичу совсем теперь худо, что даже и ее к себе не впускает.

Теперь Андрей Иванович мирно спал. Он всегда засыпал только под утро, так как с вечера и большую часть ночи его мучила нестерпимая подагра.

Но сквозь чуткий сон вдруг слышит он, как скрипнула дверь его спальни: он открыл глаза — перед ним жена.

— Матушка, что это ты? — недовольным голосом заворчал он. — Уснуть мне нынче не даешь? Сама спозаранку встала, выспалась, а ведь я только что задремал. Чего дверьми-то хлопаешь?

— Не хлопала бы без дела, — ответила графиня, — вставай, Андрей Иваныч, гонец из Зимнего, принцесса зовет тебя как можно скорее по очень важному делу.

Андрей Иванович поднял голову с подушек.

— Ни за что не поеду, матушка, ни за что! Бог с тобой! И будить меня не следовало из-за

этого. Сама знаешь, не поеду. Как можно теперь ехать! Как можно во что-нибудь вмешаться! Нет, нет, поди сама выйди к гонцу, скажи, что я болен, шевельнуться не могу, не только что ехать... Пусть извинят... Не могу! Не могу!

Графиня вышла передать гонцу этот ответ, а Андрей Иванович задумался.

«Это что еще такое? Что там у них? Набрали, видно, кой-кого, опять заговор делают, ну, так не мое это дело! Я чужих глупостей не участник! Как нужно будет, сам съезжу, а теперь ни!.. Теперь я болен».

Он повернулся к стенке и снова задремал.

Но хорошенько выспаться не удалось ему в это утро. Не прошло еще и часу, опять входит графиня и говорит, что снова прислан из Зимнего, да уже не гонец простой, а генерал Стрешнев, ее брат двоюродный.

— Что такое? Ну, позови его сюда.

Вошел Стрешнев.

Андрей Иванович со стоном протянул ему руку.

— Батюшка, Андрей Иваныч, — заговорил Стрешнев, — вставай, одевайся, едем во дво-

рец!

— Ах! Куда мне! Ведь уже сказал, что болен, не могу!

— Все это очень хорошо, — перебил его, улыбаясь, Стрешнев, — но сам знаешь, что есть такие обстоятельства, которые заставляют даже всякую болезнь перемочь. Одевайся!

— Не могу! Не могу! — повторял Остерман.

— Ан можешь! Ан поднимешься! — продолжал улыбаться Стрешнев. — Хочешь об заклад биться, что встанешь? Скажу одно слово такое — и встанешь.

— Да что такое? Что ты? — уже оживленнее спросил Остерман. — Какое такое слово?

— А вот какое: в караульне Зимнего дворца сидит один человек, и видел я того человека своими глазами, и человек тот... Бирон. Регент сидит в караульне. Слышишь?

— Что ты! — вскочил с кровати Остерман, даже совсем забыв про свои больные ноги. — Что ты? Неужто? Ach, mein Gott!.. [6]

— Братец, пойдем, зайди ко мне на минуточку, пока он будет одеваться, — обратилась графиня к Стрешневу и увела его из спальни мужа. Она знала, что теперь надо оставить

Андрея Ивановича одного, надо дать ему хорошенько подумать, не мешать.

Андрей Иванович сидел на кровати.

Никогда еще в жизни никакое известие так не поражало его, как то, какое привез сейчас Стрешнев.

Он дни целые и ночи почти напролет все обдумывал, все решал, а тут хватъ, без него сделали! Его не спросились, да и сделали-то удачно!

Горькое, обидное чувство шевельнулось в Остермане.

«Стар, что ли, я становлюсь? — с ужасом подумал он. — Другим уступаю дорогу. Стрешнев сказал, что это все Миних! А вот Миниха-то я и проглядел, за ним-то и не следил! Эх, я, старый дурак! — с каким-то наслаждением выбранил себя Андрей Иванович. — Ну, что же теперь... теперь не вернешь! Теперь нужно в пояс кланяться господину Миниху. Да, нужно, нужно туда поехать, нужно осмотреться. Да оно и ничего, пожалуй, иной раз бывает удобнее загребать жар чужими руками, своих не обожжешь, а жару загрести надо!»

И с этой успокоительной мыслью, представившей ему обширное поле для новой деятельности, Андрей Иванович стал поспешно одеваться.

Два лакея снесли его в придворную карету, в которой приехал Стрешнев. Лакеи снесли его и в покои принцессы Анны Леопольдовны.

Она сама подставила ему кресло, а он с жаром целовал ее руку и рассыпался в поздравлениях. Поздравлял он также и фельдмаршала Миниха, восхищался его смелостью и мужеством и всеми силами старался казаться самым довольным человеком, осчастливленным этим событием. Одно только его раздражало: глядя на Миниха, он понимал, что тот только делает вид, что принимает за чистую монету его любезности, а в глубине души своей жестоко теперь смеется над ним и дразнит его.

«Ничего, торжествуй себе! Торжествуй! — успокаивая себя, думал Остерман. — Еще посмотрим, чем все это кончится! Долго ли ты продержишься? Может быть, ты захочешь теперь совсем от меня отделаться? Да нет! Я

хоть и промахнулся, а все еще жив и голова моя со мною...»

Анна Леопольдовна обратилась к Андрею Ивановичу за советом: что им теперь делать?

Он начал говорить, начал высказывать свои предположения, но каждый раз обращался к Миниху и спрашивал его, согласен ли он с ним.

Миних утвердительно кивал головою, а сам думал: «Вертись, Андрей Иванович, вертись! А все же вот мы и без тебя обошлись. Не у одного тебя голова на плечах, нашлись и другие...»

Вернувшись домой, Остерман снова лег в постель и весь тот день был ужасно не в духе. Теперь ему даже было больно не за себя. Он знал, что себе-то он еще все устроит. Даже его оскорбленное самолюбие смирилось перед мыслью, что Анна Леопольдовна будет признавать своим благодетелем не его, а Миниха. Он знал, что, может быть, сумеет еще совсем изменить мысли принцессы относительно благодеяний фельдмаршала. Его раздражало и мучило то, что, того и жди, теперь померкнет ореол, окружавший его в глазах всей Ев-

ропы, до сих пор думавшей, что ни одно великое событие, ни один переворот в России не может устроиться помимо него, Остермана.

И в Европе действительно так думали, а в первые дни по свержении Бирона даже и весь Петербург считал Остермана хоть тайным, но действительным виновником гибели регента. Маркиз де ла Шетарди писал своему королю:

«Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайн, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана».

Но скоро Андрей Иванович себя успокоил. Он весь отдался злобе дня, устраиванию своих дел, приготовлению ответного удара Миниху. Один только раз еще его уязвленное самолюбие сильно заныло. Это было тогда, когда он получил из Константинополя от Румянцева такое послание:

«Что касается до той, с Богом начатой пере-

мены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и яко едиными усты Богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».

Андрей Иванович порывисто скомкал это письмо, а когда жена любопытствовала узнать, что пишет Румянцев, то он совсем не мог сдержать себя и закричал на нее, чтобы она не смела его трогать и убиралась.

А он со своей графиней жил душа в душу и даже в самые свои трудные минуты относился к ней с нежностью и не иначе называл ее как «mein Herzchen»[7].

XIV

Расставаясь с фельдмаршалом, Анна Леопольдовна сказала ему, чтоб он немедленно занялся списком наград. Она была так взволнована всеми событиями этой ночи, что сама отказалась распределять награды и вполне полагалась на фельдмаршала.

— Только, пожалуйста, чтобы все были довольны, — прибавила она, — я хочу, чтобы

первый день нашего торжества был радостным днем и для всех, кто не враг наш.

Миних, вернувшись домой, призвал своего сына и барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии.

— Приготовь бумагу, я буду тебе диктовать, — сказал он сыну.

Затем было приступлено к составлению списка.

— Пиши, — сказал Миних, — во-первых, о том, что принцесса Анна Леопольдовна провозглашается правительницей вместо Бирона и возлагает на себя Андреевский орден, а меня жалует в генералиссимусы.

— Батюшка, — заметил Миниху его сын, — о тебе я писать не стану.

— Это еще что такое? — даже вскочил фельдмаршал со своего кресла.

— А то, что звание генералиссимуса, наверное, пожелает принц Антон, и, конечно, тебе не следует начинать неприятными отношениями с принцем.

Миних задумался на минуту и сообразил, что он действительно хватил через край и что сын совершенно прав.

— Да, спасибо, что остановил. Ты правду говоришь, но что же мне-то?

— А тебе самое лучшее просить звание первого министра.

— Хорошо, помирюсь и на этом! Но ведь и тут есть возражение: нам не следует обижать Остермана, а Остерман наверное обидится, он не захочет терпеть над собою первого министра.

— Так следует повесить и Остермана, — заметил Менгден.

— Но как же? Как? — задумался Миних.

И вот он вспомнил, что Остерман давно уже намекал о своем желании быть великим адмиралом.

— Да, да! — оживленно обратился Миних к сыну. — Сделаем Остермана великим адмиралом. Звание это почетное, но для меня не опасное, стеснять меня не будет!

— Кто знает, будет ли доволен Остерман этим назначением, — сказал Миних-сын, прерывая свою работу, — я так думаю, что ему больше захочется быть великим канцлером.

— Мало ли что захочется! — быстро отвечал фельдмаршал. — Мало ли что захочется!

Конечно, мы должны постараться предоставить ему очень почетное звание, должны избежать вражды с ним, но слишком далеко пускать его все же не следует. Не следует забывать, что сегодняшняя ночь не его рук дело, а моих. Так неужели же мне не воспользоваться этим? Пустить Остермана в великие канцлеры, да это совсем связать себе руки, отказаться от дел иностранных, а я вовсе не намерен отказываться от них. Нет! По-моему, великим канцлером нужно назначить князя Черкасского.

— Князя Черкасского? — изумленно отозвался Менгден. — Да ведь его отношения к Бирону всем, кажется, нам известны, и по этим отношениям его наказывать следует, сослать, а не награждать таким образом.

— Ну, с этим-то я не согласен! — сказал Миних. — Мало ли кто был в хороших отношениях с Бироном, потому что не быть с ним в хороших отношениях — значило губить себя. Нет, я стою на Черкасском, он такой человек, который никому не будет мешать, он будет на своем месте.

Дальнейшая работа совершалась без пере-

рыва, и скоро список наград был готов.

С этим списком сын Миниха отправился к принцессе. Сам же фельдмаршал поручил ему сказать, что будет во дворце часа через два, так как совсем выбился из сил и должен вздремнуть немного.

Он действительно было заснул, но тотчас же и опять проснулся в волнении.

«Нет! Теперь не до сна, мне нужно быть там, нельзя терять ни минуты. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь воспользовался чем-либо без моей воли, чтобы кто-нибудь перебил или ослабил мое влияние на принцессу».

Он вместо сна только освежил свою уставшую голову холодной водой, выпил рюмку вина и поехал вслед за сыном.

Было уже около полудня. На улицах много народу. Сразу заметно необычайное движение, весть о ночном событии уже облетела город. Шли толки, расспросы; многие не верили. Толпы народа стягивались к дворцам, но их разгоняли, объявляя им, что нечего глядеть, что нет никакого парада, ни торжества.

Многие послушно удалялись и шептались друг другу:

— И то, уйдем-ка подобру-поздорову! Мало ли что болтают! Может, и точно ничего нет; может, сидит он там спокойно и в ус не дует! Так ведь как бы нам застенка не понюхать.

Но находились и такие, что удалиться не были в силах; неудержимое любопытство, сознание чего-то важного, совершившегося тянуло их ко дворцам.

Они пристально всматривались в каждую проезжающую карету. Скоро карет стало показываться довольно много, и все по направлению к Зимнему дворцу.

— Ну, как же ничего нет, конечно, есть, — толковали люди. — Кабы ничего не было, так к Летнему, а не к Зимнему дворцу ехали бы.

В одной из карет народ заметил цесаревну Елизавету.

Она выглянула в открытое окошко кареты, прекрасное, только немного как будто бы бледное сегодня лицо ее было спокойно.

Встречные люди снимали шапки, и она с доброй улыбкой кивала всем головою.

Ее появление произвело немало толков. Были люди, которые, глядя на нее, говорили и думали:

«Эх, матушка царевна, чай, ведь ты думала, что скоро к тебе все поедут на поклон, а сама на поклон опять едешь?»

Но таких людей было очень мало. Многие, напротив, открыто выражали свою глубокую жалость к положению цесаревны.

«Не ей бы ехать, — говорили они, — а к ней бы спешить всем поздравлять ее со вступлением на престол родительский, целовать ее золотую царскую ручку!»

Но она была спокойна.

Своей легкой, грациозной поступью вышла она из кареты у Зимнего дворца и прошла в покои Анны Леопольдовны.

У принцессы было уже много народу, все, кого она считала из своих: Миних, Менгден, Остерман, Левенвольде.

Были здесь и адъютанты фельдмаршала, Манштейн и Кенигфельс, оба деятельные участники ночного предприятия.

Все чувствовали себя очень хорошо. Все были добры, довольны, велись оживленные разговоры на немецком языке.

Цесаревна на мгновение остановилась и невольно вздрогнула. Ни одного близкого, ни

одного дружеского лица не видела она среди этого счастливого общества. Все это были люди совершенно чуждые ей по всему; был тут и личный враг ее: старый хитрый Остерман, которого когда-то, в первые дни своей юности, она считала другом и который всю жизнь только и делал, что вредил ей, отстранял ее.

Но цесаревна сейчас же сдержала волнение и снова вызвала на лицо свое любезную улыбку.

Она подошла к Анне Леопольдовне, поклонилась ей и даже совершенно свободно, ни на секунду не изменившись в лице, поцеловала у нее руку, как у правительницы.

— От всего сердца радуюсь этому событию, — сказала она и прибавила вполголоса: — Но только, сестрица, оно не было для меня новостью: в последний раз вечером у Бирона я слышала несколько фраз из вашего разговора с фельдмаршалом.

Миних стоял за стулом Анны Леопольдовны. Он слышал, что говорила цесаревна, и невольно взглянул на нее с изумлением.

И у него, и у Анны Леопольдовны разом мелькнула мысль, что если она слышала этот

разговор, — а что она слышала, в этом не может быть никакого сомнения, иначе откуда же бы она о нем узнала, — то ведь она очень легко могла бы погубить их. Она была в хороших отношениях с Бироном, она могла тут же, сейчас рассказать ему об этом разговоре, и весь план Миниха был бы разрушен. Но она никому ничего не сказала, она молчала и своим молчанием помогла им.

Ни Миних, ни Анна Леопольдовна не могли считать ее искренне расположенною к новой правительнице, следовательно, ее поступками руководил расчет. Но какой бы ни был этот расчет, она все же оказала услугу, а сама теперь для них совершенно безвредна.

Анна Леопольдовна крепко сжала руку Елизаветы и взглянула на нее ласково.

Цесаревна сказала еще несколько любезных, приличных фраз и отошла к принцу Антону.

Она сделала свое дело.

После того что она объявила, авось посостоятся теснить ее, авось дадут ей спокойно прожить хоть первое время и без помехи приготовить все, что нужно.

А ведь ей теперь это самое важное! Пусть же смотрят на нее с пренебрежением, пусть она всем здесь чужая, ненужная; ведь и ей здесь все тоже чужды и не нужны и никогда не понадобятся.

Вот она села поодаль и наблюдала, как все счастливы и довольны, как во всех говорит честолюбие, какие все строят планы.

На нее никто не глядит, никто не считает необходимым даже обратиться к ней с самой пустой любезной фразой. Ничего, пусть! Тяжелая жизнь, многие несносные обиды, многие унижения могли бы ожесточить сердце Елизаветы. Глядя на нее теперь, можно было бы, пожалуй, подумать, что много злого чувства кипит в ней, что с полной ненавистью глядит она на Анну Леопольдовну, на Миниха, Остермана и всех этих Манштейнов, что она мечтает о мести, строит жестокие планы; но ничего этого в ней не было.

Конечно, она знала, что если удастся ей добиться своего законного наследия, она удалит от себя всех врагов своих, но мучить и пытаться их не станет, ненависти ни к кому нет в ней. Ей только обидно и больно смотреть на двух

главных врагов ее: на Остермана и Миниха, и больно ей только потому, что она дочь Петра, который был их благодетелем и которого они отблагодарили тем, что пренебрегли его родною, любимую дочью. Но даже и эти горькие ощущения скоро исчезли, и цесаревна отдалась своему живому характеру: вдруг все присутствующие начали казаться ей комичными. Она подмечала все их смешные стороны, она думала о том, как, вернувшись к себе, будет смеяться с Маврой Шепелевой, рассказывая ей обо всем, что видела здесь и слышала.

А между тем перед нею совершалось дело первой важности: распределялись награды.

Список Миниха был немедленно утвержден принцессой. Пожалованные подходили и целовали руку Анны Леопольдовны.

Затем началось совещание о том, что делать с Бироном и его семейством.

— Ведь они все еще здесь, внизу, — сказал Миних, — а семейство его в Летнем под караулом. Я полагал бы, что самое лучшее — немедленно перевезти всех в Александровский монастырь, а потом отправить в Шлиссельбург.

Принцесса согласилась с этим.

Говорили о том, что нужно будет потребовать от Бирона всевозможные разъяснения, нужно будет нарядить следствие и так далее.

Затем Миних объявил, что все близкие к Бирону люди тоже уже схвачены: Бестужев-Рюмин, братья Бирона, Карл и Густав, и генерал Бисмарк.

— А что жена Бестужева? — спросила Анна Леопольдовна.

— О Бестужевых пускай вам доложат мои адъютанты, — отвечал Миних. — Я посылал их, по желанию вашего высочества, и господин Манштейн вот только что вернулся.

— Госпожа Бестужева, — сказал Кенигфельс, — была в ужасном отчаянии, когда я к ней приехал. Я спросил ее, хочет ли она следовать за своим мужем, она отвечала, что хочет, но так плачет, в таком отчаянии... Я всячески уговаривал ее, уверял, что ничего дурного не будет ее мужу.

— Ну, это хорошо! Там выяснится, будет ли ему дурно или нет, — заметил Миних. — А сам Бестужев как? — обратился он к Манштейну.

— Я сказал ему, — ответил Манштейн, — что ее высочество приказала послать его в ссылку недалеко. Он стал просить меня, нельзя ли ему видеться с вашим сиятельством, но я сказал, что никак это невозможно, потому что вы очень заняты. Тогда он даже заплакал. «Попросите, — говорит, — фельдмаршала, чтобы он меня не оставил, а помнил то, что и сам он состоит в дирекции Божией, как сам видит это из моей судьбы: вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант!..»

— Конечно, ужасно, когда происходят такие перемены с людьми, — заметила Анна Леопольдовна, — но ведь кто же виноват? Нельзя же нам награждать врагов наших, избавлять их от должного наказания! Только, во всяком случае, господа, — обратилась она ко всем присутствовавшим, — я не намерена начинать жестокостями. Я хочу, чтобы дело Бирона и его сторонников разбиралось без всякого пристрастия и им была бы оказана возможная милость, и я надеюсь, что вы в этом согласны со мною?

— Да, слишком много было жестокостей, слишком много казней и пыток, нужно, что-

бы Россия отдохнула от всего этого! — совершенно невольно и не обдумывая, какое впечатление произведут ее слова, проговорила цесаревна Елизавета.

— Конечно, да! Я с вами согласна, сестрица, — горячо ответила ей Анна Леопольдовна. Наконец, все начали расходиться.

У каждого было много дела, нужно было созывать Синод, министерство, генералитет.

На следующее утро городу было объявлено о совершившемся. Всюду читали манифест, подписанный синодом, министерством и генералитетом.

В манифесте, от имени императора Иоанна III, объявлялось, что «хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог курляндский, но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам и особливо велено не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного того исполнения он дерзнул не токмо многие, противные госу-

дарственным правам, поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочтение и презрение публично оказывать, и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которыми не токмо любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы, и потому принужденными себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных, духовного и мирского чина, оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне матери».

Никто не противоречил. Все, начиная от высших сановников и кончая простыми петербургскими жителями, приняли важную новость довольно равнодушно. Покуда еще не знали, в чем дело, — любопытствовали, толковали, а узнали и затихли. И это должно было казаться очень многозначительным наблюдающим людям.

Бирон снискал себе всеобщую ненависть;

его регентство началось пытками, при нем народ мог ожидать всевозможных бесчинств и жестокостей. И вот этот Бирон свержен, Россия отдается в руки матери императора, довольны, да и в народе по временам тоже слышно, что кому же и управлять страной, как не родителям императора, а из родителей должна, конечно, быть правительницею мать, происходящая от царского русского корня, а не отец — принц иноземный.

А между тем, несмотря на все эти рассуждения, все же не заметно особенной радости, торжества и веселья. Событие признано молчаливо, значит, есть же какая-нибудь важная причина, есть что-нибудь, что мешает русским людям успокоиться. И все это понимают, и все это чувствуют, только многие еще не могут дать себе ясного отчета: отчего все это происходит. Но пройдет немного времени, и этот отчет будет дан, и окажется, что мудрые делатели переворотов все же были близоруки и не понимали страны, которою хотели распорядиться по-своему, и окажется, что лучше всех их поняла народные чувства и народные желания забытая, унижаемая

красавица, легкомысленная насмешница, какую многие ее считали. Она поняла народ русский, его чувства, надежды и мечтания, поняла потому, что сама составляла одно целое с этим народом. Она знала, что народ не успокоится до тех пор, пока власть не перейдет в Петрово потомство, пока не совершится законная справедливость, по которой созданное человеком должно принадлежать этому человеку и его прямым наследникам.

И вот забытая и униженная красавица, в то время как друзья ее охали и ахали, толковали о том, что пропущено самое подходящее время, что совершена важная ошибка, только посмеивалась над своими друзьями и была спокойна, была уверена в своей силе больше чем когда-либо.

«Эх, фельдмаршал, — думала она, встречаясь с Минихом, — как вы теперь важны и счастливы! Только берегитесь, как бы вас в бироны не записали!»

Но фельдмаршал ничего не боялся. Его честолюбие било радостную тревогу. Он чувствовал себя у пристани. Над ним уже начинал совершаться какой-то общий закон, по

которому человек, чувствуящий себя на высоте успеха, становится сам себе врагом и делает губительные промахи.

Миних действительно начал свое торжество с большой неловкости.

Императорский указ, появившийся вслед за манифестом, начинался таким образом:

«Всемилоостивейше пожаловали мы любезнейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом, и хотя генерал-фельдмаршал, граф фон Миних, за его к Российской империи оказанные знатные службы, и что ныне он уж первый в Российской империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии военной президент к пожалованию бы сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутому его высочеству почтении от сего чина отрекается».

Этот указ был сочинен самим Минихом, и никто не мог внушить ему, что подобное объяснение своих прав на звание генералиссимуса и очень бестактно, и очень обидно для принца Антона.

Принц Антон не только что обиделся, но положительно возненавидел Миниха. Он по-

клялся доказать ему, что, несмотря на то что его отстранили и считают таким бессильным и обижают даже в указах, а он все же сделает свое дело: Миних недолго будет торжествовать. Принц Антон знал, что ему одному трудно будет этого достигнуть, но у него оказывался сильный помощник, тоже оскорбленный Минихом, граф Андрей Иванович Остерман.

С ним-то принц Антон и начал горячую дружбу.

XV

Тишина глубокая вокруг Александро-Невской лавры. Ночь темная — зги не видно, только ветер порывистый свищет да валятся снежные хлопья. Ворота на запоре; население монастырское спит сном глубоким. Но вот раздался странный звук: какое-то бряцание, лязг оружия. Вот слышны слова военной команды: сменяются караульные солдаты.

Караул этот приставлен стеречь регента и его семейство. Решено, что узники здесь переночуют, а утром будут отправлены дальше.

В двух маленьких кельях помещаются Бироны. Герцога привезли в сумерки из кара-

ульни Зимнего дворца, и он уже застал здесь жену и детей.

Тяжелое это было свидание! Герцогиня курляндская, и от природы-то некрасивая, теперь показалась Бирону просто страшною. Непричесанная, ненарумяненная и ненабеленная, одетая во что попало, она почти неподвижно лежала на простой деревянной монастырской кровати и по временам сильно вздрагивала. Только от природы необыкновенно крепкое здоровье ее помогло ей вынести то, что с ней случилось. Она со стонами рассказала мужу о том, как лежала без памяти совсем раздетая на снегу и как потом ее растирали и одевали солдаты.

— Теперь я вся как изломанная, — жаловалась она, — рукой, ногой шевельнуть не могу.

Но он почти не слушал. Ему самому было очень плохо: все тело было избито в борьбе с солдатами, на руках и на груди было несколько ссадин и подтеков. На его ногах были надеты простые солдатские валенки, на плечах — та же толстая шинель. Ему было холодно, голова горела, во рту пересохло.

Едва волоча за собою избитые, распухшие

ноги, он отошел от жены и прошел в соседнюю маленькую каморку, где при тусклом свете ночника увидел детей своих.

Оба сына, Петр и Карл, даже не встали ему навстречу.

Младший — Карл — лежал уткнувшись в подушку, он, может быть, и не слышал, как вошел отец. Но принц Петр не спит, смотрит во все глаза, а к отцу не подходит. Одна только нелюбимая дочь Гедвига, с покрасневшим и распухшим от слез лицом, поднялась из темного уголка и бросилась к отцу на шею. Но он не ответил ей на эту ласку, он все еще не мог прийти в себя, все еще не оправился от постигшего его удара, еще не мог ни думать, ни чувствовать, жил и шевелился машинально.

— Ах, Боже мой, что на вас надето! — шепнула сквозь слезы Гедвига. — Но я о вас подумала: вот ваш халат любимый, я его захватила и привезла с собой.

Она кинулась в свой уголок и вернулась с халатом.

— Спасибо! — равнодушным голосом проговорил Бирон, сбросил с себя солдатскую шинель и надел халат. — Спасибо! — еще раз по-

вторил он, закутываясь в свой мягкий меховой халат. И вдруг как будто чувство проснулось в нем, он протянул руки дочери, привлек ее к себе и поцеловал ее горячий лоб.

Она громко зарыдала.

— Господи, что же с нами будет? — сквозь рыдания шептала она. — Что с нами сделают?

— Да, спрашивай его! Спрашивай! — обратился к ней старший брат. — Он должен знать это!

Проговорив эти слова, принц Петр замолчал и отвернулся в сторону.

И так уже бледное лицо Бирона побледнело еще больше. В тоне сыновних слов он услышал и упрек себе, и обиду, и дерзость, и презрение.

— Негодяй! — отчаянным голосом крикнул Бирон и кинулся к сыну.

Вся кровь ударила ему в голову, кулаки судорожно сжимались. Еще несколько секунд, и он жестоко избил бы сына, но силы ему изменили: во всех членах поднялась страшная боль, слабость подкосила ноги, он пошатнулся и упал на пол.

Гедвига кинулась к нему, старалась под-

нять его, но напрасно. Он снова как будто забылся и несколько минут просидел на холодном полу. Потом медленно, со стоном, приподнялся на ноги и вышел из каморки.

Он присел на кровати жены своей. Она дремала.

Голова Бирона опустилась на грудь, и вдруг в комнате раздались рыдания. Он рыдал, рыдал, не имея возможности удержаться, и сквозь рыдания слышал, как сын что-то громко и резко говорит с сестрою.

Гедвига старалась усовестить брата.

— Теперь-то что ж упрекать его! — говорила она. — Разве ему легко? Его пожалеть надо!

— Кого жалеть? За что жалеть? — раздражительно твердил Петр. — По чьей же милости, как не по его, мы теперь в этой норе проклятой? Мне холодно! Я голоден! Меня вон завтра, может быть, казнить будут, и кто же виноват в этом?

Повторилась вечная история: сын, привыкший как должное принимать все выгоды блестящего отцовского положения, возмущался необходимостью разделять с этим отцом его несчастья.

Гедвига замолчала, опять забила в свой темный угол и начала думать. Она давно привыкла думать втихомолку.

Несмотря на свои четырнадцать лет, она даже и сегодня оказалась благоразумнее и братьев, и матери.

Когда ее утром разбудили и сказали ей, в чем дело, она, конечно, не могла удержаться от слез и ужаса, но очень скоро совладала с собою и решилась действовать.

В последнее время она очень много наблюдала, хоть и ни с кем не делилась своими мыслями.

Когда ее мать, и отец, и все домашние торжествовали и были уверены, что впереди только одно счастье, что ничего дурного с ними случиться не может, Гедвига предчувствовала что-то неладное. В толпе своих поклонников, в толпе царедворцев, окружавших отца и ловящих каждый его взгляд, каждое его слово, она подмечала притворство и обман. Незаметно для других она следила за этими лицами и видела, как изменяется их выражение, только что герцог от них отвернется.

С каждым днем ей все яснее становилось,

что отца ее никто не любит и что все будут очень рады, если с ним случится несчастье. А если никто не любит, так, значит, и будет это несчастье! Но, конечно, она не могла ожидать, что все ее дурные предчувствия сбудутся так скоро и так ужасно.

Гедвига много училась и много знала. Знала она, между прочим, и историю, слышала она рассказы о падении Меншиковых, Долгоруких, знала, какая судьба постигла эти несчастные семейства.

«Вот, значит, теперь и с нами то же будет, — с ужасом подумала она, — сошлют нас куда-нибудь далеко, и это неизбежно! И надеяться нам не на что! Значит, нужно примириться с этой ужасной мыслью, значит, нужно ко всему приготовиться. Вот и сейчас, того и жди, нас увезут отсюда!»

При этой мысли Гедвига вдруг отерла слезы и бросилась в свои комнаты.

Несколько минут простояла она в раздумье, соображая, какие вещи ей всего нужнее и что она может взять с собою.

Твердой рукой отперла она ящички, вынула некоторые драгоценности и спрятала их на

себе так, что найти их можно было только совсем раздев ее. Потом она связала небольшой узел: все самые необходимые вещи для туалета; положила в тот же узел и несколько любимых своих книг.

С этим узелком прибежала она в комнату, где лежала ее мать; собственными руками, не допуская никого к матери, она одела ее потеплее и, когда та несколько пришла в себя, стала спрашивать, что она хочет, чтоб было взято с собою.

Но герцогиня не могла ничего говорить, не могла ни о чем думать, и Гедвига опять-таки сама рассудила, что нужнее, и приготовила другой узел. Вспомнила она даже и об отце: не забыла его мехового халата.

И вот она теперь прилегла в темном уголке монастырской кельи. Она устала, голодна, весь день ничего не ела, но она не думает об этом. Кому же, как не ей, плакать теперь, ломать руки, рыдать и приходить в отчаяние? Но она ничего этого не делает. Она думает, она хочет разглядеть то, что перед ними, новую жизнь, к которой должна готовиться.

Из того, что она знает о всяких местах за-

точения, ей представляется что-то ужасное, представляется вечная зима, безлюдье, тишина пустынная, маленькая избушка, скука невыносимая. Но что ж такое: всюду живут люди и не умирают. Была сегодня одна минута, когда ей умереть захотелось, но нет, умирать не следует! И ей теперь умирать не хочется. Переживают люди целые годы заточения и ссылки, и опять возвращаются в свет, и опять блестят в нем, и опять им улыбается счастье...

А перед нею такая ведь долгая жизнь, что и конца она не видит этой жизни, ей только четырнадцать лет!

Она знает, что она умна, что она умеет всем нравиться, так мало ли что еще сделать можно! Мало ли что будет! К чему отчаиваться? Лучше быть спокойной.

И она почти спокойна. Как тихо! Братья загнули, но вдруг в соседней келейке раздается стон. Это мать простонала. Вот отец закашлялся, и опять все тихо. Отец! Мать!..

Гедвига невольно вздрогнула, представив себе сцену, как ее гордая мать лежала в одной рубашке на снегу и солдаты ее поднимали;

как ее отца, перед которым трепетали сановники и принцы, простые солдаты били. Что они, эти отец и мать, должны были вынести!!

Но Гедвига недолго останавливалась на этих мыслях, она не любила своих родителей. Если она и кинулась на шею отцу, если она и останавливала брата, то из одного только сознания, что так необходимо, а не от искреннего чувства. Она хорошо помнила, что ни одной светлой минуты не подарили ей родители. Мать думала только о себе одной, никогда не ласкала ее, отец даже часто бил, называл в глаза уродом, смеялся над ее маленьким горбом, которого никто и не видел, о котором никто даже и не знал, как она думала.

Да, она никогда не любила отца с матерью; гораздо больше их любила она покойную императрицу, Анну Ивановну. Та ее ласкала часто, называла своей милой девочкой, делала ей, чуть не каждый день, прекрасные подарки.

И вот представилась Гедвиге покойная императрица, и тут она не удержалась, горько заплакала.

— Ах, зачем она умерла? Зачем умерла? —

почти громко проговорила Гедвига. — Ведь могла бы еще жить; ведь она была вовсе не так стара. Вот он теперь мучается, погибает, — подумала она про отца, — и ведь, да... ведь вот правда, один он всему причиной, может быть, даже причиной и смерти доброй императрицы! Он знал, что она очень больна, что ее непременно лечить нужно, а скрывал ото всех ее болезнь, разуверял ее самое, и вот теперь наказан за все это!

Но усталость сделала свое дело: мысли Гедвиги стали обрываться и путаться. Она засыпала, и в дремоте ей мерещился веселый, роскошный бал. Сама она одета в драгоценное платье, покрытое бриллиантами, кругом все улыбаются ей, почтительно склоняются перед нею, важные лица подходят к ней и говорят ей комплименты...

Она опять просыпалась и думала: неужели все это прошло навсегда? Неужели оно никогда не вернется? Нет! Не может того быть, вернется, должно вернуться!..

Бирон тоже не спал. Напротив, тяжелое, странное оцепенение, в котором он находился весь день, теперь вдруг прошло, он все со-

образил и понял. Первое отчаяние, охватившее его, выразилось слезами и рыданием. Но даже и в своем теперешнем положении он не мог долго отдаться серьезному чувству, он вдруг, быть может, в первый раз после многих лет, оказался самим собою: все явившееся в его характере вследствие необыкновенного положения, в которое он был поставлен, исчезло. Он уже не был высокомерный, гордый герцог курляндский, он снова превратился в митавского конюха. Он не возмутился даже и не считал себя униженным тем, что с ним так поступали, что на нем синяки и ссадины от солдатской потасовки. Смириться духом и понять, что над ним совершается вполне заслуженная кара, он тоже, конечно, не мог; он думал только о том: что же теперь ему делать и как вывернуться?

Соображая и обдумывая, он пришел к успокоительному убеждению, что вряд ли его казнить будут, что, наверно, ограничатся только ссылкой. Он хорошо знал характер Анны Леопольдовны, знал, что, в сущности, она добра, что ей делается дурно при одной мысли о крови.

«Конечно, они начнут следствие, — думал Бирон, — и вот тут-то нужно хорошенько действовать мне. О! Я еще не дам вам торжествовать надо мною! Я еще многое выведу на чистую воду! Я еще удружу кой-кому, а, главное, тебе удружу, проклятый Миних! Ты увидишь, что, даже свергнутый и заточенный, я еще могу бороться с тобой!»

Он стал обдумывать подробно все свои будущие показания, все обвинения, которые он будет взводить на многих. Он знал, что некоторые из этих обвинений будут очень вески и доказательны, и в мыслях о том, как еще много может он зла сделать, он находил наслаждение.

С этими мыслями он и заснул под утро.

Но долго спать ему не пришлось, скоро явились офицеры и сказали, чтобы узники сейчас же собирались, что их велено везти в Шлиссельбург.

Герцогиня стала стонать; Гедвига помогла ей одеться потеплее и в то же время заботилась о своих узелках.

Принц Петр, еще вчера наследник Курляндии и предполагаемый жених цесаревны

Елизаветы, мрачно, озлобленно и высокомерно глядел на всех и ни одного слова не сказал в утешение матери. Младший его брат, Карл, любимец покойной императрицы, бывший с восьмилетнего возраста кавалером орденов Александра Невского и Андрея, усыпанного бриллиантами, теперь оказался просто испуганным, плачущим ребенком.

Через несколько минут Бирон был готов. Он так и остался в своем халате, а сверх халата на него надели его роскошный плащ, подбитый горностаем, в котором он обыкновенно разъезжал по городу. Но он даже не заметил, что на него надели, не заметил, что этот плащ был новой над ним насмешкой.

Под конвоем вывели арестантов из монастыря и усадили в карету. На широкие козлы вместе с кучером сели два офицера, и оба держали в руках заряженные пистолеты. Грузная карета медленно покатила по улицам. Народ собирался ей навстречу, бежал за нею. Сквозь широкие окна кареты так и бросался в глаза яркий, знакомый всему Петербургу плащ Бирона.

Герцог нахлобучил на глаза меховую шап-

ку, чтобы только его не видели и чтобы самому никого не видеть. Народ кричал:

— Покажись! Покажись! Как твое здоровье, государь Бирон? Скатертью тебе дорога! Покажись, покажись на прощанье! Дай на себя еще разок полюбоваться!

Судорожно тряслись побледневшие губы Бирона, все лицо его кривилось, глаза наливались кровью, он сжимал кулаки и в бессильной ярости шептал: «Проклятые!»

Многие из толпы, выходявшей навстречу Бирону, помнили еще другой день и другую карету, в которой, так же закутавшись и нахлобучив шапку, сидел другой изгнанник — всемогущий князь Меншиков.

Тогда тоже и Александру Даниловичу кричали: «Покажись-ка!» Но все же далеко не все, вышедшие глядеть на печальный меншиковский поезд, посылали вслед павшему вельможе проклятия. Тогда были люди, решавшиеся и пожалеть его. Эти люди сознавали, что он виноват, что он по делам наказан, но все же они знали и о его заслугах, все же они знали, что это наказан большой русский человек, много делавший для земли своей и только по-

путанный бесом.

Теперь же, глядя на яркий плащ Бирона, никто не находил в себе жалости к регенту. Все знали, что никаких заслуг никогда и не было за этим иноземцем, что он появился как червь негодный, который портит хлеба роскошные, что он умел только пожирать все, попадавшееся ему под руку! И вот все, как один человек, провожали его насмешками и радовались его унижению.

Проехала карета, народ стал расходиться, толкуя о совершившемся событии.

— Ну, скрутили злодея, теперь авось и вздохнем свободнее! — слышались голоса.

— Ах! Да вздохнем ли? — отвечали другие. — Один, что ли, враг был у нас — Бирон? Им одним разве все зло держалось? Много еще разных биронов осталось. Что-то будет? Это они теперь только друг с дружкой грызутся! Эх, кабы наша царица Елизавета Петровна... она бы всех этих червей негодных из Русской земли с корнем вывела!

Часть вторая

I

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Анна Леопольдовна была признана правительницей. За все это время в России и в Петербурге не случилось никаких волнений. Все казалось тихо, спокойно, а между тем это спокойствие было только кажущимся: всюду велись большие интриги.

Оскорбленный Минихом принц Антон скоро достиг своих целей. Он знал, что выбирает себе надежного помощника в Остермане.

Андрей Иванович действительно в этом деле работал за двоих. Ему необходимо было доказать и самому себе, и Миниху, что промах еще не есть признак слабости.

Не прошло и месяца со дня свержения Бирона, как Миних должен был почувствовать силу Остермана, а надежных друзей и сторонников у него не оказывалось. Он совершил переворот ради себя и принцессы, забыл об интересах всех остальных и, следовательно, мог держаться только одной принцессы. Но и относительно Анны Леопольдовны положе-

ние его было не особенно крепко. Принцесса не чувствовала к нему никогда большой привязанности; ее с ним связывала теперь только благодарность; а ведь известно, что благодарность, для большинства людей, чувство очень тяжелое и от него всячески стараются избавиться.

Миних забылся, с первой минуты своего торжества поставил сам себя на первое место, считал себя вправе всем распоряжаться, не стесняясь заявлял, что только его советами, выражаемыми в безапелляционной форме, должна руководствоваться правительница.

Она сознавала, что он может этого требовать, что она действительно ему всем обязана, но в то же время эти требования ее раздражали. К тому же миниховские советы иногда не согласовались с ее собственными желаниями, а она, как бы то ни было, считала себя теперь действительной правительницей России.

— Что ж это такое, — думала она по своему обыкновению вслух перед другом своим Юлианой, — что ж это такое, неужели для того я избавилась от Бирона, чтобы попасть под но-

вую опеку?

Конечно, Юлиана, приобретавшая с каждым днем все более влияния на принцессу и всегда умевшая направлять ее мысли, могла бы и тут сослужить верную службу своему родственнику Миниху, но и она этого не хотела, и она тоже возмущалась его опекой, и молча выслушивала жалобы своего друга, ни одним словом не заступалась на фельдмаршала. Все остальные приближенные только и делали, что раздражали Анну Леопольдовну: они ежеминутно толковали ей о том, что честолюбие Миниха всем известно, что, наверное, он питает в себе самые опасные замыслы, что это человек, уже и по своему характеру никогда не могущий быть ничем довольным и постоянно желающий большего: «Вчера он свергнул Бирона, завтра, если что-нибудь ему не понравится, он точно так же может свергнуть легко и ее, принцессу. Да, Миних даже опаснее Бирона, потому что отважнее его, умнее, даровитее. Для того, чтобы он был доволен, надо подчиняться ему во всем. Рядом с собой он не потерпит никого, он никому не позволит себе заграждать дорогу...»

«Рядом с собой он не потерпит никого» — эта фраза, не раз повторяемая, осталась в голове Анны Леопольдовны, и в этой фразе была вся дальнейшая судьба Миниха.

Дело в том, что Линар был уже на дороге к Петербургу. Вот он приехал, и правительница встретила его с таким нескрываемым восторгом, что об этом тотчас же стали говорить. В нем увидели сразу новое восходящее светило, быть может, нового Бирона. И, конечно, прежде всех заметил это Миних. Он понял, что ему предстоит бороться с Линаром, что ему необходимо победить этого Линара, потому что иначе он заступит ему дорогу. Но он не понял и не сообразил того, что единственная возможность удержать за собою первенствующее значение и какое-нибудь влияние на принцессу, это именно всеми силами стараться не показывать нерасположение к новоприезжему, что необходимо взвешивать теперь каждый свой шаг и каждое слово. Миних неосторожно проговорился, вскользь заметил, что такая торжественная встреча и ласки, оказываемые одному посланнику, могут весьма основательно обидеть других.

Эти слова были переданы Анне Леопольдовне и подняли в ее сердце целую бурю. Судьба Миниха была решена. Бороться с сердцем любящей женщины старому фельдмаршалу оказалось не по силам. Он был теперь со всех сторон окружен врагами, он чувствовал себя как лев, попавшийся в крепкие тенета, и только метался из стороны в сторону, с каждой минутой все больше и больше сознавая свое бессилие. Он видел, как принц Антон и правительница, совершенно чуждые друг другу, даже порвавшие супружеские отношения, дружелюбно сходились между собою в одном: в недоброжелательстве к нему, Миниху. Чем же все это кончится?

Окончания пришлось ждать недолго: враги Миниха работали быстро. Принц Антон каждый вечер сидел у Остермана и каждый раз, возвращаясь от него, жаловался правительнице на то, что фельдмаршал с ним очень дурно и недостойно обращается.

В конце января Анна Леопольдовна, отворяя свой туалет, нашла в нем письмо, написанное как будто за границей. В письме этом говорилось, что чрезвычайно опасно ей пола-

гаться на одну только фамилию, и притом иностранную, что в таком случае состояние подданных ее сына не может улучшиться, хотя и нет более Бирона.

Остерман, Головкин и Левенвольде пользовались каждым случаем, чтобы доводить до сведения правительницы о действительных и мнимых промахах фельдмаршала. Наконец, к довершению всего, сосланный Бирон прислал свои показания, в которых всячески изоцрялся вредить Миниху.

Анна Леопольдовна была раздражена в высшей степени и в этом раздражении нанесла первый удар своему благодетелю: Миних получил указ о том, что должен сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме.

Этот указ застал фельдмаршала больным и, конечно, не мог способствовать его выздоровлению. Болезнь его усилилась, он лежал в постели, а в то же время вечно больной и по целым месяцам не выходивший из комнаты граф Андрей Иванович все чаще и чаще показывался на своих носилках в покоях правительницы.

Жалуясь на свои болезни и охая, прикрывая свои зоркие глаза и все обрюзгшее бледное лицо зеленым зонтиком, старый оракул убедительно доказывал принцессе, что Миних не сведущ в делах иностранных. А кто же мог вернее судить об этом, как не он, Остерман, в продолжение двадцати лет управлявший этими делами? Все яснее и яснее из слов Андрея Ивановича становилась для Анны Леопольдовны опасность: несведущий, высоко занесшийся фельдмаршал может приготовить гибель России.

— Что ж теперь делать? — растерянно спрашивала Анна Леопольдовна.

— Да уж и не знаю, ваше высочество, — отвечал Остерман, даже под зонтиком закрывая свои глаза, чтобы ничего не было видно в его мыслях. — Уж и не знаю, что теперь делать! Конечно, я был бы рад сообщать фельдмаршалу все необходимые сведения, но вы сами изволите видеть, что я совсем больной человек и не могу к нему ездить; пришлось бы постоянно толковать не об одних иностранных делах, а и о внутренних. Хотя фельдмаршал и богато одарен от природы, но всякие позна-

ния даются только долгими трудами, многолетней опытностью и практикой, а он, как известно вашему высочеству, опытность и практику приобрел только в делах военных.

И Андрей Иванович начинал снова вздыхать и охать.

Следствием этих разговоров был второй удар Миниху: кабинет-министры получили именной указ, где говорилось, что первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху, надлежит ведать все, что касается до сухопутной полевой армии и всех войск, и рапортовать об этом герцогу брауншвейгскому. Генерал-адмиралу графу Остерману ведать все, что подлежит до иностранных дел и дворов, а также адмиралтейство и флот. Великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все, касающееся до внутренних дел, по Сенату и Синоду, о государственных по камер-коллегии сборах и других доходах, о коммерции и юстиции.

Указ заканчивался такими словами: «Если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего обсуждения, о таком тотчас учи-

нять общий совет».

Миних едва мог прийти в себя по прочтении этого указа: все, что он приобрел для себя, все, что он получил как награду за совершенный им переворот, от него отнималось: он снова превращался в то, чем был при императрице Анне. Что ж теперь ему делать? Протестовать, бороться? Но видит — против него все, друзей нет, партии составить не из кого; над ним все смеются, торжествуют. Даже принц Антон, которого он считал за ничто и отстранил мановением руки, как надоедливую муху, этот принц Антон вдруг совершенно изменился, глядит и говорит так гордо — очевидно, чувствует под собою твердую почву, сознает свою силу.

Вот фельдмаршалу верные люди передают такие слова принца Антона: «Хоть я много одолжен Миниху в походах, хотя он может быть мне полезен на своем надлежащем месте и недавно оказал услугу, но все же из того не следует, чтоб ему быть здесь верховным визирем. Если он будет настолько благоразумен, что без рассуждения согласится на требование, выраженное в последнем указе, то я не

стану вредить ему, но если он начнет слушаться неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то легко может своей глупостью навлечь на себя гибель».

И все это говорил принц Антон, тот самый принц Антон, который дрожал и плакал еще так недавно в чрезвычайном заседании, собранном Бироном.

Скрежеща зубами, в бессильной ярости, Миних согласился на все, что от него требовали. Но соглашаясь, он все же надеялся, что теперь его оставят в покое, что новых уступок от него уж и невозможно требовать, что он будет в состоянии хорошенько обдумать свое положение и найдет еще возможность потягаться со своими врагами и посрамить их.

Однако и тут он ошибался. Принц Антон продолжал свои почти ежедневные тайственные посещения Остермана и Головкина. Остерман и Головкин продолжали настраивать Анну Леопольдовну и совершенно успевали в этом. При докладах Миниха правительница стала очень странно держать себя; она делала вид, что затруднена множеством

предметов, что у нее мало времени, что она не в силах сама все обдумывать и решать — и призывала к себе на помощь принца Антона.

Миних раздражался все больше и больше, едва себя сдерживал и, наконец, решился на последнее средство. Необходимо было, так или иначе, выйти из этого невыносимого положения. Он потребовал отставки, в твердой уверенности, что отставка эта не будет принята, что Анна Леопольдовна перепугается, что станут уговаривать, упрашивать и, наконец, примут все его условия.

Действительно, в первую минуту правительница была поражена, она все еще помнила, чем обязана фельдмаршалу, ей все еще было как-то совестно окончательно оттолкнуть и унижить этого человека.

Миних сидел дома и сказывался нездоровым.

Анна Леопольдовна послала ему передать, что не может обойтись без его советов, не может согласиться на его отставку. Но этого заявления ему было мало, он объявил, что если не могут обойтись без него, то он согласен продолжать свою службу, но только на одном

непременном условии, чтобы все дела велись так, как в первые два месяца по свержении Бирона.

«Что-то ответят? Согласятся ли?»

Миних ждет целый день — никакого ответа.

Наступил и второй день — никто к нему не является. Он спрашивает сына — сын отвечает, что ему ничего не известно. А между тем принц Антон сидит у Остермана, к которому приехал вместе с графом Головкиным. Их совещание продолжается несколько часов, затем они едут во дворец, призывают Левенвольде и Миниха-сына и поручают им передать фельдмаршалу, что правительница с сокрушенным сердцем соглашается исполнить желание графа, соглашается на его отставку.

На следующий день с необыкновенной поспешностью и предупредительностью уже готов указ генералиссимуса, в котором говорится: «Всемиловитейше указали мы нашего первого министра, генерал-фельдмаршала графа фон Миниха, что он сам нас просит за старостью, и что в болезнях находится и за долговременные нам и предкам нашим, и го-

сударству нашему верные и знатные службы его, от военных и статских дел уволить».

Миних был поражен до такой степени, что потерял уж всякую энергию и не мог опомниться от этого удара; но ему предстояло вынести еще одно последнее оскорбление.

Принц Антон торжествовал. Запуганный, загнанный, со всех сторон оскорбляемый, он, наконец, достиг своей цели, и у него явилось, вполне согласное с его характером и чувствами, желание поломаться перед сверженным противником, поглумиться над ним. Он велел собрать солдат, и вдруг на петербургских улицах раздался барабанный бой, сбежался народ, и народу торжественно читался указ об отставке Миниха.

Даже Анна Леопольдовна, вся поглощенная в это время свиданиями с Линаром и своими собственными делами, возмутилась таким поступком принца.

Она тотчас же послала сказать фельдмаршалу, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду.

Миних, раздавленный, задышавшийся от отчаяния, бешенства и оскорбления, все же

нашел в себе силы отвечать с полным достоинством. Он послал сказать правительнице, что считает себя вполне удовлетворенным, получив такие знаки ее милости. Вслед за этими к нему отправлены были три сенатора с извинениями.

А между тем продолжали приходить одно за другим показания Бирона, и в них он с наслаждением выставлял и доказывал все вины фельдмаршала.

Но на слова Бирона уже обращали мало внимания — все равно Миних теперь был безвреден.

Анна Леопольдовна успокоилась; ее совесть молчала — не она выказала неблагодарность столько для нее сделавшему человеку, она только подчинилась необходимости; не она его погубила — он сам погубил себя. Она оправдывала себя тем, что Миних был неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии. Он не обращал ни малейшего внимания на добрые внушения, не исполнял приказаний принца, не исполнял даже ее приказаний, а выдавал свои приказы, противоречившие ее воле. Иметь дело с таким человеком —

значило рисковать всем.

Отвязавшись от него, она вздохнула свободнее; теперь ей уже не предстояло целые дни выслушивать различные жалобы и советы. Теперь все были довольны: Остерман мог снова делать что ему угодно. Принц Антон дружен с Остерманом, пусть они там и ведут дела — до нее это не касается. Теперь она может наконец всецело отдаться своей собственной жизни. Она исполнила всеобщее желание, и пусть оставят ее в покое; если же кто-нибудь вздумает вмешиваться в личные дела ее, так она покажет еще свою силу.

II

Весна в полном разгаре; ладожский лед прошел. Солнце сияет все жарче и жарче, и на огромных черных деревьях дворцовых садов распускаются почки. Нева широкая стоит — не шелохнется. В безветренном воздухе только изредка тонкий белый гребешок волны, поднятой большою рыбой, приподнимается из глади, разбежится и плеснет на набережную.

Анна Леопольдовна любит теперь выходить в сад и по целым часам гулять там, опи-

раясь на руку Юлианы.

Кто несколько месяцев не видел принцесу, с трудом ее теперь узнает. Лицо ее оживленно, глаза блестят весело, на щеках играет здоровая молодая краска. Она чувствует себя счастливой и довольной; только одно обстоятельство смущает эти безоблачные дни: иногда ей невозможно повеселиться так, как бы хотелось — доктора удерживают: правительница через несколько месяцев снова должна сделаться матерью.

Но даже и об этом неприятном ей обстоятельстве она часто забывает — широкой волною нахлынуло на нее счастье.

Она жадно, почти с детским восторгом встречает весну; она глядит на распускающуюся зелень, на яркое солнце, на синеву небесную, слушает веселое щебетанье птиц, и все это торжество просыпающейся природы сливается с торжеством ее сердца, и во всем видится ей милый образ!

Иногда Остерман или другие скучные люди толкуют ей о делах, пугают тем, что политический горизонт начинает покрываться тучами, что собирается гроза со стороны Шве-

ции: того и жди, война — но ей нет никакого дела до этого. Какой вздор! Какие там тучи! Небо безоблачно... Он, он, человек, которого она любит вот уже сколько лет, которого так безжалостно когда-то у нее отняли, снова с нею! О чем же думать теперь? Перед чем смущаться? Война — какой вздор!.. Но если и война, так это не ее дело: пусть они там справляются как знают. Пусть только оставят ее в покое.

Раннее утро. Анна Леопольдовна проснулась, медленно открыла глаза и взглянула прямо перед собою.

В окно ее спальни так и врывается ослепительным светом это горячее майское утро.

«Душно здесь, душно! Скорей воздуху, света!»

Она кличет своих служанок; она приказывает растворить двери балкона, поставить на балкон экран, а потом вынести и ее вместе с кроватью. Она еще не хочет одеваться. Ей так приятно будет понежиться часок-другой на воздухе. Балкон выходит прямо на Мойку.

— Юлиана! Юлиана! — радостно говорит она входящему другу. — Слышишь, что я при-

думала: я хочу спать на балконе!

Юлиана пожимает плечами.

— Положим, — замечает она, — у тебя могут быть всякие капризы, и доктора говорят, что в твоём положении даже следует исполнять эти капризы, но ведь есть же всему предел! Как же это спать на балконе? Выносить кровать? Ведь увидят...

— Вот пустяки! — перебивает ее принцесса. — Никто не увидит — теперь рано... Да и, наконец, не смеют смотреть! Не смеют видеть! Неужели я не могу делать что хочу? Выносите же меня скорей! — обращается она к служанкам.

Кровать вынесена, заставлена ширмами. Но если кто хочет наблюдать с реки, тот, конечно, видит принцессу.

Удалились служанки, удалилась и Юлиана, объявив, что не желает вовсе быть соучастницей этой выдумки. Принцесса одна; тёплый ветерок доносит к ней то свежий, влажный запах речной воды, то душистый смолистый запах липовых и тополевых почек. Над нею высоко плывут прозрачные розоватые облака, и там, в сверкающей высоте,

крошечными точками мелькают птицы.

Утренний воздух снова навевает на нее дремоту, и она забывается, незаметно переходя от окружающего ее ясного утра в мир фантазий, и сладко ей бессознательно следить за прозрачными, внезапно являющимися и заменяющими друг друга грезами, и незаметно идет время. Мало-помалу расплываются, будто в той же синеве небесной, ее грезы. Она совсем засыпает. Почти детская, блаженная улыбка на ее губах, грудь мирно, спокойно дышит, а ветерок ласково скользит по лицу ее, шевелит выбившийся из-под батистового чепчика локон...

Но вот она снова проснулась.

— Юлиана!

А Юлиана уже здесь, торопит ее скорее вставать, не то, право, это ни на что не похоже: в городе начинается движение, по реке давно плавают лодки, да и набережную нельзя же ведь закрыть от народа.

Анна Леопольдовна, улыбаясь, потягивается и, наконец, соглашается, чтобы ее внесли снова в комнату.

— Который час, Юлиана? — потягиваясь,

спрашивает Анна Леопольдовна.

— Да уже скоро десять, разве не видишь, как высоко солнце?

— Десять! Так в самом деле пора вставать. Скорей мне одеваться!

Принцесса торопливо приподнялась с кровати и начала свой туалет.

Через полчаса она была готова, накинула широкую белую, подбитую розовой тафтой блузу, а голову повязала неизменным белым платочком. Но теперь даже и в этом платочке замечалась перемена: он был повязан довольно кокетливо.

Анна Леопольдовна тут же, у себя в спальне на скорую руку позавтракала и поспешила с Юлианой в сад.

В огромном саду было совершенно пусто. Работники, расчищавшие дорожки, издали завидев принцессу с ее спутницей, поспешно скрылись.

Анна Леопольдовна, глубоко вдыхая в себя душистый воздух, спешила в самую глубь сада, так спешила, что Юлиане несколько раз приходилось ее останавливать и напоминать ей, что скорая ходьба вредна для ее здоровья.

— Может быть, он был здесь и ушел?! — вдруг шепнула Анна Леопольдовна Юлиане.

— Нет, еще рано.

И они шли дальше. Вот подошли они почти к самому забору, остановились у новой, всего с неделю только назад сделанной, калитки.

Анна Леопольдовна прислушалась: все тихо, только наверху со всех сторон раздается веселое чириканье птиц да за калиткой слышны чьи-то мерные шаги.

— Нет, это часовой! — вслух подумала принцесса.

Прошло несколько мгновений, заскрипела калитка, и в ней показалась стройная фигура изящно и богато одетого человека.

Яркий румянец вспыхнул на щеках Анны Леопольдовны; у нее даже дух захватило от радости, и она остановилась, не шевелясь. Только глаза сияли, и правая рука ее, нервно вздрагивая, протягивалась, еще издали, к входившему человеку.

— С добрым утром, принцесса! — по-немецки проговорил он звучным и нежным голосом, целуя протянутую ему руку. —

Здравствуйте, фрейлен! — обратился он затем к Юлиане.

Юлиана поклонилась ему, улыбаясь, а Анна Леопольдовна все продолжала смотреть не него и не проронила еще ни звука.

Это был человек лет уже сорока, но очень моложавый, с прекрасными, правильными чертами лица, с темными ласковыми глазами и изысканными манерами, одним словом — это был Линар.

Анна Леопольдовна, несмотря на то что невольная необходимость постоянно сталкиваться с людьми и играть в обществе большую роль должна же была, наконец, отучить ее от ребяческой конфузливости, при встречах с Линаром до сих пор еще терялась, как влюбленная шестнадцатилетняя девочка. Впрочем, может быть, это происходило, главным образом, и от того, что она чувствовала себя безмерно счастливой и это счастье пришло для нее так неожиданно, что она иногда не могла ему верить, и казалось ей, что это только сон, что наяву, в действительности, не может быть такого счастья.

Пока она молча глядела на Линара и любо-

валась им, Юлиана уже весело болтала. Она успела и похвалить чудесное утро, и сказать Линару, что проснулась очень рано, выпила стакан минеральной воды, предписанной ей докторами, и совершила свою утреннюю прогулку.

— А принцесса заленилась сегодня: только что изволила одеться... Однако что же это я, чуть было не забыла; ведь мне еще два стакана воды выпить нужно: пойду выпью и сейчас же вернусь к вам.

Она быстро направилась по дорожке к маленькой беседке, где ставился ей каждое утро кувшин с привезенной минеральной водой.

Линар и Анна Леопольдовна остались одни.

Он предложил ей руку, она крепко оперлась на нее, и они тихо стали бродить по аллее.

Смущение принцессы прошло. Она живо заговорила: ей так много нужно было сказать Линару.

Они толковали о последних дворцовых событиях, но скоро перешли к близкой для них теме.

— Что же, вы обдумали то, о чем мы вчера говорили? — спросила принцесса своего спутника. — Решаетесь вы навсегда остаться с нами и быть совсем нашим?

— Разумеется! — поспешно отвечал он. — Как можете вы меня спрашивать об этом! Конечно, теперь я не могу, я не в силах вас оставить, но в конце лета, когда я совершенно успокоюсь насчет вашего здоровья, я отправлюсь в Дрезден и выхлопочу себе у моего двора отставку. Мне, конечно, хотелось бы совсем избежать этой поездки, но она необходима.

— Отчего необходима? — перебила Анна Леопольдовна. — Разве нельзя написать? Я сама напишу, я надеюсь, мне не откажут.

— Да, конечно. Но все же такое дело невозможно будет решить без моего присутствия. К тому же мне необходимо тем на родине покончить все свои дела. Впрочем, я долго не буду в отлучке...

Анна Леопольдовна задумалась.

— Скажите, граф, — вдруг спросила она, пристально взглянув на него, — нравится ли вам Юлиана?

— Что за вопрос? Конечно, нравится. Она не может мне не нравиться уже хоть бы потому, что она преданный друг ваш.

— Нет, но как вы находите ее? Не правда ли, она красивая, милая и умная девушка?

— Конечно! Только я не понимаю, к чему вы меня об этом спрашиваете...

— Постойте, я сейчас объясню вам. Вы согласны навсегда расстаться с родиной, согласны сделаться нашим, следовательно, надо позаботиться о том, чтобы вы здесь хорошо, твердо устроились. Жена ваша давно умерла, вам необходимо вторично жениться, и я нахожу, что лучшей невесты для вас и придумать нельзя, как Юлиана...

Линар невольно остановился и изумленно взглянул на принцессу. Но она не смутилась от этого взгляда: то, что она говорила, было давно уже ею обдуманно, взвешено и представлялось ей необходимостью.

— Вы изумляетесь, — проговорила она, — вам не нравится моя мысль? Она и мне самой, может быть, очень не нравится, но иначе нам поступить нельзя. Разберите хорошенько — и сами увидите, что вы непременно

но должны быть женаты именно на Юлиане, на моем лучшем, дорогом друге. Вы будете моим обер-камергером, тогда никто не посмеет вмешиваться в наши дела и расстраивать нашу дружбу.

Она замолчала. Линар тоже не говорил ни слова, и несколько минут они шли молча.

Он обдумывал слова ее и видел, что она права, предложенная ею комбинация действительно одна только и может обеспечить для них в будущем спокойствие. В том кругу общества, где он провел всю свою жизнь, установились свои собственные взгляды на многие вещи, то, перед чем остановился бы в смущении простой, дышащей более здоровым воздухом человек, что показалось бы этому человеку невозможным, унижительным, позорным, казалось совершенно естественным придворному и дипломату. Но все же Линар иногда, неожиданно для самого себя, оказывался более человеком, чем это допускалось при его общественном положении. И теперь комбинация принцессы его смутила, ему вдруг сделалось как-то неловко.

Его смущение сообщилось и Анне Леополь-

довне. Она вспыхнула, опустила глаза.

Она хорошо все обдумала, но по легкомыслию своему не отдавала себе хорошенько отчета в том, какие нравственные трудности ей обходить придется.

Но все же ни он, ни она не могли отказаться от этой ловкой комбинации, все же они продолжали понимать, что она единственная и им не миновать ее.

— А фрейлина Юлиана, она знает? — спросил, наконец, Линар.

— Да! — робко прошептала принцесса.

В это время Юлиана показалась в конце аллеи.

При взгляде на нее опустились глаза Анны Леопольдовны и Линара.

Но она спешила к ним, сияя весельем. Она что-то издала им кричала, чего они не слышали в своем волнении.

Она подошла к ним, и от ее пронизательного взгляда ничто не ускользнуло. Она поняла сразу, что между ее другом и Линаром произошло нечто важное, она знала, что именно, и смущалась. Ей самой первой пришла мысль о комбинации, и она ничего дурного и страш-

ного не находила в ней. Она с чистым сердцем жертвовала собою ради спокойствия своего друга... Но все же и ей было бы неловко, если б пришлось теперь говорить открыто. Все так будет... все так должно быть... но только нет... нет, не теперь... Неужели они заговорят?

Нервная дрожь пробежала по ее членам. Однако ее опасения были напрасны. Линар и принцесса ничего ей не сказали, и разговор свелся на предполагавшийся завтра праздник, на прекрасную погоду, на то, что скоро в городе будет душно и куда бы переехать.

Проходя мимо новой калитки, в которую вошел Линар, они слышали какой-то громкий голос.

— Что же ты с ума сошел, что ли? Как ты смеешь меня не пропускать! — раздражительно кричал кто-то. — Что ты, пьян, что ли? Не узнаешь меня?

— Никак нет-с, ваше высочество! Как же я смею не признать вас? — раздался другой тихий и почтительный голос. — Только, по приказанию ее высочества, никого, как есть ни-

кого, не могут пропускать в эту калитку. Принцесса сама изволила устно отдать мне это приказание; хоть убейте меня, не смею.

Послышалось немецкое проклятие, и голоса стихли.

— Это принц, — прошептал Линар.

— Итак, что же? — ответила Анна Леопольдовна. — Часовой исполняет мое приказание и может быть спокоен, ему ни от кого не достанется. Кажется, я могу быть хозяйкой у себя и запереть этот сад для всех.

— Но ведь принц может обойти и через дворец пройти сюда.

— Нет, не может — и у дворца есть часовые. Когда я гуляю, сад заперт для всех. Я разрешила гулять в нем только птицам, да и то потому, что у меня нет власти над ними. А из людей в мой сад допускается одна Юлиан и ее жених, граф Линар.

Линар и Юлиана никак не ожидали подобного заключения и оба вздрогнули. Но Анна Леопольдовна, на которую как-то электрически подействовал голос мужа, спорившего с часовым, забыла свое смущение, и не ее нашло нервное состояние. Она протянула руки

к своим спутникам и торжественно сказала:

— Да, так нужно! Так должно быть! Так и будет: вы жених и невеста!

Линар и Юлиана ничего не ответили ей, не взглянули друг на друга.

Несколько минут продолжалось странное, тяжелое молчание.

III

Принц Антон, убедясь, что часовой ни за что не пропустит его в новую калитку сада и что из дальнейших препирательств с ним выйдет только одна неприятная и унижительная история, отправился во дворец и прошел прямо на половину Анны Леопольдовны.

— Где принцесса? — спросил он первую попавшуюся фрейлину. — Мне надо ее немедленно видеть.

— Ее высочество гуляет в саду, — отвечала фрейлина.

Принц Антон направился к дверям, ведущим в сад, но и тут два часовых заградили ему дорогу.

Он до такой степени раздражился, что накинулся на этих часовых с кулаками. Но они стояли перед ним, скрестив ружья, как исту-

каны, не повертывая головы и не мигая смотрели в одну точку, если ему было угодно, он мог кричать, бить их — они не шевельнутся. Он отступил в бессильной ярости.

В эту минуту из сада к двери подошла Анна Леопольдовна в сопровождении Юлианы. Часовые немедленно отдали ей честь и пропустили.

— Что же это, наконец, такое? — начал было принц Антон.

Жена мельком взглянула на него, как в пустое пространство, и прошла мимо.

Он бросился за нею.

— Что же это такое? — снова повторил он еще громче и раздражительнее.

— Потихе, — спокойно перебила его принцесса.

— Да ведь это, наконец, ни на что не похоже! — даже начинал задыхаться он от бешенства. — Это унижительно! Вы Бог знает какие порядки заводите. Я хочу гулять в саду — меня не пропускают, меня... Вы вон там Бог знает для кого и для чего калитку проделали и доводите меня до неслыханных унижений! Передо мной часовые заграждают дорогу. Что

все это, наконец, значит? Почему я не могу гулять в саду?

— Потому что я не желаю, чтобы там гулял кто-либо, кроме меня и Юлианы, — тем же спокойным голосом прошептала принцесса.

Это раздражающее, невыносимое ее спокойствие и презрительность доводили его до иступления.

— Да вы, наконец, совершенно забываетесь! — закричал он. — Я не могу допустить этого!

— Это вы забываетесь! — отвечала Анна Леопольдовна. — И я прошу вас меня оставить.

Он сжал кулаки, его зубы стучали.

— Вас оставить?.. Я давно это сделал. Мы, кажется, в последнее время почти и не видимся, ваши двери для меня вечно закрыты. Да ведь есть же предел всему, и я советую вам образумиться и не доводить меня...

Но она не желала его дальше слушать.

— Оставьте меня в покое, — проговорила она, — мне некогда выслушивать ваши дерзости, я утомлена... я больна... оставьте меня!

Она прошла дальше. Но он удержал Юлиану.

ну.

— Юлиана, послушайте, остановитесь, — заговорил он, — мне нужно сказать вам два слова...

Юлиана повиновалась. Анна Леопольдовна на мгновение оглянулась, но не позвала ее и скрылась за дверь.

Принц Антон огляделся; они были в пустой комнате.

Он бросился в кресло и знаком просил Юлиану сесть возле него.

— Что вам угодно, принц? — тихим и каким-то скучающим голосом спросила она.

— Да войдите же хоть вы в мое положение, — торопливо начал он. — Она живет вашим умом, вы имеете над ней такое влияние, образуйте ее, ради Бога, растолкуйте ей, до какой степени возмутительно ее поведение относительно меня.

— Извините, принц, — отвечала Юлиана, — избавьте меня от таких щекотливых поручений. Я не могу, я не должна вмешиваться в дела ваши и вашей супруги, и вы совершенно заблуждаетесь, предполагая, что мое влияние так уж велико. Есть вещи, о которых я

просто не смею говорить принцессе, она меня не станет слушать и прикажет мне замолчать.

Принц Антон взглянул на Юлиану. Она сидела перед ним нарядная, красивая.

В последнее время, весь поглощенный своими делами, большою интригою, хлопотами, переговорами по поводу Миниха, наконец, торжеством своим над фельдмаршалом, он редко встречался с Юлианой. Он забыл о ней думать, забыл о том, какое впечатление производила на него красота ее. Но теперь перед ним было это живое, задорное лицо, и он даже забыл обо всем своем негодовании и любовался ею.

— Я когда-то верил вашей дружбе, Юлиана, — грустно проговорил он, — и жестоко обманулся.

— Я не знаю, принц, чем я подала вам повод быть недовольным мною, я, кажется, всегда выражала вам чувства глубокого моего почтения и преданности...

— Оставьте эти фразы, — перебил принц Антон, — я говорю не о чувствах глубокого почтения и преданности, а о дружбе вашей, на

которую действительно рассчитывал. Мне казалось, что вы мне сочувствуете, что вам жалко меня!

— Когда вы находились в тяжелом положении, принц, когда регент оскорблял вас, я вас жалела от всей души. Но теперь обстоятельства переменялись... и я, признаться, не думала, что теперь вы нуждаетесь в жалости.

— Обстоятельства переменялись... — с печальной улыбкой сказал принц Антон. — Переменялись, да не улучшились... О! Какое же вы коварное существо, Юлиана; как вы зло издеваетесь надо мною!

— Я, принц? Я издеваюсь?.. Извините меня, но я, право, не подала повода вам к подобному предположению.

— Ну, вас не переговоришь! — Он махнул даже рукою. — Всегда найдете, что ответить. Нет, серьезно скажите мне: есть ли у вас сердце?

Она пожала плечами.

— Пожалейте меня, Юлиана, и помогите мне!

Он взял ее руку и прижал ее к губам своим. Она не отняла ее.

— Послушайте! — заговорил принц, оглядываясь. — Послушайте, дорогая Юлиана, я давно собираюсь по душе побеседовать с вами... не здесь... теперь здесь неудобно!.. Скажите мне, когда вы будете свободны сегодня вечером? Мы можем встретиться где-нибудь, не опасаясь свидетелей. Пожалуйста! Прошу вас!

Юлиана поднялась со своего кресла.

— Что ж это, принц, — сказала она, сверкнув глазами, — кажется, вы назначаете мне свидание? Но вы ошибаетесь, если думаете, что я соглашусь на это. Я постоянно с принцессой, у меня мало свободного времени, а если оно и окажется, то я обязана посвятить его жениху моему.

— Что! Жених? — вскрикнул изумленно принц. — У вас есть жених? Кто это такой?

Она секунду подумала и спокойно ответила:

— Мне сделал предложение граф Линар, и я согласилась.

Сразу все стало ясно для принца Антона. Он думал, что стоит ему только хорошенько поухаживать за Юлианой, и она окажется к

нему очень благосклонной. Он рассчитывал, что непременно, в отмщение жене, приблизит к себе Юлиану и сделает ее своей союзницей, что с ее помощью можно будет сделать еще много неприятностей Анне Леопольдовне и Линару, и вдруг!.. Вдруг она сама, прямо, ничего не боясь и не стесняясь, объявляет ему, что Линар ее жених. Вот что они выдумали!.. Он должен был сознаться, что придумано хитро.

— А! Так вот как! — прошептал он. — Я давно должен был видеть, что вы враг мой. А! У вас заговор против меня! Но погодите, вы слишком уж плохого мнения обо мне! Я еще так-то наступать на себя не позволю. Не торжествуйте заранее, есть всему мера! И покажу ей, вашему другу, что до такой степени забываться невозможно! Ее титул правительницы не спасет ее.

— Если вы так говорите, принц, то я имею полное право не слушать слов ваших и позволю себе вас оставить, — проговорила Юлиана и быстро вышла из комнаты.

Принц Антон опустился в кресло и долго сидел не шевелясь, только его губы вздраги-

вали да по временам на лице вспыхивала краска.

«Так вот они как! — думал он. — Но еще посмотрим! Сейчас же надо ехать к Остерману и, делать нечего, посвятить его во все... Да и во что посвящать? Боже! Все отлично все видят, понимают. Когда же, наконец, кончится эта пытка? Неужели всю жизнь мне придется только выносить оскорбления ото всех и отовсюду? Вот, думал, отдохнуть можно — врага свергнул, над врагом посмеялся... А тут в семействе... Нет, господин Линар, я от вас отделаюсь!»

И вдруг ему стало казаться, что отделаться от Линара очень легко, что можно даже пустить в ход вечное и верное средство. «Да я просто отравлю его!» — едва громко не сказал принц.

И он не спросил у себя, способен ли он на подобное дело? Он даже не заметил, как при одной мысли об отравлении он вдруг задрожал всем телом.

Он встал, прошел к себе и приказал закладывать экипаж, чтобы ехать к Остерману.

Андрей Иванович Остерман сидел в своем кабинете. Глаза его не были прикрыты теперь зеленым зонтиком, он откинул толстую шаль, которой закутал было себе ноги, что-то быстро писал, потом оставлял работу и прохаживался по комнате, опираясь на палку. Лицо его было оживлено, глаза блестели. Вообще в последнее время он чувствовал себя гораздо лучше. Дни невзгод прошли; его промах, сразу показавшийся ему непоправимым, ничто не принес, кроме пользы. Враг свержен, и положение Андрея Ивановича теперь так прочно, как даже еще никогда и не было: он один царствует, и даже за границей, говоря о нем, называют его «настоящим русским императором». Из числа сановников нет ни одного, кто бы мог с ним соперничать; все у него в повиновении.

Принц Антон слушается его как ребенок, что же касается до правительницы, то хотя она и не питает к нему особенного расположения, видя его дружбу с мужем, все же не смеет его ослушаться, знает, что им одним держится огромная машина управления государственного, в котором сама она ровно ни-

чего не понимает и понимать не хочет.

Однако много и тревожных мыслей у Андрея Ивановича. Внешние дела далеко не блестящи: грозит близкая война со Швецией, а внутри государства беспорядки, ропот, недовольство правительством. Да, тревожное время! Андрей Иванович чувствует, что пришла пора переворотов, что настоящее положение дел долго не продержится, и он думает, думает, работает неустанно, так работает, что жена его просто иной раз обливается слезами горючими: ей кажется, что совсем изводит себя друг ее сердечный.

Андрей Иванович только что окончил составление важной бумаги, перечел и остался доволен. Он снова приподнялся с кресла, простонал немного, единственно по привычке, и уже потянулся к своей палке, чтобы походить, да в это время раздался стук в двери. Он сейчас же оставил палку и снова грузно опустился в кресло.

— Кто там?

— Я, — раздался голос графини, — принц приехал.

— Хорошо.

Остерман поспешно надел зеленый зонтик, закутал ноги шалью и ожидал появления принца.

Принц Антон вошел бледный, расстроенный, присел к письменному столу Остермана и опустил голову на руки с видом глубочайшего изнеможения.

Андрей Иванович из-под своего зеленого зонтика пристально наблюдал за принцем. Его губы почти незаметно кривились усмешкой.

«Вот человек! — думал он. — Даже и владеть-то этим человеком как-то стыдно становится, ну что ему теперь?»

— Что вы так печальны, принц? Разве случилось что-нибудь нехорошее? — ласковым и почтительным голосом проговорил он.

— Ах, граф, я совершенно расстроен! Я доведен до полного отчаяния; право, кажется, если б не вы, то и не знаю, что бы сделал с собою. Но мне нужно окончательно и серьезно переговорить с вами, так продолжаться не может. Я не в силах больше выносить моего положения.

— Что же? Что такое? Я вас слушаю.

— А то, что моя супруга окончательно забывается. Вы знаете, перед вами у меня нет секретов, я вам уже говорил, что с первого же дня приезда этого Линара она стала неузнаваема. Ну, конечно, и прежде нашу жизнь нельзя было назвать примерной; мы часто ссорились, но все эти ссоры не заходили слишком далеко. А ведь теперь... теперь, что же это такое? Я получил окончательную отставку, я ее совсем не вижу, я не знаю, где она, что она делает. Она со мной не говорит, она запирает перед моим носом двери; всюду наставила часовых, не пускает меня даже в сад погулять, и вечно, вечно с Линаром.

— Да-а, — протянул Андрей Иванович, — Линар и меня очень смущает, я сам уже давно думаю, как бы ему указать его настоящее место. Ведь я его не с сегодняшнего дня знаю, очень хорошо помню и первое его пребывание у нас; это самый невыносимый, самый зазнающийся и честолюбивый человек, какого можно себе представить. Если мы вовремя его не остановим, то еще наплачемся.

— Все это я отлично знаю, — перебил принц, — но что же делать? Как его остано-

вить? Ведь вы же все выбрали ее правительницей, теперь она и делает что ей угодно.

— Я-то, положим, не выбирал принцессу правительницей, — заговорил Остерман, — и если б вы раньше ко мне обратились, то еще неизвестно, как бы повернулось дело наше. Однако что же говорить о том, что прошло, теперь надо придумать, как выпутаться из настоящего положения.

— Затем-то я к вам и приехал, — почти закричал принц Антон, сжимая кулаки и бешено вращая глазами при воспоминании о сегодняшнем утре. — У нас там, положительно, целый заговор, знаете ли, до чего дошло? Линар — жених Юлианы.

— Как?

Андрей Иванович даже привскочил на своем кресле.

— Да, да, жених! Юлиана мне сама об этом объявила, понимаете? Ловко они придумали: принцесса не расстается с Юлианой, Юлиана не будет расставаться с мужем, понимаете, ведь это новый Бирон, несравненно еще худший, нежели первый.

Андрей Иванович задумался.

— Принц, — вдруг произнес он и взял принца Антона за руку, — нужно действовать.

— И скорее, скорее! — закричал тот.

— Да, нужно спешить, нужно, чтобы вы, наконец, решились перейти в православие.

— Да зачем же, Андрей Иванович? Как будто без этого обойтись невозможно.

Остерман улыбнулся.

— Невозможно, вы должны иметь крепкую партию, а партии не получите до тех пор, пока не будете православным. Народ недоволен — я это знаю наверное. Положим, нам и удастся переделать дело и объявить вас правителем, положим, здесь, кругом нас, во дворце, это и будет хорошо принято, но народ все же останется недовольным. Для того чтобы все оказались на нашей стороне, вы должны быть русским, должны быть православным. Мы не остановимся на полдороге, мы поведем дело дальше, вы будете императором!

Принц Антон жадно слушал Андрея Ивановича. Эти планы уже не в первый раз мелькали в их разговорах. Но сегодня в первый раз Андрей Иванович высказался так прямо и

решительно. И в первый раз принц Антон серьезно и страстно остановился на мысли о возможности такого благополучия.

В первое время по свержении Бирона, в особенности когда ему удалось уничтожить Миниха, он был совершенно доволен своей судьбою. Ему даже было приятно пользоваться всевозможным почетом и в то же время не иметь никаких обязанностей, не иметь никакой ответственности. Но теперь его снова оскорбили, унизили... У него под руками такой могучий человек, как Остерман, с его помощью действительно все сделать можно. Да, он должен уничтожить врагов своих, он покажет этой неблагодарной жене, этому презренному Линару, этой коварной Юлиане свою силу. От отчаяния и бешенства, еще за несколько минут владевших им, принц Антон сразу перешел к полному восторгу.

Если Андрей Иванович так решительно высказался, значит, он считает это дело возможным, значит, так оно и будет. Но вдруг одна мысль пришла в голову принца Антона, и он смутился.

— Но что же нам делать с Елизаветой? —

сказал он Остерману. — Справимся мы с женой, так ведь еще и с этой надо будет справиться. Вы говорите, народ недоволен, но знаете ли, что с каждым днем этот народ думает о ней все больше и больше.

— Очень может быть, — проговорил Остерман, — только сама-то она много ли о себе думает? Я, признаюсь, не считаю ее опасной вам соперницей. Одно время я зорко к ней присматривался: я предполагал в ней честолюбивые замыслы, но теперь она меня почти успокоила. Право, мне кажется, что она не тем занята... или, может быть, у вас есть какие-нибудь новые основания или важные сведения?

— Особенно важного ничего нет, — отвечал принц Антон, — но все же я нахожу довольно много подозрительного в ее поступках. Люди, приставленные мною к этому делу, каждый день мне доносят о всяком ее поступке и всяком движении...

— Ну да, знаю, так что же нового?

— А то, что она все больше и больше сближается с гвардейцами и все чаще и чаще видится с Шетарди. Этот хирург ее, Лесток, то и

дело пробирается во французское посольство.

— Все это, по-моему, не опасно, — сказал Остерман. — Я также не упускаю из виду цесаревну и могу вас успокоить.

— Если вы так говорите, граф, то я спокоен, но ведь все же не следует ослаблять за ней надзора!

— О, это конечно! — ответил Остерман. — Осторожность не мешает ни в каком случае.

Принц Антон окончательно успокоился, считал себя уже императором и даже вздумал было высказать Андрею Ивановичу свои предположения относительно того, как он намерен царствовать.

Остерман не перебил его и стал дремать под его мечтанья. Наконец принц уехал.

Он вернулся во дворец с выражением торжественности во всей фигуре.

Ему захотелось теперь посмотреть и на жену, и на Юлиану. Ему сказали, что принцесса в апартаментах императора. Он прошел туда.

Иоанн III еще не отдавал приказаний часовым заграждать дорогу перед своим родителем, и часовые почтительно пропустили принца Антона.

Он прошел несколько комнат, где то и дело мелькали женщины, приставленные к особе императора, и, наконец, очутился в спальне своего сына. Он увидел принцессу сидящую у роскошной колыбели. Юлиана была тут же: она что-то толковала почтительно стоявшему перед ней доктору.

Анна Леопольдовна мельком взглянула на мужа и склонилась к колыбели.

— Что такое? — спросил принц Антон. — Разве он нездоров?

— Немного, ваше высочество, — отвечал с глубоким поклоном доктор. — Ровно ничего опасного, однако все же надо будет принимать прописанную мною микстуру.

Принц Антон подошел к колыбели.

— Пожалуйста, тише, — заметила, не глядя на него, Анна Леопольдовна. — Он спит, вы его разбудите.

Но он не обратил внимания на слова ее. Он сделал знак кормилице, чтобы она встала с табуретки, поставленной у колыбели, и сел на эту табуретку.

Он осторожно приподнял батистовую занавеску и взглянул на ребенка.

Крошечное создание лежало на вышитой подушке.

Несмотря на тишину в комнате, принц Антон все же не мог уловить слабого дыхания спящего младенца.

«Боже мой, — мелькнуло у него в голове, — а вдруг он умер! Что же тогда будет?»

Он наклонился к самому лицу сына: легкое, почти неуловимое, теплое дуновение коснулось его щеки.

«Нет, он спит, — подумал принц. — Но какой он маленький, какие крошечные, худенькие руки».

— Да отойдите же, вы его разбудите! — шепнула Анна Леопольдовна.

Принц Антон ее не слышал: он в первый раз внимательно глядел на сына. В его сердце зародилось какое-то новое, никогда еще не изведенное им чувство. Ему казалось, что он любит этого ребенка, да и действительно он любил его в эту минуту.

Он осторожно приложился губами к маленькой ручке и несколько минут не отрываясь глядел на кругленькое обрамленное прозрачным чепчиком личико. Это было стран-

ное личико, как-то чересчур спокойное, даже как будто уставшее.

Сердце принца Антона болезненно сжалось. Он забыл все волнения этого дня, все свои ощущения и мысли, забыл разговор с Остерманом и обратился к жене, как будто никаких недоразумений никогда и не было между ними.

— Послушайте, Анна, — сказал он, — отчего он такой бледный, такой маленький.

— У него трудный рост, — заметил доктор. — Но ведь это еще ровно ничего не значит. Конечно, всячески нужно беречь его и, главное, не возбуждать ничем его внимания, он должен быть спокоен.

— Да, да, — поспешно заметила Анна Леопольдовна. — А вот вы же, — она взглянула на мужа, — вы же все толковали о необходимости показать его посланникам. Никому нельзя его показывать, да и к тому же все обратят внимание именно на то, что он маленький, начнутся всякие пересуды и соображения. Надеюсь, вы не станете теперь вмешиваться в мое решение никого не допускать сюда до тех пор, покуда он не окрепнет?

— Делайте как знаете, — отвечал принц Антон и со вздохом вышел из спальни сына. И долго еще преследовало его это маленькое, бледное личико с выражением такой странной, недетской усталости, с закрытыми глазами и длинными темными ресницами, с крошечными, чуть-чуть вздрагивающими губами. И долго он чувствовал на щеке своей какое-то странное дуновение, поднявшее в нем неведомые ему чувства любви, тоски и неясных опасений.

V

После теплого и ясного дня наступил свежий, лунный вечер. Петербургские улицы мало-помалу утихали. В тишине невозмутимой выделялся на светлом весеннем небе дом цесаревны Елизаветы. Так было тихо в нем и вокруг него, что казалось, никто не живет здесь. Только время от времени можно было заметить, как какая-нибудь фигура, выйдя из-за угла, откуда-нибудь по соседству, останавливалась невдалеке от этого дома, зорко поглядывала на цесаревнины окна, осторожно обходила кругом, туда, откуда были видны ворота двора и главный подъезд.

Не заметив ничего особенного, фигура уходила мерными шагами. И снова становилось неподвижно и тихо кругом.

Но вот едва слышно скрипнула калитка цесаревнина двора, из нее вышел человек средних лет, огляделся во все стороны — это был Лесток.

— Кажется, никто не подсматривает, — прошептал он. — Вот жизнь! Прогуляться нельзя без соглядатаев. Иной раз так бы вот искалечил проклятого шпиона, ведь почти всех их в лицо знаю, да что толку! Еще хуже будет, лучше уж молчать да делать вид, что ничего не замечаю.

Он опять остановился и осмотрелся. «Ну вот, так и есть! — со злостью подумал он. — Вон уже он и крадет. Да сделай одолжение, крадись! Подсматривай! А все же таки не узнаешь ты, куда я иду сегодня!»

И Лесток быстро зашагал, напевая фальшивым голосом какую-то песенку, по направлению к Фонтанной. Он видел или, вернее, чувствовал, что таинственная фигура следит за ним по пятам, но не обращал на нее никакого внимания.

Дойдя до Фонтанной, он перелез через низкие деревянные перила, окаймлявшие местами речку, и спустился к самой воде. Он еще издали заметил, что тут стоит лодка.

— Эй, лодочник! — крикнул он, и в глубине лодки что-то шевельнулось, откинулась какая-то рогожа, и перед Лестоком, на серебряном фоне почти неподвижной воды, озаренной лунным светом, выросла фигура заспанного и еще ничего не понимавшего лодочника.

Лесток прыгнул в лодку и крикнул:

— Отчаливай.

Лодочник очнулся, разглядел дорогую барскую одежду Лестока и, не вступая ни в какие объяснения, поспешно начал отвязывать лодку.

Через минуту Лесток уже плыл вдоль Фонтанной и не без удовольствия поглядывал на преследовавшую его фигуру.

«Ну что, много узнал! — мысленно обращался он к этой фигуре. — Походи теперь по берегу, подожди другой лодки, вряд ли дождешься!» — и он плыл дальше.

С полчаса продолжалась эта импровизиро-

ванная прогулка по Фонтанной, наконец выбрав безопасное от наблюдений, как ему казалось, место, Лесток велел лодочнику остановиться, расплатился с ним и вышел на берег.

Убедясь, что некому за ним теперь подглядывать, он прямой дорогой пошел по направлению к дому маркиза де ла Шетарди.

Маркиз занимал одно из самых роскошных помещений во всем Петербурге. Он был послан сюда для того, чтобы способствовать всеми мерами сближению между Францией и Россией. Он должен был для этого употреблять все дипломатические средства, какие только признает необходимыми. В числе этих средств он считал, между прочим, блеск и роскошь.

Над его высокомерием, тщеславием и театральными посланническими приемами посмеивались в Европе, но он не обращал на это ни малейшего внимания.

В Петербург он явился с такими блеском и пышностью, какими до сих пор не окружал себя ни один посланник. Хотя правительство маркиза выдавало ему более пятидесяти тысяч ливров в год, но его сопровождала свита,

состоявшая из двенадцати кавалеров, одного секретаря, восьми духовных лиц, пятидесяти пажей и целой толпы камердинеров и ливрейных слуг. За маркизом везли его гардероб, которого, конечно, хватило бы на несколько владетельных принцев. Платья маркиза поражали необыкновенным шитьем; некоторые из них осыпаны были дорогими камнями.

Этот удивительный поезд завершала кухня под наблюдением шести поваров и главным руководством знаменитого Barrido, великого артиста кулинарного искусства.

Привезенные маркизом вина не уместились в погребах нанятого им дома, и пришлось нанять еще погреб по соседству. Сто тысяч бутылок тонких французских вин и между ними шестнадцать тысяч восьмьсот бутылок шампанского были предназначены для того, чтобы закреплять дружбу между Францией и Россией.

По заведенному порядку Лесток должен был долго дожидаться в приемной, пока о нем доложили маркизу. Его имя переходило от одного камердинера к другому, наконец в

приемную вошел молодой паж и объявил, что маркиз просит господина Лестока к себе.

Лесток прошел целый ряд роскошно убранных комнат и очутился в кабинете маркиза. На него пахло тонкими благовониями, разлитыми по комнате, на него со всех сторон глянуло великолепие изнеженного французского двора.

Среди всего этого великолепия навстречу к нему с мягких эластичных подушек низенького кресла, с вышитым гербом, поднялась изящная фигура французского посланника.

— Очень, очень рад, cher[8] Лесток, что вы ко мне заглянули, давно я вас дожидался.

— Я и сам давно собирался к вам, маркиз, — отвечал Лесток. — Да знаете, ведь это становится все труднее и труднее: мы окружены и днем и ночью шпионами и должны быть очень осторожны...

— Знаю! — проговорил с легкой grimасой маркиз. — Но знаю также и то, что принцесса Елизавета и вы все, господа, ничего не делаете, не хотите ничего делать для того, чтобы выйти из этого страшного положения. Я, наконец, совсем потерял голову, ничего не по-

нимаю. С какой стати принцесса медлит? Она уже пропустила прекрасный случай, а теперь, когда представляется другой, опять время проходит даром. И что же из всего этого вышло? Она отклонила предложение Швеции, прекратила свои отношения с Нолькеном, а это может грозить очень неприятными последствиями для ее планов. Она в последнее время и со мною делается скрытна; но ведь все же на моих глазах факты, и эти факты убеждают меня с каждым днем все более и более, что теперь-то медлить ей уже окончательно нечего! Право, я готов подумать, что она навсегда отказывается занять престол отца своего!..

— Нет, она от этого не отказывается, — проговорил Лесток, — только хочет это сделать так, чтобы иметь возможность не бояться никаких случайностей, чтобы твердо держаться на этом престоле.

— Я отказываюсь понимать вас, — даже несколько раздраженным голосом сказал маркиз и начал в волнении ходить по кабинету. — Я очень уважаю принцессу, я знаю ее блестящие способности, ее ум, *cher ami*[9], она

все же женщина, и от нее может ускользнуть много такого, что не ускользнет от умного мужчины. Если она заблуждается и рассчитывает неверно, то обязанность близких к ней людей, — ваша обязанность, потому что она верит вам и слушается ваших советов, — убедить ее, доказать ей необходимость того или иного шага. А вы что делаете? Я вас не понимаю! Послушайте, объяснитесь, наконец, раз навсегда и откровенно: скажите, cher Лесток, друг вы мне или нет?

— Если вы удостоиваете меня этой чести, то я друг ваш, — с легким поклоном отвечал Лесток.

— Прекрасно! Теперь скажите мне, согласны вы со мною... согласны вы, что теперь именно наступило самое удобное время для того, чтобы действовать? Взгляните: правительство слабо и шатко и ко всему этому совершенно непопулярно: народ не знает правительницы, войско тоже не совсем расположено к ней. Ведь тогда, после свержения Бирона, гвардейские полки шли ко дворцу с убеждением, что будет провозглашена императрицей дочь Петра, и были поражены, при-

шли в уныние, когда им объявили имя Анны...

Лесток все это хорошо знал, он знал даже гораздо больше. Он знал, что в гарнизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте солдаты чуть было не взбунтовались и кричали: «Разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елизаветы Петровны!» Он знал, что с каждым днем популярность Елизаветы возрастает в войске, что каждый день приносит новые доказательства преданности к ней солдат, что их дело зреет не по дням, а по часам. Он работал неустанно над этим делом и начинал приходить к убеждению, что можно будет, пожалуй, достигнуть всего своими собственными средствами, не прибегая к иноземной помощи, за которую потребуется отплата сторицею.

Если он поддерживал сношения с маркизом, то единственно ввиду того, что ссориться с ним было действительно невыгодно, что предстояла необходимость сделать у него небольшой заем. Но пусть же этим займом, который будет немедленно выплачен по

окончании дела, и ограничится все участие Шетарди, — за маленькую услугу, за кучку червонцев, Елизавета, сделавшись императрицей, оплатит французскому маркизу каким-нибудь драгоценным подарком и своим ласковым вниманием. Но ближайшего его участия в ее деле она не хочет, потому что не намерена быть потом неблагодарной, не желает повторения истории Анны Леопольдовны с Минихом.

Но, конечно, ничего этого Лесток не сказал Шетарди. Он молча и почтительно его слушал. А маркиз, увлекаемый своим красноречием, ярко описывал положение дела.

— Чего же вы боитесь? — говорил маркиз. — Или, может быть, того, что русский народ возненавидит принцессу, если она воспользуется помощью Швеции, что он будет ее упрекать в том, что она призвала врага в Россию?

— Может быть, отчасти и этого, — проговорил Лесток.

— Но ведь это только призрак, и стыдно вам его пугаться. Если принцесса так думает — прекрасно, я допускаю это и повторяю,

что, несмотря на все ее великие достоинства, она все же женщина — но вы-то? Вы-то, Лесток, вы должны быть тверже и благоразумнее.

— Я опять должен повторить вам, — сказал Лесток, — что вы приписываете мне слишком много влияния на цесаревну, я просто преданный ей человек, и ничего больше. И у нее такой характер, что если она в чем-нибудь убеждена, что-нибудь решила, так я, по крайней мере, своим маленьким влиянием на нее ничего не могу сделать.

«Нет, положительно тебя подкупить нужно!» — подумал маркиз, взглянув на спокойное лицо Лестока.

— Ну, с вами не стоворишься, — громко заметил он, — делайте, как знаете! Если же ошибетесь в чем-нибудь, то я буду иметь, по крайней мере, то удовлетворение, что постоянно предупреждал вас. Передайте от меня принцессе, что я умываю руки и что, во всяком случае, она всегда, когда ей угодно, может на меня рассчитывать. Не нужно ли ей чего-нибудь? Не нужно ли ей денег? Как ваши денежные дела?

— Наши денежные дела, — ответил, улыбаясь, Лесток, — как и всегда, в плохом положении. Отказываем себе во всем, тратим как можно меньше, и все же, несмотря на это, из-за денег принцесса должна выносить оскорбления!

— Оскорбления! От кого?

— От правительницы.

— Что такое? Расскажите.

— Эх! Всего не перескажешь, — отвечал Лесток, махнув рукою. — Да вот вам, например, один случай: принцесса Елизавета просила, чтобы правительство заплатило за нее тридцать две тысячи долгу. На это ей возразили, что она получает теперь достаточно, с тех пор как Бирон назначил ей пятьдесят тысяч рублей в год. Пришлось заявлять вторично, что и с этими деньгами невозможно расплатиться...

— Ну и что же? Неужели отказали?

— Нет, не отказали, но сделали еще хуже: заподозрили, что деньги нужны не для уплаты долга, а для каких-нибудь тайных и опасных целей, и потребовали, чтобы принцесса представила счета купцов, которым она

должна. Ну что же, мы сейчас же представили все счета, из которых оказалось, что долгу вместо тридцати двух тысяч сорок три тысячи. Положим, что сами себя там в смешное положение поставили, — пришлось платить эти сорок три тысячи, — но можете себе представить, как принцессе приятно выносить подобные оскорбления!

Маркиз пожал плечами.

— Что же, она сама хочет того, хочет! И все, что вы мне передаете, только доказывает справедливость моего мнения и необходимость последовать моим советам. Будьте благоразумны, cher Лесток, переговорите хорошенько с принцессой, а пока предложите ей мои услуги. Конечно, многого теперь в моем расположении нет, но вся моя наличная казна к вашим услугам; к тому же, если нужно, я могу достать.

— Вот за это цесаревна будет вам очень благодарна, маркиз, — сказал, улыбаясь Лесток. — И мне кажется, мы в скором времени должны будем воспользоваться вашей любезностью, но только помните, в одном случае, если вы решаетесь дать деньги вашего коро-

ля займы принцессе Елизавете, а не будущей русской императрице.

Маркиз как-то запнулся на одно мгновения, но сейчас же подумал: «К чему это он играет эту глупую комедию!»

— Принцессе ли, императрице ли — это мне решительно все равно, — сказал он Лестоку, — я, во всяком случае, почту себя счастливым, что деньги, которыми я могу располагать, попадут в такие прекрасные руки. Да, кстати, cher ami, я попрошу и вас принять от меня небольшой подарок.

Лесток выпрямился, и на его лице мелькнуло выражение оскорбленного достоинства.

— Нет, маркиз, я от вас не приму никакого подарка, так как сам не имею никакой возможности предложить вам подарок и не смею даже рассчитывать, что вы бы удостоили принять его от меня.

«Что же это такое? — подумал маркиз. — Неужели мне нужно предположить бескорыстие этого Лестока? Это совершенно невероятно! Нет, я что-то заленился в последнее время, их всех следует разобрать хорошенько, чтобы не сыграть смешной роли».

Он протянул обе руки Лестоку и осыпал его такими звонким, блестящими французскими фразами, что тот не нашел никакой возможности вставить свое слово.

Вот маркиз зазвонил в колокольчик и приказал вошедшему слуге принести закуску и бутылку старого бургонского.

— Посмотрите, какое вино, только что получил на днях. Такого вы у меня еще не пивали.

— Эх, пора бы мне и возвращаться домой, — заметил Лесток, — но от ваших вин, маркиз, я никогда не в силах отказаться.

За изысканной закуской и старым бургонским Лесток сумел изгнать все смущающее из мыслей маркиза и убедил его в том, что если Елизавета решится действовать, то, во всяком случае, не обойдется без помощи Франции и что она пуще всего рассчитывает на эту помощь. Под конец он даже принял и подарок маркиза...

VI

Елизавета с нетерпением дожидалась возвращения Лестока.

Вернувшись от маркиза де ла Шетарди, он

прямо вошел в покои цесаревны.

Его встретила Мавра Шепелева и сейчас же стала журить:

— Где это вы, батюшка, запропалились? Цесаревна ждет вас не дождется. Думали, к ужину вернетесь. Идите скорей, ведь поздно, давно нам всем спать пора. А у цесаревны к тому же и голова нынче болит. Уж я уговаривала ее раздеться, да нет, и слышать не хочет: все равно, говорит, не засну, пока не узнаю о том, что там было.

Лесток поспешно вошел к Елизавете.

— А, наконец-то! — сказала она.

— Извините, ваше высочество, — начал было оправдываться Лесток, но она его перебила:

— Да уж что тут! Я и без вас знаю, что у маркиза ужин вкуснее моего, а о винах так и говорить нечего! Вон ведь как вы помолодели! Какой румянец на щеках!

— Да, вино хорошее, — улыбаясь проговорил Лесток, — позвольте присесть, ваше высочество, устал я.

— Кто вам мешает, садитесь и рассказывайте.

Он сейчас же покойно уселся в кресло, вытер лицо платком и начал подробно передавать цесаревне свой разговор с маркизом.

— Ну, это все старая история! — заметила она.

— Позвольте, есть и новенькое. Самый интересный разговор у нас был за бургонским. Маркиз просил заверить вас, что всегда король французский рад ссудить вам знатную сумму, но что при этом необходимо, чтобы от вас дано было шведам письменное обязательство.

— Я знаю, что они употребляют все силы для того, чтобы заставить меня решиться на такой поступок, который будет и против моей совести и против памяти отца моего. Но и вы тоже знаете, что я не соглашусь на это, хотя бы даже через мое несогласие пропало мое дело.

— Все это так, ваше высочество, но, обдумав хорошенько, я вижу, что теперь для нас настало самое серьезное время и что нам не мешает вслушаться в слова маркиза.

— Да ведь затем же я и послала вас к нему. Я готова вслушиваться в слова его; что же го-

ворит он?

— Он говорит, что отдаленность мешает королю французскому прямо и непосредственно действовать и он поставлен в такое положение, что сам, кроме денег, не может предложить вам никакой помощи. Он может только вооружить своих союзников, шведов, которые расположены к вам.

— Знаю я это расположение! — перебила Елизавета.

— Ну да, конечно, маркиз и не скрывает, что за свою услугу шведы потребуют вознаграждения, следовательно, теперь нужно решить вопрос: какого рода вознаграждение можно дать им? Он просит, ваше высочество, выразить письменно ему, маркизу, он даст вам клятвенное заверение в том, что этот документ останется вполне тайным и никогда не выйдет из его рук. Он только уведомит короля о его содержании, и тогда король употребит все силы и все свое влияние на шведов для того, чтобы они начали войну, которая может доставить вам престол... Потом он говорил о том, что правительница, принц Антон и Остерман сами чувствуют себя здесь

иноземцами, что слабое и постоянно трусящее правительство не станет разбирать средств, не станет заботиться о пожертвованиях, лишь бы только отделаться от войны и купить мир у шведов. А шведы, конечно, воспользуются этим случаем, и что же из этого выйдет? Им будет сделана гораздо большая уступка, чем та, которой они у нас просят...

— Маркиз нас пугает и еще большими ужасами, ваше высочество, — продолжал Лесток, в то время как Елизавета, опустив голову на руки и не спуская глаз со своего хирурга, сдвинув темные свои брови, вдумывалась в каждое его слово, — маркиз нас пугает тем, что если вы не условитесь заранее со шведами, и на прочных основаниях, то они объявят себя за внука Петра, за вашего племянника герцога голштинского, они возведут его на престол, и тогда вы окажетесь навсегда уже удаленною от трона. Вот и все наше объяснение, — закончил Лесток. — От себя я не прибавил ни слова. Все это действительно очень важно, и нам необходимо взвесить каждое слово маркиза.

— Да, да, — задумчиво проговорила Елиза-

вета, — я сама вижу, что пора действовать решительно, обойтись без чужой помощи невозможно. Слушайте, я сегодня все хорошо обдумала, и потом, поджидая вас, мы тут толковали с Шуваловыми, Воронцовым и Разумовским. Еще недавно я надеялась, что можно будет добиться, не обращаясь за французскими деньгами и за шведским войском; я все надежды возлагала на одну только преданность мне гвардии и народа. Но вижу теперь, что этого мало — этим можно было бы сделать все, но сделать только так, как сделал Миних, а где же у меня Миних? Я побойчее буду Анны Леопольдовны, но все же я женщина, да и вы все, друзья мои, не во гневе будь вам сказано, не способны дать такого неожиданного генерального сражения, какое дал фельдмаршал. Что же, на него надеяться?.. Вот он, обиженный, оскорбленный ими, стал было ко мне заглядывать. Он, может быть, ждал, что я буду просить его, но нет, это опасно. Возвести меня на престол он и возведет, пожалуй, да потом что? Он свяжет мне руки. Нет, мне нужно быть подальше от всех этих немцев, и я не могу ничем быть обязанной

человеку, которого не люблю и не уважаю. Он издавна был врагом моим и видит во мне только орудие своих планов. Вон мне говорили, что солдаты кричат, требуют, чтобы их вели добывать мне престол, да ведь это одни только крики. Преданы, да, конечно, преданы, а без денег, без подарков, сами собой, и они не тронутся, ленивы больно. Поневоле приходится прибегать к чужим и соглашаться с маркизом. Завтра же утром ступайте к нему и скажите, что я готова последовать его советам; скажите, чтобы он писал своему королю, что я совершенно полагаюсь на королевскую волю относительно внешних средств. Пусть он устраивает как знает, и попросите, если возможно, займы сто тысяч рублей. Эта сумма необходима для того, чтобы в решительную минуту привлечь к себе тех, кого нужно. Скажите ему, что я душевно тронута всеми доказательствами его усердия, что он может всегда рассчитывать на мою горячую благодарность, но что все же больших уступок шведам я не могу сделать, это противно моей совести, да к тому же приведет меня только к справедливым упрекам со сто-

роны моего народа.

Елизавета говорила взволнованным голосом, на глазах блестели слезы.

— Но все же, ваше высочество, — перебил ее Лесток, — нам нужно будет указать — на какие уступки вы согласны.

— Какие уступки? Земельных — никаких, денег сколько угодно. Я готова вдвое, втрое заплатить за все их издержки, только чтобы не заставляли меня быть неблагодарной перед моим народом и перед памятью моего отца.

Цесаревна опустилась в кресло, на лице ее выражалась усталость.

Лесток почтительно простился с нею и вышел.

По его уходе цесаревна позвала Мавру Шепелеву, передала ей о предложениях маркиза и о своем решении.

— Так, матушка, так, родная моя, — говорила Шепелева, кивая головою в знак своего полного одобрения, — точно, пора уже начинать решительное, а то что же так-то: все завтра да завтра! Пора нам с тобою пожить и на своей воле. А теперь давай спать — поздно,

наши все давно завалились, чай, теперь уже и золотые сны видят.

Елизавета прошла в спальню, быстро разделась, отослала служанок и опустилась на колени перед образами, яркие ризы которых, усыпанные самоцветными камнями, блестели и переливались при свете лампы, неугасимо теплившейся днем и ночью.

Долго и жарко молилась Елизавета, но все не нашла полного успокоения в молитве, всякие мысли, перебивая одна другую, приходили ей в голову. Она легла в постель, но ей не спалось... Она перебирала в памяти всю свою жизнь за последнее время. Она так боялась решиться на какой-нибудь необдуманый опасный шаг. Но все, что она вспоминала, все, о чем думала, возвращало ее к одной и той же мысли, что нужно решиться, что или теперь, или никогда.

Действительно, положение цесаревны день ото дня становилось тяжелее. Только и вздохнула она свободнее, что в короткие дни регентства Бирона, когда он оказывал ей всякие любезности. Но ведь за этими любезностями скрывался дикий, смешной план вы-

дать ее за шестнадцатилетнего принца курляндского — так и это спокойствие было только кажущимся. А уж потом, по свержении регента, опять вернулось самое лютое время! На правительницу Елизавете нечего было особенно жаловаться, с нею бы она примирилась и справилась — та не зла, да и сама по себе даже не особенно подозрительна, она вся ушла в свои собственные дела и чувства. Она не была решительным врагом цесаревны, первыми врагами были принц Антон с Остерманом.

Она не знала, что со всех сторон окружена западнями, что ее стерегут, как зверя. Принц Антон приставил офицера Чичерина с десятью гренадерами следить за каждым ее движением. Он передел их в шубы и серые кафтаны и поселил близ дома цесаревны. Потом к ним присоединены были аудитор Барановский и сержант Обручев. Она не могла шагу ступить из дому, чтобы не встретиться с невыносимыми волчьими глазами.

Когда узнали, что фельдмаршал Миних как-то приехал к цесаревне, вконец все перепугались; верные люди донесли Елизавете,

что принц Антон уверил правительницу, будто Миних и она уже сговорились и что беды следует ожидать с часу на час. Анна Леопольдовна так перетрусилась, что каждый вечер меняла свою спальню, боясь, что вот-вот ее схватят.

Но цесаревна все же не знала многих подробностей, которые потом вышли наружу. Принц Антон не из своей головы только выдумал все эти страхи, он действительно был перепуган не на шутку. Ему постоянно доносили о всевозможных толках между солдатами и дворцовой женской прислугой. Ему рассказывали за самое верное, что Миних был однажды у цесаревны и, упавши ей в ноги, просил ее довериться ему, говорил, что если ее высочество ему прикажет, то он готов все исполнить, и что будто бы на это цесаревна сказала ему: «Ты ли тот, который дает корону кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу».

Другие варьировали этот ответ цесаревны так, что она будто бы сказала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно и на что она имеет право, что она очень ласково обошлась с

фельдмаршалом и провожала его до крыльца.

Принц Антон ни на минуту не усомнился в верности этих рассказов. Объявлял всем о том, что Миних уже предложил свои услуги Елизавете. Конечно, после этого он почел себя вправе увеличить число шпионов, приставленных к цесаревне, и дал главному из них, Чичерину, такую инструкцию:

«Если Миних поедет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Если же поедет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее».

«Так чего же еще дожидаться? — думала цесаревна. — В дворце появишься — все на тебя косятся, со всех сторон только недружелюбные взгляды видишь. У себя запереться — все равно за каждым шагом следят. Где и нет ничего, так выдумают. Принц Антон зол, а Остерман и того злее, сплетают всякие небылицы и доведут-таки, что правительница подпишет им что угодно.

Ведь заставили же ее так неблагодарно, так неблагородно поступить с Минихом, так уж со мной-то разве она поцеремонится; чай, она давно и забыла о том, что я могла выдать

ее Бирону и не выдала. Нет! Что будет, то будет, а ждать и терпеть больше невозможно!..»

VII

С этого дня возобновились постоянные и тайные переговоры Лестока с маркизом де ла Шетарди.

Маркиз чрезвычайно обрадовался решению Елизаветы, таким образом, в конце концов он все же достигнет исполнения данной ему его правительством инструкции. Елизавета будет на престоле, немецкое правительство и связь между этим правительством и Западной Европой рушится. Россия снова очутится на востоке, вернется к допетровскому времени. Он не сомневался, что Елизавета — вполне русская по своему характеру, ненавидящая иноземцев, любящая народ свой — сейчас же по вступлении на престол переедет в Москву, знатные люди снова вернутся в свои поместья, флот будет оставлен на произвол судьбы: Швеция и Франция освободятся от сильного врага. Елизавета любит французов, ненавидит англичан; при ней, конечно, место английской торговли в России займет французская.

Каждый день посылал маркиз свои депеши во Францию, и версальский двор начал действовать возбуждению войны между Швецией и Россией. С этой стороны все было хорошо, но маркиз продолжал-таки не понимать Елизавету. Он видел, что от него или многое скрывается, или дело внутри России идет плохо. Сторонники Елизаветы не подают о себе голоса, как будто бы у цесаревны и во все нет никакой партии, к тому же скоро до маркиза начали доходить слухи, что Анна Леопольдовна и принц Антон знают о заговоре и если медлят, то единственно для того, чтобы вернее схватить всех заговорщиков.

Эти слухи были справедливы только отчасти, правительство не знало ничего верного, но основывалось на темных доносах. Все больше и больше начинали подозревать Елизавету. Даже Остерман отказался от своего взгляда на нее и посоветовал принцу Антону всякими способами привлечь на свою сторону гвардейцев.

Принц Антон, конечно, сейчас и последовал его совету. Он начал с того, что велел призвать к себе одного капитана Семеновского

полка, который не раз выражал свою приверженность к Елизавете.

Капитан явился очень изумленный и перепуганный. Он застал принца вместе с генералом Стрешневым — зятем Остермана.

Принц Антон встретил капитана так мило-стиво, что тот окончательно смутился и совсем уже не знал, что же думать.

— Что с тобою? — сейчас же спросил принц. — Я узнал, мне сказали, что ты в последнее время очень печален, грустишь, может быть, ты чем-нибудь недоволен?

Капитан мало-помалу оправился от своего смущения и страха и отвечал:

— Как же мне не грустить, ваше высочество? Положение мое плохое, семейство у меня велико очень, а именишко маленькое, да и далеко, за Москвою, никакого дохода оттуда и получить невозможно.

— Но это еще не Бог знает какое горе! — отвечал принц. — Я ваш полковник и хочу, чтобы все были довольны и счастливы и чтобы вы были моими друзьями! Обращайтесь ко мне откровенно, и я всегда буду помогать вам.

И принц Антон подал капитану кошелек с тремястами червонцев, а сам поспешно вышел из комнаты.

Изумленный и обрадованный капитан не знал, как ему и поступить теперь. Он не успел поблагодарить принца; что ж, остаться здесь дожидаться его возвращения или уйти?

Стрешнев вывел его из нерешимости.

— Принц, как человек очень деликатный, — сказал он, — не любит, чтобы его благодарили. Ты можешь идти домой, да расскажи своим товарищам о поступке принца, у вас в полку мало его знают, мало ценят! Ты сам теперь видишь, что это за золотой человек! Доброта его и любовь к русскому войску беспредельны, а правительница — о ней уж и говорить нечего, она просто ангел! За то их так и уважают во всей Европе. Ну, посуди ты сам, когда у нас до сих пор был такой съезд министров в Петербурге? Все европейские дворы наперерыв спешат выразить свое почтение и преданность правительнице и ее супругу. Да, они не то что цесаревна Елизавета, ту европейские государи и знать не хотят, да и народ ее не уважает. Вон поговаривают, что

она теперь чем-то недовольна, набирает будто приверженцев, только ничего из этого она не сделает, ничего не добьется. Только себя вконец погубит, да погубит и тех приверженцев. Не ей бороться с такими особами, как принц и принцесса...

Генерал Стрешнев замолчал в полном убеждении, что высказал все, что нужно, и что слова его и поступок принца должны непременно подействовать на капитана.

Тот выслушал молча и откланялся генералу.

Вернувшись к себе, он, конечно, тотчас все рассказал товарищам, и они много смеялись над тем, как Стрешнев взялся не за свое дело, вздумал им зубы заговаривать.

Этот рассказ скоро дошел и до цесаревны, и она немало ему смеялась.

— Что ж, ничего, — говорила она своим приближенным, — пускай они продолжают так поступать, этим только доказывают, как меня боятся и как сами-то слабы.

Но все же ее положение было далеко не блестящее, надзор за ее действиями был еще усилен.

Однажды Лесток, выходя из дворца Елизаветы, чуть было не попал в руки шпионов. За ним уже бежали, и он едва-едва спасся, скрывшись в дом одного своего знакомого. Он так перетрусил, что перестал выходить из дому и объявил присланному к нему секретарю шведского посланника Нолькена, чтобы теперь тот и не ждал его к себе, потому что как только он выйдет на улицу, так будет сейчас же арестован. И говоря это, он весь так и трясся от страха, при малейшем шуме хватался за голову и повторял:

— Что ж, ведь я погиб теперь, погиб, да и все мы погибли — того и жди, что цесаревну отравят или зарежут.

Мавра Шепелева ходила по комнатам как потерянная и все охала. За обедом и ужином она глаз не спускала с цесаревны, отведывала прежде сама всякое кушанье. Один раз ей даже показалось, что она отравлена, и хотя Лесток и разуверял ее, но она чуть было серьезно не разболелась от страха.

Елизавета долго крепилась и подшучивала над своими домашними, но наконец их уныние, их ужас сообщались и ей, и она проводи-

ла мучительные дни и бессонные ночи. Она не ездила уже в свой Смольный дом, не устраивала там танцев, как, бывало, делала прежде, не развлекалась прекрасным пением Разумовского. Где уж теперь, не до песен! Никто не слышал ее прежнего смеха, не видел ее улыбки. С каждым днем все тише и мрачнее становилось во дворце ее.

Был один выход: согласиться на все требования шведов, обещать им разные земельные уступки; но, несмотря на всю тяжесть своего положения, несмотря на свой страх и действительную, может быть, опасность, которая окружала ее, она ни разу не поколебалась и стояла на своем. «Не могу идти против совести», — говорила она.

Редко появлялась Елизавета во дворце, только тогда, когда этого окончательно требовали приличия и когда ее звали. Там с ней обращались довольно любезно. Правительница иногда даже ласково и дружески беседовала с нею, даже водила ее в спальню императора. Но она замечала косые взгляды, перемигиванье и перешептыванье, видела, как ее боятся и как готовы при каком-нибудь новом доносе

покончить с нею.

Один из ее приближенных, Воронцов, человек решительный, энергичный, каждый день умолял ее разрешить ему действовать и довериться гвардии. «Не нужно никаких шведов, никаких французов, не нужно денег: все обделаем сами».

Но она ужасалась такой решимости, она страшилась неудачи. Ей мерещились сцены пыток и смерти людей, ей близких. Она плакала, молилась, доходила до отчаяния.

Как-то, измученная своими мыслями, она вышла из дома в сопровождении Мавры Шепелевой и прошла в Летний сад, на ту его сторону, которая была открыта для публики. Она медленно шла своей любимой аллеей.

Был ясный вечер; кругом цвели липы. Этот вечер, эта аллея напоминали ей многое из давно прошедшего времени, из времени ее первой счастливой юности, когда она еще была полна радостью жизни, ни над чем не задумывалась, не замечала своего трудного положения, не предвидела никаких будущих бедствий, жила настоящей минутой, думала только о забавах, была так же радостна, так

же прекрасна и безмятежна, как эта летняя природа. Много давно забытых, давно погибших лиц мелькало в памяти, и ей казалось, что в числе этих погибших, умерших людей и сама она: такая огромная разница была между нею — прежнею и нею — теперешнею. Невольные слезы полились из глаз ее, и она прижалась к плечу своего верного друга, Мавры.

В это время из-за поворота дорожки показалось несколько офицеров. Они давно уже поджидали и подкарауливали цесаревну. Они увидели ее расстроенную, плачущею, невольно остановились, не смея сразу подойти к ней.

У них у всех защемило сердце, и в то же время они любовались на эту чудную красавицу, которая была еще краше, еще сильнее влекла к себе, облитая слезами, в ореоле страдания.

Но они должны были говорить с ней, иначе кто-нибудь помешает.

Вот один из них выступил вперед и пошел к ней навстречу; за ним, почтительно сняв шляпы, медленно подвигались другие.

Елизавета, увидя их, поспешно отерла свои слезы и старалась улыбнуться.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои, — говорила она. — Погулять вышли? Да, сегодня такая славная погода. Гуляйте, гуляйте!

— Нет, матушка цесаревна, — дрогнувшим голосом начал подходивший к ней офицер, — не гулять мы вышли — тебя здесь поджидали. Давно нам нужно тебя видеть, матушка, не можем мы дольше терпеть, не можем видеть заплаканными твои ясные очи. Скажи слово — мы готовы все и только ждем твоих приказаний. Вели же нам идти за тебя: все, как один человек, за тебя живот наш положим.

— Матушка, золотая наша, красавица! — восторженно прошептали остальные офицеры. — Разреши!

Она благодарно и в то же время испуганно взглянула на них.

— Ради Бога, молчите, — сказала она. — За мной со всех сторон наблюдают, вас услышат. Не делайте себя несчастными, дети мои, да и меня не губите! Ради Бога, разойдитесь скорее, ведите себя смирно!.. Время еще не при-

шло, а как придет, я велю вам сказать заранее...

Офицеры молча и печально склонили головы. Она прошла мимо и возвратилась домой окончательно расстроенная. А дома ее ожидали новые известия о преданности ей гвардейцев. Разумовский пришел доложить ей, что без нее пробрался к ним семеновский капитан, — тот самый капитан, который получил триста червонцев от принца Антона, — и объявил, что цесаревна может располагать его ротою и что он ручается за всех своих товарищей.

Она опять плакала, опять ломала в отчаянии руки и никак не могла решиться. Она не наследовала от отца своего энергии, в ней теперь, более чем когда-либо, сказывалась добрая, слабая женщина. Чем больше являлось у нее сторонников, готовых положить за нее жизнь свою, тем больше она ужасалась, тем больше представлялось ей несчастий, которых она может быть причиной.

Вот она узнала, что Нолькен уезжает в Швецию и просит принять его для прощальной аудиенции. Она приняла, конечно, и он

стал ее уговаривать дать ему письменное обязательство, которое необходимо ему для того, чтобы он мог решительно говорить в Стокгольме.

Но она не давала этого обязательства, она говорила, что не помнит хорошенько требований Нолькена.

— Как же это? — заметил удивленный посланник. — Ведь копия, здесь описанная господином Лестоком, у вас, а подлинник ее и теперь со мною. Угодно — я сейчас же покажу вам его, и мы можем немедленно окончить дело! Вашему высочеству стоит подписать и приложить свою печать.

Но она отказалась. Она только уверяла Нолькена в своей благодарности Швеции и сказала ему, что если произойдут решительные действия со стороны Швеции, то и она немедленно начнет действовать решительно, тогда она оставит предосторожности, которые теперь необходимы. Она призналась, что гвардия за нее и что с этой стороны можно быть спокойным.

— Я буду действовать решительно, даю вам в этом слово, но только тогда, когда уве-

рюсь, что нужно ожидать неперемного успеха, когда мне будет ясна помощь со стороны Швеции; а теперь перестанемте говорить об этом. Я уверяю вас, что окружена со всех сторон врагами, и даже здесь есть люди, на которых я не могу положиться. Завтра я пришлю к вам Лестока.

Лесток действительно явился на другой день к Нолькену, но не привез письменного обязательства, привез только письмо Елизаветы к ее племяннику, принцу голштинскому.

Нолькен вышел из себя.

— Что же это, наконец, такое? — говорил он. — Я так на вас надеялся, а вы, очевидно, обманывали мое доверие — вы не передавали цесаревне всего того, что передавать обещали!..

Лесток начал оправдываться так же, как он оправдывался и перед Шетарди.

— Что же я могу сделать, — говорил он, — если цесаревна по нескольку дней на меня сердится каждый раз, как я упомяну ей о письменном обязательстве. К тому же я и не мог на этом настаивать уже потому, что вас

могли схватить, несмотря на то что вы посланник, а в таком случае письменное обязательство, найденное в ваших бумагах, погубило бы и цесаревну, и всех нас.

Нолькен решился на последнее средство: предложил Лестоку хороший подарок.

Лесток почему-то вдруг оказался менее щепетильным: принял подарок, обещал приехать еще раз. Нолькен ждал его, ждал, да так и не дождался и выехал из Петербурга без письменного обязательства.

Прошло с месяц; из Швеции не было почти никаких известий.

Цесаревна все реже и реже выходила и выезжала из дому. Она боялась новой встречи с гвардейскими офицерами.

Принц Антон по-прежнему ежедневно выслушивал донесения своих шпионов с Остерманом, и тот уверял его, что скоро можно будет приступить к решительным действиям. Только вот теперь следует обождать немного, чем кончится натянутое положение со Швецией, да нужно еще устроить дела семейные. Теперь трогать правительницу слишком жестоко, она нездорова: скоро должна разре-

шиться от бремени. Что касается до цесаревны Елизаветы, то Остерман придумал верное средство избавиться от нее: в Петербург приехал брат принца Антона, принц Людвиг Вольфенбюттельский...

Через несколько дней правительница пригласила цесаревну и предложила ей выйти замуж за этого принца.

— Вам будет выплачиваться, сестрица, кроме приданого, назначенного русским принцессам, ежегодный пенсион в пятьдесят тысяч рублей; вам будут даны Ливония, Курляндия и Сенегалия...

Этими заманчивыми обещаниями думали прельстить Елизавету, но она отвечала, что всем давно известно ее решение никогда не выходить замуж и что она на это не может согласиться.

Правительница вышла из себя. От ласкового тона и родственных упрашиваний она перешла чуть не к угрозам.

Елизавета вернулась домой бледная, раздраженная, а на другой день уехала в деревню, чтобы только как-нибудь забыться, быть подальше от всех этих мучений и преследова-

ний.

VIII

Недолго пробыла цесаревна в деревне. Отдохнуть не удавалось. Тревожные мысли не уходили, страшно было в Петербурге, а тут, пожалуй, и еще страшнее, того и жди, упущение в делах выйдет, того и жди, нагрянет такая беда, которую можно было бы предотвратить своим присутствием.

И цесаревна вернулась в город. Из тишины деревенской снова окунулась в самую глубь тревожной придворной жизни. Друзья сейчас же явились с целым коробом новостей, всевозможных рассказов, сплетен, слухов, так что невозможно было догадаться, чему во всем этом следует верить, что ложь, а что правда. Несомненным было только одно: с каждой минутой приближающийся окончательный разрыв с Швецией.

Цесаревна явилась во дворец. Там все было тихо: все шептались, старались ходить чуть слышно — Анна Леопольдовна на днях разрешилась от бремени дочерью Екатериной.

Входя в апартаменты правительницы,

Елизавета встретила с Линаром. Он молча и даже как-то свысока поклонился ей и прошел мимо.

«Неужели у них уже дошло до того, что даже все приличия забываются? Неужели его принимают в постели?» — невольно подумала она.

Она пошла дальше. Ее сейчас же впустили к правительнице.

Анна Леопольдовна лежала, повязанная своим неизменным белым платочком; ее руку держала неизменная Юлиана.

Недалеко от кровати помещалась маленькая пышная колыбель, вокруг которой возилось несколько женщин.

Елизавета поздравила правительницу. Та приподнялась с подушек и поцеловалась с нею.

— Очень рада вас видеть, сестрица. А то я уже хотела посылать за вами; право, напрасно вы уехали в деревню; мы очень веселились... вот только теперь скука смертельная — уложили меня и вставать не позволяют... А я, право, совсем здорова... отлично себя чувствую. Девочка тоже ничего... Взгляните,

она не спит теперь.

Цесаревна подошла к колыбели, разглядела крошечное создание, тихонько наклонилась над ним и осторожно, сдерживая дыхание, поцеловала маленькую ручку. Она очень любила детей, и вид новорождённого ребенка всегда поднимал в ней всю ее природную нежность.

Она невольно замешкалась над колыбелькой и невольно вздохнула. Ей пришло на мысль: что-то будет с этой крошечной девочкой? Какая судьба ее ожидает? Быть может, одним из первых сознательных чувств этого ребенка будет ненависть к ней... Зачем все так тяжело, так дурно устроено на свете? Зачем самый справедливый поступок влечет за собою зло неповинным? Зачем столько ненависти? Зачем люди не знают и никогда не узнают друг друга?

Цесаревна еще раз вздохнула и вернулась к Анне Леопольдовне.

Она заметила, как та сделала какой-то условный знак Юлиане. Юлиана сейчас же встала и вышла из комнаты.

Правительница заговорила любезно и лас-

ково. Спрашивала, не нужно ли что-нибудь сестрице, и кончила тем, что снова намекнула на принца вольфенбюттельского.

Елизаветы вспыхнула и даже отдернула свою руку, которую держала правительница.

— Я думала, ваше высочество, — сказала она, — что этот разговор окончен между нами. Неужели вы считаете меня настолько легкомысленной, чтобы двадцать раз изменять свое решение? Не будемте говорить об этом.

— Это очень жаль, — сухо ответила Анна Леопольдовна. — Я надеялась, что в деревне вы обсудите все выгоды нашего предложения и его примете.

Елизавета даже ничего не возразила на это, сказала несколько незначительных фраз и поспешила откланяться.

Только что она вышла, как Юлиана вернулась к своему посту.

— Ну и что? — спросила она.

— Отказывается. И говорить не хочет даже! — раздраженным и злым голосом прошептала Анна Леопольдовна. — В самом деле, она начинает забирать себе много воли, думает, что так все и может делать по-своему. Но

ведь если добром не хочет, так можно ее и принудить!

— Однако как же принудить? — заметила Юлиана. — Тоже раздражать очень нельзя — она не одна, за нею стоит довольно много народу, у нее есть заступники.

— Так что же нам делать? — почти закричала Анна Леопольдовна. — Неужели отказаться от этого плана? Ведь у всех были бы развязаны руки, если бы она согласилась выйти замуж...

— Да, конечно, но только действовать нужно не насилием, лучше попросить какого-нибудь ловкого человека уговорить ее.

— Кого же попросить?

— Да хоть Левенвольде, — ответила Юлиана. — Кстати, он здесь, приехал осведомиться о твоём здоровье.

— Ну и прекрасно, попроси его сюда ко мне.

— Сюда? — изумилась Юлиана. — Да ведь это сочтут совершенно неприличным.

— Напротив, — сказала Анна Леопольдовна. — Напротив, если я принимаю одного, то могу принимать и других, меньше будет раз-

говоров.

— Пожалуй и так, — согласилась Юлиана и вышла звать Левенвольде.

Обер-гофмаршал очень изумился, что правительница принимает его в постели, и еще более изумился, когда узнал, чего она от него хочет. Он хорошо знал, что уговорить Елизавету, особенно ему, невозможно.

— Я не могу идти к цесаревне с такой позициею, — сказал он. — Потому что это будет совсем неприлично и она только оскорбится. Не изволите ли вы сами, ваше высочество, поговорить о том с нею?

— Да я уже говорила, она не слушает! — откровенно и наивным тоном призналась правительница.

— Ну, так что же я-то могу? Я уже совсем ничего не могу.

Впрочем, Анна Леопольдовна с Юлианой и сами поняли, что придумали вещь неподходящую, и отпустили Левенвольде.

А цесаревна, вернувшись к себе, была встречена известием, что несколько гвардейских офицеров, узнав о ее приезде, обратились к ней тихонько и умоляют ее выйти к

ним и их выслушать.

— Безумные, что они делают! — воскликнула цесаревна. — Будто не знают, что уже теперь во дворце наверно известно о их пребывании здесь, у меня.

Но все же она к ним вышла.

Офицеры умоляли простить их за смелость и объявили, что они посланы всеми товарищами узнать, справедлив ли тот слух, будто она выходит замуж за принца вольфенбюттельского.

— Да нет же, нет! — отвечала им Елизавета. — И меня даже обижает, что мои друзья гвардейцы могут верить подобному слуху. Будто вы меня не знаете, разве я могу решиться на такое дело? Мало ли о чем толкуют и мало ли чего желают! Возвращайтесь к себе как можно осторожнее, чтобы вас не заметили... Успокойте товарищей, не тревожьтесь по-пустому, теперь самое первое дело, чтобы все у вас было спокойно и чтобы вы не возбуждали подозрений. Сказала ведь: придет время — кликну, а теперь ждите!..

Офицеры почтительно поцеловали протянутую им руку и ушли успокоенные.

Отпустив их, цесаревна призвала Лестока и сказала ему, чтобы он при первой возможности отправился к секретарю шведского посольства Лагерфлихту и сказал ему от ее имени, что если шведы будут еще медлить, то дело может повернуться в другую сторону, расположение умов изменится. Нужно спешить с объявлением войны, потому что правительство не щадит ничего: принц Антон, наущаемый Остерманом, рассыпает направо и налево обещания и награды для приобретения себе приверженцев.

— Скажите ему, — говорила Елизавета, — что уже кое-что слышала и сообразила. Положим, они там все кричат теперь, что несколько не боятся шведов, что будут действовать быстро и решительно, но это только одни слова и крики. Если шведы явятся как защитники прав потомства императора Петра, то русские войска не захотят воевать с ними. Если Легерфлихт будет настаивать на том письменном обязательстве, скажите ему, что я подпишу, если дела примут хороший оборот и мне нечего будет опасаться. Скажите, что я обещаюсь вознаградить Швецию за военные

издержки с первой минуты начала действий, что я буду давать Швеции субсидии во все продолжение моей жизни, предоставлю шведам все те торговые преимущества, которыми теперь пользуются англичане, откажусь от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и Австрией, не буду ни с кем вступать в союз, кроме Швеции и Франции, буду содействовать Швеции всеми мерами и тайно ссужать деньгами, когда будет нужно. Вот все, что я могу им обещать, — кажется, этого достаточно?!

Лесток выслушал цесаревну молча и поспешил исполнить ее приказание. Теперь он уже победил свой страх, не дрожал больше от шума на улице и даже решился выходить из дому, видя, что никто его не арестует и что они, во всяком случае, сильно преувеличили опасность.

Стали проходить дни за днями. Вот уже и лето кончается. Цесаревна встает рано, ложится поздно, весь день проводит в хлопотах: то толкует со своими приближенными, то посылает Лестока к Шетарди, то сама принимает маркиза. После робости и какой-то времен-

ной апатии на нее вдруг напала смелость, решительность. Она всеми силами старается не думать об опасности, думать только о достижении цели. Со всех сторон верные люди приносят хорошие вести: говорят, что в городе стоит ропот, вольные суждения о действиях правительства.

Разумовский, почти целые дни проводя на улице, заводя знакомство с людьми различных состояний, под вечер приходит и рассказывает, что никаких шпионов не боятся в городе, а прямо кричат, что теперь стало даже хуже, чем во времена бироновщины. Тогда нужно было кланяться одному Бирону, а теперь этих биронов стало больше дюжины, и не счесть фаворитов и фавориток правительницы, и каждый из них кто во что горазд. Про саму Анну Леопольдовну рассказывают даже люди, во дворец вхожие, что она день ото дня становится суровее, скрывается, никого к себе не пускает. Недобрые, незаконные дела творятся! Она вон мужа своего не терпит, к себе в комнату не пускает. Да и чего путного ждать от нее: с самого детства дикая, и мать бивала за дикость. Много рассказывают, о многом

толкуют, всего и передать невозможно. А заговаривают о цесаревне Елизавете, и у всех сейчас улыбка на лицах является: «Вот так цесаревна! Ни от кого она не скрывается, всех встречает приветливо. Войдешь к ней, так и выйти не хочется, все бы смотрел на нее, любовался!»

Подобные рассказы, передаваемые обыкновенно вечером, за ужином, и ежедневно накоплявшиеся, много содействовали оживлению всех окружавших Елизавету. Даже и Мавра Шепелева оставила свои страхи: перестала пробовать кушанья, подаваемые цесаревне. Надежды на близкий и счастливый исход из всех опасений и несчастий росли быстро. Скоро за вечерней трапезой цесаревны уже стали обсуждаться такие, например, вопросы: «Кого мы будем награждать и кого наказывать». У Мавры Шепелевой, Шуваловых и всей компании заранее сжимались кулаки на Остермана, Миниха и других старых недругов. Только одна цесаревна качала головою, когда замечала, что друзья чересчур расходились.

— Не злобствуйте, — говорила она. — Коли

Бог мне поможет, так не для того, чтобы я творила жестокости...

Наконец пришла радостная весть, еще более поднявшая дух елизаветинской партии: шведы объявили войну.

Переговоры между Лестоком и Шетарди велись оживленнее и оживленнее.

Шетарди писал версальскому двору:

«Считают очень важным, чтобы герцог голштинский был при шведской армии, не сомневаясь, что русские солдаты положат перед ним оружие в минуту сражения: так сильно в них отвращение сражаться против крови Петра I. Думают, что было бы очень полезно публиковать в газетах, что герцог голштинский в армии или, по крайней мере, в Швеции. Желают, чтобы между войсками и внутри страны было распространено письмо, в котором бы указывалось на опасность для религии при иноземном правлении».

Потом Шетарди требовал, чтобы шведы издали прокламацию, в которой бы объявили, что восстали для поддержки прав потомства Петра I.

И вся эта внутренняя жизнь двора Елиза-

веты оставалась тайною для правительства. Шпионы доносили о том, что Шетарди ездит к цесаревне, но большего донести они не могли.

Правительница и Остерман с принцем Антоном продолжали очень подозрительно смотреть на Елизавету, придумывали новые комбинации, чтобы от нее избавиться, но куда ничего не могли придумать. К тому же Остерман весь был поглощен внутренними и внешними делами, мыслями о том, как бы самому прочнее утвердиться и успешнее подготовить дело принца Антона, которому теперь помешала война, объявленная Швецией.

А правительнице легко было забывать о цесаревне: она была опять здорова и думала только об удовольствиях и о Линаре.

Во дворце шли праздники за праздниками, и на этих праздниках Линар являлся звездой первой величины. Теперь он уже был Андреевским кавалером, ему делался подарок за подарком; о его предстоящем браке с Юлианой Менгден было всем объявлено.

У всех голова кружилась, все запутывались в массе разнородных, со всех сторон

приходящих известий, все думали о себе, о собственных выгодах, — и среди этого всеобщего хаоса цесаревна начинала чувствовать себя более безопасной и свободной. Она появлялась на всех придворных балах и праздниках, и внимательный наблюдатель должен был поражиться переменой, происшедшей с нею. Совсем иначе и глядела она, и говорила: прежней робости, осторожности и следа не осталось.

Но такого наблюдателя не было. Остерман не появлялся на празднества, волей-неволей продолжая разыгрывать роль недвижимого больного, и ни разу даже не пришла ему добрая мысль в голову хоть на носилках появиться на бале и взглянуть на цесаревну. Если бы он взглянул на нее теперь, то, может быть, увидел бы яснее, как нужно ему поступать и о чем думать. Но, видно, и для оракула пробил час. Он продолжал работать так же неустанно, как и прежде, голова его так же трудилась над измышлениями всевозможных хитросплетений, но результаты этой работы были далеко не прежними.

Особенно один бал во дворце оказался

очень удачным: только что получилось известие о том, что войска готовы идти на шведов и находятся в самом лучшем состоянии и настроении духа.

Правительница появилась, сверх своего обыкновения, роскошно, изысканно наряженной, протанцевала с Линаром, ласково поздоровалась с цесаревной. Елизавета была нарядна и сияла красотой.

Она тоже танцевала с увлечением и уже не чувствовала себя окруженною врагами. Эти враги казались ей теперь крошечными и вполне безопасными, возбуждали ее природную насмешливость.

Вот она заметила в числе гостей маркиза де ла Шетарди и подошла к нему.

— Смотрите, маркиз, — сказала она, — как все радуются, как довольны: они так уверены в победе над шведами. А вы, разделяете ли вы эту общую уверенность?

Маркиз пожал плечами.

— Да, — сказал он, — действительно, теперь здесь много интересного для наблюдений. Мы с удовольствием будем вспоминать этот вечер.

Недалеко от них стоял принц вольфенбюттельский и мог слышать их разговор, но Елизавета ничуть этим не смутилась. Напротив, она прямо указала на него Шетарди и заметила:

— А этот мой новый жених как вам нравится? У меня был бы слишком дурной вкус, если бы я согласилась на это милое предложение. Право, эти люди думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты, а ведь сами-то как слепы! Правительница говорила мне недавно самым шутивным и наивным тоном, что, наверное, скоро будут думать, что граф Линар и фрейлина Менгден сделаются новыми герцогом и герцогиней курляндскими. Как вам нравится эта наивность, маркиз?

Шетарди улыбнулся.

— Да, она шутит со мною и любезничает, — продолжала Елизавета, — но между тем это не мешает ей оскорблять меня. А господин Линар так ко мне относится, что я скоро, кажется, потеряю всякое терпение. Представьте, на днях был здесь обед по случаю дня рождения императора, принц Антон и этот

вот неудавшийся его братец были посажены за стол обер-гофмаршалом, а меня посадил простой гофмаршал!

— Из этого я заключаю только одно, ваше высочество, — проговорил Шетарди, — что вам нужно торопить день торжества вашего.

— Теперь вы, кажется, на меня не можете пожаловаться, — перебила его Елизавета, — теперь я не теряю времени. Посмотрим, что скажут первые военные действия, а здешнее мое дело идет хорошо: моя партия с каждым днем увеличивается и — знаете, кого я уже могу считать в числе своих горячих приверженцев? Всех князей Трубецких и принца гессен-гамбургского, а это чего-нибудь да стоит! К тому же и в Ливонии, как мне передали верные люди, все недовольны, и Бог даст, наше предприятие окончится счастливо.

— Желаю этого от всей души моей, — прошептал Шетарди, — и очень рад, что могу сегодня сообщить хорошие вести во Францию.

Елизавета отошла от маркиза, и по ее прекрасному лицу скользнула улыбка.

«А ведь и ты смешон! — подумала она. — Что тебе ни скажи, хотя вздор какой угодно,

все сейчас же и отпишешь, да и со всевозможными прибавлениями! А еще нас, женщин, считают сплетницами. Никогда мы не сумеем так насплетничать, как умеют эти господа дипломаты!..»

IX

Бал завершен роскошным ужином. Звуки музыки стихли; приглашенные разъехались.

Сначала потухли огни в большой зале, а затем мало-помалу и все остальные комнаты стали погружаться в темноту. Всюду тихо, только порою слышатся шаги дежурных офицеров и караульных.

Юлиана, проводив Анну Леопольдовну в спальню и нежно простясь с нею, прошла в свои комнаты.

— Мне ничего не нужно, оставьте меня! — сказала она дождавшимся ее дежурным камеристкам, и, когда они вышли, молча поклонившись ей, заперла двери на ключ, и несколько минут стояла посреди комнаты.

Комната эта была обширная, богато убранная, ничем почти не уступавшая будуару правительницы.

Между двумя окнами, на которых висели, спущенные теперь, тяжелые бархатные занавеси, помещалось большое венецианское зеркало, в котором Юлиана видела себя во весь рост. Немного наискосок этого зеркала стоял туалетный стол, и на нем были зажжены восковые свечи в канделябрах. Юлиана подошла к туалету, присела на парчовую табуретку, расстегнула лиф платья и задумалась.

Вся ее фигура была ярко освещена свечами.

Немного уставшее красивое лицо отражалось в туалетном зеркале. Она повернула голову налево и снова встретилась со своим отражением.

Прошло еще несколько мгновений; она встала, привычным, ловким движением сняла с себя платье и осталась у самого зеркала, невольно любуясь собою. Действительно, она хороша: высокая, стройная; что за чудные плечи! Что за руки! На шее несколько ниток жемчугов, перепутанных с алмазами; в волосах алмазы, огромные серьги изумрудные.

Она стала одно за другим снимать эти украшения и класть их в шкатулку, стоявшую

на туалете. Шкатулка дорогая, вывезенная из чужих краев и поднесенная ей недавно Линаром. Вся она полна драгоценностей, их щедро надарила своему другу Анна Леопольдовна. Есть тут и другие подарки, подарки людей, которым Юлиана сослужила какую-нибудь большую службу, за которых заступилась перед правительницей, которым устроила выгодные дела, блестящие назначения.

Знает Юлиана, что есть у нее и другая шкатулка, где лежат не каменья самоцветные, а то, на что можно купить много этих каменьев. Чуть не с каждым днем все прибывает и прибывает казна Юлианы. Это тоже знаки дружбы правительницы и приношения людей благодарных. Вот и сегодня: по ее милости выданы две звезды орденские, обещаны искателям три видных, доходных места по службе, и за все это Юлиана опять, конечно, получит благодарность. Накануне она ездила с правительницей осматривать дом, пожалованный ей для будущей ее семейной жизни. Работы в этом доме уже приближаются к концу. Мебель и все вещи поражают необыкновенным великолепием: Анна Леопольдовна

ничего не жалеет для своего друга. Серебра так много, что вряд ли и наполовину есть столько у самых ближайших русских сановников. Все эти деньги, все богатства прежде принадлежали Бирону, после ареста его были конфискованы правительницей и теперь находятся в руках ее. Никак не меньше половины она назначала ей, Юлиане, и Линару; из другой половины большая часть уже тайно выслана Анной Леопольдовной отцу ее, герцогу мекленбургскому. Почти на двести тысяч одних бриллиантов у Юлианы, да и у Линара столько же. Два подарка, которыми разменялись жених с невестой, стоят пятьдесят тысяч.

Не одно богатство принесла Юлиане ее верная дружба с правительницей: ведь все, все знают, какую силою она пользуется, знают, что та сила с каждым днем будет увеличиваться. Нет, Юлиана! Блеск, богатство, почет, молодость, красота — ведь нет такого желания, такого каприза, которого бы не могло исполнить счастье! Отчего же вот она стоит перед зеркалом, стоит, не шевелится и уже не любит себя? Ее густые ресницы опуще-

ны, со щек сбежала краска, в руке жемчужное ожерелье, но она забыла о нем. Бессильно разгибаются ее пальцы, ожерелье падает на ковер, и она не замечает этого.

О чем она думает? И отчего так сжаты ее красивые, пунцовые губы? Отчего сдвинуты дугою выведенные брови и на всем лице печать какой-то грусти, чего-то тяжелого? У нее есть все, все, о чем когда-то снилось и грезилось честолюбивой девушке, все, что должно было принести с собою вечную радость, веселье, счастье, все мечты исполнились, а счастья нет, и, напротив, с каждым днем оно уходит дальше и дальше.

Бывало, и еще не так давно, она веселилась, ни о чем не грустила, ни о чем не задумывалась. Она радовалась каждой малейшей удаче, наслаждалась и хвалилась сама перед собою своей ролью. Ей приятно было видеть, что каждый ее совет, данный Анне Леопольдовне, исполняется. Ей приятно было убеждать, что она безо всяких усилий со своей стороны и без всяких жертв может устраивать дела, чуть ли не судьбу, многих высокопоставленных лиц. Все это ее занимало и те-

шило, но теперь, с некоторого времени, не стало уже этой забавы. Вот прежде она любила наряды и красоту свою, следила за тем, как эта красота с каждым днем развивается, делается все пышнее и пышнее. Но теперь она только по привычке смотрится в зеркало. Право, иной раз готова даже позабыть о своей прическе, о туалете, готова повязаться простым белым платочком, как и Анна Леопольдовна, и весь день ходить в широкой блузе.

Что это за лето такое выдалось несчастное!..

Уж не отравилась ли заключалась в той привозной минеральной воде, которую пила она каждое утро во время прогулок Анны Леопольдовны и Линара по аллеям запертого ото всех Летнего сада.

Да, отравилась была в этой воде и прогулках. Сначала стала одолевать ее скука, так, какая-то беспричинная скука, а потом и тоска захватила. Чего же ей нужно? Она не раз сама себе задавала вопрос этот, перебирала все и ничего не находила. Все есть, ничего не нужно, а между тем такое решение не уничтожало тоски и скуки, а, напротив, усиливало их.

Может быть, ее смущает то, что весь этот почет, который окружает ее, все эти льстивые фразы, которые она выслушивает, — не искренни, что у нее мало надежных друзей, действительно ее любящих, что придет черный день — и все те, кто теперь преклоняется перед нею, отвернутся и забросают ее грязью. Но нет, она об этом не думает. Она еще не предвидит себе черного дня, и до людской искренности, до людской любви ей нет никакого дела; сама она очень немногих любит. Несмотря на свою молодость, она знает цену людям, не ждет и не просит от них многого.

Что же, надоела ей дружба правительницы, ищет она большей свободы, тяжело ей все свое время отдавать Анне Леопольдовне, быть ее тенью? Нет, по-прежнему любит она своего друга и, конечно, не может ни в чем упрекнуть Анну Леопольдовну. Что же это такое? Страсть, что ли, заглянула в ее сердце? Но, кажется, никто ей особенно не нравится, никогда в ее юных девических мечтах не было до сих пор никакого мужского образа. Она выросла во дворцовых интригах и давно уже сказала себе, что всякая идеальная любовь —

вздор и детское заблуждение. Да и кого же, наконец, полюбить ей? Некого, как есть некого!..

А между тем она все стоит перед венецианским зеркалом, все ниже и ниже опускается голова ее на высоко поднимающуюся грудь, и вот тихие слезы капают из-под опущенных ресниц.

— Боже мой, что за мученье! — почти громко произносит она в отчаянии.

Да, страсть закралась в ее сердце, нежданно-негаданно закралась. Напрасно смеялась она над любовью и считала ее вздором, природа взяла свое, и разом разлетелись все соображения, рассудок замолчал. С каждым днем все глубже проникала в нее отравка.

Что же тут странного? Когда же и любить, как не в ее годы, и ей ли бояться страсти? Она так молода, так хороша, так всемогуща, кто ее не полюбит? Кто не почтет себя счастливым услышать из уст ее признание? Она невеста, она скоро будет женою! Но что же такое: жених, ее будущий муж, не смеет требовать от нее любви, он обязан дозволить ей любить кого угодно.

Конечно, все это не так, как у добрых людей делается, но совесть не может упрекать ее, на такие дела нет у нее совести, слишком много было с детства дурных примеров, в слишком странных и развращенных понятиях она воспиталась. Или, может быть, несмотря на это воспитание, несмотря на все, вдруг истина озарила ее — и позорной, унижительной показалась ей ее роль, страшным и грязным то дело, на которое она решилась? Может быть, откуда-то, из далекой глубины детских воспоминаний встали другие понятия? Нет, ничего этого не случилось с Юлианой, не пришла к ней великая минута, когда сразу проясняются мысли, очищается сердце; не от угрызений совести, не от ужаса перед тем путем, по которому идет, она так терзается. Ее страстное чувство приносит ей такое мученье. Она тоскует, она страдает потому, что судьба сыграла с ней злую шутку, потому, что любит она своего жениха, своего будущего законного мужа — графа Линара!..

Когда, каким образом пришло это незваное, ужасное чувство? Как могла она допустить его и поддаться ему, она ничего не зна-

ет.

Быть может, оно закралось в нее незаметно: ведь она давно уже, задолго до приезда Линара, обязана была часто о нем думать, по целым часам говорила о нем с Анной Леопольдовной, по целым часам выслушивала всевозможные похвалы ему, присутствовала при всех сокровеннейших мечтаниях о нем влюбленной принцессы. Быть может, невольно после этих разговоров возвращались к нему ее мысли.

И вот он, наконец, явился. Он не был похож на тех молодых людей, которые ее окружали и которые казались ей, гордой, самолюбивой и холодной девушке, такими ничтожными. Да он и не был молодым человеком. Он носил отпечаток долгих лет какой-то таинственной, заманчивой, исполненной всевозможных приключений жизни; его рассказы были полны совершенно нового интереса; он видел многое такое, чего не знала Юлиана. Незаметно для себя самой она с каждым разом слушала его внимательнее, ей все веселее и веселее становилось в его присутствии, наконец, видеть его стало ее потребностью.

При встрече с ним ее глаза разгорались, но она не придавала этому никакого значения, не обращала на все это ни малейшего внимания, ни разу не задумалась над своими новыми ощущениями. Она все еще как-то не отделяла себя от Анны Леопольдовны, как-то сливалась с нею и даже, может быть, первые признаки своего чувства принимала за отражение на себе радости и счастья своего друга.

И долго ничего бы она не заметила, если бы не суждено ей было стать к Линару в новые и совершенно особенные отношения. Придумав вместе с Анной Леопольдовной знаменитую «комбинацию», сама еще ничем не смущалась, не могла подозревать, какую пропасть сама себе вырывает этой комбинацией. Но вот Линар — ее жених, они вместе решили, что нужно играть комедию, что нужно отводить глаза посторонним. И хоть, конечно, никому не могли отвести глаз, но комедия стала разыгрываться.

В обществе Линар считал своей обязанностью держаться возле Юлианы, заглядывать нежно ей в глаза, иметь вид влюбленного. И он, привыкший к игре, очень ловко исполнял

свою роль: его глаза останавливались на ней действительно с выражением нежности. Как увлекающийся актер, он иногда даже шел дальше: он и без посторонних нередко крепко прижимал ее руку. Быть может, эта близость красивой, молодой девушки и на него действовала отчасти, быть может, и очень даже вероятно, что он не без удовольствия пожимал ее руку и, несмотря на свои нежные отношения к принцессе, вовсе был не прочь, раз уже примирившись с мыслью о неизбежной женитьбе, иметь женою Юлиану. Но, во всяком случае, он не думал, что нежные взгляды могут для нее что-нибудь значить. Тут все с первой минуты выходило как-то дико, невозможно, так дико и невозможно, что только эти люди, с детства душевно и умственно изоглавшиеся, могли выносить подобное положение.

Когда Юлиана в первый раз осознала свое чувство и назвала его по имени, она пришла в неопиcуемый ужас. Она повторяла себе: «Нет, это неправда, этого не может быть, этого не будет!» Она напрягла все свои силы, чтобы не думать о Линаре, забыть его присут-

ствие, и никак не могла этого. Она пробовала его ненавидеть, даже достигла ненависти, но ненависть не уничтожала любви, сливалась с нею и доводила ее до отчаяния, до тоски, до изнеможения. И эти мучительные ощущения возрастали с каждым днем, и она сама себя, наконец, не узнавала. Она думала, думала, как бы ей выйти из этого ужасного положения, то решалась все рассказать Анне Леопольдовне, отказать Линару, куда-нибудь скрыться, хоть на время, но сейчас же и понимала невозможность подобного решения.

Как отказаться от всего, что ее окружает, от всего этого блеска, этой силы? Нет, ни за что, ни за что!

В ней поднималась вдруг ненависть ко всем и ко всему, даже к Анне Леопольдовне. Она проклинала и Линара, и ее, но сейчас же и останавливала себя на этих проклятиях. Чем же виновата принцесса? Разве не она сама, Юлиана, подала ей первую мысль об этом браке, разве не сама она, еще несколько времени тому назад, не находила в нем ничего ужасного и, напротив, считала его единственным исходом многих очень серьезных затруд-

нений.

«Чем же виновата Анна?!» — повторяла она себе и бросалась к ней, и горячо ее обнимала, и чувствовала, что любит ее по-прежнему. Но входил Линар, все лицо Анны Леопольдовны расцветало счастьем, Линар тоже выказывал все признаки нежности, шептал сладкие фразы, и Юлиана едва могла владеть собой. Капли холодного пота выступали на лбу ее, она то бледнела, то краснела. Ненависть, любовь, ревность мешали ей дышать. Ничего почти не видя перед собой, она выходила из комнаты, бросалась к себе и долго, долго неудержимо и безнадежно рыдала, спрятав лицо в подушки.

«Он виноват, он, зачем он меня обманывает, зачем, когда никто не смотрит на нас, он так крепко сжимает мою руку? Как смеет говорить он о нашей будущей жизни?! А вдруг он меня любит?! — мелькала у нее безумная мысль. — Вдруг он меня любит, вдруг будет наше счастье... Но что же тогда с нею-то, с Анной, ведь это убьет ее!»

Юлиана хватала себя за голову и чувствовала, что мысли ее останавливаются, что она

готова с ума сойти от этих путающихся и ничего не выясняющих мыслей.

«Да, я заставлю его любить себя. Он должен любить меня. Разве я не хороша? Разве я не умна? Разве я похожа на вещь, которою можно воспользоваться, когда это нужно, и потом вышвырнуть за окошко? Что же они думают? Они думают, что будут играть мною (она вдруг забыла, что сама придумала эту игру и до сих пор не находила в ней ничего для себя обидного), нет, я заставлю его любить меня! Он будет любить меня, и вот тогда-то я припомню ему все эти мои мучения! О, как я сама его измучаю!»

Но в эту минуту входила Анна Леопольдовна, изумлявшаяся ее долгому отсутствию, обнимала ее и целовала. — Юлиана, что с тобою, зачем ты нас оставила? Пожалуйста, вернись к нам, а то все заметят, что тебя нет, что ты одна у себя, а я с женихом твоим. Юлиана, ты, кажется, плакала, у тебя глаза красны, что с тобою, скажи мне, моя дорогая?

Анна Леопольдовна нежно заглядывала ей в лицо и покрывала ее поцелуями.

— Ничего, ничего, право, это тебе показа-

лось, просто я что-то устала, — шептала Юлиана.

Принцесса отходила от нее, опускалась в кресло и вдруг, хватаясь руками за голову, страстным, порывистым голосом говорила:

— О, Юлиана, если бы ты знала, как я люблю его!

И все это повторялось чуть ли не каждый день.

Нужна была необыкновенная сила воли, которой обладала молодая девушка, чтобы выносить это ужасное положение и скрывать ото всех свои чувства.

Если бы Анна Леопольдовна могла внимательнее взглянуть на своего друга, так от нее-то, конечно, уже ничего не ускользнуло бы, но Анна Леопольдовна думала только о себе и о Линаре, и ей ни разу не пришла в голову мысль о том, что у нее есть такая страшная соперница.

Во всяком случае, дела не могли идти долго таким образом: чем-нибудь нужно было кончить. И Юлиана знала, что она долго не вынесет, что она, может быть, решится, неожиданно для самой себя, на что-нибудь та-

кое, в чем потом будет очень раскаиваться. Но явилось одно обстоятельство, помогшее ей, по крайней мере временно, отстранить развязку: Линар уезжает в Дрезден, как об этом уже заранее было условлено между ним и правительницей. Его отъезд назначен через два дня.

«Пускай он уезжает скорее! — отчаянно повторяла себе Юлиана, очнувшись и раздеваясь. — Пускай он уезжает подальше, не то я с ума сойду».

Она потушила канделябры, прошла в спальню, почти всю ночь не могла сомкнуть глаз и все плакала, все металась на постели. Однако на другое утро она вышла к Анне Леопольдовне, по обыкновению, спокойная и приветливая, и, конечно, никто бы не поверил, если бы рассказать, какую страшную ночь провела она.

Х

Анна Леопольдовна со дня на день откладывала отъезд Линара. Постоянно передавала она и пересылала ему всевозможные и роскошные подарки. Все это он принимал как должное, но наконец и сам увидел, что пора

ехать, и именно для того, чтобы скорее окончить все необходимые дела и вернуться обратно в Петербург для новой и счастливой жизни. Теперь ему нечего опасаться за свою участь: во время его отсутствия ничего не может произойти для него дурного, он окончательно укрепился, он никого не боится.

Вернувшись обратно в Петербург и отпраздновав свою свадьбу с Юлианой, он начнет деятельную жизнь, он заберет все и всех в руки и будет по-своему управлять обширным и неведомым ему государством. Пример Бирона хоть и не раз приходил ему в голову, но не пугал его. «Тот поступал глупо, необдуманно, не умел верно рассчитать, потому и пропал, — думал Линар, — я буду действовать совсем иначе». Его окончательно заколдовало это обаяние власти, которую он почувствовал в руках своих. Что он был там, у себя в Дрездене, где на него не обращали почти никакого внимания! Что это была за жизнь, вся состоявшая из мелких и ничтожных интриг, преследовавших мелкие и ничтожные цели? Вот теперь началась жизнь так жизнь!

«Нет, нечего бояться судьбы Бирона! —

успокаивал себя Линар. — Тот во всех возбуждал ненависть, а меня здесь так все хорошо принимают, так любят!»

И он не мог догадаться в своем удивительном ослеплении, что Бирону показывали постоянно даже гораздо больше любви и уважения, чем ему. Он, опытный дипломат, давно уже забывший, что такое значит искренность, серьезно выслушивал льстивые фразы и не понимал их настоящую цену. Он не видел, как сильна в окружающих, даже теперь, к нему ненависть, он видел только, что играет первостепенную роль, что даже сам Остерман, великий Остерман, и тот призывает его на свои тайные совещания и почтительно выслушивает каждое его слово. А он в последнее время говорил много, вмешивался решительно во все дела, с необыкновенным апломбом рассуждал о таких предметах, которые в действительности были ему вовсе не известны.

Но как ни хороша жизнь здесь, все же надо на время отказаться от нее для того, чтобы потом полнее ею воспользоваться. Нужно ехать. Он объявил Анне Леопольдовне, что выезжа-

ет завтра и что это навверное, так как медлить больше нечего: лучше же уехать скорей, чтобы скорее вернуться.

«Линар уезжает!» — с этой мыслью проснулась Анна Леопольдовна. Она почти всю ночь не спала: все думала о нем и плакала. Заснула только под утро, но и во сне являлся он же. Ей представлялось, будто он навсегда от нее уезжает, будто она провожает его в могилу, будто он убит...

Вся облитая холодным потом, с невольной вырвавшимся из груди ее криком проснулась она, в ужасе оглянулась, будто боясь и наяву увидеть его безжизненное тело. Но вот, наконец, пришла в себя и сообразила, что все это был только сон, страшный сон, и что нечего пугаться.

«Но он уезжает! Уезжает сегодня!» — Она поспешно стала одеваться, сердце ее мучительно стучало, на глаза то и дело навертывались слезы, которых она даже не имела силы скрыть от прислуживавшей ей фрейлины.

Раньше обыкновенного вышла принцесса из своей спальни и стала поджидать друга.

Каждая минута казалась ей часом; нако-

нец Линар приехал проститься с нею.

Но ведь, того и жди, не дадут им хорошенько проститься, побыть наедине в последние минуты. Вот так и есть: являются ненужные люди, но которым отказать невозможно, является и сам принц Антон.

Он любезно здоровается с Линаром. Вообще, в последнее время он держит себя очень осторожно, изо всех сил старается не сталкиваться с женою в каком-нибудь неприятном разговоре. Он так изменился, он так спокоен и важен, что Анне Леопольдовне не раз приходила мысль, уж не затеял ли он чего-нибудь против нее.

«Да где ж ему! И что он может?» — успокаивала она себя и отгоняла подобные мысли.

— Итак, вы едете, граф? — сказал принц Антон, пожимая руку Линару. — Дай Бог, чтобы мы встретились снова при хороших обстоятельствах, чтобы эта война обратилась в нашу пользу и, главное, чтобы мы все вполне успокоились относительно известной особы.

Под известною особою подразумевалась цесаревна Елизавета.

— От известной особы было бы легко отде-

латься, если бы захотели слушаться моих советов, — ответил Линар, — я еще вчера у графа Остермана доказывал необходимость решительного и немедленного поступка с нею. Что она принимает участие в шведских делах, в этом не может быть никакого сомнения; следовательно, нужно подвергнуть допросу ее и всех к ней приближенных. Я совершенно уверен, что подобный допрос если и не раскроет прямо всего, то, во всяком случае, наведет на след весьма важных открытий. Я не говорю, что с нею нужно поступить очень жестоко, нет, зачем же! Основываясь на том, что она принимает участие в происках врагов России, ее необходимо заставить формально отречься от престола. Народ ничего не может сказать против этого: особа, подстрекающая чуждое государство на войну с Россией, не может рассчитывать на симпатии своих соотечественников и ни при каких обстоятельствах не имеет права царствовать над ними.

— Конечно, конечно, вы правы! — быстро перебил принц Антон. — И если бы только от меня зависело, я непременно последовал бы вашему совету. Но дело в том, что другие не

понимают и сами навязываются на страшные опасности.

Он взглянул на жену: что она скажет?

Анна Леопольдовна сидела бледная, с покрасневшими и опухшими от слез глазами.

— Нет, ничего этого нельзя сделать, — тихо и печальным голосом проговорила она, — если бы мы и избавились от нее, то все же это ни к чему не привело бы, опасность не уменьшилась бы: разве там, в Голштинии, не живет чертенок? — припомнила она выражение покойной императрицы. — Он всегда будет мешать нашему спокойствию.

И проговорив это, Анна Леопольдовна сейчас же забыла и о чертенке, и о цесаревне, и о всей России. Какое ей дело до всех этих опасений в такую ужасную минуту: «Он уезжает, чего же это они все здесь? Чего не уходят? Ведь не могу же я так с ним проститься?»

Но заставить всех выйти не было никакой возможности.

Анна Леопольдовна взглянула на Юлиану; та сидела неподвижно, тоже вся бледная, с каким-то странным выражением в лице.

Воспользовавшись оживленным разгово-

ром, завязавшимся между присутствовавшими, Анна Леопольдовна подошла к ней и шепнула:

— Выйди и вызови его к себе: у тебя мы простимся.

Юлиана поднялась машинально и, остановившись посреди комнаты, обратилась к Линару.

— У меня очень голова болит, — сказала она глухим голосом, — когда вы будете свободны, придите проститься.

Линар взглянул на нее, поразился ее бледностью, странным выражением лица ее.

— Иду следом за вами, дорогая Юлиана, — проговорил он.

Она, почти шатаясь, вышла из комнаты.

— Вот как вас любит ваша невеста, — неестественно смеясь, сказал принц Антон, — ее просто не узнать сегодня, так она огорчена разлукой с вами.

Линар ничего не ответил на это, а Анна Леопольдовна вспыхнула и закусил губы.

Она подошла к Линару и сказала:

— У меня есть дело, и я должна теперь с вами проститься. Желаю вам счастливого пути,

возвращайтесь скорее.

Линар почтительно поцеловал протянутую ему руку, и правительница вышла.

Перед посторонними она еще сдерживалась, но, когда появилась в будуаре Юлианы, обойдя коридорами, соединявшими ее покои с покоями фрейлины Менгден, уже не была в силах владеть собою. Слезы градом полились из глаз ее, она упала в кресло и рыдала до тех пор, пока в комнату не вошел Линар.

При его входе Юлиана вышла и заперла за собою дверь.

Он остановился перед Анной Леопольдовной. Ему было неловко: эти слезы и рыдания казались ему излишними. Сам он не особенно скорбел от предстоящей разлуки — его чувство к Анне Леопольдовне подогревалось искусственно. Когда-то, в первое время своего пребывания в России, он действительно искренне увлекся пятнадцатилетней девочкой, глядевшей на него влюбленными глазами, но теперь эта чересчур сентиментальная привязанность ему начинала надоедать порядком.

— Успокойтесь, ради Бога, — заговорил он, наконец, целуя руку Анны Леопольдовны, —

право, можно подумать, что мы расстаемся навсегда. Ведь я вернусь скоро, и не заметите, как пройдет это время.

— Да мне все такие страшные сны снятся, — сквозь рыдания прошептала принцесса, — у меня уж не первый день все какое-то предчувствие, оно меня мучает, не дает мне покоя: мне все кажется, что вы не вернетесь, что мы никогда не увидимся. Боже мой! Мало ли что может быть! Кто поручится, что дороги безопасны? Путешествие такое длинное... Достаточно ли людей с вами?

— Относительно этого не беспокойтесь — я вполне убежден, что доеду благополучно.

Он сел рядом с нею, он всеми мерами старался ее успокоить, но это ему не удавалось. Она все рыдала, все повторяла о своих предчувствиях, так что наконец ему сделалось невыносимым это свидание.

— Пора! Пора нам расстаться, — сказал он, — я и так опоздал, меня давно ждут... надо уезжать.

— Как? Уже уезжать!.. — почти безумным голосом проговорила она.

— Что же делать! — он опустил глаза и

протянул ей руки.

Вся обливаясь слезами, рыдая и произнося несвязные фразы, простилась она с ним и, чувствуя, что так не будет в силах отпустить его, выбежала из комнаты.

Он остался один и ждал Юлиану.

Вот она вошла в будуар и тихо к нему приблизилась.

Он взглянул на нее.

Какое странное лицо! Она никогда еще не была такая. Она глядит на него не отрываясь, и ему жутко становится от этого взгляда.

— Прощайте, Юлиана, — сказал он, протягивая ей руку.

Она дала ему свою.

Ее рука была холодна и дрожала.

Вдруг она отшатнулась от него, блеснула перед ним глазами. Что-то мгновенно, как будто какая-то электрическая искра пробежала по ней...

Прошло несколько мгновений, они не говорили ни слова... Она ступила шаг вперед, положила ему на плечи руки и задыхающимся голосом, едва шевеля пересохшими губами, прошептала:

— Линар, увезите меня с собою... едем вместе! Никогда не вернемся сюда... забудем все... Там, где-нибудь, мы будем счастливы!

Ему показалось, что она сошла с ума. А она все не выпускала его и продолжала впиваться в него горящими глазами и шептала:

— Линар... одно слово... говорите!

— Успокойтесь, Юлиана, я не понимаю, что с вами!.. Что вы говорите?! Или вы смее-тесь надо мною! Но зачем провожать меня такой шуткой?

— Шуткой! — отчаянно вскрикнула она и, пошатнувшись, без чувств упала на пол.

Ее крик услышали в соседних комнатах. Сбежались служанки и кое-как привели ее в чувство.

Линар, смущенный, начинавший понимать, в чем дело, но все еще не совсем верящий этой неожиданной для него догадке, стоял не шевелясь, пока не увидел, что она пришла в себя. Тогда он тихонько вышел из комнаты и поспешил к себе домой, где уже давно дожидался приготовленный для его путешествия поезд.

Принц Антон и Остерман очень радовались отъезду Линара, думали, что теперь им станет свободнее и легче, что они успешнее начнут достигать исполнения своих планов.

Они побаивались Линара как человека далеко не глупого, энергичного и проницательного — с его отъездом они избавлялись от зорких глаз, следивших за их действиями.

Теперь, думали они, от внимания правительницы будет ускользать многое, что не могло ускользнуть от Линара. Принц Антон решил, что необходимо, пользуясь обстоятельствами, поторопить с днем торжества своего и устроить так, чтоб Линар никогда и не возвратился.

Но и принц Антон, и Остерман ошибались. Их дело не подвигалось ни на шаг, как ни старался, как ни хитрил и ни изловчался старый оракул. У них не составлялось партии, они оставались одинокими.

Только люди, жившие в последнее время вдали от Петербурга, продолжали считать Андрея Ивановича всемогущим и называть его царем всероссийским; те же, кто был поближе, кто принимал участие в дворцовой жиз-

ни, видели, что старый Остерман не только что не устроил себе твердого положения, но, напротив, с каждым днем все слабее и слабее держится. Конечно, он по-прежнему решает самые важные государственные дела, по-прежнему ему поручаются самые серьезные работы, но и только. Настоящей силы у него нет, потому что эта сила может произойти только из близких отношений к правительнице, а правительница не только не дружна с ним, но с каждым днем все более и более от него отстраняется. Она знает, ей давно это уже внушено и Линаром, и другими, что Остерман составляет теперь нечто нераздельное с ее мужем, и, конечно, она вследствие этого не может доверять ему.

Все, что есть русского, все это ненавидит Остерман; немецкая партия тоже от него отшатнулась и примыкает к правительнице и ее приближенным. И что всего страннее, что всего непонятнее, это то, что Остерман не совсем понимает свое положение, что он все еще надеется на возможность благополучного и скорого устройства дела принца Антона.

Между тем против Андрея Ивановича ве-

дутся всякого рода интриги, мелкие заговоры даже со стороны таких людей, которых подозревать ему и в голову не приходит.

Андрей Иванович сидит в своем рабочем кабинете, пишет бумагу за бумагой. Потом принимает принца Антона, толкует с ним, строит планы, ободряет его. А в это время у архиерея Амвросия Юшкевича, занявшего в Синоде место покойного знаменитого Феофана Прокоповича, ведется оживленный разговор об Андрее Ивановиче.

Собеседник архиерея — действительный статский советник Темирязов.

Темирязов этот — человек не Бог знает какой и не Бог знает как способный; напротив того, совсем это робкий человек, думающий только о том, как бы самому удержаться, как бы не попасть в какую-нибудь неприятную историю, не нажить себе бед и хлопот в теперешнее тяжелое время, когда не знаешь, с кем дружить, от кого отдаляться.

Темирязов часто посещал архиерея, с которым знаком уже долгие годы. Сидят они теперь за скромным, но вкусным ужином и толкуют о делах политических, о начавшейся

войне со шведами.

— А кто во всем виноват? — говорит архиерей. — Все он же — Остерман. Многие неправды творит в государстве купно с супругом правительницы... и война эта его же рук дело. Я на него многократно государыне говаривал, только ничего из этого не выходит. Невредим остается, ничто не льнет к нему...

— Да и манифест о правлении Анны Леопольдовны ведь тоже он сочинил, — замечает Темирязов.

— Как же, он, он, конечно! Он же и регенту помогал. Все, что ни творится, все от него исходит, а сам сух из воды выбирается...

Темирязов сделал глубокомысленную физиономию.

— Смотрите, преосвященный, вот вы говорите про регента, а ведь он регента сверстал с правительницей.

— Как так? Что ты? — оживился архиерей. — Это интересно! Постой, пойду принесу манифест...

И преосвященный с живостью, несвоейственной его летам и положению, чуть не выбежал из комнаты и через несколько минут

вернулся с манифестом.

— Покажи, ради Бога, в которой речи он сие сверстание учинил?

Темирязев раскрыл манифест, нашел место, прочел, и точно: вышло, что по смыслу манифеста Анна Леопольдовна должна править на том же основании, как и Бирон.

— Возьми вот перо, — сказал архиерей, — да поставь черту против этих слов, чтобы я не забыл, а то я что-то стал беспамятлив.

Темирязев провел черту.

— Ну, вот так, хорошо! — заметил архиерей. — Завтра же пойду с этим манифестом к государыне-правительнице и покажу ей, что все это подлинно Остермана дело.

Потолковав еще немного, Темирязев простился с Юшкевичем, а дня через два снова к нему заехал узнать, как идет это дело.

— Да что дело... идет дело, только не больно шибко, — ответил преосвященный. — Доносил я государыне обо всем: изволила сказать, что очень этим всем обижена, что право принцесс обошли. Только я ждал, что она будет говорить об Остермане, а она молчит, говорю тебе: не льнет к нему ничто, да и полно!

Такую силу дали. Вот есть книга у нас — «Камень веры», чай, знаешь?

Темирязов кивнул головою.

— Ну, так вот эту книгу он взял да и запечатал, и сколько раз просил я государыню, чтобы распечатать приказала ту книгу, а до сих пор ничего не мог добиться. Мешает он мне, или сам, или через принца, да и как не мешать, посуди сам! Он нам всякие каверзы готов делать, потому мы ему противны: не нашего он закона. На все российское духовенство он, аки лев лютый, рыкает, безбожник! Только нет, так все это оставить невозможно. Скажи ты мне, знает ли тебя фрейлина Менгденова? Она в очень великой у государыни милости, через нее все можно оборудовать...

— Нет, не знает она меня, — ответил Темирязов.

— Ну, это все равно, а ты все же поди к ней, худого от этого не будет, — продолжал Амвросий, — поди к ней, не мешкая, и расскажи про манифест, про то, как сравнена великая княгиня с регентом, и ту речь покажи, что у меня отметил. И подкрепи ей, что все это дело Остермана; может, она будет великой кня-

гине на него представлять и та нас не послушает, а ее послушает.

Темирязов задумался: не в его характере было в такие дела впутываться. Но он находился под влиянием Амвросия, и тот, наконец, так сумел уговорить его, что он решился повидаться с Юлианой и толковал только об одном, что нужно это сделать тайно, чтобы никто не мог проведать об этом свидании.

— Все это можно, — сказал архиерей, — я пошлю с тобой моего келейника, он тебе покажет крыльцо, откуда ты прямо можешь пройти к самой спальне фрейлины.

Так и сделали. Темирязов отправился со служанкой, и Юлиана, уже давно привыкшая ко всевозможным интригам, таинственности и неожиданным посещениям, немедленно приняла его.

Он был очень смущен неловкостью своего положения, начал заикаясь и со всевозможными отступлениями объяснять фрейлине, в чем дело.

Но она почти с первых же слов его перебила.

— У нас все это есть, мы все знаем, — сказа-

ла она, а затем и отправилась к правительнице.

Темирязов в смущении дожидался. Она вернулась через несколько минут и сказала ему, чтобы он сходил к Головкину и спросил его от имени Анны Леопольдовны: написал ли он то, что ему было приказано, и если написал, то привез бы. Сам же Темирязов должен был показать Головкину манифест и, выслушав, что на это скажет, вернуться обратно.

Робкий действительности статский советник, неожиданно попавший в деятели и заговорщики, и рад был бы от всего отказаться, вернуться преспокойно домой, но уже сделать это было невозможно, и он отправился к Головкину.

Тот взял манифест, прочел и сказал:

— Мы про это давно ведаем. Я государыне об этом доносил обстоятельно, а написано или нет то, что мне приказано, — так скажи ты фрейлине, что я сам завтра буду во дворце.

С этим ответом Темирязов направился к Юлиане.

Теми же таинственными путями вошел он в ее будуар и оторопел, перед ним очутилась

не Юлиана, а сама правительница.

— Что с тобой говорил Михайло Гаврилович? — сразу спросила Анна Леопольдовна, почти не ответив на его поклон.

Темирязов передал ей слова Головкина.

— Мне не так досадно, — снова заговорила она, — что меня сверстали с регентом, досадно то, что право принцесс моих в наследстве обошли. Поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты, два: один в такой силе, что буде, волею Божию, государя не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству. В другом манифесте напиши, что если таким же образом государя не станет, то чтобы наследницей быть мне.

Темирязов стоял ни жив ни мертв, весь да же похолодел от ужаса.

Вот к чему привели его эти дружеские беседы с архиереем. Потолковать за ужином о злостных действиях Остермана он мог, и даже с удовольствием, пожелать этому Остерману всего дурного тоже было делом нетрудным, но вдруг самому писать манифесты, да еще и не один, а два, — это уже совсем другое.

— Да как же я, ваше высочество, писать буду?! — прошептал он, не смея взглянуть на Анну Леопольдовну.

— Как писать будешь?! — воскликнула она. — А так, как всегда это пишется. Что же тут такого? Чего ты боишься? Ведь ты присягал государю, присягал, что будешь мне послушен?

— Присягал, — заикаясь, ответил Темирязев.

— Ну, так если присягал, то и помни присягу, поди и сделай, как я говорю тебе, а сделав, отдай фрейлине. Только никому, как есть никому не моги и заикнуться об этом, помни о голове своей! — закончила Анна Леопольдовна грозно и вышла из комнаты.

Темирязев стал было дожидаться Юлианы, чтобы как-нибудь выпутаться из этого затруднительного положения, упросить ее, чтобы с него снято было такое неожиданное и тяжелое поручение.

Но сколько он ни ждал, фрейлина не показывалась.

Наконец он вышел из дворца и направился к себе, решительно не зная, как будет пи-

сать эти манифесты. Сам он манифестов ни за что писать не сумеет, следовательно, нужно обратиться к какому-нибудь способному на то человеку.

Он, недолго рассуждая, свернул в сторону, отправился к секретарю иностранной коллегии Познякову и, предварительно взяв с него самые страшные клятвы в сохранении тайны, рассказал ему, в чем дело, и умолял выручить его, ради Бога.

— Что же тут делать! — отвечал Позняков. — Не робей, нынче много непорядков происходит. Да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно.

— Сделай ты, напиши, пожалуйста! — упрашивал Темирязов.

— Хорошо, для друга готов, напишу вчерне и завезу к тебе.

Позняков сдержал слово: в ту же ночь приехал с манифестами, а Темирязов немедленно отвез их Юлиане.

Этим покуда роль его и кончилась.

Правительница оставила манифесты у себя, на другой день призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что

в учреждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда бывают в России наследницами за неимением принцев?

И спросила это она таким тоном, по которому Остерман должен был сразу заключить, что она считает его главным виновником этого обидного для нее упущения.

— Это нужно исправить, — продолжала правительница, — да, непременно подумайте, как бы это исправить! Вон уже приходил ко мне Темирязов и объявил, что об этом и в народе толкуют.

Остерман сказал, что подумает, и на другой день прислал Анне Леопольдовне письмо такого содержания:

«Понеже то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно с князем Черкасским и архиереем новгородским».

Правительница ответила ему тоже письменно, что, кроме этих лиц, надо призвать к совещанию и графа Головкина, потому что это дело от него происходит.

Остерман послал за Головкиным. Они потолковали и решили собраться снова вместе с

Черкасским и Амвросием Юшкевичем.

Но неожиданно и быстро надвигавшиеся события помешали им исправить это «упущение в манифесте»...

Война со шведами продолжалась и началась для русских успешно: шведы разбиты были при Вильманштранде.

Во дворце ликовали. Приверженцы Елизаветы опустили головы, и сама она впала в тяжкое раздумье.

— Что же это за союзники! — говорила она своим приближенным. — Что же это нам за помощь! Нолькен обманул, ровно ничего не сделал, что обещал, — герцога голштинского нет при шведской армии, нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого. А без этого манифеста, конечно, наши будут идти вперед и побеждать...

Елизавета послала Лестока к маркизу де ла Шетарди узнать от него все подробности о вильманштрандской битве.

Шетарди отвечал, что тревожиться пока нечего и уж вовсе не следует приходить в отчаяние от первой неудачи. Шведов было мало, и к тому же весьма трудно сделать сразу

все, что было условлено с Нолькеном.

— Пусть лучше принцесса сама действует теперь энергично, — сказал Шетарди Лестоку.

— Мы не спим, — ответил на это Лесток, — но одни, сами собою, ничего не в силах сделать без помощи Швеции. Нужно, чтобы толчок был дан русскому народу. Устройте так, чтобы был издан манифест. Попросите короля убедить Швецию, чтобы в ее войске явился герцог голштинский. Прощаясь с офицерами и солдатами, отправляющимися в Финляндию, принцесса уверяла их, что герцог будет в войске, и упрашивала, чтобы не убивали, по крайней мере, ее племянника. Если б вы знали, как это было принято офицерами и солдатами!

И вдруг теперь они узнают, что герцога Петра нет, что перед ними только неприятель!

Шетарди обещал, не откладывая, исполнить все по желанию Елизаветы и в то же время замышлял относительно нее и еще одно дело.

Ему поручили из Версаля предложить ей в женихи принца Конти.

Шетарди приехал толковать с цесаревной об этом браке.

— Вы должны быть уверены, — отвечала ему Елизавета, — что я не выйду замуж и не могу слушать подобного предложения уже даже потому, что, с моей стороны, было бы очень неблагоразумно обижать правительницу и ее мужа, я только что отвергла довольно глупое предложение, сделанное мне братом принца Антона. Я удивляюсь, право, как наконец не надоест всем до сих пор предлагать мне женихов. Вот и женой персидского шаха хотят меня сделать, но я смотрю на все эти предложения как на не ведущие ни к чему и обидные для меня шутки.

После таких слов, конечно, Шетарди не мог ничего прибавить и поспешил вернуться к себе, чтобы сообщить о неудачах этого дела двору своему.

Вообще, положение маркиза день ото дня становилось все затруднительнее: все на него косились, избегали разговоров с ним, многие едва кланялись. Появляясь во дворце, он испытывал большую неловкость, видя, что все, начиная с правительницы, тяготеют его при-

сутствием и если до сих пор еще не позволяют себе с ним дерзостей, то единственно только вследствие его общественного положения.

Действительно, Остерман в одно из последних свиданий своих с правительницей объявил ей о необходимости удаления Шетарди, и Анна Леопольдовна несколько не возражала против этого.

Остерман тотчас же написал русскому послу во Франции, Кантемиру.

«Поступки Шетарди, — писал он, — так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда. Только это нужно исходатайствовать таким образом, чтобы французское министерство, при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее, не получило повода к преждевременному разорению с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступить в этом деле, смотря по тамошней склонности министерскому нраву и обращению дел, и притом на ваше благорассуждение оставляю, не можете ли через то благосклонное к вам лицо, о котором в реляциях своих упоминаете, тамошне-

му министерству между прочим искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может желать с ним знакомства, все избегают его, как только можно, без явного озлобления».

Результат этого письма так же опоздал, как и манифест о правах на российский престол еще не родившихся сыновей и дочерей Анны Леопольдовны.

XII

Цесаревна Елизавета ожидала новых известий с театра войны и в то же время поручала Лестоку и своему старому учителю музыки, Шварцу, раздавать деньги гвардейским солдатам.

Она чувствовала, что теперь приблизилось роковое время, и желала только одного, чтобы сигнал к перевороту подан был из войска, чтобы ей с ее петербургскими приверженцами не нужно было начинать первой.

Однако, несмотря на эту решимость и осторожность, которые противились всем убеждениям окружающих, цесаревна уже далеко не была такою робкою, как прежде. Она оконча-

тельно убедилась в слабости правительства и иной раз не сдерживалась, позволяла себе такого рода поступки, от которых прежде бы непременно воздержалась.

Не в ее характере было ненавидеть даже врагов своих, но из числа их она все же выделяла Остермана — самого старого, самого заклятого недруга — и к нему в ней постоянно было злобное чувство, с которым она не могла справиться. Все готова она была простить, кроме неблагодарности, а неблагодарность Остермана переходила всякие пределы. Он всем своим положением, всем своим счастьем был обязан ее отцу и матери и неустанно преследовал ее, их любимую дочь.

Он и теперь наносил ей всевозможные оскорбления и почти каждый день то тем, то другим напоминал о себе и приводил ее в негодование.

Вот персидский посланник привез дары всем членам царского семейства и лично желал вручить их, но Остерман не допустил его до цесаревны.

Эти дары привезли ей гофмаршал Миних и генерал Апраксин.

Елизавета вышла к ним бледная, со сверкающими глазами, такая разгневанная и величественная, что они ее почти не узнали.

— Скажите графу Остерману, — произнесла она повелительным голосом, — он мечтает, что может всех обманывать, но я знаю очень хорошо, что он старается унижить меня при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня и не подумала бы по доброте своей. Он забывает, кто я и кто он! Забывает, чем обязан моему отцу, который из писарей сделал его тем, чем он теперь! Но скажите ему, да, скажите ему, что я-то никогда не забуду о том, что получила от Бога и на что имею право по моему происхождению!

И цесаревна, едва кивнув головой Миниху и Апраксину, удалилась в свои внутренние комнаты.

Этот поступок ее, конечно, сейчас же был всем рассказан и произвел большое впечатление.

Иностранные резиденты немедленно передали о нем своим дворам, принц Антон помчался к Остерману...

Но ничего неприятного из всего этого не вышло для цесаревны. Несмотря на всю ненависть, которую к ней чувствовали некоторые, все, начиная с Остермана, очень хорошо понимали, что уничтожить ее, в особенности теперь, пока еще неизвестно, чем кончится война со Швецией, более чем опасно. К тому же в последнее время все находились в каком-то странном лихорадочном состоянии: это было что-то вроде общего бреда. Никто ничего не видел ясно и стремился к своей цели такими путями, которые могли не приблизить, а только отдалить от этой цели.

Наконец, маркиз де ла Шетарди привез цесаревне манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом и предназначенный для «достохвальной русской нации».

Цесаревна жадно принялась читать манифест. В нем говорилось о том, «что шведская армия вступила в пределы России единственно с целью получить удовлетворение за многие неправды, причиненные шведской короне иностранными министрами, господствовавшими над Россиею в прежние годы, для

получения необходимой шведам безопасности на будущее время и для освобождения русского народа от невыносимого ига и жестокостей, которые позволяли себе те министры, через что многие потеряли собственность, жизнь или сосланы в заточение. Король шведский намеревается избавить русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранить доброе соседство. Но этого достигнуть невозможно до тех пор, пока чужеземцы для собственных целей и по своему произволу будут властвовать над русскими и их соседями союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества, все русские должны и могут соединиться со шведами и как друзья отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления».

Елизавета благодарила Шетарди, ее приближенные по несколько раз перечитывали манифест. Все ликовали, надеялись, что теперь уже недалеко до полного торжества.

При дворе этот манифест произвел очень тревожное впечатление.

Принц Антон перечитывал его с Остерманом и Левенвольде и наивно рассуждал о том, что «о чужестранных здесь весьма противно написано и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии».

— Что же теперь делать? — испуганно спросил он Остермана.

— А другого делать нечего, — отвечал оракул, — как взять лучшие военные предосторожности и приказать, что где такие манифесты появятся, в народ их отнюдь не разглашать, а собирать в кабинет.

— А вы, граф, — обратился он к Левенвольде, — немедленно доложите обо всем этом правительнице.

Левенвольде отправился к Анне Леопольдовне, но та уже знала про манифест и прямо начала с этого.

Левенвольде передал ей о том, что говорил Остерман. Она кивнула головою.

— Хорошо, — сказала она, — пусть будет так сделано. Да, манифест этот очень остро писан, — прибавила она и замолчала.

Через минуту она уже и думать позабыла об этом деле — не тем совсем заняты были ее мысли. Она страшно тосковала, посылала письмо за письмом в Дрезден, да и, кроме того, была встревожена болезненным состоянием друга своего, Юлианы.

Юлиана с самого дня отъезда Линара скрывалась больною, была необыкновенно раздражительна и иногда без всякого видимого повода вдруг заливалась слезами или истерически смеялась.

Анна Леопольдовна не могла догадаться о действительной причине этого странного нервного состояния, почти не отходила от своего друга и насильно заставляла ее принимать лекарства, прописываемые доктором.

Прошло несколько дней. 23 ноября был куртаг во дворце; съехалось довольно много народу.

Между присутствовавшими находилась и

цесаревна, и маркиз де ла Шетарди. Маркиз имел скучающий и даже озлобленный вид, он чувствовал, что положение его очень шатко и даже опасно.

«Того и жди, еще отравят, — думал он, — от этих варваров всего ожидать можно!..»

Он медленно переходил из комнаты в комнату, почти ни с кем не останавливаясь и не разговаривая, так как давно заметил, что все отделяются от него под всевозможными предлогами. Ему оставалось только наблюдать, но пока для наблюдений не представлялось ничего интересного.

Он заметил только, что Анна Леопольдовна на этот раз в каком-то видимом возбуждении.

Вот она встала со своего места и несколько раз скоро прошлась по комнате, потом вдруг подошла к цесаревне.

Маркиз расслышал:

«Сестрица, мне нужно поговорить с вами, прошу вас следовать за мною».

Елизавета, встревоженная и изумленная, последовала за правительницей.

Они прошли несколько комнат и остано-

ВИЛИСЬ.

— Да, мне нужно серьезно переговорить с вами, — повторила Анна Леопольдовна. — Там, — она указала на приемные комнаты, — есть один человек, которого впускать бы не следовало, — это француз маркиз. Нам теперь доподлинно известны все его неблагоприятные поступки, и я едва удерживаю себя, чтобы не отнестись к нему так, как он этого заслуживает. Но дольше выносить его и тяжело для меня и опасно. Я уже отправила королю просьбу о том, чтобы его отозвали из Петербурга.

— Но зачем же вы мне все это говорите? — спросила Елизавета. — Вы знаете, что я так далеко стою от всех дел...

— Я говорю это вам, — перебила ее правительница, — для того, чтобы предупредить вас и просить не принимать больше этого человека.

— Как же я могу это сделать? — заметила Елизавета. — Мне это очень трудно. Конечно, можно раз-другой отказать ему под тем предлогом, что меня нет дома, но в третий раз уже не откажешь: это будет чересчур невежливо и ясно. Вот вчера, например, маркиз подье-

хал к моему дому в ту самую минуту, как я выходила из саней и входила к себе...

Яркая краска вспыхнула на щеках Анны Леопольдовны; она взглянула на свою собеседницу с видимым раздражением.

— Я не знаю, легко ли или трудно вам сделать, но я снова повторяю мою просьбу; исполнить ее ваша обязанность.

Елизавета в свою очередь вспыхнула, но сдержалась.

— В таком случае, — тихо проговорила она, — это дело можно устроить гораздо проще: вы правительница — прикажите Остерману сказать Шетарди, чтобы он не ездил ко мне больше!

— Нет, так нельзя! — поспешно отвечала Анна Леопольдовна. — Нельзя раздражать такого человека, как Шетарди, и подавать ему явный повод к жалобам, пока он еще занимает свой пост и не отозван отсюда.

— Так вот видите! — с едва заметной усмешкой и пожав плечами сказала цесаревна. — Если Остерман — первый министр и, имея ваше повеление, повеление правительницы, не смеет так поступить с Шетарди, то

как же я-то могу решиться на это?

— Я ничего этого знать не хочу! — вдруг вскрикнула принцесса. — Вы должны не принимать его, и кончено об этом!

— Вы напрасно кричите на меня, ваше высочество, — тоже возвышая голос и уже едва сдерживаясь, сказала Елизавета, — конечно, пользуясь обстоятельствами, можно унижать меня, но есть же всему предел, и вам не следовало бы забывать, что я не ваша прислужница.

Она резко повернулась и хотела выйти.

Анна Леопольдовна удержала ее за руку.

— Не сердитесь, извините меня, — проговорила она более мягким голосом, — право, столько неприятностей, я так раздражена, что не умею сдерживаться. Оставайтесь на минутку, мне еще кое-что нужно сказать вам.

— Что вам угодно от меня?

— А вот что: слышала я, матушка, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с неприятельской армией и будто ваш лекарь Лесток чуть не ежедневно ездит все к тому же французскому посланнику и принимает участие во всех его злоумышлениях. Вот я полу-

чила письмо из Бреславля, в котором мне советуют сейчас же арестовать лекаря Лестока.

Анна Леопольдовна остановилась и пристально взглянула на цесаревну, но та себя не выдавала: ее внезапно охватила решимость.

Минута была слишком важная, эта минута могла погубить ее, и она нашла в себе силу бороться со своим волнением.

Конечно, она ничего не могла бы скрыть на своем выразительном лице, но ведь оно и до этой минуты, во все продолжение разговора с правительницей, было взволнованно — это помогло ей.

Анна Леопольдовна ничего особенного не прочла в лице ее и прибавила:

— Конечно, я не верю всем этим слухам, я не хочу подозревать вас в сношениях с Шетарди и со всеми нашими врагами, и я надеюсь, что если Лесток окажется виновным, то вы не рассердитесь, когда его задержат.

— Я с неприятелем отечества моего никаких альянсов и корреспонденций не имею, — спокойным голосом ответила Елизавета, — а если мой доктор ездит к французскому посланнику, то я его подробно допрошу

об этом и, как он мне донесет, сейчас же и объявлю вам.

На этом закончился разговор между ними.

Цесаревна еще несколько времени пробыла в приемных комнатах и потом незаметно удалилась.

Вернувшись к себе, она поспешно призвала Лестока, Разумовского, Воронцова и Шувалова и со слезами на глазах подробно рассказала им о своем разговоре с правительницей.

Лесток побледнел. Ему снова представилось, что он слышит шум в соседней комнате и что это пришли арестовать его.

— Ну, вот уже теперь-то, теперь-то нельзя медлить ни минуты, ваше высочество, — проговорил он задыхающимся голосом, — еще один день, и мы все пропали. Решайтесь, ради Бога. У нас все готово: вся гвардия от первого до последнего человека за нас.

К его просьбам и убеждениям присоединились и все остальные.

— Да, вы правы! — наконец прошептала Елизавета. — Оставьте меня теперь, я очень устала: завтра дело решится...

Оставшись одна, она погрузилась в глубо-

кое раздумье. Теперь окончательно подошла решительная минута и отступление невозможно. Если, действуя энергично, можно погубить себя и своих, то при бездействии грозит точно такая же гибель. Ведь вот уже Анна Леопольдовна ясно высказалась. Она никогда так до сих пор не говорила, и если она так говорит, то чего же ждать от Остермана. Да, правительница в дурных отношениях с мужем своим и Остерманом, но теперь, ввиду общей опасности, они станут действовать сообща и все вместе погубят ее. И правительница будет точно так же оправдываться в своем поступке, как оправдывалась тогда, по поводу Миниха. Она будет говорить: «Муж и Остерман не давали мне покоя».

«Лесток, — продолжала думать Елизавета, — он мне предан, но ведь он трус, ужасный трус!.. Ведь вот как я рассказала о том, что его хотят арестовать, он чуть не заплакал, готов был спрятаться под стол, дрожит весь. Если его схватят и начнут пытаться, Боже мой, чего только он не наскжет и на себя, и на меня!.. И тогда я погибла!.. Мне нет спасения!.. Да, теперь конец... или удача, полная удача,

или погибель. Боже мой! И я одна... и нет ни одного твердого, надежного человека; я одна, слабая женщина, должна совершить то, что редко удается и самому отважному мужчине... Боже мой, но как же я сделаю? Что я буду делать?..»

Цесаревна зарыдала, бросилась на колени перед иконами и начала молиться.

Молитва несколько ободрила ее и успокоила; но часто в течение ночи она просыпалась, прислушивалась, сердце ее шибко билось, она ждала, что вот-вот вблизи раздадутся зловещие звуки, бряцанье оружия, что ее схватят...

На следующее утро она долго не выходила из спальни, медлила минуту за минутой, боялась встретиться со своими, не зная, что им скажет. Она чувствовала, что должна будет объявить о своем решении действовать немедленно, а у нее все же не хватало духу.

Мавра Шепелева почти силой ворвалась к ней в спальню и объявила, что есть важные новости и что все просят цесаревну выйти.

Бледная, взволнованная появилась Елизавета перед своими друзьями.

— Матушка, ваше высочество, — заговорили все разом, — если еще пропустить один день, не решиться сегодня, то все пропало. Нам доподлинно известно, что сейчас отдан приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов.

— Да что же это значит? Зачем же? — спросила Елизавета.

— А вот говорят, что получено известие, будто Левенгаупт идет к Выборгу, только, конечно, это вздор! — заметил Лесток дрожащим голосом. — Это предлог только, они нарочно хотят удалить всю гвардию, зная ее приверженность к вам, удалят, и мы тогда все в руках их, они сделают с нами что хотят... мы будем беззащитны! Ради Бога, умоляем вас, ваше высочество, не медлите, не откладывайте!

Елизавета побледнела еще больше.

— Да, хорошо... конечно, вы правы... — почти бессознательно шептала она. — Но что же мне делать? Ведь я... женщина!

— Конечно, это дело требует немалой отважности, — сказал Воронцов, — но в ком же

искать эту отважность, как не в крови Петра Великого?!

Лесток послал благодарный взгляд Воронцову.

Елизавета вздрогнула. Это неожиданное удачное слово разбудило в ней энергию.

— Я согласна, — сказала она более твердым голосом. — Так как же вы думаете, что теперь нужно делать? Вы говорите: действовать, но ведь мы еще не знаем, не решили, как нужно действовать?! Гвардия за меня... хорошо...

— Значит, нужно, чтобы вы явились перед гвардией, ваше высочество, — перебил цесаревну Воронцов, — и повели солдат к Зимнему дворцу!

— Я... я сама должна? — прошептала Елизавета и опустила глаза. — Но послушайте! — вдруг произнесла она после минутного молчания. — Кто вам сказал о том, что гвардейские полки высылаются отсюда? Может быть, это неверно?

При этих словах Лесток задрожал всем телом. Он уже было успокоился, ему казалось, что цесаревна наконец решилась, но теперь

он видел, что она снова колеблется. Она колеблется, а тут каждый час дорог! Тут вот, того и гляди, сейчас придут и арестуют его... и он пропал!

Воронцов пробудил энергию в цесаревне, напомнив ей об ее отце, поднял ее самолюбие, теперь нужно наглядно представить ей самое светлое и самое мрачное возможное будущее, нужно пробудить в ней все чувства!

И Лесток, дрожащий, измученный бессонной ночью, полною всевозможных страхов, неожиданно для себя самого придумал следующую штуку: он схватил две карты из колоды, лежавшей на столе, и карандаш, нарисовал на картах две картинки — на одной изобразил Елизавету в монастыре, где обрезают волосы, а на другой — Елизавету, вступающую на престол и приветствуемую народом.

Карандаш так и ходил под пальцами Лестока, и минут в пять обе картинки, хоть и не особенно удовлетворительные в художественном отношении, но достаточно выразительные, были готовы.

Лесток подал их цесаревне.

— Я и без вас знаю, — проговорила она.

— Так если знаете, ваше высочество, то пошлите же немедленно за гренадерами.

— Хорошо, — ответила цесаревна, — только все же сейчас это невозможно: нужно дожидаться вечера.

Это замечание было основательно. Приходилось ждать несколько часов.

Лесток отправился к себе, заперся на ключ, улегся в постель, закрылся с головой в теплое одеяло, чтобы ничего не слышать, и все силы напрягал как-нибудь остановить свои мысли, забыться и заснуть. Это наконец удалось ему, и из-под одеяла раздался мерный храп храброго медика.

Если бы шпионы могли заглянуть во внутренние комнаты дворца цесаревны, то немедленно донесли бы о том, что у нее творится что-то необычайное.

Обед стоял нетронутым, цесаревна заперлась в своей комнате. Лесток тоже не показывался. Шувалов с Воронцовым, забравшись в уголок, тихо толковали между собой.

Мавра Шепелева бродила из комнаты в комнату, совсем растерянная и взволнованная, то и дело подходила к спальне цесарев-

ны, прислушивалась к замочной скважине и вздыхала.

Разумовского не было дома; он успел побывать в казармах, кое-что тут приготовить, а потом начал наведываться к разным своим приятелям.

Заезжал было маркиз де ла Шетарди, но его не приняли, объявив, что цесаревна нездорова и лежит в постели.

Только один человек из всей елизаветинской компании казался совершенно спокоен: это был старый учитель музыки Шварц.

В то время как все потеряли головы и волновались, он, кажется, был вполне уверен в благополучном исходе затеянного дела. С большим аппетитом пообедал, выкурил трубку и теперь только по временам посматривал на свои круглые карманные часы, давно уже подаренные ему цесаревной.

Наконец, кое-как время дотянулось до вечера. Вот уже десятый час. Кругом дворца все тихо, ночь темная — зги не видно. С утра снежная метель, но теперь стихла и мороз прибавляется.

Лесток вышел из своей комнаты в мехо-

вом кафтане и с шапкой в руках.

— Что же, послали за гренадерами? — таинственным шепотом спросил он у Воронцова.

— Нет еще, цесаревна не выходит.

К ним подошла Мавра Шепелева.

— Матушка, — схватив ее за руку своею дрожащей рукою, сказал Лесток, — поди, добудь цесаревну. Пора ведь, упустим время!

Она подошла к двери спальни, прислушалась — все тихо, кашлянула, ничего не слышно.

— Матушка, голубушка моя! — заговорила Мавра. — Отомкнись, не то поздно будет!

Послышались тихие шаги, замок щелкнул, дверь отворилась, и из темноты спальни показалась статная фигура цесаревны. Глаза ее были заплаканы, лицо бледно.

— Что? Который час? — спросила она растерянным голосом.

— Да уже десять скоро.

Елизавета судорожно сжала руку своей приятельницы и пошла с ней в ту комнату, где находились остальные.

— Посылайте! — проговорила она, опуска-

ясь в кресло и глядя неподвижными глазами куда-то в одну точку.

Все засуетились. Воронцов быстро собрался и отправился в Преображенские казармы.

Говорить было не о чем; все молчали, время невыносимо долго тянулось.

Прошло часа полтора. Воронцов, наконец, вернулся, запыхавшись, с разгоревшимся от мороза щеками, и доложил цесаревне, что несколько человек гренадерских офицеров и солдат пришли вместе с ним и ожидают ее.

— Впустите их! — прошептала Елизавета.

Гренадеры вошли; они были в полной форме.

— Матушка, ваше высочество, — сказали они тихо, но почти все в один голос, — ведаешь ли ты, что мы немедленно должны выступить в поход? Уже приказ нам отдан... Мы уйдем и не в силах будем служить тебе, некому будет защищать тебя, и ты будешь в руках своих злодеев. Нельзя терять ни минуты, время дорого!

— Так, значит, вы согласны сослужить мне великую службу? И я могу на вас положить-

ся? — проговорила Елизавета дрогнувшим голосом.

— Господи, только ведь и ждем, что этой минуты! — ответили гренадеры. — Именем Христа Спасителя клянемся не выдавать тебя. Все до одного умрем за тебя с радостью!

И все они, как один человек, повалились в ноги цесаревне.

Крупные слезы брызнули из глаз ее. Она кинулась к ним, стала поднимать их.

— Спасибо, спасибо! — повторяла она сквозь рыдания. — Только выйдите на минутку, дайте мне успокоиться.

Все вышли, одна Мавра Шепелева да Воронцов остались у дверей.

Елизавета, обливаясь слезами, прошла в угол комнаты, где висел большой образ Спасителя с зажженной перед ним лампадой. Она упала на колени перед этим образом и горько рыдала. Наконец рыдания ее стихли.

«Так суждено! — прошептала она. — Да будет воля твоя, Господи! Быть может, впереди кровь и всякие ужасы, гибель и казнь невинных! Но, Боже, не поставь мне это в грех! Прости меня. Ты видишь сердце мое, видишь, что

В эту минуту не о себе я думаю, не о своем величии и не о своем счастье, а только о счастье и величии русского народа! Измучилось сердце мое, глядя на его страдания. Я слабая женщина, я недостойна того, за что восстаю теперь, но не оставь меня и помоги мне! Если суждена мне победа над врагами моими, если суждено мне вступить на престол отца моего, сделай меня достойной этого! А я клянусь своей жизнью и душою, что непрестанно буду помышлять о том, чтобы не забывать этой великой Твоей милости, оказанной мне, грешной, буду вечно помышлять о благе моих подданных... Боже, прими мою великую клятву: да отсохнет рука моя, если я хоть раз подпишу приговор смертный! Будь это хоть лютейший враг мой, никого никогда не лишу я жизни! Не ради мщения, не ради возможности безнаказанно творить всякие жестокости простираю я руки к престолу, а ради справедливости. Но если я недостойна, то покарай меня, Боже! Пусть одна и вынесу на себе все последствия этого дела, на которое решаюсь, пусть буду я отдана лютейшим мучениям, только спаси тех, кто идет за мною, ибо они

ни в чем неповинны!..»

И долго она молилась, слезы по-прежнему катились из глаз ее, но в них уже не было прежней горечи, напротив, они принесли ей тихую отраду. Ее волнение, ее тоска и муки мало-помалу утихали. Все сердце ее было исполнено кротости и веры.

Наконец поднялась она с колен, сделала знак Мавре Шепелевой, чтобы та подошла к ней, и приказала ей поскорее принести из спальни крест. Когда Шепелева исполнила это приказание, Елизавета приняла крест, позвала Воронцова, Лестока, Шувалова, осенила себя крестом, приложилась к нему и твердым, торжественным голосом проговорила:

— Будьте свидетелями, что я клянусь Богу, если Он пошлет удачу нашему предприятию, ни разу, ни при каких обстоятельствах не подписывать никому смертного приговора! Клянитесь и вы не требовать никогда от меня жестокости и не смущать меня.

Присутствовавшим показалось, что она даже как будто выросла, так была она величественна и спокойна.

С волнением и трепетом приложились они к кресту, и цесаревна вышла в соседнюю комнату, где ее дожидались гренадеры.

Они невольно вздрогнули, увидя ее. Никогда еще не видали они ее такую. Перед ними была уже не прежняя их приветливая, шутливая и веселая матушка цесаревна, перед ними была великая государыня, чудно прекрасная в своем царственном величии, истинная дочь великого императора.

С сердечным умилением принесли они присягу в верности ей и поцеловали крест из рук ее.

— Если Бог явит милость свою нам и всей России, — торжественно проговорила цесаревна, обращаясь к гренадерам, — то я не забуду верности вашей, а теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду.

Восторженно взглянули воины сначала на нее, потом друг на друга и быстро исчезли исполнять ее приказание.

Лесток уже не дрожал более. Теперь он понял, что не нужно никаких картинок, что никакая сила не заставит Елизавету идти назад.

— Скорей велите заложить большие сани и принесите мне кирасу! — приказала Елизавета.

Через четверть часа сани были готовы. Цесаревна сверх маленькой шубки надела кирасу и отправилась в казармы Преображенского полка с Воронцовым, Лестоком и Шварцем.

Гренадерская рота была уже в сборе, когда подъехала цесаревна.

— Ребята! — громким, звучным голосом обратилась она к солдатам, выходя из саней. — Вы знаете, чья я дочь. Ступайте за мною!

— Матушка! — закричали в ответ солдаты и офицеры. — Мы готовы! Мы их всех перебьем, ни один от нас не увернется! Всем им смерть, сегодня!

Елизавета вздрогнула.

— Если вы так будете поступать, то я не пойду с вами, — сказала она.

Тогда гренадеры стихли, а она приказала им разломать барабаны, чтобы не было возможности произвести тревогу, потом взяла крест и стала на колени.

Все последовали ее примеру. Несколько минут продолжалась торжественная тишина.

— Клянусь умереть за вас! — среди тишины, наконец, раздался голос цесаревны. — А вы клянетесь ли умереть за меня?

— Клянемся! — разом загудела толпа. — Клянемся умереть все, от первого до последнего!

— Так пойдем! — продолжала Елизавета, поднимаясь с колен. — Пойдемте и будем думать только о том, чтобы сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало.

Она вернулась к своим саням, села в них и тихо тронулась, окруженная гренадерами, по направлению к Зимнему дворцу.

Воронцов, Лесток и Шварц следовали за нею.

Воронцов объявил гренадерам о том, как нужно действовать. Арестовать брауншвейгскую фамилию — мало, следует одновременно с этим произвести аресты и людей, особенно приверженных теперешнему правительству.

Гренадеры, конечно, согласились с этим, и немедленно был отправлен отряд арестовать Миниха в его доме.

Вышли на Невскую перспективную ули-

ца; тишина была полная, ничего не видно.

Шествие подвигалось медленно.

По дороге арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Затем отрядили двадцать гренадер для ареста Левенвольде и Лопухина и тридцать гренадер послали к дому Остермана.

Вот уже и Мойка близко, близка конечная цель, но мало ли еще какие могут быть опасности и препятствия. Правда, до сих пор никого не встретили, но кто знает, быть может, шпионы подсмотрели и донесли во дворец, а если и нет еще, то все же надо подвигаться как можно тише, чтобы не слышно было никакого шума.

— Матушка, государыня! — тихо заговорили гренадеры Елизавете. — Так ведь не скоро дойдем, надо бы торопиться, да и шум от коней велик; выйди из санок!

Елизавета покорно исполнила это требование, прошла несколько шагов, но не могла поспевать за солдатами, к тому же кираса была тяжела. А гренадеры все повторяли: «Матушка, надо торопиться!»

Цесаревна ускоряла шаги, но все же нена-

долго, она начинала просто задыхаться.

Видя это, гренадеры сомкнулись вокруг нее и подняли ее на руки.

Таким образом шествие приблизилось к Зимнему дворцу.

— Ну, что ж, теперь надо занимать караульную? — сказали офицеры.

— Да, — отвечала Елизавета, которую гренадеры осторожно поставили на землю, — да, но только Боже избави вас произвести какое-нибудь насилие! Помните, чем вы поклялись мне: не должно быть пролито ни одной капли крови; я сама пойду с вами.

И она, окруженная солдатами, направилась в караульную. Там никто не был предупрежден, и караульные спросонок решительно не понимали, что такое делается. Сначала они было повскакали и схватились за оружие, но, увидя цесаревну, остановились.

— Не бойтесь, друзья мои! — сказала она им. — Хотите ли вы служить мне, как служили отцу моему и вашему — Петру Великому? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю, и народ весь терпит от иноземцев. Освободимся от наших мучите-

лей!

— Давно мы дожидаемся этого, государыня-матушка, что велишь, все то сделаем! — отвечали почти все.

Но четыре офицера стояли молча и переглядывались.

— Как же это так? — проговорил, наконец, один из них. — Ведь мы присягали императору Иоанну III, как же это? Неладно что-то!

— Арестуйте их! — шепнула Елизавета гренадерам. — Только смотрите, осторожней.

Гренадеры кинулись к офицерам, троих из них сейчас же связали, те не стали и сопротивляться.

Но один офицер ударил подступившего к нему гренадера и схватился за оружие. Гренадер в свою очередь поднял ружье и направил штык на офицера.

— Остановись! — крикнула Елизавета.

Гренадер ничего не слышал. Еще мгновение, и он пронзил бы штыком офицера. Цесаревна кинулась к нему и схватила ружье.

Между тем упрямого офицера успели связать и зажали ему рот платком.

Поступок Елизаветы произвел сильное

впечатление: кругом раздалась восторженные возгласы. Она приказала занять все выходы и вошла во дворец, где караульные молча пропустили ее и гренадер. Только один унтер-офицер крикнул и вздумал было защищаться, но его сейчас же схватили и снесли вниз в караульню.

Елизавета была у цели: все опасные люди, конечно, уже теперь арестованы; дворец в ее руках. У каждой выходной двери солдаты, которые никого не выпустят.

Она велела нескольким офицерам и солдатам пройти в апартаменты принца Антона, а сама направилась к спальне правительницы.

Вот эта спальня; еще так недавно цесаревна входила в нее при совершенно других обстоятельствах. Еще так недавно в этой спальне она наклонялась над колыбелью новорожденной дочери Анны Леопольдовны, целовала девочку.

Ей припомнился и крошечный ни в чем не повинный сын Анны Леопольдовны, на которого она теперь поднимала руку. Ее сердце сжалось от жалости.

«Боже мой, чем же они виноваты, эти де-

ти? Зачем мне суждено быть палачом их? Что делать теперь с ними? Судьба их не может быть светлою, как ни жалея, как ни люби их, они вечно будут моими врагами, и я всегда, из чувства самосохранения, должна буду укрощать порывы своего сердца, должна буду сама готовить им тяжелое будущее».

Вспомнилась ей и Анна Леопольдовна, но не такая, какую видела ее она в эти последние дни. Ведь прежде, еще при покойной императрице, они иногда очень дружелюбно сходились. Немало приятных часов провели вместе, не раз Анна Леопольдовна оказывала ей кое-какие дружеские услуги и всегда относилась к ней с добротой. Да ведь она и не зла! Она и теперь сама по себе не враг ей, и все, в чем виновата перед нею, происходит тоже от обстоятельств. Не будь этих ужасных обстоятельств, они, может быть, мирно и дружно прожили бы всю жизнь без всякой вражды и ненависти.

Ужасно! Вот и теперь, окруженная солдатами, войдет она в ее спальню, разбудит, перепугает. Бедная Анна Леопольдовна заболеть может с испуга, она такая слабая!

Была минута, когда снова прежняя робость стала одолевать цесаревну, была минута, когда она чуть было даже не раскаялась в том, что сделала, когда ей инстинктивно захотелось вдруг убежать отсюда, убежать как можно дальше и запереться где-нибудь в далекой, тихой келье, отказаться от всего мира, только бы не брать невольного греха на душу, только бы не быть предметом ненависти и проклятий.

Но это мгновение едва мелькнуло и сейчас же исчезло.

Разве может, разве смеет она отдаваться подобному чувству? Нет вины за ней, не она действует, не она карает, она только орудие Промысла, и перед нею должно быть одно: счастье и благо России.

Цесаревна оглянулась на своих гренадер, прошептала им: «Тише!» — и твердой рукой отворила двери в спальню правительницы.

XIII

Во дворце никому и в голову не могла прийти возможность близкой и неминуемой опасности. Напротив, Анна Леопольдовна, после своего объяснения с цесаревной, видимо,

успокоилась и даже хвасталась Юлиане, что отлично проучила Елизавету.

— Теперь она знает, — говорила правительница, — что не очень-то легко замышлять заговоры. Да и пустяки это: мало ли что болтают! Если уж бояться кого-нибудь мне, то никак не ее, а моего супруга с графом Остерманом.

Может быть, в другое время постоянно проницательная Юлиана нашла бы кое-какие возражения, может быть, она сумела бы изменить мысли Анны Леопольдовны относительно цесаревны. Но теперь Юлиана ничего не возражала, потому что весь этот разговор несколько не интересовал ее, потому что все последнее время она жила только своей внутренней жизнью.

Те, кто не видал ее недели с две, поражались переменой, происшедшей в ее наружности. Она похудела, побледнела, глаза ее лишились прежнего блеска, и во всем лице изображалась страшная усталость.

«Фрейлина больна, — толковали во дворце, — и, должно быть, серьезно больна». Спрашивали ее доктора, но тот только пожимал

плечами и не мог ничего ответить. Он совершенно не понимал ее болезни, ради успокоения совести прописывал ей безвредные микстуры, которых она не принимала или принимала только по настоятельному требованию правительницы и из рук ее.

Не раз порывалась Юлиана запереться у себя и никого не впускать, главное, не впускать Анну Леопольдовну. Но это оказалось невозможным.

Правительница насильно врывалась к своему другу, плакала, целовала ее, расспрашивала, что с нею, допытывалась, не хочет ли она чего-нибудь.

— Боже мой, может быть, у тебя есть какое-нибудь горе или, может быть, я в чем-нибудь виновата перед тобою? Скажи мне, ради Бога, признайся!.. Я все готова сделать для тебя! Что с тобой? Ты так изменилась, ты на себя не похожа. Ради Бога, скажи мне: хочешь чего-нибудь? Проси, требуй, все будет к твоим услугам...

Но Юлиана ничего не отвечала и только печально опускала глаза. Она видела искреннее участие и чувство Анны Леопольдовны,

она сама продолжала любить ее, своего старого и неизменного друга. Она не находила в себе силы рассказать ей истину, потому что боялась, что эта истина так же разрушительно подействует и на принцессу, как и на нее самое подействовала. Чувство Анны Леопольдовны к Линару было истинной любовью, и Юлиана знала это.

«Нет! Боже избави, как же можно хоть что-нибудь сказать ей, хоть намекнуть, тогда совсем гибель, тогда мы обе погибли. Нет, уж лучше пусть я одна, — думала Юлиана, — пусть хоть она-то будет счастлива! Ах, только бы ушла от меня! Оставила бы меня одну, одной все же легче».

И она упрашивала Анну Леопольдовну выйти, она говорила, что устала, что ей спать хочется, но принцесса не слушалась.

— Ты нездорова, тебе дурно, как же ты требуешь, чтобы я ушла от тебя? Разве ты когда-нибудь отходила от меня, когда я была больною? Нет, я не уйду отсюда! Ложись, спи, я буду охранять тебя.

Она своей слабой, нежной рукою обнимала Юлиану, укладывал ее в постель, садилась

возле.

Проходило несколько минут в молчании. Юлиана делала вид, что засыпает.

— Ты спишь, Юлиана? — тихо спрашивала Анна Леопольдовна.

Та не отвечала.

— Ну, хорошо, спи, спи. Я буду говорить тихо, тихо, ты хоть не слушай меня, но я не могу молчать, я буду говорить о нем. Ты знаешь, что я только немного успокаиваюсь тогда, когда говорю с тобою!

Юлиана вся вздрагивала от слов этих.

«Боже мой, еще этого недоставало!»

А между тем Анна Леопольдовна говорила. Имя Линара повторялось ежеминутно, и каждое новое слово раздражало и мучило бедную Юлиану.

Правительница передавала ей все свои мечты, все свои предположения. Подробно рассказывала о том, что говорил с нею тогда-то и тогда-то Линар, с наслаждением вспоминала все те слова его, в которых выражалась его горячая любовь к ней, Анне Леопольдовне.

Юлиана не в силах была больше сдержи-

ваться и притворяться спящей.

Стиснув зубы, охватив свою горящую голову руками, она начинала метаться в постели.

Принцесса подбегала к столику, схватывала микстуру, наливала ложку и заставляла Юлиану проглотить лекарство.

— Ради самого Бога, если у тебя есть хоть капля жалости, оставь меня! — наконец, произносила Юлиана, едва удерживая рыдания.

Но Анна Леопольдовна ее не слушала и не уходила до тех пор, пока кто-нибудь не являлся звать ее в приемные покои. Она сдавалась только перед необходимостью.

Освободясь от ее присутствия, Юлиана кидалась к двери, запирала ее на ключ и раздражалась рыданиями.

Иногда у нее хватало даже силы на несколько часов забыться, отдаться прежней жизни, прежним интересам. Тогда она снова оживлялась, выходила в приемные комнаты, встречала приветливой и благосклонной улыбкой сановников, постоянно ожидавших возможность сказать несколько слов, попросить ее о чем-нибудь или просто показаться ей: напомнить о себе, получить благосклон-

ную улыбку всесильной фаворитки.

Весь день 24 ноября во дворце было много гостей: приезжали поздравить правительницу с тезоименитством ее дочери Екатерины. Но часу в одиннадцатом вечера все разъехались, огни были потушены.

Принц Антон удалился на свою половину, а Анна Леопольдовна прошла к Юлиане.

Она застала фрейлину лежавшею на постели с открытыми глазами и бледным, почти безжизненным лицом.

— Что с тобою? — спросила Анна Леопольдовна. — Отчего ты так рано скрылась? Я нарочно всех отпустила раньше, чтобы побыть с тобой.

— Мне опять что-то нездоровится, — прошептала Юлиана.

— Послушай, я ни за что не оставлю тебя сегодня ночью, пойдем ко мне, ты будешь спать со мною.

— Да зачем же? — начала было Юлиана.

Но Анна Леопольдовна не хотела ничего и слышать. Она настаивала и умоляла до тех пор, пока Юлиана наконец согласилась.

Тогда они прошли в спальню правитель-

ницы, скоро разделись и легли рядом на огромной, высокой кровати под роскошным балдахинном.

Скоро замерли последние звуки в соседних комнатах; весь дворец погрузился в сон и тишину...

В это время Елизавета стояла в Преображенских казармах с крестом в руках, окруженная коленопреклоненными солдатами и офицерами...

Анна Леопольдовна начала засыпать; Юлиана прислушивалась к ее мерному дыханию и сама погружалась в туманный, почти неуловимый мир полугрез и обрывающихся, быстро несущихся мыслей. То был не сон, но и не явь: сознание действительности сменялось фантастическими картинками, и уже Юлиана не могла сообразить, что во всем этом фантазия и что действительность. То ее горе, несчастье, которое она сама себе приготовила и под бременем которого изнывала, казалось ей еще ужаснее, оно принимало даже какую-то видимую форму, страшный, гигантский образ и надвигалось на нее, давило ее своей каменной тяжестью; то внезапно и в

одно мгновение рассыпалось страшное видение и откуда-то, из лучезарной высоты, слетало счастье, никогда наяву не изведенное.

Вот чудится Юлиане, будто медленно колышутся тяжелые бархатные занавесы двери, вот появляется он в каком-то чудном сиянии. Она кидается ему навстречу, он шепчет ей сладкие речи, она отвечает ему поцелуями. Все предметы кругом исчезают, все уходит! Они одни среди блестящего пространства, не на земле и не на небе, в заколдованном мире...

Кто-то хватает ее за руку. Она открывает глаза...

Анна Леопольдовна проснулась и смотрит на нее.

— Я сейчас видела его во сне, — говорит принцесса. — О! Если б эти сны могли постоянно сниться, тогда бы я велела поставить на окнах ширмы, заперлась бы со всех сторон и никогда не просыпалась!

И Анна Леопольдовна начала пересказывать Юлиане все подробности своего сновидения. И та ее слушала, сжав на груди руки...

Внезапно налетевший порыв ветра ударил

в окна, и звякнули стекла, но сейчас же все снова погрузилось в невозмутимую тишину; до спальни правительницы не доносилось извне ни одного звука...

Цесаревна Елизавета Петровна, в кирасе, бережно несомая своими верными гренадерами, уже была в двух шагах от караульни дворца...

— Ах, Юлиана, — прошептала Анна Леопольдовна, — постараюсь опять заснуть...

Она повернулась на другой бок и закрыла глаза.

Прошло несколько минут. Мерное дыхание двух приятельниц показывало, что обе они заснули...

XIV

Елизавета почти беззвучно открыла дверь и прошла в спальню.

— Стойте все здесь, — обратилась она к гренадерам, — и ни шагу вперед! — Она подошла к кровати.

«Какая трогательная дружба! — невольно подумалось ей при взгляде на спящих. — Даже и во сне обнимаются!»

При других обстоятельствах веселая и во

всем подмечавшее смешное Елизавета, конечно, и тут нашла бы много комичного, большую пищу для своих остроумных шуток. Но теперь ей совсем было не до этого. Она смущенно и грустно глядела на Анну Леопольдовну и не знала, как разбудить ее.

Но мешкать было нельзя.

— Сестрица, пора вставать! — громко сказала она, взяв за руку принцессу.

Та проснулась, открыла на нее изумленные глаза.

— Как? Это... это вы, сударыня? Что вам от меня угодно? Зачем вы меня будите?

Она обернулась к Юлиане. Та тоже сидела на постели и с ужасом глядела на дверь, из-за которой в полумраке рисовались фигуры вооруженных людей.

Анна Леопольдовна невольно последовала глазами за взглядом Юлианы и безумно вскрикнула.

Она сразу все поняла.

Елизавета подошла к двери и спустила занавесы для того, чтобы гренадеры не могли видеть происходившего в комнате.

Анна Леопольдовна, судорожно рыдая, бро-

силась на колени перед цесаревной.

— Сестрица, ради Бога, сжальтесь! — пролепетала она. — Не за себя я молю вас, я знаю, что мне нечего хорошего ожидать для себя. Я умоляю вас, не делайте зла моим бедным детям, которые ни в чем не повинны перед вами! Сжальтесь над ними! И еще, ради самого Бога, одна просьба: всем святым заклинаю вас, не губите моего друга Юлиану, не разлучайте меня с нею... Голубушка, сестрица, умоляю вас!

Она все лежала на ковре перед Елизаветой, ловила ее платье и глядела на нее таким отчаянным, умоляющим и жалким взором, что у Елизаветы навернулись на глазах слезы.

Между тем Юлиана, по-видимому, даже почти спокойная, только необыкновенно бледная и с сухими, блестящими глазами поспешно одевалась. Она не произнесла ни одного слова, она не глядела на Елизавету.

В первую минуту она бессознательно ужаснулась и когда поняла все, то хотела пробиться сквозь гренадер и разбудить всех в доме, поднять на ноги.

«Но нет, — сейчас же и сообразила она, — верно, все уже устроено заранее, теперь ничего не поделаешь!»

И вдруг она почувствовала какое-то успокоение.

Да, прежней тоски, прежних мучений в ней как не бывало. Она еще не отдавала себе отчета в том, что в ней теперь творится. Но через несколько минут, в то время как Анна Леопольдовна умоляла за нее цесаревну, она уже говорила сама себе:

«Нет, это не несчастье, это к лучшему, это выход! Все равно так не могло продолжаться! Да, все к лучшему, все к лучшему, теперь я знаю, что мне надо делать!..»

С безграничною, ничем уже не омрачаемою любовью взглянула она на Анну Леопольдовну. Слезы брызнули из глаз ее.

— Не разлучайте меня с нею, сестрица! — повторяла, задыхаясь от рыданий, принцесса.

«Только смерть теперь разлучит меня с тобою!» — почти вслух выговорила Юлиана, бросаясь к своему другу.

— Дети мои! Дети! — вскрикнула, всплеснув руками, Анна Леопольдовна.

— О детях не беспокойтесь, ничего дурного с ними не будет. Я никогда не была зверем, и мне самой тяжело все это...

Елизавета отошла к двери, Юлиана поспешно стала помогать Анне Леопольдовне одеваться. Через несколько минут они были готовы и в сопровождении отряда гренадер направились к выходу из дворца.

В одной из комнат они увидели принца Антона, окруженного солдатами. Он не думал сопротивляться, когда его разбудили и объявили, что он арестован; он хорошо понял, что все пропало и нет ни малейшей надежды на спасение. Машинально оделся он и пошел туда, куда его вели. Теперь он стоял, как-то съезжившись, дрожа всем телом, с необыкновенно жалкой и в то же время смешной физиономией. Опять, как и во время Бирона, он был похож на несчастного, загнанного зайца. Елизавета взглянула на него, но и тут ей не пришло в голову улыбнуться. Она только повернулась в сторону Юлианы и сказала ей:

— Вы поедете с принцем.

А сама взяла за руку Анну Леопольдовну, сошла с крыльца вместе с нею, усадила ее в

сани, потом села рядом с нею и приказала ехать в свой дворец. Отряд гренадер почти бегом спешил за ними.

Дворец цесаревны представлял небывалое до тех пор зрелище. Среди глубокой ночи ворота стояли настежь, в окнах мелькали свечи. Многочисленные группы солдат ежеминутно подходили со всех сторон и останавливались у подъезда. Более приближенные лица толпились в первой комнате, и только что Елизавета показалась в сопровождении Анны Леопольдовны, все кинулись к ней, поздравляли ее, целовали ее руки. Вот на пороге комнаты появилась Мавра Шепелева, всплеснула руками и, растолкав всех, бросилась на шею цесаревне.

— Матушка моя, золотая! — причитала она, навзрыд плача и смеясь в одно и то же время. — Голубушка ты моя! Царица! Императрица!

— Ну успокойся, Маврушка, успокойся! — ласково повторяла Елизавета, целуясь с нею.

Через несколько минут привезли из Зимнего дворца детей Анны Леопольдовны.

Принцесса кинулась к своей крошечной дочери. Обливаясь слезами, схватила ее на руки, крепко прижала к себе и не выпускала. Елизавета печально подошла к маленькому императору, жалобно плакавшему на руках у мамки, взяла его осторожно, стала целовать и тихо шептала:

— Бедное дитя! Ты вовсе невинно, твои родители виноваты.

Между тем прибывало все больше и больше народу! Еще никогда пренебрегаемый почти всеми обветшалый дом цесаревны не вмещал в себя столько гостей, никогда не было в нем такого оживления. Скоро собрался сюда весь цвет вчерашнего правительства.

Привезли и принца Антона вместе с Юлианой Менгден. Бедный принц все так же дрожал и безмолвствовал. Юлиана все так же была спокойна. И некому было заметить в эти важные минуты, что судьба сыграла очень злобную шутку с принцем Антоном: соединила-таки его и Юлиану, за которой он прежде так ухаживал и которую в последнее время так ненавидел.

Вслед за ними появились и другие важные

гости, прежде всех тоже два старых друга: Миних и Остерман. Миних шел довольно бодро, только старался ни на кого не глядеть. Остерман выступал вслед за ним, кряхтя и охая, но все же без костылей. Ноги его вдруг получили способность двигаться, а уж когда же и было ему умирать, как не теперь?! Он был без парика, без своего зеленого зонтика, в иных местах его одежда оказалась изорванной. Несмотря на строгий приказ Елизаветы, солдаты не поцеремонились: избили его порядком во время ареста. Впрочем, они имели на это оправдание. Он вздумал было пугать их, стал кричать, что они жестоко пострадают за свой поступок, и кончил тем, что весьма неуважительно отозвался об Елизавете. Вследствие этого солдаты и не могли сдерживать себя. Миних тоже был избит солдатами, но тут они могли оправдаться только тем, что уже давно все войско его ненавидело и что нечего было жалеть его.

Воронцов, Лесток и остальные приближенные Елизаветы принимали гостей и заботились о том, чтобы эти гости никак не могли отказаться от угощения. Впрочем, этого нече-

го было бояться: только безумный мог решиться теперь на попытку к бегству, все понимали, что дело сделано, и сделано бесповоротно.

Мавра Шепелева как угорелая бегала по комнатам, сама не зная зачем, отдавала то одно, то другое приказание прислуге и сейчас же забывала о том, что такое приказывала. На лице Лестока изображались необыкновенное довольство и важность. Он первый пришел в себя и вполне наслаждался торжеством своим, подходил то к одному, то к другому из сверженных своих врагов и заглядывал им в лицо с плохо скрываемым выражением плотоядного наслаждения.

Если бы от него зависело, он сейчас бы, ни на минуту не смущаясь, выдумал всем этим людям самые страшные пытки и подписал бы этот приговор твердой рукою.

«Неужели она не откажется от своей излишней кротости? — думал он, глядя на цесаревну. — Неужели она избавит их от казни?»

К его неудовольствию, лицо Елизаветы отвечало ему, что казней никаких не будет.

Она сидела теперь, откинувшись на спин-

ку кресла и опустив голову, уставшая, взволнованная и чудно прекрасная. Глядя на Остермана и Миниха, она подавляла в себе невольное чувство ненависти и мысленно повторила свою клятву: ни при каких обстоятельствах не подписывать смертного приговора...

Она твердо держала эту клятву во все продолжение своего царствования: ее враги были наказаны, их ожидали допросы и ссылки, но ни одной капли крови не пролилось с ведома русской императрицы...

Всю ночь продолжалось лихорадочное движение во дворце и вокруг него. Со всех сторон прибывали гвардейские полки. Воронцов, Лесток и Шварц отправились в санях с гренадерами к знатнейшим светским и духовным отцам, чтобы известить их о свершившемся событии и пригласить немедленно ехать к Елизавете.

Люди, еще вчера пренебрегавшие опальной и бессильной цесаревною, теперь из всех сил старались выразить свой восторг и уверить кого следовало, что они все слезы выплакали, дожидаясь счастливого дня воцарения дочери Петра Великого.

К утру поспел манифест, составленный Черкасским, Бреверном и Бестужевым. Елизавета надела андреевскую ленту и вышла на балкон. Громадная толпа сбежавшегося отовсюду народа приветствовала ее появление восторженными криками.

Она сошла вниз. Верные гренадеры окружили ее и упали ей в ноги.

— Матушка наша! — говорили они, перебывая друг друга. — Ты видела наше усердие и нашу службу... Просим у тебя одной награды: объяви себя капитаном нашей роты и дозвожь нам первыми присягнуть тебе...

— Хорошо, хорошо... Конечно, я согласна, — ответила им с улыбкой Елизавета. — С этой минуты я капитан гренадерской роты!..

И весь день, и всю следующую ночь, несмотря на ветреную и морозную погоду, все улицы были полны народом.

Гвардейские полки стояли шеренгами, то там, то здесь раскладывались огни, из рук в руки переходила крепительная, согревающая чарка.

Между горожанами и солдатами велись дружеские, веселые разговоры, и все эти мно-

Готысячные толпы ежеминутно сливались в одном общем крике: «Здравствуй, наша матушка-императрица Елизавета Петровна!»

Княжна Острожская

Предисловие

Много было славных и могучих вельмож на Литовской Руси. Каждый горожанин, каждый бедный землепашец с великим почетом произносил имена князей Радзивиллов, Ходкевичей, Сапег, Воловичей, Олельковичей-Слуцких. Но имя князя Константина Константиновича Острожского возбуждало повсюду даже благоговение — все литвины, от Острога до Вильны, называли его не иначе как «великим князем».

Высок был род князей Острожских — они вели его от Владимира Святого; несметно было их богатство, обширны их владения на Волыни, Подоли и во всем юго-западном крае. Но не одной славой предков, не миллионами червонцев, не вотчинными городами, местечками и деревнями сиял на всю Литву князь Константин Константинович. От своего родителя, знаменитого великого гетмана литовского, воеводы трокского и кастелана вилен-

ского, князя Константина Ивановича, он получил в наследие непоколебимую верность Церкви православной и народности русской. Крепко и бодро отстаивал он святую веру и ее неприкосновенность, на которую со всех сторон поднимались козни вражеские. Тяжелое то было время: протестантство и арианство распространялись в крае, и Церковь русская теряла немало своих членов; иноверное правительство польское если еще и не явно враждовало с нею, то, во всяком случае, равнодушно смотрело на ее бедствия и ничуть не заботилось о ее выгодах. Короли, основываясь на своем праве подаванья, жаловали монастыри православные в управление светским людям. Немало тяжб и свар заводили между собою и духовные лица.

А с запада надвигалась страшная, черная туча — в Риме уже давно зорко следили за Польшей и Литвою, давно уже решили испробовать самые яркие средства, чтобы окончательно укрепить шатавшуюся власть папы в Польше и подчинить той же власти и Литву православную. Сбирали дружину непобедимую для завоевания Востока, дружину, невидимую

димые стрелы которой были насквозь пропитаны смертоносным ядом, дружину, созданную адскою силою и святотатственно носившую имя Иисуса...

В это-то трудное время приходилось жить и действовать князю Константину Константиновичу Острожскому. И он отдал всю свою жизнь на служение православию, на поддержание его и охранение. И все, что в Литве дорожило отцовской верой, примыкало к могучему князю, прибегало под его защиту, полагалось на него как на оплот надежный.

Оттого-то его имя и было на устах каждого литвина и произносилось с благоговением.

Князь Константин имел свою резиденцию в наследственном городе Острог, построенном на берегу реки Гарыни. Здесь, на возвышенной местности, спускавшейся прямо к речному берегу, среди благоуханных садов и тенистой, вековой рощи, высился огромный княжеский замок — величественное произведение итальянского зодчества XV века.

У самого замка, сквозь купы кудрявых деревьев, белелись главы замковой Богоявленной церкви, щедро изукрашенной благоче-

стивыми владельцами и вмещававшей под своими тяжелыми сводами усыпальницу рода князей Острожских. За церковью начинался длинный ряд всевозможных более или менее обширных строений, отделенных друг от друга дворами, вымощенными каменными плитами, — это были помещения для придворных, которых у князя Константина насчитывалось более двух тысяч человек. К задней стороне замка примыкали многочисленные службы.

Весь замок, с принадлежавшими к нему строениями, садами и значительной частью рощи, был обнесен высокой, крепкой стеною, делавшей из него превосходно защищенную крепость. Гарнизон и артиллерия замка были настолько значительны, что всегда могли отразить сильное нападение. Иначе нельзя было и жить в то время, когда частная ссора между двумя вельможами давала повод к вторжению одного из них во владения другого.

Если бы князь Константин почел нужным, он всегда мог бы собрать такое войско, с которым можно было бы идти на Краков. Ему при-

надлежало около трехсот городов и местечек, несколько тысяч деревень и несметное число слобод, хуторов и фольварков.

Кроме двух тысяч человек, преимущественно принадлежавших к дворянским и даже богатым и известным фамилиям, которые составляли его двор, многочисленная шляхта жила его милостями и готова была по первому знаку исполнять княжеские приказания.

За оградой замка начинался самый город Острог, раскинувшийся на несколько кондов, довольно тесно застроенный деревянными жилищами, пересеченный улицами, мощеными деревом. Между городскими зданиями обращала на себя внимание школа, выстроенная князем Константином, а также его типография, которою заведовал бежавший из Москвы первый московский типограф Иван Федоров. В городе шла жизнь, имевшая мало общего с роскошной жизнью замка; тут ютилась небогатая шляхта, многочисленный класс горожан-ремесленников, и запуганные, но терпеливые евреи проделывали свои неизменные во все времена гешефты.

В то время, с которого начинается наш рас-

сказ, т. е. в шестидесятих годах XVI столетия, князь Константин Константинович был еще далеко не стар. Он был женат на дочери Станислава Тарновского, каштеляна краковского, и имел трех сыновей: Януша, Константина и Александра. Кроме того, в Острожском замке под его родственной охраной жила вдова его рано умершего брата Ильи, княгиня Беата с единственной дочерью Еленой

Часть первая

I

Звон колокольный разносился по улицам Острога. Всюду замечалось необычное движение. Народ в праздничных одеждах собирался кучками и направлялся к церкви Рождества Богородицы, где должно было происходить торжественное освящение только что отстроенного придела во имя св. равноапостольных Константина и Елены. Придел этот жители Острога соорудили на свои собственные средства и посвятили его святым патронам князя Острожского и его племянницы в доказательство всеобщей любви и почтения к могучему, великому князю и прекрасной

княжне Елене. Живо шла работа, чтобы поспеть к торжественному дню 21 мая. Епископ Арсений за неделю уже прибыл в город. Освящение должно было совершиться со всевозможным блеском. В замок со всех сторон съехались гости — там готовился целый ряд празднеств.

Утро задалось светлое, теплое, безоблачное.

Праздничный шум города сливался с ликованием весенней природы, распутившейся во всей красоте своей и залившей Острог свежей, душистой зеленью фруктовых садов, густо разросшихся почти у каждого дома.

На улицах становилось все шумнее. Народ со всех концов стекался к церкви. По дороге к замку уже расположились пестрые ряды горожан, приготовившихся встречать княжеский поезд. В руках женщин и детей были букеты цветов и зелени.

Вся стенка замка была увешана разноцветными коврами и флагами. Ворота стояли настежь. Но поезд еще не показывался.

В это время по заславской дороге в город въезжала блестящая кавалькада, состоявшая

из девяти всадников. Лихие, на диво выхолощенные кони сверкали легкой, золоченой сбруей, дорогими седлами и яркими шелковыми кистями. Впереди на вороном, лоснившемся и нервно вздрагивавшем жеребце красовался статный молодой человек, богатый наряд которого показывал литовского вельможу, еще не успевшего или не хотевшего перенять западные моды, царившие в Кракове при дворе Сигизмунда-Августа.

За ним следовали почти в таких же одеждах, как и он, розовый красивый юноша лет семнадцати и два человека средних лет, из которых один отличался значительной толщиной и замечательно длинными усами. Далее, в некотором расстоянии, ехали пять слуг.

Молодой человек обернулся и остановил светлые большие глаза на красном, жирном лице своего толстого спутника.

— Эх-ма, Иван Петрович, — сказал он, улыбаясь, — вижу твое лютое мучение, и чует мое сердце, что ты проклятию предаешь меня чуть ли не с самых Сорочей.

— Не то, князь! — отвечал Иван Петрович

густым басом. — Мне что? Толст, толст, да не такие концы могу еще отхватывать, а вот что не дело, так не дело. Ну где ж это видано, чтобы на такой праздник, да еще и на освящение, выезжать до восхода солнечного и гнать, словно за нами вражья сила, когда все к князю Константину за день да за два съезжаются. Мало, что ль, хором у него понастроено...

— Так тебе небось хотелось, чтоб я так, не дождавшись зову, и поехал. Когда гонец-то от князя прискакал? Вчера к вечеру — ну, я и еду. А не прислал бы гонца, так и не поехал бы.

— И дело, — вмешался в разговор другой всадник, — так и князь, родитель твой покойный, вашей милости перед смертью наказывал: крепко держись, никому не позволяй себе наступать на ногу; будь близок к князю Острожскому, но и от него требуй себе почтения — Сангуши не хуже Радзивиллов да Острожских. Как покойника отца твоего князь Константин всегда звать почетного гонца посылал, так и к сыну его и наследнику посылать должен.

— Так-то оно так, — согласился Иван Пет-

рович, — да уж больно жарко ноне, а в церкви небось почитай что до полдня выстоять придется.

Розовый юноша, давно уже насладившийся комическим положением, в которое толщина ставила Ивана Петровича, не выдержал и рассмеялся.

Улыбнулся и князь.

— А тебя, пострел Федька, и брать вовсе не следовало, — пробасил толстяк, притворяясь рассерженным. — И чего это ты, ваша милость, разбаловал так мальчишку! — обратился он к князю.

— Не ворчи, старый, — успокаивал его князь, — ведь сам ты небось, после того как Федя вытащил меня совсем бесчувственного из Сорочского озера, назвал его моим храбрым оруженосцем — так оруженосец-то всюду должен следовать за своим рыцарем не баловства ради, а охраны.

— Ишь ты, хранильщик выискался! — не унимался Иван Петрович. — А поди приключись что, напади на дороге лихой человек, так Федюша первый, как баба, со страху разрюмится.

Но такого обидного предположения юноша снести уже никак не мог. Он даже побледнел и гневно сверкнул глазами на обидчика.

— У меня только и дума одна, — задыхаясь от волнения, начал он, — как бы по-настоящему, не из-под опрокинувшейся лодки, а от мечей вражеских защитить и спасти моего князя и самому умереть за него... Да и не знаю я, кто из нас двух, я или Иван Петрович Галынской, с перепугу захнычет...

— Молчи, щенок! — крикнул толстяк, сердясь уже не на шутку.

— Никак вы и взаправду свару затеяли, — оглянулся князь с недовольным видом, — нашли время!.. Слышите?..

Гул радостного народного крика раздался близко за поворотом улицы. Иван Петрович и Федя замолчали, только злобно взглянули друг на друга. Всадники дали шпоры коням и красивым галопом, звеня оружием, поскакали вперед. Через две минуты они были среди толпы народа при повороте на довольно широкую улицу, зеленевшую далеко раскиданной свежей травой.

Народ радостно кричал, подбрасывая квер-

ху шапки. Слева гудел торжественный благовест. Справа, с пригорка, на котором возвышался замок, медленно двигался блестящий княжеский поезд.

Лицо князя Сангушки мгновенно преобразилось. Румянец залил его щеки. Глаза, широко открытые, сиявшие блаженным выражением, остановились, не мигая, на одной далекой точке. Грудь дышала порывисто, и рука нервно и бессознательно сжимала рукоятку осыпанной дорогими камнями отцовской сабли.

Не великолепие поезда поразило молодого князя — это был далеко еще не полный парадный поезд Острожского, иногда выезжавшего из города в сопровождении тысячи провожатых. Сангушко даже и не замечал поезда. Он не видел, как мимо него проскакали передовые гайдуки, как проехал маршал двора Острожского, сверкая на солнце своим золотом шитым костюмом. Он не видел толпы красивых пажей и шляхетской молодежи, среди которой в сопровождении почетнейших гостей подвигался князь Константин Константинович на белом, словно серебря-

ном, коне. Он не слышал восторженного крика, которым народ приветствовал своего князя.

Он глядел не отрываясь, все с тем же блаженным выражением в глазах... И ближе, ближе становилось то, на что глядел он, и сердце его замирало невольно, и туманилась голова его... За князем Константином медленно подвигалась запряженная шестериком золоченая, обитая драгоценной парчой колымага. В ней помещалась княгиня, супруга князя Константина, женщина лет сорока с красивым, необыкновенно добродушным и ласковым лицом, а рядом с нею сидела молоденькая девушка.

Восторженные крики народа возобновились. Женщины и дети бросали свои букеты сирени и других душистых цветов. Взгляды всех были обращены на молодую девушку. «Княжна наша! Красавица Гальшка! День красный! Солнышко небесное!» — раздавалось кругом с восторгом и благоговением.

И этот восторг, и это благоговение народа были совершенно понятны. Княжна Елена Ильинишна Острожская (или Гальшка, как ее

все называли) была необыкновенная, неслыханная красавица. Такая красота рождается веками, приобретает себе славу, подобно гению, и память о ней сохраняется в потомстве. Такая красота — высочайший дар природы — может служить поводом и причиной великих и часто кровавых событий.

Только вдохновенному художнику мог пригрезиться этот образ, совершенное воплощение которого было теперь перед народной толпою и выделялось на блестящем фоне парчовых подушек, как бы окруженное золотым сиянием.

Княжне Гальшке только что исполнилось семнадцать лет; но вот уже три года, как по всей Литве и даже Польше разносилась весть о чудной красоте ее. Немало людей, разумеется людей молодых и вольных, нарочно приезжало в Острог, чтобы только взглянуть на нее и потом говорить: «Я видел красавицу Гальшку». Какое же описание может дать понятие об ее прелести, равно возбуждавшей восторг и в мужчинах, и в женщинах, и даже в детях, радостно бросавших цветы ей навстречу. Если бы закутать ей голову густым покрыва-

лом, то всякий, взглянув на эту легкую, грациозную фигуру, на эти стройные, строго пропорциональные, словно из мрамора выточенные члены, не мог бы усомниться, что это тело принадлежит безупречной красавице. И точно, здесь нельзя было ошибиться — ее небольшая головка, отягченная ниже колен спадавшими бледно-золотистыми и мягкими, как шелк, косами, заставила бы даже закоренелого злодея выронить нож и отступить в смущении и восторге. Большие, черные, с длинными ресницами глаза казались еще прекраснее при светлых волосах и необычайно нежном цвете лица. Благородный и строгий профиль смягчался выражением, которое поражало ясностью душевной чистоты и очевидной, на все обращавшейся добротой. Но в то же время в этом лице было что-то, какая-то неуловимая черта, обличавшая присутствие мысли и воли, а по временам на нем мелькало отражение не то грусти, не то серьезной задумчивости. Одним словом, поэты того времени говорили про нее, что это была красота, гармонически слившая в себе и божественную прелесть Мадонны, и земную обольсти-

тельную прелесть классической богини.

Княжна Гальшка на шумные приветствия народа отвечала ласковыми, добрыми улыбками, стыдилась возбуждаемого ею восторга и порою смущенно взглядывала на тетку, будто желая за нею спрятаться и прося прощения в том, что она невольно обращает на себя одну всеобщее внимание. Но добрая княгиня и сама, очевидно, гордилась племянницей.

Князь Сангушко едва сдерживал свое волнение и глядел на Гальшку не отрываясь, как очарованный. Он видал ее и прежде, он помнил ее еще ребенком; в последнее время ее образ преследовал его всюду и даже не померк от глубокой, мучительной горести, в которую повергла молодого человека смерть его отца, горячо им любимого. Но никогда еще Гальшка не казалась ему так бесконечно прекрасной. И он почувствовал, в первый раз почувствовал совершенно определенно и ясно, что эта чудная красавица, которой все любуются и которую все прославляют, для него гораздо больше, чем красавица, что она дорога ему, что он любит ее, любит больше всего на свете...

Ласковая улыбка не сходила с уст Гальшки, но глаза ее были скромно полуопущены перед восхищенной толпой. Она подняла их на мгновение, и ее взгляд встретился со взглядом Сангушки. Что-то быстрое, не то изумление, не то радость, мелькнуло в этих глубоких глазах. Ее щеки вспыхнули румянцем... Золоченая колымага прокатилась мимо.

Сангушко тронул поводья и шагом поехал за нею, не веря себе, сомневаясь и боязливо поддаваясь новой надежде. Он обернулся. Среди бесчисленных окружавших его лиц его взгляд упал на пораженное восторженное молодое лицо Феде, который растерянно глядел кругом и ничего не видел перед собою.

— Федя! — крикнул князь.

Юноша вздрогнул, очнулся и молча поехал за ним, смотря по тому же направлению, куда обращались взоры всего народа и горячие взоры князя.

II

Князь Константин Константинович Острожский, как мы уже сказали, был одним из надежнейших оплотов православия. Его деятельность в этом направлении была

неутомима; но и он уже с ужасом начинал видеть, что вся его энергия, все его силы далеко не достаточны для ведения успешной борьбы с разнородными и могучими врагами.

Хотя в XVI веке православие было в Литве господствующей народной религией, но огромная масса народа только по имени могла считаться христианами. Не только в глубине страны, но и в деревнях, находившихся вблизи городов и соприкасавшихся с городской жизнью, царили совершенно языческие понятия и верования, которые в течение долгих веков оставались неискорененными. Православных церквей было много, но сельское духовенство не имело решительно никакого влияния на свою паству. Идолы и языческие празднества оставались нетронутыми — им только даны были христианские наименования. Так, например, видя в церкви вербу с повешенной на нее иконой, народ поклонялся и вербе, и иконе, воображая, что богиня Блинда была превращена в дерево, и именно в вербу. К христианским праздникам применялись все прежние языческие обряды, отчасти сохранившиеся и до сих пор, но в то вре-

мя имевшие в глазах народа чисто религиозное значение. Праздник Рождества слился с праздником Коляды, Новый год — с языческим щедрым вечером, Крещение сопровождалось всевозможными обрядами, остатками культа Святовиту. Христова Пасха была не что иное, как празднество волочинья. Георгиев день справлялся веселыми играми, песнями и плясками; в Троицын день завивались венки; в день Рождества Иоанна Предтечи скакали через огонь; в день Петра и Павла строились качели. Но этого мало: в иных местах на Троицу, после крестного хода, собравшийся в огромном количестве народ всю ночь завивал венки, бросал их в воду и сопровождал эти обряды невероятными бесчинствами и бесстыдством.

Солнце и луна, подземные божества, называвшиеся баструками, и их владыко Пушайтис почитались по-прежнему. Им народ молился, чтобы они смягчали сердце жестоких господ. Окончание жатвы, дожинки праздновались по-язычески. Осенью, по окончании полевых работ, на большой стол клали сено, потом постилали его чистою скатертью, ста-

вили на стол бочку пива и затем вводили быка или корову, назначенных в жертву богу оплодотворения. Все присутствовавшие яростно бросались с дреколием и оружием на несчастное животное и убивали его до смерти, припевая: «Вот тебе жертва наша, о бог земли. Слава тебе за сохранение жизни нашей в прошлом году, защити нас и в наступающем от врага, огня, меча, морового поветрия!» Мясо убитого животного тут же жарилось и съедалось.

Но не с одними остатками язычества приходилось бороться князю Острожскому и прочим ревнителям православия. С некоторого времени в высшие сословия, а затем и в народ начинали все больше и больше проникать новые учения, идущие с запада Европы. Соперником князю Константину по влиянию и могуществу был Николай Радзивилл Черный, канцлер Великого княжества Литовского, двоюродный брат королевы Варвары и один из ближайших и влиятельнейших советников Сигизмунда-Августа. Радзивилл Черный принял евангелическо-реформатское исповедание и всеми мерами начал распро-

странять его по государству. Он основал кирки в Вильне, Келецке, Несвиже, Орше, Минске, Бресте и во многих других городах, число которых простиралось до ста шестидесяти. Он выписывал известнейших в то время проповедников, и они разъезжали всюду и учили народ. Он устроил типографии и в большом количестве печатал духовные книги. Все, что нуждалось в покровительстве могучего Радзивилла, получало это покровительство с условием отступить от православия или католичества и принять реформатство. Радзивиллу содействовали и другие вельможи: Сапеги, Ходкевичи, Кишки, Вишневецкие, Пацы, Войны и т. д. Король оставался совершенно равнодушным к этому движению и будто не замечал падения литовского православия и польского католичества.

Князь Константин Острожский видел, как с каждым годом отрывались от Церкви надежнейшие сыны ее, как русско-литовские вельможи уходили в стан вражеский.

Его покидали лучшие друзья и советники, он оставался почти один во главе православия. А между тем годы шли и убавляли в нем

его крепкие силы, энергию кипучей деятельности. Внимательно глядя кругом себя, он с ужасом убеждался, что нет ему верного друга и помощника, что, умри он сегодня, и с ним вместе умрет, пожалуй, и великое дело, которому и отец его, и он сам посвятили всю жизнь. Ревностных православных людей было еще немало, но все они были бессильны, не имели того влияния и тех огромных материальных средств, какие требовались в таких обстоятельствах.

Только в родном своем Остроге он, по крайней мере, видел себя в среде своих, здесь все вокруг него дышало православием и благочестием. С нескрываемой радостью встретил он весть о решенной городом постройке нового придела во имя св. Константина и Елены — ему были дороги и ревность горожан к вере, и преданность ему самому и его любимой племяннице.

Давно уже не видали князя с таким радостным лицом, как во время освящения придела. Окруженный блестящей толпою, стоя у клироса на небольшом возвышении, обитом малиновым бархатом, он внимательно следил

за торжественной службой и часто клал земные поклоны. Одет он был роскошно, в светлом атласном кафтане с блестящею драгоценными камнями цепью на шее; но эта роскошь одежды не была плодом его собственной заботливости: он так оделся, потому что так одел его приставленный к его гардеробу шляхтич. Если бы ему принесли старое платье, он надел бы и его и никогда не заметил бы этого — он никакого внимания не обращал на свою внешность.

Но его фигура, его лицо были такого рода, что, как бы он ни одевался, его нельзя было смешать с толпою. Он был довольно высокого роста и полон. Вокруг большого, прекрасной формы лба поределели и поседелели мягкие волосы, длинная борода еще больше блестела сединою, но в открытых голубых глазах, в свежем цвете лица и улыбке было много еще жизни, силы и здоровья. В счастливые минуты внутреннего довольства лицо князя поражало откровенной добротой и необыкновенной привлекательностью. В минуты гнева оно бывало грозно, и вряд ли можно было найти человека, который бы не побледнел,

встретясь тогда с его блестящим взглядом.

Все близкие люди, знавшие характер князя, не могли не уважать его; но к этому уважению непременно примешивалась большая доля страха. Все знали, что только с чистой совестью и с разумным словом на устах можно было смело приближаться к князю, что от него можно было ждать справедливости, но ни в каком случае потачки. Он уважал всякую силу; но разжалобить его слабостью было очень трудно. Строгий к себе, неуклонно прошедший школу нравственного самоулучшения, он считал себя вправе быть строгим к другим, и со стороны его строгость могла даже иногда показаться жестокостью. К тому же деятельная жизнь, посвященная всецело святой и великой для него цели, жизнь, сопряженная со многими огорчениями и даже ударами, развила в нем некоторую желчность, раздражительность, делавшую его характер иной раз тяжелым. Но, кто знал его трудно разнеживающимся, но растроганным, тот охотно прощал ему привычную суровость. Строгая его неподкупность, самостоятельность и справедливость в делах полити-

ческих и общественных признавались даже злейшими его врагами...

Богослужение кончилось. Епископ Арсений, маленький, бледный старичок, совершенно непричастный к интригам и буйствам тогдашнего высшего духовенства, едва держался на ногах под тяжестью массивного парчового одеяния и тихо шептал последние молитвы. Князь Константин, набожно приложившись к кресту и поцеловав руку владыке, выходил на паперть, принимая поздравления окружающих.

На паперти стояли в ряд бурмистры, рядцы, лавники[10] и прочие почетные горожане. Они громко и радостно встретили князя, который благодарил их, милостиво наклоняя голову. Затем он обратился к толпе народа.

— Други мои, — громко сказал он, — спаси вас Бог за ваше радение к сему святому храму, ныне украшенному и расширенному вашими щедротами. Благодарствую от сердца и за чувства ваши ко мне и к роду моему...

Громкие крики народа не дали ему докончить. Снова шапки полетели в воздух, и немногие успели расслышать, как князь при-

глашал всех горожан к себе в замок, где на обширных дворах под навесами была с утра приготовлена, по обычаю, обильная трапеза.

Оглянувшись, князь Константин заметил пробиравшегося к нему сквозь тесную толпу молодого Сангушку. Он обнял его и троекратно с ним поцеловался, отвечая на его поздравления.

— Горд ты стал, горд, князь Дмитрий Андреевич, — заговорил он, улыбаясь. — Думал, сам обо мне вспомнишь да заглянешь — а ты зову ноне стал дожидаться... Ну да Бог с тобой. Вишь какой вырос, мне и спорить с тобой не приходится; не забудь только, что ты всегда мой гость желанный.

И он снова его обнял.

А Сангушко и не пытался отвечать князю, он мимо ушей пропустил его несколько насмешливо произнесенную фразу: «Вишь какой вырос...» Он сам теперь не мог понять, зачем дожидался гонца княжеского, как мог он из каких бы то ни было соображений пропустить два дня, два дня жизни под одной кровлей с Еленой... Он увидел ее в толпе, рядом с княгиней, окруженной блестящей молоде-

жью.

Он подошел к ним, и снова ему показалось, как будто внезапная краска вспыхнула на щеках красавицы.

Им овладело какое-то опьянение, и в этом опьянении было столько никогда еще не изведанного им счастья, что он поддался ему всей душою. Он не знал, что такое он говорит княгине и что она ему отвечает. Он видел только глубокий и смущенный взгляд Елены, слышал, как она ему говорила:

— А мы уже, князь, не чаяли тебя видеть, думали, ты в Кракове, а то, пожалуй, и в Немцы уехал...

В тоне слов этих слышался такого рода упрек, который мог бы возбудить великую зависть в окружавшей толпе молодых людей; но княжна произнесла свою фразу так тихо, что расслышал ее только один Сангушко.

Князь Константин уже садился на коня. Расписная колымага подъезжала к церкви. Толпа расступилась. Нарядная прислуга и многие гости бросились помогать княгине садиться в экипаж. Некоторые молодые люди воспользовались этим случаем, чтобы иметь

возможность хоть слегка прикоснуться к платью красавицы.

Гальшка, садясь в колымагу, снова невольно взглянула на Сангушку. На этот раз ее взгляд не был замечен никем, даже самим князем Дмитрием Андреевичем. Подметил его только один человек, все время прятавшийся в толпе, но тщательно наблюдавший за княжною. Человек этот поражал своим видом и резко отличался от всего собравшегося люда. Он был далеко еще не стар и высок, и очень худ. Рост его выступал еще больше от длинного, черного, полумонашеского одеяния, на которое неприязненно косились проходившие мимо него горожане. Лицо этого странного человека соответствовало его фигуре: сухое и бледное, с правильными резкими чертами, черные, почти сросшиеся брови, глубокие впалые глаза с тяжелым, слишком внимательным взглядом — это было какое-то фатальное лицо, нечаянно взглянув на которое можно было испугаться... А между тем оно было красиво, и в нем отражались деятельная мысль и сильная воля.

Княжеский поезд с маршалом во главе и в

строгом порядке медленно подвигался по усыпанной травой и цветами улице. Народ снова приветствовал его криками и стремился за ним к широко растворенным воротам замка. Вокруг церкви пустело.

Черная фигура странного человека свернула в переулок и по другой, совершенно пустынной улице тоже направилась к замку.

Становилось душно; солнце жгло с высоты безоблачного неба. Через изгороди садов свешивались на улицу густые ветки белой акации, сирени и фруктовых деревьев, все усыпанные сильным, душистым цветом. Ворота маленьких деревянных домиков стояли на запоре. Была полная тишина и безлюдие. А черная фигура медленно подвигалась по деревянным мосткам, настланным с обеих сторон улицы.

Вот из-под одной подворотни выглянула длинная морда собаки. Послышалось рычание и затем оглушительный лай. Где-то вблизи ему завторил другой лай, еще пронзительнее. Хлопнула калитка, на улицу выбежали белоголовые ребяташки, увидели черную фигуру...

— У-у-у! Черт идет, черт! — закричали они и спрятались в калитку.

Отворилась ставня, выглянул седой старик и сжатым кулаком энергично погрозил прохожему.

Черный человек равнодушно посмотрел на старика, на угрожавший кулак. Ни одна черта не дрогнула в лице его. Он продолжал идти все тем же мирным, спокойным шагом, погруженный в свои мысли.

Скоро он скрылся за поворотом к замку.

III

Мы видели княжну Гальшку вдвоем с теткой, супругой князя Константина, ее же родной матери, княгини Беаты Острожской, не было в торжественном поезде, не было и в церкви, во время освящения придела. Такое отсутствие княгини могло бы сразу показаться странным и предосудительным непосвященному человеку и непременно должно было возбудить толки и пересуды в толпе собравшегося народа. А между тем никто не удивлялся, никто не спрашивал о княгине Беате. Народ уже давно привык к ее постоянно-му отсутствию на всех религиозных торже-

ствах, на всех церковных праздниках. Про нее знали, что она живет в замке, что она полька и католичка, что у нее есть своя домовая каплица и свой духовник.

Все это, взятое вместе, а также ее нелюдимость и неприветливость не могли снискать ей любви народной. Если ее не порицали и не бранили открыто, то единственно вследствие уважения к имени князей Острожских, которое она носила.

В то время, о котором мы говорим, нравы литовской аристократии были в большом упадке. По достоверным свидетельствам современников, можно представить себе весьма непривлекательную картину.

Стремление к роскоши делалось всеобщим. Литовские женщины высших слоев общества мотали деньги так, что мужчины могли жениться только с большим приданым. Многим девушкам из хороших домов трудно было поэтому найти приличную партию, и они должны были или оставаться старыми девами, или вступать в предосудительные браки. Литовская женщина по законам имела многие права и пользовалась большою неза-

висимостью, но недостаток серьезного воспитания развил в ней полное отсутствие самоуважения — она стремилась только к роскоши и неприличному кокетству.

Немудрено после этого, что благоразумные отцы семейства предпочитали выбирать для своих сыновей жен в Польше, где женщины были гораздо образованнее и высоко ценили родовую честь. Так поступил и покойный князь Константин Иванович Острожский — он женил своего сына Илью на польке, Беате Косцелецкой, дочери подскарбия коронного. Беата была красива, богата и имела большие связи в Кракове. Она была верной и преданной женой князю Илье, но рано овдовела, с тех пор близкие люди стали замечать в ней большую перемену.

Строго воспитанная в правилах католической веры, она и выйдя замуж осталась ревностной католичкой. Муж и его отец предоставляли ей в этом отношении полную свободу и никогда даже не заводили с ней религиозных споров. Она привезла с собой в замок Острожских старика-духовника, человека весьма почтенного и сдержанного, имевшего

на нее большое влияние, но никогда им не злоупотреблявшего. Княгиня Беата немало часов проводила с ним в религиозных беседах, после которых муж заставлял ее иногда в восторженном настроении, со слезами на глазах. Но эта восторженность скоро проходила, и молодая княгиня являлась в общество с любезной, веселой улыбкой, довольная своей молодостью, красотой и блестящим положением, далекая от всякого религиозного фанатизма. Родилась дочь — в княгине Беате вспыхнули материнские инстинкты, и все свободное от удовольствий время она стала посвящать ребенку. Девочка росла и уже с первых лет стала всех поражать своей необыкновенной красотой. Княгиня отовсюду слышала ей похвалы самые восторженные и не могла сомневаться в их искренности. Ее Гальшка сделалась ее гордостью и радостью — она не могла на нее налюбоваться.

В это время от какой-то скоротечной и неизвестной тогдашней болезни умер князь Илья. Эта неожиданная утрата совершенно сразила Беату. Первое время она казалась помешанной. Она заперлась от всех,

ушла в себя и месяца три выносила присутствие только одного духовника. Даже к дочери почти охладела. Строгий пост, молитва на могиле мужа, чтение духовных книг — вот в чем стала проходить жизнь ее, изо дня в день, без всяких отступлений. Напрасно многочисленная родня, искренно ее любившая, старалась привести ее в себя, убедить, что, несмотря на всю великость ее горя, жизнь еще не может потерять в глазах ее всякое значение, что ей рано еще совершенно отказываться от общества, что у нее, наконец, есть дочь, которая должна примирить ее с жизнью.

Все добрые советы, все убеждения пропали даром. Княгиня молча, внимательно выслушивала все, что ей говорили, но, взглянув на нее, можно было сразу заметить, что она думает о чем-то постороннем, своем, что вразумить ее нет возможности. Только при имени дочери она несколько оживлялась; но оживление это было минутное и скоро переходило в обычную апатию и замкнутость.

За несколько недель до первой годовщины смерти мужа она съездила с духовником своим в Краков. Она пробыла там недолго, не по-

казывалась при дворе и все время провела окруженной католическим духовенством. Она вернулась в Острог сильно возбужденная и оживленная. Во всей ее фигуре, в ее движениях замечалась явная перемена — от прежней апатии не было и следа. Родные обрадовались сначала, думая, что поездка развлекла ее, что теперь она снова заживет своей прежней, естественной жизнью.

Но скоро все поняли, что ошиблись: княгиня Беата, несмотря на оживленность и признаки нравственной энергии, осталась по-прежнему равнодушной к интересам, ее окружавшим. Она была снова одна, только уже не погруженная в прежнюю тоску и задумчивость, а охваченная какой-то новой, таинственной деятельностью, которая первое время держалась втайне от обитателей замка. Старый духовник остался в Кракове, а на место его явился новый ксендз, державший себя со всеми особенно предупредительно и льстиво. Он постоянно куда-то уезжал и возвращался, привозил княгине Беате какие-то письма, которые она жадно читала и прятала в свою заветную шкатулку вместе со всеми

своими драгоценностями.

Что же все это значило? Значило это, что княгиня, действительно, сумела найти примирение с жизнью, найти дело, которому она отдалась порывисто и страстно. Дело это было — религиозная пропаганда. Католические патеры в те времена, как и теперь, любили действовать через женщин и всегда имели в них верных учениц, помощниц и благодетельниц. Мудрый сонм краковских отцов в короткое время совершенно забрал в руки княгиню Беату. Она поклялась посвятить всю жизнь свою делам веры и помогать духовенству своими посильными приношениями. В первый же год она переслала в Краков при посредстве нового духовника весьма значительные суммы денег. Взамен их она получала благодарственные письма святых отцов, где ее провозглашали достойнейшей дочерью церкви. Эти красноречивые, пропитанные тонкою лестью письма составляли ее отраду и гордость. Ей обещали, что ее добрые дела скоро сделаются известными папе, что она получит и его благодарность. Она удвоила рвение и с радостью жертвовала ловким па-

тера́м го́раздо бо́льше по́ловины всех своих до́ходов.

Поглощенная и затуманенная своей новой деятельностью, Беата уже не находила времени заниматься подраставшей дочерью. Вся ее прежняя любовь к ней как-то расплылась в охватившем ее фанатизме. Иногда она забывала ее по целым дням. Князь Константин Константинович и его жена до глубины души возмущались этим. Они не раз пробовали убедить, усювестить Беату.

— Я люблю ее гораздо больше, нежели вы все думаете, — во время одного из таких объяснений сказала княгиня Константину Константиновичу. — Я много забочусь о ее будущем, о ее счастии, но разве я виновата, что у меня руки связаны, что я хоть и мать, да не мать ей...

— Что это значит? — спросил князь. — Неужели ты хочешь упрекнуть меня или же ну в том, что мы становимся между тобой и Гальшкой?..

— Я ни в чем не хочу упрекать вас, но, скажи по совести, разве она не больше принадлежит вам, нежели мне? Разве ты не опекун

ее, разве не в твоих руках ее состояние, разве, наконец, моя дочь не чужда мне по вере, в которой вы ее воспитываете?

— Но ведь ты все это хорошо знала, когда выходила за брата. Ты знала, что дети Ильи Острожского не могут быть католиками. Ты торжественно клялась покойному отцу и брату никогда не заводить и речи об этом.

— Да, клялась! — отчаянно проговорила княгиня. — Клялась, но сама не знала, что делала, не знала, какой грех, какое мучение брала на свою душу... Вы заставили меня отступить от моего собственного ребенка... Это ужасно!

Князь уже давно ожидал подобных упреков, хотя Беата до сих пор и была очень сдержанна. Он давно уже предвидел, что трудно ему будет обойтись без семейной драмы, подготовленной католическими патерами. Ему приходилось отстаивать православие уже не в одной Литве, а и в стенах собственного дома, приходилось начинать тяжелую, раздражающую борьбу с фанатизмом женщины, которую он, не без основания, иногда готов был считать помешанной...

Его лицо вспыхнуло, глаза блеснули недобрым блеском.

— Никто тебя не заставлял и не заставляет отступаться от Гальшки, — гневно сказал он. — Никто не заступает тебе дорогу к ее сердцу; если тебе мало ее любви, если ты хочешь стать между ею и Богом, насильно навязывать ей свою веру, то уж лучше тебе уехать отсюда. Я выдам все, что тебе завещано братом, но Гальшки тебе не выдам.

— Как! — поднялась Беата, бледная и дрожащая. — Ты хочешь отнять у меня дочь, ты хочешь меня выгнать из дому?! Или ты думаешь, что на тебя нет и закона, что король потерпит такое беззаконие?..

Князь Константин едва себя сдерживал. Он побагровел от гнева.

— Я не боюсь твоего короля! — задыхаясь, проговорил он. — Ты знаешь, что до сих пор я тебе был добрым братом, но я был братом и твоему мужу. Я не отдам его дочь на съедение твоим патерам, которые лишили тебя и рас-судка, и сердца...

И он вышел своими тяжелыми шагами от княгини. Беата бессильно опустилась в крес-

ло и залилась слезами.

Она еще недавно получила из Кракова письмо от епископа, в котором он убеждал ее в необходимости вырвать дочь из «челюстей схизмы». Верные слуги католической церкви давно уже всецело подчинили ее своему влиянию. Она жила их мыслями. Но рядом с этим в ней оставалось нетронутым уважение к князю Константину, какой-то благоговейный страх перед ним. Борьба с ним представлялась ей невозможной.

Она велела позвать своего духовника и излила ему душу. На другой день он уехал в Краков за инструкциями.

Пройдя к себе и несколько успокоившись, князь Константин задумался о Гальшке. Ей уже был шестнадцатый год на исходе. Из прелестного ребенка она превратилась в удивительную, неслыханную красавицу, в девушку кроткую и благочестивую. Князь души не чаял в племяннице. Да и мог ли он не любить ее! У него было трое сыновей, старшему из которых только что исполнилось 12 лет. У него была и единственная, любимая дочь, сверстница и подруга Гальшки. Но дочь эта умерла

три года тому назад, и с тех пор вся его нежность к ней перенеслась на Гальшку.

Молодая княжна и сама горячо любила дядю. Никто, как она, не умел ему прислуживать, никто не умел так разглаживать маленькой и нежной рукой морщины гнева и печали, выступавшие на лбу его. Она одна из окружавших не боялась его в страшные его минуты. Она одна смело входила к нему в те часы, когда все трусливо обегали его покои.

Он любил тихо и ласково беседовать с ней в свободное время. Иногда по вечерам он собирал жену и детей, а Гальшка отстегивала золотые застёжки большой тяжелой книги и своим звонким голосом читала им житие какого-нибудь святого или главу из Евангелия. Князь Константин по временам прерывал чтение и объяснял ей то, что, как ему казалось, было неясно ее пониманию.

И эту-то добрую и ласковую, ангельски прекрасную дочку-племянницу желают отнять и у него, и у Церкви, желают сделать полькой, католичкой! Невозможно допустить до этого, нужно еще больше следить за нею, оберегать ее от вредных влияний — а следить

и наблюдать совсем некогда: большие дела на руках, кипучая, непрерывная деятельность. Все чаще и чаще приходилось князю отлучаться из Острога, дела звали его то в Краков, то в глубину Литвы, то в резиденции других магнатов литовских.

Правда, без него оставалась жена... Она добра, она сама от души любит Гальшку; но князь Константин невольно должен был сознавать, что его добрая, верная княгиня Анна Станиславовна — плохой дипломат и руководитель. Ее обмануть и одурачить ничего не стоит — на это хватит самого неопытного католического монаха.

Выдать бы поскорее Гальшку замуж, приискать ей жениха хорошего и надежного, из доброй и вельможной семьи православной. Но на ком остановиться? Где теперь в это смутное, шаткое время надежные люди? Что за мелкое, жалкое племя народилось у стариков литовских! За отличие при дворе продают и родину, и веру. Забыли стародавние, дедовские нравы и обычаи — а ими-то крепко, несокрушимо стояла Литва родимая. Передразнивают поляков да немцев, перенимают

их непутные, разорительные моды... Стыдно сказать, малый лет в двадцать с чем-нибудь уже побывал в разных чужих странах, всего навидался, все ему опротивело, а пуще всего опротивели родные леса литовские. Так его и тянет из дому, все в Краков да в Краков, за чужими женами польскими волочиться да своих же литвинок очумевших вводить в грех и беспутство. Совесть забыли, Бога забыли, родину губят...

Есть один человек на примете. Князь Константин давно в него всматривался. И роду знаменитого, и сын друга-товарища, и крестником приходится. Воспитан строго, в вере и благочестии, собою молодец и умом не обижен — мог бы и для дела святого пригодиться князь Дмитрий Сангушко, можно было бы положить на такого племянника, пока свои дети не вырастут. Да кто его знает — как еще покажется он самой Гальшке. А неволить Гальшку и настаивать в таком деле князь Константин не решился бы ни за что на свете.

Приходилось ждать да положить на милость Божию. Князь только стал почаще беседовать с Гальшкой об истинах православной

веры и старался возбуждать в ней патриотические чувства...

Между тем краковское духовенство не дремало. По поводу княгини Беаты списались с Римом. Там приняли в этом деле живое участие, заинтересовали княгиней Острожской даже папу Пия V. Он послал ей в духовники итальянца-монаха. Этот монах принадлежал к ордену иезуитов, сильно покровительствуемому папой, звали его Антонио Чеккино. Ему даны были важные инструкции и полномочия.

Княгиня Беата встретила его как посланника неба; он сразу успокоил ее взволнованную душу, и не прошло и месяца, как забрал ее всю, со всеми ее помыслами и чувствами, в свои руки. Явившись в Острог, отец Антонио сделал все, чтобы произвести выгодное для себя впечатление в его обитателях, — он обошел не одну Беату, он обошел всех, но не мог обойти князя Константина. Князь сразу почувствовал в нем врага ловкого и хитрого. Между тем не было достаточной, законной причины для его удаления из замка. Так прошло три года.

Княгиня Беата сидела одна в роскошно убранном покое. Палящее солнце притупляло лучи свои о причудливые итальянские витрины высоких окон. В комнате было прохладно, и массивное, в духе того времени, ее убранство казалось еще внушительнее в мягком полумраке. Княгиня только что вышла из своей молельни и старалась предаться религиозным размышлениям. Но чувства ее были взволнованны, она не могла спокойно мыслить о Боге, не могла победить в себе раздражения. Ее утро началось дурно. Она имела неприятное объяснение и не послушалась своего руководителя — отца Антонио.

Он всегда убеждал княгиню сохранять добрые отношения со всеми в замке, а в особенности быть почтительной и предупредительной с князем Константином.

Он настоятельно советовал ей никогда не вступать в религиозные споры, никогда не хулить православной веры, посещать церковь вместе с семейством Острожских. Но, послушная и безгласная во всем остальном, в этом пункте княгиня Беата не могла совладать с собою. В ее характере была врожденная искрен-

ность, при которой ей трудно было идти окольными путями, лгать и притворяться. Ее религия, доведившая ее до фанатизма, была для нее так высока, что она считала унижительным входить с православием в какие бы то ни было компромиссы. Отцу Антонио было еще трудно убедить ее в учении, что цель оправдывает средства.

Прежде, несколько лет тому назад, Беата была равнодушна к «схизме». Она охотно посещала русскую церковь и молилась в ней по своему молитвеннику. Разговоры «от Св. Писания» князя Константина не волновали ее и не возбуждали в ней злобы. Но с тех пор, как она поставила целью своей жизни католическую пропаганду, с тех пор, как она отдалась в руки духовенства и в изобилии стала принимать духовную пищу, посылаемую ей краковскими отцами, ее взгляд на православие совсем изменился. Теперь оно было для нее даже не просто чужая вера, а нечто ненавистное, крайне враждебное, столкновение с чем приводило ее в ужас. Она стала горячо ненавидеть русскую церковь, русские обряды, русское духовенство, всех православных людей.

Но пуще всех она возненавидела князя Константина. Она еще продолжала его бояться, она еще не решилась разорвать с ним, еще исполняла клятву, данную ею мужу на смертном одре его, то есть жила в Острожском замке, под охраной князя. Но, кроме чисто внешнего исполнения этой клятвы, от нее ничего уже нельзя было требовать.

Она все реже и реже стала выходить из своих покоев, очевидно, избегала встреч с князем и домашними. Она никогда не показывалась в народе. Уже давно никто не видал ее в церкви.

Напрасно Антонио, с жаром и со свойственным ему красноречием доказывал ей, что хоть на сегодня ей непременно следует отправиться к обедне, на освящение придела, следует показаться вместе с дочерью-имениницей. Она упорно отказывалась и объявила, что это выше сил ее. Как ни настаивал Антонио, ему пришлось оставить ее непреклонной.

«Глупая женщина, помешанная женщина! Только портит дело...» — про себя шептал он, досадуя и волнуясь, в то время как лицо его

оставалось неизменно спокойным. И он пошел в церковь подмечать все, достойное внимания, прислушиваться к народному говору. Обладая большими лингвистическими способностями, Антонио в короткое время выучился литовскому языку и понимал каждое слово. В обществе же он говорил обыкновенно по-итальянски, так как этот язык был тогда в большом ходу и моде, и даже многие литовцы высшего круга объяснялись на нем очень порядочно. Княгиня Беата знала его в совершенстве...

Сначала все было тихо в замке — деятельная жизнь кипела только на том дворе, где помещались кухни и где в этот день с солнечного восхода делались приготовления к роскошному пиру. Но вот послышались гул и конский топот, потом отдельные голоса и народные крики. Княжеский поезд в сопровождении толпы горожан подъезжал к замку.

Княгиня Беата прислушивалась к этим звукам с каким-то даже отвращением. Эта православная толпа народа, эти православные гости князя казались ей вражеским, варварским войском. Много бы дала она, чтобы

провести этот день у себя, запершись с Антонио и дочерью. Но это было уже невозможно, это было бы такое оскорбление князю, после которого нужно было разойтись с ним совсем и поднять целый ряд трудноразрешимых вопросов, в том числе и денежных. И она с ужасом и мучением думала о том, что предстоит выйти «на ту половину», принимать участие в пире, выслушивать, наверное, такие речи, от которых огнем закипало ее сердце.

О, если б она была одна, если б не связывала ее Елена или, вернее, если б не было так сильно влияние и могущество князя Константина даже в Кракове, где королю не с руки было окончательно вооружать против себя могущественного литовского вельможу!.. Что ж это не идет Гальшка? Ее совсем отнимают у матери! Княгиня Беата забывала, что она сама отнимала у себя дочь своим неровным, странным обращением с нею.

Сегодня Гальшкин праздник, ее именины. Беата приготовила ей богатые подарки. Вот лежат они на столе: удивительное жемчужное ожерелье, которому могла бы позавидовать и королева; цепь тончайшей венециан-

ской работы... Как прекрасна должна быть Гальшка с этим ожерельем на шее... Да, Гальшка хороша неслыханно, она все хорошеет...

В княгине проснулась материнская гордость. Из соседней комнаты слышались легкие шаги, вошла Гальшка, сияющая и цветущая, в своем белом платье, обшитом золотой бахромой, с какой-то новой улыбкой и новым блеском во взоре.

Княгиня поднялась и на мгновение остановилась, пораженная необыкновенной красотой дочери, как бы осветившей собою мрачную и тяжелую обстановку комнаты.

Ее бледное худощавое, но все еще прекрасное лицо оживилось. Она протянула руки и привлекла к себе девушку, покрывая ее глаза, губы, волосы горячими поцелуями...

— Гальшка! Дитя мое! Моя дорогая! — говорила княгиня растроганным голосом, не в силах, да и не желая удержать вдруг полившие слезы.

Княжна взглянула на мать, увидела эти слезы, эту малознакомую ей нежность и с легким криком радости и смущения припала го-

ловою на грудь Беаты.

Так пробыли они несколько мгновений. Потом княгиня взяла Гальшку за руку и подвела ее к столу, на котором лежали подарки.

— А вот это я приготовила для сегодняшнего дня моей девочке, — ласково сказала она. — Вот эта нитка жемчугу — ее подарил моей матери король Сигизмунд I... Посмотри, какие зерна — и все как на подбор, одно к одному... Такого жемчугу не видала ни одна вельможная краковская панна... Я надевала этот жемчуг всего раз, как под венец шла. Когда родилась ты, я для тебя его спрятала — не знала еще тогда, что такая красавица ты у меня будешь... Да с этим жемчугом на шее краше тебя и не сыскать никого во всем свете...

И она надела драгоценное ожерелье на тонкую, будто мраморную, шею дочери и застегнула его алмазным запястьем.

— Спасибо, матушка, спасибо, родная, — невольно восхищалась Гальшка, ловя и целуя руку княгини.

— Ну а вот цепь венецейская — ее я нарочно для тебя заказывала, только что прислали. Смотри, что за работа, — словно паутина...

Дай руку, я кругом обмотаю — увидишь, как будет красиво.

— Матушка, а ведь и тебе пора нарядиться, — заметила княжна, обнимая мать за этот второй подарок. — Все гости собрались уже в золотой зале... Меня про тебя еще в церкви спрашивали, о твоём здоровье справлялись...

Лицо княгини мгновенно преобразилось, злая усмешка мелькнула на губах ее.

— Кому я нужна, что обо мне справки наводят? Кому я мешаю, что обо мне забыть не могут? А ты меня и сегодня упрекнула... Что же ты думаешь — лежала я и спала все утро! Я о тебе молилась, о тебе плакала, просила Бога, чтобы Он просветил тебя истиной, не дал тебе погибнуть в кознях вражеских...

Светлые глаза Гальшки отуманились печалью. Она горько вздохнула. Чудная минута материнской ласки, горячей взаимной искренности мелькнула и исчезла. Она снова чувствовала ту вечную, непреодолимую преграду, которая стояла между ней и матерью, снова испытала то раздражающее чувство, которое всегда возбуждалось в ней подобными словами.

Это чувство до сих пор составляло единственное мучение ее жизни, и избавиться от него она была не в состоянии. Но теперь оно почему-то быстро ослабело, его пересилило необыкновенное, никогда еще так чудно не испытанное ею счастье, которым она была полна все утро. Выражение, бывшее на ее лице, когда она входила в комнату матери, снова вернулось. Оно было так ново, оно так довершало красоту ее, что княгиня Беата не могла его не заметить.

— Какие у тебя глаза сегодня! — сказала она, вглядываясь в девушку. — Что с тобой?.. Тебе весело, ты счастлива?..

— Да... да... Мне хорошо, мне весело сегодня, — смущенно прошептала Гальшка.

— Много собралось? Кто еще приехал? А Сангушко? Здесь он?

— Здесь... Я видела его в церкви...

Если б княгиня Беата продолжала глядеть на дочь, она заметила бы, как та смутилась и покраснела.

— Ну, ступай туда, к тетке, а мне вели позвать дежурную панну — я стану одеваться, — рассеянно проговорила княгиня.

Гальшка поцеловала ее и направилась к двери.

На пороге она почти столкнулась с черной фигурой высокого и бледного человека. Он почтительно поклонился.

— Приветствую княжну Елену и приношу сердечное поздравление, — сказал он по-итальянски.

— Благодарю вас, отец Антонио, — равнодушно ответила Гальшка и прошла мимо.

Только замолкли ее шаги, он быстро подошел к княгине.

— Я был в церкви, — заговорил он, — вы очень дурно сделали, что остались дома, — это только всех вооружит против вас и не приведет ни к чему доброму... Но теперь не то... есть опасность важнее. Скажите, княгиня, желаете ли вы, чтобы ваша дочь навсегда была для вас потеряна, чтобы все ваши планы спасти ее немедленно рушились?!

— Что вы говорите?! — с ужасом прошептала княгиня.

— Я говорю, что все это легко может случиться в самом скором будущем.

— Что же такое случилось — не томите ра-

ди Иисуса и Святой Девы!

— Если княжна Елена полюбит русского и выйдет за него замуж — будет ли это ее гибелью?

— О, это было бы ужасное, величайшее несчастье!

— Да, для нее это величайшее несчастье, и для вас тоже, и это несчастье готово совершиться... Если только я могу доверять глазам своим, она уже любит одного из сильнейших врагов нашей святой веры...

— Моя дочь любит? Гальшка? Да она еще ребенок, она так равнодушна ко всем своим поклонникам и искателям! — воскликнула княгиня.

— Она ребенок, — с горькой усмешкой проговорил Антонио. — Для вас — да; но этому ребенку уже семнадцать лет... Один час, одно мгновение превращает ребенка в женщину — и это мгновение пришло сегодня, и я его подметил.

— Но кого же любит моя дочь? — в ужасе прошептала княгиня.

— Молодого князя Сангушку, — ответил Антонио еще более бледный, чем когда-либо.

Княгиня Беата отчаянно схватила свою голову руками. Она хорошо знала покойного Сангушку, знала и сына. Она знала, что оба были православными и русскими до мозга костей. Она помнила, как еще недавно князь Дмитрий Андреевич на пиру у Острожского горячо и прямо порицал католицизм и польское влияние, польские нравы и обычаи. С того дня она почувствовала злобу к молодому человеку. И вот этот враг ее веры, ее родины, этот любимец и крестник князя Константина теперь отнимает у нее навеки ее Гальшку... Понятно, что князь Константин не только ничего не будет иметь против этого брака, но даже будет рад ему, употребит все усилия, чтобы его устроить. Но когда же это могло случиться? Когда же Гальшка успела полюбить его — он в последнее время, после смерти отца, несколько месяцев не бывал в замке...

— Этого быть не может! Это было бы слишком ужасно... Вы ошибаетесь, отец мой! — пробовала она отогнать от себя уверенность в несчастье.

— Я не ошибаюсь, княгиня, я не стал бы говорить вам, если бы не убедился в справедливости...

вности моих подозрений. Ваша дочь действительно еще очень молода, — она не умеет скрыть своих первых волнений — ее лицо, ее глаза выдали мне ее тайну...

— Ее лицо, ее глаза!.. Да, правда, правда — у нее странное лицо сегодня! — шептала Беата.

— А! И вы заметили?

— Я даже спросила ее, что с ней. Она ответила, что ей хорошо, весело сегодня...

— Быть может, она сама еще не понимает, не сознает ясно своего чувства, — сказал Антонио, — быть может, все только и началось сегодня... Но разве для этого нужно время...

— Но что же делать, Боже, что делать? — ломала руки княгиня.

— Наблюдать и употреблять все силы, чтобы не допустить этого брака. В случае крайности нужно решаться на все — и к тому же не забывайте, что вы мать, что, как бы ни был силен и могуч князь Константин, если вы останетесь тверды, то без вашего согласия, при вашем прямом запрещении не могут выдать вашу дочь замуж.

— Спасите, отец мой! Идите, идите, наблюдайте...

дайте, я сама сейчас там буду! — стала торопить его княгиня.

Отец Антонио вышел своими тихими, мерными шагами и направился длинными коридорами и переходами на половину князя Константина, откуда уже доносились говор и звуки музыки.

По его мрачному и утомленному лицу скользило выражение с трудом подавляемой сердечной боли.

V

Антонио Чеккино принадлежал к одному из старых родов Италии. Он вырос в самом блестящем обществе, отличался красотой и ловкостью. Уже в первые годы молодости он приобрел себе известность как храбрый рыцарь и покоритель сердец дамских. Он был совершенным представителем рыцарства того времени, полагавшего, что все призвание и цель благородного человека — в военно-театральных подвигах и чувственной любви, прикрытой платонической маской.

За два, три года молодой Чеккино насчитывал больше десятка поединков, из которых он всегда выходил победителем. Немало юж-

ных темных ночей были свидетелями его подвигов более мирного свойства. Немало ревнивых мужей клялись кровавой ему мстью и трусливо оставались при этих грозных, но бессильных клятвах, над которыми откровенно смеялся самоуверенный счастливец.

Жизнь его проходила как сон, причудливой и волшебной. Постоянные удачи и лесть баловали его плохо направленное, мелкое самолюбие. Мысль бездействовала... А между тем в его природе лежали зародыши такой силы, которая не могла удовлетвориться слишком узкой ареной. Он не успел еще превратиться в зрелого мужа, как уже безотчетная грусть и скука начали врываться в его веселье. То, что так недавно считал он за счастье, переставало казаться ему счастьем. Рыцарские забавы теряли свою прелесть; ласковые взоры благосклонных дам уже не сулили блаженства.

Но между этими дамами была одна — молодая графиня Риччи, умная и ловкая кокетка, не потерявшая силу своих чар в общепринятом маленьком кодексе, где по пунктикам значилось все, чем прекрасная дама должна

была побеждать сердца благородных рыцарей. Графиня Риччи была самостоятельна и оригинальна в деле кокетства. У нее были свои приемы — постоянно неожиданные и разнообразные, которыми она весьма искусно уловляла в сети. Скучающий и жаждавший нового интереса Антонио сам не заметил, как горячо полюбил ее.

Она долго его мучила, чтоб окончательно закрепить власть за собою. Но она сама была им несколько увлечена и под конец тронулась его страстью. Блаженству его не было границ. Ему казалось, что он возродился к новой жизни. Во славу своей возлюбленной он готов был на всевозможные подвиги. Он создал из своих дней и ночей огромный роман во вкусе эпохи и тайно от чуждых взоров переживал все его тончайшие перипетии.

Избалованный всеми женщинами, с которыми сталкивался, привыкший только возбуждать ревность, но никогда ее не испытывать, он не боялся и за свою графиню. Ему даже и в голову не приходила мысль о возможности с ее стороны измены. Ему только хотелось как-нибудь навсегда отделаться от ее

сонного и разжиревшего мужа, присутствие которого становилось чересчур скучным.

А между тем привыкшая к разнообразию графиня уже искала новую жертву и, разумеется, скоро нашла ее. Услужливые друзья постарались анонимно предупредить об этом Антонио. Он сразу не поверил; но и одного сомнения было достаточно, чтоб возбудить в нем ад, поднять все его страсти. Ему недолго пришлось находиться в неизвестности — он еще не успел придумать способа убедиться в измене графини, как она сама предложила ему отставку. Она не знала своего рыцаря. Она шутила и смеялась, но смех и шутка замерли на губах ее — одно мгновение и она плавала в крови своей, а Антонио с искаженным, безумным лицом, бледный, как смерть, спускался, шатаясь, с потайной лестницы, по которой он так часто крался, счастливый и блаженный... Он не помнил, как вскочил на своего привязанного в саду коня, как примчался домой. На другой день таинственная история убийства графини была у всех на устах. Антонио, придя в себя, не захотел явиться с повинной — он только казался

мрачным и задумчивым; многие его подозревали, но явных улик не было. Некоторые даже говорили, что убийцей был сам граф, убедившийся в неверности жены. Как бы то ни было, дело кончилось ничем — молодую женщину торжественно похоронили в фамильном склепе, а мрачный Антонио скоро неизвестно куда скрылся.

Его не мучило раскаяние: он как-то сумел потопить и любовь свою, и злобу в крови графини. Но тоска и скука томили его невыносимо. Общество, в котором он жил, жизнь, которую вел, опротивели ему. Нужно было покончить с ними, искать какое-нибудь новое существование, новую деятельность.

Он вспомнил одного человека, который когда-то произвел на него сильное впечатление. Человек этот был Диего Лайнец, генерал ордена иезуитов.

К нему решился идти Антонио, чтобы навсегда отказаться от прошлого и начать новую деятельность, которая привлекала его своей таинственностью и очевидным могущественным значением.

В одежде послушника явился блестящий

рыцарь перед генералом иезуитов. Он принес с собою все свое золото, все драгоценности и просил принять их в дар на нужды общества. Он умолял не выдавать его имени и дать ему какое-нибудь поручение вдали от тех мест, где его знали... Он клялся посвятить всю жизнь на службу Богу и ордену...

Проницательный Диего сразу увидел, с каким человеком имеет дело. Ему нужны были подобные люди. Но прежде необходимо было испытать Антонио. И Диего провел его через долгую школу испытаний.

И удивительная перемена произошла в Антонио. Он, бывало, не признававший ничьей воли, кроме собственной, привыкший к поклонениям и лести, превратился в самого почтительного и безответного исполнителя чужих приказаний. Его самолюбие и честолюбие получили совершенно новое направление — ему хотелось удивить отцов-иезуитов подвигами своего смирения.

Тоска и скука, от которых он бежал, замерли в нем. Он испытывал совсем новое, страстное наслаждение в самобичевании, в умерщвлении плоти, в фанатических грезах. Здоро-

вый и сильный, он мог вынести многое, но все же, когда через полгода он явился к Диего, строго исполнив свой искуc, генерал едва узнал его. Он был страшно худ, с углубившимися и лихорадочно блестящими глазами, с новым выражением в лице.

«Вот человек, какой нам нужен! — подумал Лайнец. — Он может сломить в себе все и ни перед чем не остановится, он не упадет духом и не изменит».

Генерал торжественно объявил Антонио, что из разряда достойных похвалы учеников (*sholastici approbati*) он переводит его, не в пример прочим, прямо в высшую степень «профессоров» или «исповедников», то есть деятельных, исполняющих важные поручения членов общества Иисуса. Он оставил его при себе, обращался с ним, как с другом, и скоро посвятил во все тайны иезуитства.

Перед Антонио открылось многое, чего он и не подозревал. Мало-помалу в беседах увлекательно-красноречивого Диего выяснилась обратная сторона действий ордена, давших ему в короткое время такую силу и значение, возбуждавших к нему страх и ненависть

большей части общества. Антонио увидел, что школа умерщвления плоти и беспрекословного послушания не только папе, но и воле ближайшего орденского начальства должна была привести человека не к высшему служению Богу, а имела единственной целью сделать из иезуита сильное орудие для достижения совершенно земных целей. Обращение народов в латинство, полное владычество «общества Иисуса» над умами и материальными средствами ближних — вот в чем состояла программа, поведенная Антонио генералом.

Но все, что в этой программе могло смутить совесть рыцаря, было совершенно сглажено тем влиянием, которое Диего уже получил над Антонио. Пламенные речи, блестящие софизмы, ловкие обещания могущества и власти в близком будущем сделали свое дело. Посвященный во все тайны, Антонио превратился в истинного, безукоризненного иезуита. Он с большим еще жаром и искренностью поклялся генералу быть верным слугой папе и отдать всю жизнь на благо ордена.

Перед ним заманчиво рисовалась благо-

дарная, увлекательная деятельность. Ему предстояло уловлять сердца не ловкостью и физической силой, не красотой и блеском, а силой разума; предстояло приходить к владычеству над людьми тайными, ловко перепутанными путями. Его самолюбию открывалась обильная пища.

Скоро ему представился случай испытать свои силы.

Он был послан миссионером в Бразилию и в течение трех лет присылал генералу ордена огромные списки новообращенных; кроме того, через него орден получил и значительные денежные средства. Антонио имел огромное влияние в местности, где действовал; беспрекословно и постоянно удачно исполнял он все приказания, высылаемые из Рима, и благосклонный Диего Лайнец обратил на его деятельность внимание папы. Решено было вызвать Антонио в Рим и поручить ему какое-нибудь важное дело, требующее осторожного и ловкого человека.

Антонио явился с апломбом испытанного и знающего себе цену деятеля. Он был дружелюбно встречен генералом и имел продолжи-

тельную аудиенцию у Пия V, который расстался с ним, благословив его на новый «подвиг».

«Подвиг» этот действительно был важен. Рим давно уже жадно следил за Польшей и Литвой. Оттуда начинали приходить все более и более тревожные известия. Необходимо было утвердить шатающееся латинство в Польше и сделать «схизматическую» Литву достоянием «истинной» церкви. Такое дело было только по плечу иезуитам. Но явиться сразу и действовать прямо они, разумеется, не хотели: им нужно было подготовить себе почву, очистить путь, заручиться такими сведениями, которые бы не допустили возможности ошибки.

Особенно в православной Литве, имевшей таких вождей, как князь Константин Острожский, нужно было хорошенько осмотреться и найти себе сторонников и учеников в среде влиятельных вельможных семейств русских.

А тут, как нарочно, представлялся самый удобный случай начать тайные, враждебные действия в самом центре литовского православия, в семье Острожских. Княгиня Беата,

верная дочь римской церкви, пожертвовавшая на католическую пропаганду значительные суммы, просила у папы духовника и руководителя по его личному выбору и с его благословения.

Папа избрал отца Антонио.

Мы видели, что иезуит ловко приступил к исполнению своей миссии. Он получил огромное влияние на княгиню Беату, он очаровал всех в замке. Он аккуратно посылал в Рим очень важные и интересные донесения. Кроме того, два старших сына князя Константина были в его руках. Мальчики очень боялись отца, и этот страх, основанный на его строгости и раздражительности, лишил их детской откровенности с ним. Князь, удрученный делами и заботами, не имел никакой возможности постоянно следить за детьми. Антонио стал пользоваться каждым удобным случаем перекинуться с ними несколькими словами и скоро так обворожил их своей добротой и участием, что они считали его своим лучшим другом. Он сумел внушить им уверенность, что для них лучше, если эта дружба останется втайне ото всех. И дети дорожили

этой тайной, свято хранили ее и мечтали о блаженной жизни мальчиков в той стране, откуда приехал их друг и куда они сами могут попасть, если будут умными и станут слушаться его советов. С каждым днем укреплялись эти тайные отношения. Иногда дети за неимением возможности увидеться с Антонио пересылали ему записочки, кладя их в дупло заранее условленного дерева в парке; они жаловались своему другу на притеснения и наказания, которым подвергались, и добрый друг всегда являлся их сторонником, осуждая тех, кто причинял им неприятности. Мало-помалу он развивал в мальчиках недовольство отцом, его строгостью...

А деятельный князь Константин, хоть и глядел на Антонио как на тайного врага, все же не замечал ничего, не подозревал, что этот тайный враг успешно отнимает у него сыновей, подготавливает в них, в князьях Острожских, отступников от православия...

Одно только никак не удавалось отцу Антонио. Ему не удавалось получить влияния над Гальшкой. Князь, уверенный в ее благочестии и искренности, насколько возможно

следивший за нею, дозволил Антонио давать ей уроки итальянского языка. Эти уроки не могли повредить ученице, но они вызывали ад в душе учителя. Отец Антонио, давно позабывший все соблазны мира, прошедший долгую и страшную школу лишений и умерщвления плоти, искренно отказавшийся от всего, чем когда-то полна была жизнь его, не устоял перед соблазном внешней и нравственной красоты княжны Елены и полюбил ее безумно, со всем жаром своей страстной природы, крепко подавленной, но не убитой силою воли.

Эта вторая любовь принесла монаху гораздо более тайных мучений, чем первая. Он ясно видел, что она безнадежна, что Гальшка не будет отвечать ему, что она смотрит на него как на учителя, как на монаха чуждого ей вероисповедания и как-то даже совсем не видит в нем мужчину. Это сознание было для него ужасным. Не прошло еще и шести лет с тех пор, как он был блестящим рыцарем, любимцем женщин... Неужели он с тех пор так страшно изменился? Да, он бледен, он худ, глаза его впали, манеры и обращение свет-

ского человека перешли в сдержанность и скромность служителя церкви... Но, Боже, разве молодость ушла навсегда, разве черная одежда положила на него несмываемую печать? Стерла все признаки былой красоты его?! Он замечал, как одна из хорошеньких паненок, приближенных княгини Беаты, смущалась и краснела, встречаясь с ним. Эту шляхтянку звали панна Зося, она была полька и католичка. Он исповедовал ее, потупив глаза, и говорил с ней только о религии... Но и из-под опущенных ресниц видел, как она, не отрываясь, смотрела на него, краснела и бледнела... Ее голос дрожал, грудь высоко поднималась. Однажды, не в силах будучи владеть собою, она залилась слезами, упала перед ним на колени и призналась ему в любви своей. Отец Антонио хорошо знал, что один параграф тайных иезуитских наставлений, составленных самим Диего Лайнецом, допускает делать все, приятное женщинам, преданным душою обществу Иисуса, только требует осторожности и избежания соблазна... Панна Зося была молода, красива; пользуясь благосклонностью не только Беаты, но

даже и Гальшки, она годилась для роли шпиона.

Но, полный страстной любви к Гальшке, он не пленялся красотой и слезами своей духовной дочери. Он ласково поднял ее и стал успокаивать... Он говорил ей, что нужно бороться с соблазнами, говорил увлекательно и долго... Тон его слов и их намеки не поощряли, но и не внушали безнадежности.

Молодая девушка ушла от него с твердым намерением не отгонять от себя соблазнов и в конце концов добиться любви прекрасного монаха...

И не одна панна Зося находила его прекрасным, он встречал немало поклонниц. Для них он и в черной одежде, говорящей об обете целомудрия и полного отречения от мира, не терял своей привлекательности, а даже напротив — манил к себе как плод запретный... Но Гальшка была слишком далека от подобных взглядов. Его наблюдательный ум верно выяснил ему ее характер. Она была еще таким чистым, невинным ребенком... И, однако, эта чистота чувства и помыслов являлась не единственным признаком крайней моло-

дости — она была присуща ее натуре, и победить ее вряд ли предстояла возможность. На все вещи Гальшка смотрела прямо. Если б она узнала, что кто-нибудь из ее сверстниц влюбится в отца Антонио, она бы глубоко изумилась возможности этого и, во всяком случае, признала бы такое чувство позорным для женщины и глубоко оскорбительным для Антонио. Он монах, он отказался от мира, торжественно принял обет безбрачия, полюбить как мужчину подобного человека — грех позорный и возмутительный. Если же бы она узнала, что он сам полюбил кого-нибудь, она почувствовала бы к нему презрение, сочла его осквернителем своего сана, недостойным носить его. Такой взгляд не был привит ей извне, она носила его в себе и изменить была не в состоянии.

Антонио хорошо понимал все это. У него бесповоротно отнято было право всякого мужчины добиваться любви горячо любимой им девушки. Он не смел ничем выказать ей своего чувства. Напротив, он должен был всячески скрывать его, глубоко хранить в себе, чтобы не заслужить ее презрения. Эти нежиз-

данные им обстоятельства, эта глухая, невыносимая борьба окончательно отравляли жизнь его.

А между тем он не желал смерти. Он не мог умереть с мыслью, что Гальшка достанется другому, что она будет любить, будет счастлива... Нет, если судьба так жестоко над ним посмеялась, если для него погибло все, пусть же и никто не прикоснется к его недостижимой святыне... Его тайные чувства сходились с целями пославшего его Лайнеца. Княжна Гальшка должна принадлежать только Богу, ее удел — монастырь...

Горькие мысли Антонио переходили в видения и галлюцинации. Ему являлась чудная красавица, окруженная блеском храма, облаками благоухающего ладана... Вот ее нежные пальцы касаются органа... раздаются дивные, божественные звуки... Ее чистый, невинный голос поет песнь Богу... «Святая Цецилия! Святая Цецилия!» — шепчет потрясенный монах, падая в изнеможении и обливаясь никому не ведомыми слезами...

И все свои силы напрягал Антонио, чтобы подействовать своим красноречием на душу

Гальшки, чтобы внушить ей сознание необходимости исповедовать одну веру с матерью, чтобы доказать истину и превосходство этой веры перед православием. Нужно было действовать хитро и осторожно, нужно было тщательно скрывать свои цели. Всякий сколько-нибудь прямой намек смущал Гальшку, она прерывала Антонио простым замечанием, что она православная.

Княгиня Беата тоже не могла помочь, и исполнение предписанного Лайнецом образа действий было невозможно. Княгиня и решилась бы, пожалуй, ввиду благой цели притеснять и мучить Гальшку, но князь Константин никогда бы не допустил этого. Следовательно, оставалось добиваться удаления Беаты и Гальшки из дома Острожского. Княгиня, несмотря на все влияние Антонио, еще не могла на это решиться. Однако в последнее время она уже стала колебаться. Иезуиту оставалось выждать случай, когда бы можно было приписать почин разрыва князю Константину и затем обставить дело так, чтобы князь, несмотря на все свое могущество и влияние, был не в силах удержать при себе

Елену...

Решением этого вопроса и занят был отец Антонио, когда его проницательный взгляд подметил зародившееся в Гальшке чувство к молодому князю Сангушко.

Ужас и отчаянная ревность наполнили сердце монаха. Он отдал бы все, он подверг бы свою душу вечным мучениям ада, чтобы только иметь возможность, как в былые дни, вскочить на коня и сразиться со счастливым князем. О, он убил бы его, он растоптал бы его конскими копытами...

И в то время, как эти отчаянные, безумные мысли вихрем клубились в голове его, как его грудь изнывала от боли, его бледное лицо не выражало ничего, кроме мрачного спокойствия.

Через час он уже овладел своей болью и решил действовать хладнокровно и обдуманно. Он уже начинал предвидеть, что ужасное обстоятельство, открытое им, может послужить к достижению его цели, к окончательному разрыву между князем Константином и Беатой.

Солнце закатилось за извивом реки Гарыни. Наступали прохладные и душистые сумерки. Пир князя Острожского был в самом разгаре. Зажигались яркие огни в замке, в цветниках и парке, приготавливалась роскошная иллюминация. Многочисленный итальянский оркестр князя под управлением талантливого маэстро Скорцо далеко оглашал безветренный и прозрачный воздух. Толпы разряженных мужчин и женщин двигались по парадным залам, выходили на террасу и рассыпались по дорожкам сада отдохнуть и освежиться в тени вековых деревьев.

Огромный белый замок со своей причудливой итальянской архитектурой, весь залитый светом, музыкой и движением, производил среди ясного весеннего вечера волшебное впечатление. Он казался заколдованным дворцом могучего чародея, созданным его служебными духами. Очарование не исчезло и при входе во внутренние покои. С обширной террасы, вымощенной драгоценной мозаикой, огромные резные двери вели в целую анфиладу залов, поражавших своей роскошной обстановкой. Главная зала, в два света и с

хорами, на которых помещался оркестр, была обтянута золотой парчой с ярко-малиновым по ней рисунком; пол был в ней мраморный, мозаичный; глубокий потолок, уходивший куполом, поражал причудливой лепной работой. Были залы, обитые бархатом, были небольшие покои для отдыха женщин, устланные дорогими коврами, сверкавшие вделанными в стены бесчисленными зеркалами венецианского изделия. Всюду мрамор, серебряные массивные вещи огромной стоимости. Обширные столовые с длинными, заставленными кушаньями и винами столами, со стенами, покрытыми до потолка серебряной фамильной посудой, выставленной на полках. Стоимость этой посуды равнялась многим сотням тысяч.

Много было в этот день званых, почетных гостей у князя Константина, но число их терялось в массе гостей незваных и непочетных, явившихся по обязанности и частью живших в зданиях, окружавших замок. Здесь можно было встретить сотни шляхтичей с семействами, живших милостями князя. Тут были офицеры, духовные, писатели. Большинство

из них имело при замке свои отдельные помещения, содержало свою прислугу, лошадей, экипажи. Кроме того, эти люди получали от князя жалованье в несколько тысяч и бесплатно арендовали у него фольварки. Еще больше было здесь шляхты, состоявшей на княжеском жалованье и обязанной являться в Острог по торжественным дням, а также сопровождать князя на сеймы.

У князя Константина был также свой почетный домашний караул, в котором числилось несколько сотен казаков, валахов, венгерской пехоты и немецких драгун. Около восьмисот молодых шляхтичей, пажей и паненок дополняли придворный штат замка, содержание которого поглощало половину громадных доходов князя Острожского, другая же половина отдавалась им на дело распространения и поддержания православия.

И вся эта масса разнообразного, разнохарактерного люда была теперь в сборе и предавалась чисто необузданному веселью. Бесчисленной прислуге то и дело приходилось выносить из столовых почетных гостей, слишком усердно оказавших честь сокровищам

княжеских погребов. Маршал то и дело отдавал своим помощникам приказания восстановить тишину то в одном, то в другом покое...

Подальше от толпы, от блестящей молодежи, окружавшей нарядных женщин, в укромном углу прохладной столовой собралось человек двадцать шляхтичей и военных. Тяжелые серебряные кубки то и дело наполнялись темным, душистым венгерским. Собеседники, очевидно, были увлечены равно для всех интересным разговором.

Между ними обращала на себя внимание толстая, несколько комичная фигура шляхтича Галынского, приближенного и любимца молодого князя Сангушки. Круглое добродушное лицо его было еще краснее обыкновенного; он молодецки закрутил свои бесконечные усы, сдвинул брови и сверкал глазами.

— Подумайте, люди православные, до чего у нас ноне доходить стало! — горячился он, стуча красным жирным кулаком по столу, так что густое вино колыхалось в стопах и кубках. — Что мы такое? Вольные люди или рабы короля польского? Что такое наша вера

святая, что отдадут ее на посмешище и позор великий? Только и слышишь, что король такой-то да такой-то монастырь отдал своему холопу, дьяку канцелярскому... А то и сами наши пастыри чинят всякие беззакония... И год от году все хуже да хуже. Сначала один волк был, львовский епископ Арсений, тот, что ограбил и в разор ввел монастырь Уневский, а теперь, прости Господи, почитай, каждый епископ, каждый архимандрит — зверь лютый и разоритель... Наедет этот епископ на монастырь, награбит все добро запасенное, да еще и гневом королевским стращает: вот, мол, пикните только, так отдадут вас пану польскому, тот с вас по семи шкур драть станет...

— Это точно, это так! — вмешался другой шляхтич. — И срам-то какой: духовенство православное так и лезет в Краков с жалобами друг на друга... Случилось мне недавно по делу пана моего милостивца съездить в Краков... Ну и навидался же я соблазнов... Эти пастыри наши духовные, столпы нашей веры, ругаются как псы, тайно задаривают дьяков королевских, ищут как бы извести друг

друга. Чего уж тут ждать путного — того и гляди, продадутся все не то папе римскому, не то немецкого монаха апостолом признают.

— А слышали? — робко и оглядываясь по сторонам заговорил какой-то маленький невзрачный старик. — Наша-то княгинюшка Слуцкая опять позабыла гнев королевский. Ну вот не может спокойно жить, да и только! Послала намедни грамоту Трифону Огольскому, своему наместнику. Так и пишет: ты, говорит, митрополита не бойся, не те времена, что прежде, король в мои дела не станет уж вступаться. Провинился в чем перед тобой поп — ты и суди его своей властью; в тюрьму, так и в тюрьму его — и то разрешаю. А если, говорит, муж на жену али там жена на мужа жалобу принесут, то ты жалобу ту выслушай, да и учини расправу, дозволяй и развод, коли нужно... Верите-ли, сам, своими вот этими глазами читал грамоту, ведь ее сочинял-то Матвей Петрович — друг мой и благоприятель...

И маленький старик обвел присутствовавших удивленными глазами.

— Дела, дела! — снова закричал Иван Пет-

рович Галынский, волнуясь и расстегивая на все пуговицы кафтан, в котором ему становилось чересчур тесно. — Дела! Как послушаешь, инда тошно становится... Но пуще всего беда нам от королевского права подаванья. Ну и статочное ли это дело — монастырь православный отдавать светскому, да зачастую еще и католику-ляху! Ведь это что ж такое! Ведь этому нужно конец положить на сейме... Неужто ж князь Константин Константинович допустит долее такое посрамление!

Никто не заметил, что сам хозяин стоял у двери и прислушивался к разговору.

— Думаю я, друг, как бы пресечь это зло, да много ли тут сделаешь, коли люди горазды стали по углам шептаться, а до дела дойдет, отмалчиваются, — сказал князь Константин, подходя к столу.

Собеседники вздрогнули от неожиданности, быстро и почтительно встали перед князем.

Галынский тщетно пробовал застегнуть кафтан и даже оторвал одну пуговицу.

Князь не обратил никакого внимания на признаки почтительного страха, возбужден-

ного его появлением.

Да вряд ли он их и заметил — он так давно привык встречать их повсюду.

Он продолжал:

— Мы уж немало толковали с митрополитом Ионой. Порешили так: для начала я молчать буду, а все возьмет на себя митрополит. Он готовит к королю много просьб и непременно представит на сейме убедительное прошение, чтобы власть духовную не отдавать людям светским... Если же король отдаст духовную должность светскому человеку и этот в течение трех месяцев не примет сан духовный, то дабы дано было право владыке отбирать от такого человека достоинства и хлеба духовные и отдавать их людям духовным. А вот король одумается и исполнит нашу просьбу. Ну а нет, так придется действовать иначе... Радуюсь, друзья мои, видя, что вам близки дела эти, только будьте тверды, не забывайте, что дело церкви Божьей — прежде всего, прежде всех дел человеческих. А это теперь совсем стали забывать православные люди. Много зла не от нас, но главное зло — от нас, в душах наших пустило оно свои кор-

ни... Зло тяжелое и истинная гибель наша — оскудение в нас веры и благочестия...

И князь, грустно опустив голову, прошел дальше.

Он подходил то к одной, то к другой кучке. Здесь и там бросал свое слово, прислушивался к разговорам, подмечал господствовавшее настроение перед открывавшимся в скором времени сеймом, наблюдал за своими гостями.

Эти наблюдения были далеко не утешительны.

Разговоров о делах настоятельных и важных было слышно мало. Передавались сплетни, хвастались и лгали безбожно, втихомолку посмеивались друг над другом; иные гости едва ворочали языком и тупо глядели помутившимися от вина глазами.

Женщины кокетничали напропалую. Летали страстные взгляды, намеки. Здесь и там, среди шума и движения толпы внимательный взгляд мог заметить то робкие, то страстные пожатия рук, чуткое ухо могло подслушать любовные признания, многие тайны обманутых мужей и жен, зарождение семейных

драм и скандалов...

Мы знаем из достоверных свидетельств современников печальные подробности литовской общественной жизни того времени. Мы знаем, что на роскошных пирах и балах вельмож литовских царствовали уже самые испорченные нравы, что женщины высшего общества, по словам одного летописца, соперничали не в добродетелях, а в бесстыдстве. Девушка вельможного рода, жена знаменитого князя, часто втихомолку заводила интриги с ничтожными шляхтичами, услужниками своих отцов и мужей. Это было дело вовсе не понятий о равноправности всех сословий, не протест против кастовых взглядов — литовская женщина XVI века была чрезвычайно мало развита и образованна — это было дело необыкновенной испорченности нравов, отсутствия всяких твердых правил. Цинизм проглядывал не только в поступках, но даже и в речах. Женщины перестали стыдиться и отказались от всякой хотя бы чисто внешней скромности...

В огромном золотом зале замка танцевали бесчисленные пары. Неутомимый оркестр пе-

реходил от одной мелодии к другой, от одного темпа к другому. Здесь оживление достигало своего высшего предела. Одно за другим быстро мелькали разгоряченные лица. Молодые женщины и девушки были буквально залиты драгоценными камнями, сияли дорогими причудливыми нарядами. Летучие фразы, остроты, насмешки, улыбки и откровенный смех перекрещивались в общем вихре.

Хорошенький Федя из свиты Сангушки танцевал с панной Зосей. К нему так шли его витый золотом кафтан и маленькие пушистые усики, оттенявшие румяные губы. Она была тоже очень красива с длинными косами, переплетенными жемчугом, со своими черными выразительными глазами. Оба они были так молоды, так полны жизни... Они крепко держались за руки, были так близко друг к другу... Им ли не наслаждаться этим быстрым, увлекательным танцем, этими влюбленными звуками нежной итальянской музыки, им ли не глядеть в глаза друг другу и читать в них первые строки зарождающейся страсти...

А между тем и хорошенький, статный Фе-

дя, и хорошенькая Зося были рассеяны и только из приличия едва перекидывались несколькими фразами. Зося глядела по сторонам, не мелькнет ли где черная, высокая фигура бледного человека. Несмотря на всю свою молодость, она сегодня не могла наслаждаться балом, она даже не замечала весь день обращенных на нее влюбленных взглядов более чем десятка красивой молодежи, не слушала самых лестных комплиментов. Ей хотелось уйти из этих залов в самую глубь покоев княгини Беаты, в тихую каплицу, где, одетая в белое атласное платье, с длинным шлейфом, с золотою маленькою короною в волосах, стояла точенная из дерева, раскрашенная статуя Мадонны. Ей хотелось у ног этой статуи слушать тихие речи прекрасного исповедника, чувствовать его тонкую руку на голове своей... Ее страсть к Антонио разгоралась все сильнее и сильнее... Федя тоже следил за кем-то, за далекой светлой фигурой, от которой весь день не мог он отвести своих глаз и своего сердца.

Эта светлая фигура, эта царица праздника, чудная княжна Гальшка, теперь танцевала в

стороне с князем Дмитрием Андреевичем Сангушко. Весь день она была предметом всеобщего внимания и восторга. Вокруг нее образовалась блестящая свита самых красивых и знатных девушек, приехавших из литовских и польских замков. Но вся их красота, молодость и свежесть совершенно терялись перед ее неслыханной красотой. Она возбуждала зависть, но в то же время влекла к себе neodолимо. Ее обращение со сверстницами было полно искренней доброты и ласки.

Знатные и богатые молодые поляки, несмотря на свою тайную ненависть к князю Константину Острожскому, собрались из Кракова в его замок, забыли придворных красавиц и, не отрываясь, следили жадными глазами за Гальшкой. Все они бессовестно льстили князю Константину, прикидывались друзьями русской национальности и воображали, что могут обмануть его.

Но больше всех льстил, больше всех лгал, больше всех увивался за Гальшкой граф Гурко, воевода познанский, поляк и лютеранин. Это был человек еще молодой, но невзрачный с виду, с темнокожим, усеянным веснушками

лицом, с зеленоватыми глазами, с черной, жесткой, как войлок, подстриженной щетиной волос. Он давно приглядывал себе подходящую невесту. Его безалаберное управление своими поместьями, неслыханные жестокости с крестьянами, от которых они приходили в крайнюю нищету и массами бежали в непроходимые дебри Полесья, мало-помалу сильно расстроили дела его. У него были большие связи в Кракове, за него стояли Радзивиллы, ему сродни приходились многие польские магнаты. Он добился назначения познанским воеводой и тотчас же приступил к системе всевозможных лихоимств и вымогательств; говорили даже, что он не стыдился входить в сделки с жидами. Но и это еще не могло дать ему таких средств, о которых мечтал он.

И вот вельможный граф Гурко решился искать невесты, которая бы обладала огромным состоянием. Он уже давно наметил Гальшку и твердо решился добиться руки ее. Разумеется, он не мог не видеть всей красоты ее, он сознавал всю ее прелесть; но холодное его сердце молчало. Ему были нужны только деньги

и деньги; он даже заранее рассчитывал, что и из красоты Гальшки можно будет извлечь многие выгоды при изнеженном, сластолюбивом Сигизмунде-Августе. Теперь он преследовал Гальшку своими довольно пошлыми любезностями и хвастливыми рассказами, правдивость которых даже для самого наивного слушателя представлялась весьма сомнительной. Он притворялся безумно влюбленным и в то же время выслеживал, нельзя ли кого-нибудь подкупить в интересе затеваемого им дела.

Он не мог себе представить ни одного предприятия без подкупа.

Не в натуре Гальшки было кого-либо ненавидеть — она ко всем обращалась с одинаковой добротой. Но граф Гурко был ей инстинктивно противен. И она никак не могла победить в себе этого чувства.

Другим явным искателем ее руки был родственник Острожских, князь Олелькович-Слуцкий, один из знатнейших вельмож литовских. Он представлял собой совершенную противоположность Гурке.

Это был высокий, толстый увалень лет

тридцати пяти, с бесцветным и добродушным лицом, не обличавшим особенных умственных способностей. Он чистосердечно был влюблен в Гальшку и даже говорил об этом с князем Константином. Тот дал ему ответ очень уклончивый, сказал, что не станет вмешиваться в это дело и вполне предоставляет выбор самой Гальшке. Князь Константин не мог ничего иметь против ближайшего родства с Олельковичами-Слуцкими. Такая партия даже и для Елены была прекрасной. К тому же князь Слуцкий оставался верен православию. Но он был слишком безличен, слишком недалек, и не о таком женихе мечтал Константин Острожский для своей любимой племянницы.

Тут же в числе гостей находился еще один горячий поклонник Гальшки, богатый польский пан Зборовский, храбрый рубака и кутила, весельчак и говорун. Но он хорошо сознавал, что, несмотря на все свое богатство, все же он недостаточно знатен, чтобы смело явиться искателем руки княжны Острожской. Его не без основания пугала возможность отказа со стороны ее родственников. А потому

он и решился действовать прямо на Гальшку, покорить ее своею удалью, своими веселыми шутками.

Расчет его, однако, был неверен. Гальшка слушала его, иногда только слабо улыбаясь, и то из приличия и чтоб не обидеть самолюбивого пана...

Гальшка весь день была в сильно возбужденном состоянии, чего с ней прежде никогда не случалось. Ей было скучно среди многочисленных смелых и робких поклонников. Она рассеянно слушала болтовню подруг... Но только подходил Сангушко — и сердце ее начинало усиленно биться, и не могла она одолеть волнения. К вечеру между ними установилось безмолвное общение, они видели в толпе только друг друга и при всякой возможности оказывались рядом.

Теперь они танцевали вместе.

Они остановились, переводя горячее дыхание, и пропускали мимо себя несущиеся пары.

Музыка то замирала, почти обрываясь, то вдруг новые страстные звуки рождались на месте прежних и лились с хоров, возбуждая

усиленную быстроту в танцующих.

Гальшке начинало казаться, что она несется куда-то, в каком-то безбрежном, блестящем пространстве... А, между тем Сангушко тихо говорил ей, указывая в окна:

— Взгляни, княжна, уж разноцветные фонари горят в саду, там прохладно, сегодня такой славный, душистый вечер в честь твоего Ангела... А здесь стало жарко и душно, голова кружится от этой толкотни и шума... Не сойти ли нам в сад, освежиться немного?..

VII

В цветнике и по аллеям сада была зажжена блестящая иллюминация. Разноцветные фонари, узорчатые щиты с замысловатыми девизами сверкали и переливались огнями. Высоко били фонтаны. Толпы гуляющих теснились на площадке перед замком, откуда была видна внутренность золотого зала. Здесь многочисленная прислуга разносила воды и всевозможные прохладительные напитки. Несколько пар удалились в потемневшую глубь парка.

Гальшка повела Сангушку к своему любимому маленькому гроту, едва заметному

сквозь густо разросшиеся ветки сирени.

В гроте были поставлены две мраморные скамейки. В глубине его из пасти каменного дракона сочились струйки прозрачной ключевой воды, стекавшие в большую вазу, сделанную в виде раковины. Здесь было прохладно и в самый жаркий полдень. Теперь же замечалась значительная сырость.

Но молодые люди были слишком далеки от подобных наблюдений. Гальшка оставила руку князя и опустилась на холодный мрамор скамьи. Она не могла дать себе отчета в своих ощущениях, но ей почему-то становилось страшно. Она предчувствовала, что наверное и сейчас должно совершиться что-то такое неизбежное и огромное своим значением. И эта уверенность подавляла ее, наполняла ужасом и каким-то восторгом. Она чувствовала себя слабой и дрожала, голова ее кружилась.

Один только фонарь бледно-розового цвета освещал внутренность грота.

Прелестное лицо Гальшки, мгновенно побледневшее, казалось еще прелестнее в тихом полусвете.

Сангушко безумными, восторженными глазами глядел на нее и не мог оторваться.

Он хотел говорить, хотел высказать ей все, но мысли его путались, язык не слушался.

Без слов упал он перед ней на колени...

— Гальшка! Дорогая! Когда бы ты только могла знать, как я люблю тебя! — вырвалось наконец из груди его.

Она приподнялась было, но не смогла и неподвижно сидела — только ее грудь высоко поднималась.

Как будто молния ударила в нее... Потом наступило затишье... Потом вдруг прилив бесконечного блаженства наполнил ее душу. Она не могла вместить в себе этого блаженства, оно сдавливало ей дыхание, оно поднималось все выше и выше и разрешилось потоком слез, неудержимых и счастливых...

Сангушко с испугом взглянул на нее.

— Ты плачешь?! Я оскорбил тебя?! — Он взял ее похолодевшие, дрожавшие руки, он покрыл их поцелуями: она не сопротивлялась, а тихие слезы все лились по щекам ее.

— Не плачь, успокойся... Скажи мне, любишь ли ты меня? Скажи мне, моя ненагляд-

ная красавица, — шептал князь, сознавая свое счастье, но все же еще боясь потерять его.

— Люблю...

Гальшка сама не знала, как сказалось это слово. Оно вырвалось у нее бессознательно, помимо ее воли.

И тут она сразу поняла все, она поняла, что действительно любит его, что эта любовь и есть то счастье, выше которого нет на свете.

Он кинулся к ней. Он обнял ее. Она припала к нему на плечо и не нашла в себе силы сопротивляться его поцелуям.

Прилив так быстро пришедшего, такого полного счастья на несколько мгновений оторвал их от действительности. Они не могли понять, где они и что с ними. Первым очнулся Сангушко. Ему показалось, что он проснулся после какого-то чудного, волшебного сна. Но и пробуждение было чудно, так же блаженно.

Гальшка уже не плакала. Обессиленная и счастливая, она неподвижно сидела, прижавшись к плечу его, погруженная как будто в дремоту.

Сангушко начинал мало-помалу соображать, что эти минуты в полутемном гроте с тихо журчащей струйкой воды не могут продолжаться. Того и гляди, войдет кто-нибудь из гостей. Исчезновение Гальшки из зала, наверное, было всеми замечено, наверное, ее уже ищут, и их продолжительное отсутствие, прогулка вдвоем Бог знает где сейчас же возбудят сплетни и, во всяком случае, покажутся неприличными.

Нужно как можно скорее вернуться в зал.

Нужно показаться совсем спокойными. Нужно притворяться, тщательно скрывать ото всех свое счастье...

Это притворство, это скрывание казались ему тяжелы невыносимо. Уходить от Гальшки, оставлять ее, не глядеть на нее, говорить с другими — да разве это возможно! Он решил сейчас же помимо всех приличий и обычаев переговорить с князем Константином Константиновичем, сказать ему все и просить у него руку Гальшки. К тому же казалось, что он будет спокойнее, когда все станет известно князю Константину, в согласии которого он не сомневался.

Нужно идти. Ему хотелось еще раз обнять Гальшку, но какое-то инстинктивное чувство остановило его. Он уже владел собою, и всякая горячая ласка теперь, в этой обстановке, когда еще ни Острожский, ни княгиня Беата ничего не знают, казалась ему профанацией его чистого, благоговейного отношения к невесте.

Он нежно отстранил Гальшку и поднялся с места.

Она тоже очнулась. Она в смущении взглянула на него и зарделась ярким румянцем.

— Князь... Дмитрий Андреевич... это правда?! — прошептала она.

— Пойдем, моя дорогая... Успокойся... Я отыщу князя Константина, я скажу ему, что ты хочешь быть моей женой. Ведь да? Ведь ты согласна?

— Дядя! Да, иди к нему, скажи ему... Скажи ему, что я люблю тебя... Мне самой к нему хочется... он так любит меня, он так будет рад за меня. Я его знаю, моего дорогого, доброго дядю. Но теперь, сейчас — этот шум, эти гости — я бы убежала от них подальше...

Они сделали шаг к выходу из грота. Перед

ними бледный, смущенный, с отчаянным и виноватым выражением в лице стоял Федя. Он кончил свой танец с Зосей. Он всюду искал глазами Гальшку и нигде ее не видел. Рассеянно спустился он в сад, ушел от толпы и нечаянно набрел на маленький грот. Он слышал последнюю фразу Гальшки, видел ее со своим князем, видел, как они смотрели друг на друга, и вдруг как будто что ударило его в сердце — он понял все. Он понял, что чуждые друг другу люди никогда так не смотрят в глаза один другому...

Еще день, один только день тому назад, он бы всей своей преданной душой радовался за горячо любимого покровителя. Отчего же теперь не радость, а тоска смертная охватила его, и он вдруг почувствовал себя самым несчастным, самым погибшим человеком?..

А между тем князь и Гальшка, узнав его, успокоительно переглянулись. Сангушко еще незадолго до этого указал ей Федю в зале и рассказал про него.

Она улыбнулась юноше своей чудной улыбкой.

— Я знаю тебя, Федя, — сказала она. — Я

очень рада тебя видеть. Князь рассказывал мне, как ты его любишь и как ты спас его в Сорочах.

Федя молчал. Он был не в силах говорить в эту минуту. Ему показалось, что его грудь разрывается на части.

Гальшка слышала чьи-то приближавшиеся шаги. Она пугливо прислушалась и, не отдавая себе отчета в своих действиях, быстро повернула к крутому извику садовой дорожки.

С другой стороны показалось несколько человек гостей, весело и громко болтавших. Они узнали князя Сангушко и, почтительно обойдя его, прошли мимо.

Князь и Федя были одни.

— Федя, что с тобою? — спросил князь, ласково кладя свою руку на плечо юноши. — Отчего ты так смущен? Отчего ты не глядишь на меня? Ты что-нибудь слышал — говори!

— Да, я тебя знаю, негодный! — еще ласковее в обаянии своего счастья, в страстном желании поделиться им с близким человеком продолжал князь. — Ну, уж не хочу на тебя сердиться. Слушай — я тебе первому пове-

даю... Слушай... Я женюсь скоро, княжна Елена — моя невеста... Только тише... До поры до времени ни гу-гу... никому; как есть никому — понимаешь?.. Ну, что же ты меня не поздравляешь?.. Разве ты не рад? Обними же меня, мой добрый мальчик. — Федя бросился на шею князя и неудержимо, как малый ребенок, залился горькими, отчаянными слезами. Удивленный Сангушко не знал, что и подумать. Он постарался его успокоить и спешил в замок разыскивать в толпе князя Константина. В другое время он очень заинтересовался бы слезами Феде, которого знал за далеко не слезливого юношу; он, может быть, даже отгадал бы истинную причину этих слез. Но теперь он был до того поглощен своим счастьем, что весь мир не существовал для него. Через минуту он уже и не думал о слезах Феде, совсем даже забыл их.

Пир продолжался. В просторных столовых делались приготовления к обильному ужину. Группы мужчин, не принимавших участия в танцах, с покрасневшими лицами и расстегнутыми кафтанами весело и шумно болтали и в то же время с явным любопытством

и нетерпением посматривали в двери, откуда нарядная прислуга вносила кушанья и вина.

Князь Константин, уставший и недовольный своими наблюдениями, окруженный влиятельными магнатами, толковал о предстоящем сейме. Порою он недоверчиво взглядывал на графа Гурку, который был тут же и почтительно выслушивал князя, каждую его фразу сопровождал одобрительным кивком головы или льстивым восклицанием.

Сангушко, долго искавший хозяина, обрадовался, заметив его, и тотчас подошел к говорившим. Речь шла о предмете, близком его сердцу и до сих пор его чрезвычайно волновавшем. Еще на днях он решил, что нужно серьезно и обстоятельно переговорить с князем Острожским о делах литовских, действовать с ним заодно и руководиться его советами. Он вспомнил, что хотел сообщить князю о своем решении учредить в многолюдных Сорочах, бывших его любимой резиденцией, русскую школу, а если можно, то и типографию: хотел просить князя помочь ему в выборе учителей для этой школы и указать мастеров типографского дела...

Он и теперь постарался вслушаться в разговор, в горячие доводы князя Константина. Но он был удивительно рассеян и даже едва ответил на какой-то вопрос, ему предложенный. Ему вдруг показалось, что все эти дела, такие существенные и настоятельные, теряют для него свое прежнее значение. У него было только одно теперь дело, и от успеха этого дела зависела вся дальнейшая жизнь его.

Он улучил удобное мгновение и шепнул князю Константину, что ему нужно поговорить с ним наедине и немедленно.

Князь с удивлением взглянул на Сангушку. Что за дело такое? Лицо крестника выказывало все признаки сильного волнения. И он, воспользовавшись первой возможностью прервать разговор, положил свою руку на плечо Сангушки и вышел с ним из комнаты.

Они прошли целую анфиладу освещенных и людных покоев и вышли на слабо озаренную матовым фонарем веранду. Тут никого не было.

— Ну говори, что такое вдруг так загорелось? — с недоумением спросил Острожский.

Князь Дмитрий Андреевич не знал, как и начать. Это объяснение несколько минут тому назад казалось ему таким простым, легким. Теперь же вдруг появилась мысль о возможности отказа со стороны князя Константина. К тому же его строгое и вдобавок еще утомленное и недовольное лицо не располагало к нежной откровенности.

— Да не мямли ты, ради Христа, крестник! — раздражительно торопил князь. — С утра уж я замечаю, что с тобой неладное что-то, — ну так и говори все прямо и по ряду...

Сангушко тряхнул кудрями и открыто взглянул в глаза крестному. Чего ему было, в самом деле, робеть этого грозного человека, перед которым все трепещут? Он пришел не за худым делом. Он пришел за своим счастьем, на которое имел полное право.

— Князь, — сказал он, — не откажи мне в своем благословении. Я и княжна Елена любим друг друга...

Константин Константинович никак не ожидал такого объяснения. Оно отвечало его душевным желаниям, но его, как человека старых нравов и обычаев, невольно смутила

его форма. Он сдвинул свои густые брови:

— А ты как это знаешь, что Гальшка тебя любит? Видно, отец учил, да мало... Вот какое нынче время! Литовским князьям трудно и посвататься по дедовскому обычаю! Они теперь плевать хотят на опекунов и родителей... Им с руки смеяться над стыдом и честью девичьей...

Сангушко весь вспыхнул. Гнев подступал ему к сердцу и душил его.

— Замолчи, князь, замолчи, ради Бога! — вскричал он, хватая за руку Острожского. — Тебе, как отцу крестному, как другу отца моего, я позволяю бранить меня сколько душе твоей угодно. Но оскорблять меня я и тебе не позволю.

— А меня оскорблять, оскорблять мою племянницу ты можешь? — сдержанно проговорил князь, тоже краснея.

— Я люблю Гальшку, я жизнь готов отдать за нее — где же тут оскорбление?

— А вот где, — еще сдержаннее продолжал князь Константин Константинович. — До сих пор мы, литвины, пуце глазу берегли честь и стыдливость дочерей наших. Снаряжая неве-

сту под венец, мы знали, что она войдет в дом мужа непорочною даже в своих помыслах, сохраненною от всяких соблазнов. Человек, честно искавший руки нашей дочери, приходил к нам за согласием, и если мы давали его, то он лишь тогда сближался с невестой, да и то на глазах наших. Брак — дело Божие, и к нему надо относиться свято, надо в чистоте душевной приступать к великому таинству. Постой, не перебивай меня... Вот ты говоришь, что Гальшка тебя любит. Значит, ты сам говорил с ней о любви, сам смущал ее, просил ответить. Тебе и не жалко было ее чистоты и невинности!

Да взгляни на нее — ведь она еще почти ребенок. Она доверчиво тебе ответила... И поверю ли я, что за этот ответ, если только была возможность, если кругом никого не было, ты не поцеловал ее?.. Ну, а если я, ну, а если ее мать, у которой над нею больше прав, чем у меня, не захочет ее отдать за тебя? Если сама Гальшка поплачет да и успокоится, и поймет, что ошиблась в себе, — ведь она тогда всю жизнь не смоет с себя твоего поцелуя...

Сангушко сам был воспитан в подобных

взглядах, и они не показались ему ложными.

— Прости меня, князь, — сказал он, — быть может, я точно не прав; но уж дурного умысла во мне не было. Я просто не мог разбирать, не мог владеть собою... Да и то скажу тебе: мой поцелуй не опозорит Гальшки — я твердо верю, сердце говорит мне, что ни мне, ни ей не идти под венец с другими...

— А коли так, зачем же ты и пришел ко мне? — все еще с суровой миной, но уже внутренне смягчаясь, заметил князь. — Ну и решайте промеж себя все дело — пожалуй, хоть на свадьбу не зовите...

Сангушко понял, что гроза миновала.

— Преложи гнев на милость! — радостно улыбаясь, протянул он к князю руки.

— Что уж с тобой делать — теперь некому на тебя жаловаться, — просветлев взором и обнимая его, сказал Острожский. — А уж покойник батюшка задал бы тебе гонку. Только вот что я скажу тебе, крестник. Гальшка мне как дочь родная, и расстаться мне с ней трудно; но уж, коли отдавать ее кому, так, по крайности, своему православному литвину. Я твоему делу противиться не стану... Но ведь я

не отец ей... Иди, говори с матерью...

В тоне этих последних слов Сангушке слышалось что-то, что заставило его тревожно вздрогнуть.

— Князь, скажи мне по душе, — быстро спросил он, — неужели мне нужно бояться отказа княгини Беаты Андреевны? Я ее так мало знаю, да кто ее, кроме тебя, и знает хорошенько...

— И я ее не лучше других знаю, — мрачно проговорил князь. — Не она откажет, так, пожалуй, ее духовник, это черное римское пугало, застращает ее муками ада... Чай, норовят Гальшку за католика выдать, а то и в монастырь упрятать... Ну, да уж, коли на то пошло, так мы еще посмотрим, чья возьмет... Завтра утром я сам буду говорить с княгиней. А ты пока молчи да веди себя, как подобает мужу, а не бабе.

Уверенный и решительный тон Острожского успокоил молодого человека. Ему хотелось горячо обнять и поблагодарить отца крестного. Но князь не любил излишних нежностей — он сдержал его порыв, и они молча вернулись в парадные покои замка.

Сангушко бросился отыскивать Гальшку, но ее нигде не было. Танцы кончились. Вереницы гостей парами проходили в столовые.

— Куда же это делась красавица Гальшка — ее не видно! — говорил один из гостей своей нарядной и утомленной даме.

— Ваша красавица вдруг почувствовала себя нездоровой и ушла спать. Как вы думаете, что должно скрываться под этим нездоровьем? — не без ядовитости спросила дама.

— Я думаю, ничего, просто усталость.

— А я так этого не думаю. Тут непременно что-нибудь да есть. Святая да святая — все только и знают. А я своими глазами видела, как эта святая мелькнула в темную аллею рука в руку с молодым князем Сангушко. А теперь вдруг это нездоровье...

И нарядная дама выразительно подмигнула.

Сангушко все слышал. Ему хотелось растерзать эту женщину, которая представилась ему отвратительной фурией. Он едва сдержал себя, едва сообразил, что всякое его слово, всякое движение с его стороны только повредят Гальшке. На его счастье, спутник наблюда-

тельной гостью молчал и этим помог ему вовремя остановиться.

— Подлые, грязные люди! — думал он. — Да, князь Константин прав был, когда бранил меня за мой поступок. Но, с Божьей помощью, скоро я буду прямым и законным защитником моей Гальшки.

VIII

Тихо теплились лампы в каплице княгини Беаты. Прямо перед входом стояла фигура Богоматери с розовым лицом, в золотой короне и белом атласном платье. На возвышенном мраморном пьедестале и кругом, по ковру, были разбросаны венки и букеты свежих и душистых цветов. У маленького, открытого и блестящего драгоценной парчой алтаря из резной серебряной курильницы медленно и едва заметно уносилась вверх ароматная струйка дыма. Странное и таинственное впечатление производила каплица в мягком полусумраке лампад. Последние краски догоравшего вечера едва проникали в темные расписные витрины. Несмотря на точенное из слоновой кости распятие, поставленное на алтаре и теперь едва видневшееся

из-за пышных гирлянд и букетов, трудно было вообразить себя в христианской молельне. Каплица княгини скорее походила на языческую божницу, посвященную какой-нибудь богине.

Особенно неприятно поражала фигура, стоявшая на пьедестале и составлявшая гордость княгини Беаты. Это была присланная ей из Италии кукла, почти в рост человеческий, необыкновенно искусно вылепленная из какой-то плотной массы, художественно раскрашенная со всеми оттенками человеческой кожи.

Из-под длинных, полуопущенных ресниц глядели стеклянные глаза своим неподвижным взглядом. Настоящие пепельного цвета и удивительной длины волосы просвечивали сквозь легкую ткань покрывала. Белое с огромным шлейфом платье, сшитое самой княгиней, было богато отделано золотым кружевом и сверкало драгоценными камнями. Лицо было нежной, идеальной красоты, с несколько бледными и полуоткрытыми губами. В полусумраке эта фигура казалась призраком. При свете дня всякий посторонний

непременно принял бы ее за покойницу, роскошно убранную и кощунственно поставленную на пьедестал. Первым и невольным движением каждого было отшатнуться от этой фигуры с чувством ужаса и жалости. Самая красота лица, самая художественность работы усиливали сходство с мертвецом...

И эта страшная кукла называлась Богородицей, и княгиня Беата гордилась ею и не замечала ее святотатственного безобразия. Князь Константин как-то вошел в каплицу, увидел куклу и тотчас же вышел вон, полный негодования.

Еще далекие звуки музыки слабо доносились с противоположной стороны замка. Уже более часа как княгиня Беата скрылась из зала и удалилась на свою половину. Она прямо прошла в каплицу, опустилась на мягкие подушки и стала горячо молиться. Ее щеки пылали, во всех чертах видно было возбуждение. Молитва не успокаивала, да и как могла успокоить ее молитва? Она молилась какому-то Богу злобы и мести, она призывала его гнев и кару на этот пир еретиков и схизматиков, один вид которых возбуждал в ней ненависть.

висть. Она во весь день не заметила ничего особенного между Гальшкой и Сангушкой; но верила наблюдательности Антонио и теперь посылала все проклятия на голову молодого князя.

Если уж должен совершиться этот ненавистный брак, пусть лучше погибнет дочь — и ей начинало казаться, что дочь недостойна любви ее, что она ее враг и мучитель. Ее сердце разгоралось все больше, в голову стучало; члены онемели в коленопреклоненной позе... Подняв свою похолодевшую руку, она била себя в грудь, обливаясь слезами. С ней начался нервный припадок.

В это время она услышала за собой шаги. В каплицу входил Антонио. Она с трудом поднялась с колен и бросилась ему навстречу.

Он стоял спокойный и холодный, только губы его едва заметно дрожали.

— Отец мой, что нового? Не случилось ли еще чего? — страшно волнуясь, заговорила княгиня.

— Нового много, — тихо ответил Антонио. — Я все время следил за княжною, и все ее поступки подтверждали мою догадку. С

полчаса тому назад она танцевала с князем Сангушко... Они вышли в сад... Я последовал за ними... Вы знаете любимый грот княжны... с каменным драконом... Там, в этом гроте...

Антонио остановился. Казалось, что-то сдавило ему дыхание. Во рту у него было сухо, язык не слушался. Княгиня смотрела на него с ужасом.

— Там... они признались в любви друг другу... — наконец прошептал он.

Он прислонился к стене... его ноги подкашивались.

— Боже мой! — вскрикнула княгиня, обливаясь слезами.

Она не могла думать и соображать в эту минуту. Ей показалось, что случилось худшее и уже непоправимое.

Антонио спешил ее успокоить. Его собственного волнения как не бывало. Проговорив страшную для себя фразу, звуки которой терзали его, он уже снова овладел собою.

— Разве я для того сказал вам это, чтобы вы пришли в отчаяние и поддались слабости? Именно теперь вам нужно быть как можно более спокойной и твердой. Особенно дурного

еще ничего нет. Напротив, чем кажется хуже, тем лучше. Теперь пора действовать, пора показать вам князю Константину, что вы не раба его, что у вас есть своя воля и что вы никому не позволите распоряжаться судьбой вашей дочери.

— Нет, теперь кончено! — вся волнуясь и останавливая свои слезы, заговорила княгиня. — Я слишком долго терпела... я постою за себя...

— Тем более что все права на вашей стороне. Помните это. Но я все же боюсь... Мне иногда кажется, что князь Константин опутал вас какими-то чарами... Я боюсь, что вы даже в таком решительном деле не успеете поставить на своем и уступите. Но знайте, что если теперь уступите, если отдадите княжну за схизматика, то, мало того что это будет вечная гибель ее души, это будет смертный грех на вас самих, и его вы ничем и никогда не замолите. Бог не простит этого... Святой отец отвернется от вас... И я сам прощусь с вами!

Последние слова он произнес громко и торжественно, как судья и прорицатель.

Княгиня снова опустилась на подушки перед статуей:

— Матерь Божия пошлет мне силы... Она внимлет моей молитве... Она спасет мою душу...

— Клянитесь же не уступать, клянитесь разорвать опутавшие вас оковы... Клянитесь в случае упорства князя и его самовольности немедленно уехать и увезти с собою княжну. Вы явитесь к королю в Краков. Он заступится за оскорбленную мать... он не даст вас в обиду... Клянитесь!..

— Клянусь Господом Иисусом и Пречистой Девой Марией! — торжественно и набожно произнесла Беата, крестясь и целуя конец платья мадонны.

Это была жалкая сцена. Но главный актер ее знал, что делал.

— Амен! — воскликнул он.

И вдруг он вздрогнул, вспомнив что-то забытое им и очень важное.

— Но знайте, княгиня, — внушительно сказал он, — что дочь ваша не должна подозревать моего участия в этом деле. Ее не следует вооружать против меня. Напротив, пусть она

видит во мне друга... До сих пор она избегала бесед со мною. Теперь мне нужно получить возможность заслужить ее доверие, и только при этом доверии я сумею раскрыть ее сердце и разум к принятию истины. Понимаете вы меня, княгиня?

— Да, вы правы, отец мой, я ничего не скажу ей о том, что вы следили за нею. Она сама мне во всем признается, а если и не признается, так ведь не сейчас же ее обвенчают, ведь придут же за моим согласием хоть для виду...

Отец Антонио убедился, что княгиня настроена как следует и что с этой стороны опасаться нечего. Разумеется, он все же будет следить за каждым ее шагом, будет подливать масла в огонь, если надо.

Он простился с Беатой и ушел к себе, в свою скромную, чисто монашескую келью, помещавшуюся в одной из башен замка. Он почувствовал себя утомленным и взволнованным, ему нужно было отдохнуть и осмотреться...

Княгиня не ошиблась, предположив, что дочь сама к ней придет и все скажет. Вернувшись в зал, молодая девушка тщетно стара-

лась казаться спокойной. Молодежь то и дело подходила к ней, приглашая на танцы. Со всех сторон ее снова обступила толпа мужчин и женщин. Ей приходилось выслушивать ненужную и скучную болтовню, отвечать на вопросы, говорить и смеяться. Это было выше сил ее. Она кое-как дождалась сигнала к ужину, сказала кому-то, что нездорова и устала, и быстро направилась длинными коридорами и переходами к себе, на половину матери.

Все тяжелое и мучительное, что лежало между ней и княгиней Беатой, теперь забылось. Она была так счастлива, что, кроме самой нежной любви ко всему и ко всем, ничего и не было в ее сердце. Она ушла теперь прямо к матери, поделиться с ней своим счастьем, без всяких тревог и сомнений. Только лютый зверь мог теперь восстать на нее и пожелать разбить ее счастье. А мать разве зверь? Нет, если она и странная, все же она хоть немного, да любит Гальшку. Она иногда бывает так нежна и ласкова... Вот и сегодня утром...

Княгиня уже раздевалась в своей спальне,

когда к ней вошла Гальшка. Она тотчас же отпустила дежурную шляхтянку и трех прислужниц и по их уходе обратилась к дочери.

— Ну что, Гальшка, веселилась? — спросила она почти ласковым голосом, сдерживая себя насколько возможно.

Княжна безо всякого ответа, повинувшись невольному внутреннему движению, бросилась к ней на шею и залилась слезами.

— Что с тобой? О чем ты плачешь?

— Матушка, родная моя, поцелуй меня, благослови меня... Я вырвалась оттуда, я бежала к тебе сказать, что случилось со мною...

— Что? Говори! Говори!

Княгиня уже дрожала от волнения и гнева.

— Князь Дмитрий Андреевич просил меня быть его женою... И я люблю его! — с врожденной ей простотой и искренностью прямо сказала Гальшка, глядя в глаза матери.

Красивое лицо княгини Беаты исказилось и сделалось страшным... Порывистым движением она оттолкнула от себя пораженную и ничего не понимавшую дочь.

— Князь Дмитрий Андреевич! Кто это такой? А! Должно быть, Сангушко... Это он тебя

прислал ко мне за тебя же свататься! А ты его, верно, от моего имени уж и за честь поблагодарила?.. Скажи мне, давно ли ты выучилась позорить свое имя, заводить любовные истории? Или, может быть, ты все это не сама выдумала, а заранее получила позволение от дяди?.. А о матери позабыла?..

Испуганная, оскорбленная Гальшка не хотела верить ушам своим. Того ли она ждала?.. Она еще ни от кого не слыхала таких речей... И вот ей говорит это мать родная... Дрожа и захлебываясь слезами, постаралась она передать все, как было.

Княгиня, несмотря на все свое бешенство, ее выслушала.

— Ну что ж! Ну так и есть! Позор и срам... Бежит с пиру, при всем народе, на глазах у всех, с молодым мужчиной в темный грот... выслушивает признание... сама отвечает... быть может, целуется...

— Да, он целовал меня, и я его тоже, — сказала Гальшка.

Ярость княгини дошла до высшего предела. Она не помнила себя, она забыла все приличия. Она не могла понять, что перед нею

чистая и невинная девушка, не привыкшая ко лжи и обману, не видевшая преступления в поцелуе любимого человека, которому беззаветно решила отдать всю жизнь свою.

— Прочь от меня, негодная! — закричала княгиня. — Я должна краснеть за тебя, ты меня позоришь. А твоему Сангушке, неотесанному литовскому медведю, я покажу, как издеваться надо мною! Знай, что тебе не бывать его женою, я не допущу этого! Я мать твоя, слышишь, мать, и ты должна мне повиноваться... А! Тебя твой дядя научил пренебрегать мною, но я положу предел этому. Довольно...

Гальшка бросилась на колени. Она пробовала говорить, умолять, она обливалась слезами. Но все было тщетно. Княгиня даже ее не замечала. Переводя дыхание, она заговорила снова, несколько сдержаннее, но еще с большей жестокостью:

— Вот мое последнее тебе слово — одумайся. Тебе еще слишком рано распорядиться собою. Рано еще и замуж. Выбрось из головы Сангушку — он тебе не пара. Я не отдам тебя за него — клянусь тебе в этом Богом... Оставь

меня и ложись спать, я тебе приказываю — слышишь?!

Гальшка горько взглянула на мать и ничего не увидела в глазах ее, кроме злобы и решимости. Она слабо вскрикнула и, шатаясь, вышла в соседнюю комнату, которая была ее спальней.

Всю ночь напролет проплакала она горькими, отчаянными слезами. Только утром вздремнула и поднялась с надеждой на помощь и заступничество дяди Константина.

Около полудня князь Константин вышел к своим гостям сумрачный и молчаливый. Он посылал за Гальшкой, но княгиня Беата ее непустила — так и велела передать ему. Посланный шляхтич убежал со страху к себе и не смел вернуться, не смел передать князю такой ответ. Второй посланец доложил, что княжна нездорова и не выходит из комнаты.

Теперь князь Константин спешил показаться гостям, а затем решил идти сам к Беате.

Между ними давно уже не было родственных и искренних отношений, но все же она до сих пор соблюдала внешнюю любезность и

даже некоторую почтительность. Но на этот раз она необыкновенно сухо и холодно встретила князя.

— Что с Гальшкой? Мне сказали — она больна? — спросил Константин Константинович.

— Нет, она не больна, но наделала глупостей, и я сочла нужным не пускать ее туда, где только потворствуют этим глупостям.

Князь рассудил, что самое лучшее не обращать внимания на тон и резкости взбалмошной женщины. Он решился говорить спокойно и обстоятельно. Он передал о предложении Сангушки и стал доказывать все выгоды подобной партии. Он по возможности старался сдерживать княгиню, но скоро увидел, что с нею нелегко справиться. Она решительно объявила, что и слышать ничего не хочет об этой свадьбе, что Гальшка еще молода, что Сангушко не по сердцу ей, княгине Беате, что, наконец, она мать и вправе одна и по-своему решить это дело.

Кончилось тем, что князь разгорячился. Объяснение это привело к полному разрыву. Княгиня Беата сказала, что не намерена боль-

ше оставаться в Остроге, что теперь, разумеется, не станет делать шуму во время празднеств в замке, но только что разъедутся гости, возьмет с собою Гальшку и переселится в Вильну, где у нее были свой дом и поместья. Если же князь Константин вздумает делать какие-нибудь затруднения, то она увидит себя вынужденной вмешаться в их семейные дела короля и просить у него защиты.

Это были речи, совсем не похожие на прежнюю Беату. Князь увидел, что она хорошо обучена ловким учителем, и легко ему было догадаться, кто этот учитель. Он понимал, что со стороны закона она права, что как опекун он может вмешаться в распоряжения относительно состояния Гальшки, наследства его брата, но удерживать силой Беату в своем доме, не выдавать матери родную дочь он не может. Правда, Илья Острожский перед смертью поручил ему жену и дочь, наказывал Беате жить с семейством брата, взял даже с нее торжественное обещание. Но, во всяком случае, закон тут ни при чем, и если нельзя будет подействовать убеждением, то нельзя также действовать и силой.

Между тем не мог же он отдать Гальшку на верную погибель, равнодушно смотреть на ее мучения. Чтобы спасти ее, он решился на смелый поступок.

— Ну если так, то делай, как знаешь, — сказал он Беате. — Разумеется, если ты смотришь на меня как на врага, то нам нельзя жить вместе. Только помни, что ты ответишь перед Богом за несчастье Гальшки.

— Это уж мое дело, — резко заметила княгиня.

Константин Константинович вышел от нее, едва сдерживая бешенство. Если б теперь с ним встретился Антонио, то бывшему рыцарю, наверное, пришлось бы узнать на своей спине силу могучего кулака литовского князя. Но Антонио был осторожен — не из трусости, а из благоразумия он давно уже тщательно избегал встреч с Острожским.

В одной из соседних комнат Гальшка, бледная и заплаканная, бросилась к дяде.

— Родной мой, голубчик, спаси меня! — шептала она, с надеждой глядя ему в глаза.

Он не мог видеть эту бледность, эти слезы на прелестном лице ее. Он не мог подумать,

что так или иначе, а скоро ему придется расстаться со своей любимицей.

У него дрогнули губы, и вдруг все мужественное, грозное лицо выразило умиленность и слабость.

Он нежно, каким-то даже почти женским движением обнял племянницу и нетвердым голосом шепнул ей:

— Сделаю все, что могу, моя девочка. Положись на меня, будь спокойной и молись Богу. Не противоречь матери...

И он быстро прошел мимо, подавляя свое волнение.

Он спросил первого попавшегося из придворных, где отведено помещение князю Сангушке, и велел проводить себя к нему.

Сангушко был один. Он ждал, по условию, известий от князя, ждал его зова. Взглянув на лицо входившего Константина Константиновича, он вздрогнул — оно не предвещало ничего доброго.

— Ну, крестник, был я плохим сватом. Не только что дело твое пропало, да и себе нажил горе большое.

И князь рассказал все, как было.

— Что же теперь делать? — спросил бледный как полотно Сангушко.

— А самое лучшее тебе — позабыть Гальшку да поискать другую невесту...

— Не время, князь, смеяться! Как отца спрашиваю: что прикажешь делать?

— Крепко ты любишь Гальшку? Будешь ей добрым мужем? Будешь как следует беречь ее?

Сангушко даже и не ответил — он только рукой махнул на бесполезность подобных вопросов.

— Так вот что, — продолжал Острожский. — Видел ты мой замок, видел укрепления? Крепкая, надежная защита! А сколько примерно воинов можешь ты вести на приступ?

Сангушко сразу и сообразить не мог, зачем это говорит князь.

А князь с улыбкой смотрел на него.

— Много не нужно. Человек триста, четыреста за глаза хватит. Время мирное, я нападений не ожидаю. Люди мои спать горазды, особенно коли вечером хлебнут чарку-другую. Караульщик боковые ворота иной раз

плохо запирает. Можно совсем враспloch за-
стать, даже без особого шума...

Сангушко бросился на шею князю.

— То-то вы, молокососы, все учить вас
нужно, самому бы и в ум не пришло — при-
знайся! — ласково отстранил его князь.

— Сразу точно что не пришло, спасибо те-
бе; отец родной — и тот не мог бы мне боль-
шего сделать.

Затем они порешили, как всему быть, и
князь взял на себя успокоить и уговорить
Гальшку. Он только наказывал Сангушке,
чтобы тот заранее стоворился со священни-
ком где-нибудь в дальнем селе, чтобы ни на
час один не откладывать венчания.

Сангушко отправил своего преданного Га-
лынского в Сорочи вооружить отряд, а сам,
чтобы не подать никакого виду, еще на сутки
остался в Остроге.

Ему так и не пришлось увидеться с Гальш-
кой. Всем говорили, что она больна и не вы-
ходит из комнаты.

IX

Из Острога по различным направлениям
тянулись более или менее многолюдные

поезда гостей княжеских.

Многие из приглашенных были встревожены известиями о разбойничьих шайках, появившихся в разных местах Полесья. И как нарочно, зная об огромном съезде в замке, большинство гостей явилось только с необходимой свитой. Женщины надоедали отцам и мужьям своими страхами и толковали об опасностях возвратного пути. Князь Константин Константинович, заметив эти толки и волнения, любезно предлагал всем своих ратных людей в провожатые до безопасного пункта.

Кончилось тем, что весь почетный караул князя был распределен между гостями. Через несколько дней замок сравнительно опустел и в нем воцарилось какое-то уныние. Все ясно видели, что недоброе что-то творится в княжеском семействе. Гальшка почти все время проводила у себя в комнатах, и немногие, видевшие ее, рассказывали, что она очень грустна и кажется нездоровой.

Княгиня Беата решительно приготавлилась к отъезду, но никто не знал, куда она собирается.

Константин Острожский понемногу и незаметно делал свое дело. Ему удалось наедине переговорить с Гальшкой. Он и не ожидал от нее сопротивления его плану, но все же был поражен ее спокойствием и решимостью. Вообще он видел, что перед ним уже не прежняя робкая и наивная девочка. Она, очевидно, многое пережила в несколько бессонных ночей. Она хорошо понимала свое положение. На другой день после сцены с матерью она снова пробовала уговорить ее и умиловать, но встретила еще более жесткий отпор и увидела, что с этой стороны не остается никакой надежды.

Тогда и в Гальшке проснулись энергия и решимость. Она знала о ссоре матери с дядей, знала, что Беата хочет увезти ее в Вильну. Ей было страшно подумать о том, что с нею там будет. Лучше смерть, чем такая жизнь, вдали от всего родного и близкого, без всякой надежды на счастье. Разумеется, будучи еще ребенком, совершенно не знакомая с историями о разных романтических приключениях, она никогда не могла бы придумать для себя плана спасения. Она, несколько успокоенная

дядей, ждала от него и от Сангушки себе помощи. Дядя объяснил ей ясно и во всех подробностях, что другого исхода ей нет кроме побега и тайного венчания. Нападение на замок, увоз Гальшки силой снимали и с него как с опекуна всякую ответственность. А уж если она будет обвенчана с Сангушкой, то ее трудно будет разлучить с ним, и вряд ли король вступится в это дело. Долго толковали они. Гальшка решилась. Она любит князя Дмитрия Андреевича. Только с ним и может быть ее счастье. А если дядя сам ее благословляет, так что же ей сомневаться. К назначенному часу она будет готова.

Разумеется, ей страшно перед этим неизвестным будущим, перед грозящими опасностями. Ей больно, что мать родная стала врагом ее... Но пусть будет, как советует дядя, пусть будет, что угодно Богу.

Княгиня Беата изумлялась, видя спокойствие дочери. Она ждала сцен, отчаяния, плача. А тут ничего такого не было, только строгое, побледневшее лицо, молчаливость и покорность. Она советовалась с Антонио. Он сам был удивлен не меньше. Он не сомневал-

ся, что князь Константин успел успокоить Гальшку и подал ей надежду. Но в чем состояла эта надежда? Что замышляют Острожский и Сангушко? Монах останавливался на всевозможных предположениях, но до истины, как это всегда почти бывает, не мог дойти. Он только торопил Беату с отъездом. С переездом в Вильну все планы противной стороны становятся неопасны. И в то же время Антонио писал подробные донесения Лайнецу. Его миссия была исполнена; он уже сообщил все, чем интересовались в Риме, он успел свратить в латинство многих из жителей замка, завел тайные сношения с некоторыми из шляхтичей, сильно подействовал на душу сыновей князя Константина. В Остроге при решительном характере владельца, при его враждебном расположении к иезуиту трудно было сделать больше, и дальнейшее пребывание даже оказывалось опасным. Вырвав Беату из-под влияния Острожского, забрав в руки Гальшку, следовало непременно ехать как можно дальше. Вильна была удобна во всех отношениях. Кроме того, он уже знал, что с этого пункта начнется деятельность в Литве

его орденских собратий.

Отъезд Беаты был назначен через три дня. Княгиня не решалась запираить дочь, и Гальшка все это последнее время проводила на половине князя, с теткой и двоюродными братьями. Мальчики не могли понять ее слез и ужасно завидовали ей, что она уезжает из Острога, который под влиянием дружбы Антонио начинал казаться им скучным и ненавистным...

Вечером, перед закатом солнца, Константину Константиновичу доложили, что приехал гонец с письмом от князя Сангушки. Он велел его звать. Вошел Федя, разгоревшийся от скорой езды, взволнованный и смущенный. Он подал князю письмо.

Вот что писал Сангушко:

«Стою со своими людьми на час расстояния от Острога. Если все ладно, буду о полуночи. Обо всем передай на словах моему Феде. Он малый толковый».

Князь помнил Федю еще маленьким мальчиком в Сорочах. Не без изумления он взглянул на него.

— Видно, мало людей у твоего князя, что

он тебя с таким делом посылает, — проворчал он.

Феде было очень обидно слышать слова эти. Он чуть не на коленях умолял Сангушку послать именно его. Посвященный во все тайны, он находил теперь мучительное наслаждение способствовать счастью Дмитрия Андреевича и Гальшки. Ему хотелось умереть за них обоих...

— Делать нечего, приходится и с тобою вести дело, — все так же сурово заметил Острожский.

И он передал ему, что нужно. Калитка у боковых ворот замка, со стороны леса, будет открыта. Люди Сангушки должны входить как можно тише. Пусть захватят с собой лестницу, княжна будет ожидать на своем балконе.

Через четверть часа Федя уже мчался из замка. Сознание его важной роли несколько помогало ему забыться. Он свернул в лес и внимательно изучал все тропинки.

А в это время князь Константин Острожский прощался со своей Гальшкой. Несмотря на вероятный успех дела, он знал, каким случайностям она подвергалась. Долго не мог он

от нее оторваться. Набожно крестил он ее и шептал молитву. А светлые глаза его застилали непослушные слезы.

— Да хранит тебя Бог, Гальшка, — наконец сказал он. — При первой возможности присылай вести, иначе не буду спокоен. И так уж много беру на себя, но другого тебе спасения не мог придумать.

Княжна, вся в слезах, обнимала его и с дочерней нежностью целовала его руки.

Они расстались.

Князь мерными шагами отправился на свою обычную вечернюю прогулку. Все в замке знали, что он любил гулять перед сном в ясный вечер, и встречные почтительно давали ему дорогу. Он подошел к зданию, в котором помещались люди его отряда. Большая часть их еще не вернулась с провод гостей. Князь остановился и прислушался. Доносились веселые песни и шумный говор. Воины пировали, и на этот раз не без ведома князя. Константин Константинович доверился старому, преданному слуге, занимавшему в замке должность главного почетного ключника; тот горячо вошел в интересы Гальшки и те-

перь отлично обделывал дело. Храбрые воины и многие из «придворных» самым мирным образом «пробовали» только что полученные вина и старый мед из погребов замка.

Князь видел, как несколько фигур сходило, пошатываясь, с крыльца и разбредалось в разные стороны восвояси. Он пошел дальше и скоро очутился у так называемых лесных ворот. Солдат караульный спал крепким сном мертвецки пьяный. Константин Константинович осторожно отодвинул тяжелые засовы и медленно вернулся к себе. Через час мертвая тишина водворилась в замке. Все спали...

Княжна Гальшка вышла на балкон своей спальни. Душистая влажная ночь обступила ее сумраком. Она оперлась на холодные перила балкона и не замечала, как слезы ее капали одна за другой. Ей было и горько, и страшно. Она пробовала молиться, но мысли ее не могли сосредоточиться на словах молитвы. Тоска щемила ей сердце. Она ждала и слушала, и минуты казались ей часами.

Между тем у опушки бесконечного девственного леса, подходившего почти к самому замку, заметно было осторожное движе-

ние. На небольшую полянку, с которой виден был замок, с двух сторон съезжалась тесная толпа всадников. Вот почти половина их, человек триста, спешили и отдали коней товарищам. Все уже заранее было условлено между ними. Сангушко отдавал последние приказания.

Спешившиеся воины стали строиться в ряды и попарно выходили из леса, направляясь к воротам замка. Все было тихо. Пропустив мимо себя человек двести, Сангушко выехал вслед за ними с Федей и Галынским.

Передовые воины были уже у калитки. Они почти неслышно отворили ее и стали проходить во двор замка. Караульный даже и не пошевелился — он храпел на все лады, растянувшись поперек тропинки, так что воинам приходилось обходить его. Они потом отпускали на его счет шутки. Стараниями предусмотрительного ключника кругом не было ни одной собаки, а огромный волкодав, постоянно привязанный на цепи у калитки, лежал без дыхания в конуре, попробовав чего-то странного в своей вечерней пище.

Сангушко и два его спутника оставили ко-

ней по ту сторону калитки. Вошедшие воины заняли назначенные князем места и приготовились, если нужно, защищаться.

— Лестницу — и за мною! — сказал Сангушко.

Пятьдесят человек окружили его.

Гальшка, еще более бледная и трепещущая, стояла, прислонившись к перилам балкона. Она слышала шаги, шорох, лязг оружия. Ее голова кружилась... Шаги становились слышнее. С мягкой травы первого двора люди перешли на каменные плиты. Ближе, ближе... Вот уже она различает движущиеся тени. Она закрыла глаза и прижала руку к сердцу — так оно сильно, даже больно, билось...

Шум и шепот уже под самым балконом. Что-то слабо стукнуло внизу перил, у самых ног Гальшки. Она едва подавила невольный крик...

— Гальшка, дорогая... — услышала она шепот знакомого голоса.

Она открыла глаза. На верхних перекладинах приставленной к балкону, неуклюжей, но крепкой, только что сделанной в лесу лестницы стоял Сангушко.

Он протягивал к ней руки.

Радость свидания с любимым человеком, быстро мелькнувшая мысль, что теперь для них не будет больше разлуки, заставила Гальшку очнуться и собрать последние силы. Она протянула Сангушке свои холодные, дрожащие руки и поднялась на стоявший у самых перил табурет. Крепкая рука Дмитрия Андреевича помогла ей перешагнуть за перила. Они стали тихо спускаться с лестницы, которую внизу поддерживали Галынский и Федя.

Громкий отчаянный крик раздался с высоты одной из башен замка, откуда виден был весь внутренний двор и балкон Гальшки.

— Вставайте, к оружию! К оружию! — неправильно произнося слова, кричал сильный мужской голос. Еще несколько мгновений — и этот крик слышался уже внизу, и ему вторил другой, третий голос.

В некоторых зданиях замка хлопнули и растворились двери. Где-то слышались женский плач и визги. Тревога, крики и движение быстро распространились по замку.

Елена и Сангушко были уже на земле. Тя-

желая лестница грузно упала на каменные плиты.

Воины тесно сомкнулись вокруг князя и его почти бесчувственной невесты. Все обнажили сабли и быстро двинулись к калитке. Наперерез им бежала толпа почти раздетых людей, вооруженных чем попало.

— Княжну увозят — видите... не пропускайте, рубите! — дико ревел голос, поднявший тревогу.

При этих словах люди Острожского окончательно очнулись и стремительно бросились на телохранителей Сангушки. Весь двор наполнился народом. Майская ночь светлела.

Сангушко поднял на руки обезумевшую Гальшку, Федя, Галынский и десятка два ближних воинов составили кругом них живую стену. В нескольких шагах уже рубились... Оружие звенело, слышался стон...

Воины Сангушки, оберегавшие калитку, подали сигнал. Из лесу раздался конский топот.

Сангушко уже переступил со своей ношей через два тела. Калитка была близко. Черная фигура бледного Антонио с саблей наголо

стремилась прямо к князю. Сверкая глазами, монах железной рукой отбрасывал от себя воинов, забыл все и видел только Гальшку. Вот уж он близко. За ним прочищают себе дорогу и другие.

Федя, стиснув зубы, махнул своей саблей — и рука монаха опустилась, выронив оружие.

Еще мгновение — и Сангушко был за калиткой. Его конь бил копытами и храпел. Одной рукой охватив Гальшку, князь с помощью Галынского вскочил на седло и стрелой помчался к лесу. Молодая девушка крепко обвила его шею руками и окончательно потеряла сознание.

Только минут через десять первые всадники показали из замка. Они бросились в лес. Там нестройный гул доносился издали и слабел с каждой минутой. Скоро они поняли, что погоня невозможна.

В замке царило необычайное смятение. Бата кинулась к князю Константину и прямо обвиняла его во всем. Она рвала на себе платье, проклинала, грозилась. Он едва вырвался от нее и вышел на место схватки.

Человек двадцать мертвых и раненых ле-

жало на плитах. С мрачным и бледным лицом князь Константин велел скорее убрать их и осмотреть раны.

Со всех сторон стояли замковые люди, ожидая страшной вспышки княжеского гнева. Два-три человека дрожащим голосом передавали ему подробности нападения.

Он упорно молчал. В его крепкий замок, наполненный хорошо вооруженным и дисциплинированным людом, крепко запиравшийся каждый вечер, с караульными и лихими собаками прокрался чуть ли не целый полк, украли его племянницу, княжну Острожскую, — и все это было замечено только случайно, когда уже враги сделали свое дело. И княжны не отняли, не отбили вовремя, когда она еще была в стенах замка. А князь Константин, гневный и грозный, молчал, опустив глаза в землю. Он не в силах был играть комедию. Он махнул рукою и вернулся в свои покои...

Придя несколько в себя, княгиня Беата приказала звать к себе отца Антонио. Он явился с только что перевязанной рукой. Кровяные пятна во многих местах покрывали его

платье.

Беата даже и не заметила его раны. Она призывала гнев Божий на князя Константина и кончила тем, что упрекнула даже Антонио:

— Я положила на вашу бдительность, я поступала по вашим советам — и вот у меня украли дочь, погубили мою Гальшку, насмеялись надо мною!

— Всего невозможно предвидеть, — уставшим, глухим голосом проговорил монах. — Если б я не подошел к окну, услышав какой-то подозрительный шум, до утра никто бы и не знал о похищении. Здесь, наверное, все было заранее и хорошо устроено: даже собаки не лаяли...

— Но как же вы могли отдать ее, как вы ее не отняли?! — рыдала княгиня.

— Я сделал, что мог, я, наверное, и убил бы Сангушку, если бы какой-то проклятый мальчишка не ранил мне руку так, что я невольно выронил саблю. Удивляюсь только, как они меня не убили, а я уложил троих на месте...

Только тут княгиня заметила рану Антонио. Она бросилась к нему, увидела, что рука дурно перевязана, позвала своих женщин и

сама помогала им делать перевязку.

Это занятие на несколько минут поглотило ее, но, когда было все кончено, она снова предалась отчаянию:

— Где дочь моя?! Вот мы здесь сидим, а этот изверг теперь уже далеко с нею! Боже праведный! Неужели так мой позор, мое горе и останутся без отплаты? Неужели я должна молчать и не могу отнять у них мою дочь?!

— Я только что хотел сказать вам, — начал Антонио, — что нам с вами нужно сейчас же ехать в Краков и принести жалобу королю. И нечего терять времени, нечего ожидать здесь новых оскорблений...

Княгиня с жадностью ухватилась за этот совет, и так как у нее все было почти готово к отъезду, то часа через три в сопровождении Антонио и небольшого числа слуг она уже была на дороге в Краков.

Х

Если замок князя Константина Острожского и жизнь его двора поражали своей роскошью и широтою, то, по крайней мере, в Остроге нельзя было заметить распущенности нравов, царившей в тогдашнем обществе.

Князь Константин, человек благочестивый и нравственный, строго относился к окружающему. Разумеется, он не мог переделать людей, не мог искоренить порчу нравов; но, во всяком случае, все темное и грязное пряталось подальше от его взоров и страшилось его гнева. В бесчисленных закоулках его огромного замка, обитаемого сотнями мужчин и женщин, не обходилось без пороков и двусмысленных историй, но, стоило только какой-нибудь истории достигнуть его слуха, и виновные или наказывались, или, если они не подлежали наказанию, навсегда лишались княжеских милостей и изгонялись из замка.

Только подчиняясь неизбежной крайности, князь Константин делал уступки. Так, например, его глубоко возмущали вошедшие в моду балы с новыми и, как ему казалось, непристойными танцами, с полной свободой обращения между мужчинами и женщинами, свободой, доходившей до непристойности. Он вырос в семействе благочестивом, свято хранившем традиции, гордившемся своими предками, берегшем родовую честь пущезеницы ока. Он еще хорошо помнил патриар-

хальную жизнь старого времени, и такая жизнь была его идеалом. Отчего же и не попить с друзьями и соседями, но в мужском обществе не место женщине. Не годится и мужчинам вечно торчать в женских покоях. Новые обычаи только соблазн заводят, вселяют раздоры и непотребства в честные семьи... А попробуй жить по-старому, попробуй завести строгость — все отшатнется, никто и глаз не покажет, разведутся недоброжелатели. Тогда будет трудно иметь влияние на дела, и на сеймах, как дома, очутишься одиноким. Вот и приходилось поневоле задавать пиры на новый лад, допускать несколько раз в год в своем доме вавилонское столпотворение...

Но только что гости разъезжались, раз заведенная строгая жизнь начиналась снова. Всеми живущими в замке соблюдались посты, исправно посещалась церковь, неутомимо преследовалось пьянство. Князь Константин видел только скромных женщин, приличных и почтительных мужчин. Он не мог не понимать, что многие его обманывают и тяготеют его присутствием и надзором. Но он

знал, что им употреблены все меры, что он сам подает добрый пример и что даже враги его не могут сказать, что в доме князя Острожского безнаказанно и открыто терпят-ся разврат и бесчинство.

Не то было у других вельмож литовских: носились самые соблазнительные рассказы о том, что творится в их резиденциях. Но даже и все это было ничто сравнительно с распущенностью нравов королевского дворца в Кракове.

Король первый подавал пример своим подданным. Сигизмунд-Август воспитывался под влиянием матери, королевы Боны, честолюбивой интриганки, бывшей во всех отношениях достойною соотечественницей Кате-рины Медичи. Она ради своих целей, для обеспечения за собою власти всячески поста-ралась ослабить в сыне мужество, энергию и твердость характера. Она удаляла его от се-рьезных занятий и окружала только женщи-нами. Вступив на престол после Сигизмунда I, он явился новым Сарданапалом. Он проводил жизнь в пирах и забавах, в любовных интри-гах, постоянно откладывая дела и медлил в

решении важных вопросов — его прозвали за это «король-завтра». Только раз в жизни король выказал удивительную энергию и настойчивость. Он страстно полюбил молодую красавицу, вдову Гастольд, урожденную Радзивилл. Схоронив свою первую супругу, он тайно обвенчался со своей возлюбленной. Такой брак казался неприличным, к тому же, не без основания, боялись влияния семьи Радзивиллов. Сенат и сейм стали настойчиво требовать развода. Постоянно слабый и малодушный Сигизмунд-Август не только не подчинился этому требованию, но заставил торжественно признать свой брак и короновать Варвару. Впрочем, его счастье длилось недолго: королева скоро умерла, и после ее смерти он снова предался самой распущенной жизни. Третья жена его, принцесса австрийского дома, для него как бы не существовала. Многочисленные фаворитки царили в Кракове и держали в своих руках все правительственные нити.

Понятно, при таком короле государство не могло процветать и крепнуть. Скоро оказалось полнейшее внутреннее расстройство.

Роскошь и изнеженность овладели поляками. Знаменитый князь Курбский записал о тогдашних польских вельможах и короле такие строки: «Здесьшний король думает не о том, как бы воевать с неверными, а только о плясках да о маскарадах; также и вельможи знают только пить да есть сладко, пьяные, они очень храбры: берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился турка, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспят, встанут чуть живы, с головою болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены, что, услышав варварское нахождение, забьются в претвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол за кубки и болтают со своими пьяными бабами; из ворот же городских — ни на шаг. А если выступят в поход, то идут изда- лека за врагом и, походивши дня два или три, возвращаются домой, и что бедные жители успели спасти от татар в лесах — какие-ни- будь имение или скот — все поедят и послед- нее разграбят...» Отношение высших сосло- вий к сельскому населению было ужасно —

крестьянин почитался наравне со скотом, шляхтич безнаказанно убивал его и говорил, что убил собаку.

Во дворце краковском балы сменялись балами, постоянно придумывались новые и разнообразные увеселения. Король с каждым днем все меньше и меньше обращал внимания на дела государственные. Когда близкие люди, выведенные наконец из терпения, спрашивали его, почему он не займется делами, он постоянно отвечал: «Ради этих соколов (т. е. придворных женщин-любимиц) ни за что не могу взяться». Он особенно пристрастился к маскарадам и по целым дням придумывал себе и приближенным костюмы. Безумная роскошь поражала приезжих иностранцев. Деньги лились рекою, и совершенно истощались королевские средства. В сокровищнице Сигизмунда-Августа не оставалось почти ни одной драгоценности — все было раздарено фавориткам. К тому же с некоторого времени во дворце стали появляться какие-то темные люди. Это были колдуны и колдуньи, всевозможные шарлатаны, которые брались своими чарами вернуть королю

здоровье, восстановить его разрушенные силы. Сигизмунд-Август, как малый ребенок, верил их рассказням, осыпал их деньгами и делал над собою всевозможные нелепости...

В такую-то обстановку и к такому-то королю мчалась за судом и помощью княгиня Беата. Загнав до смерти не один шестерик лошадей, она наконец приехала в Краков и остановилась в доме одного из многочисленных своих родственников. Был уже вечер, но отдыхать княгиня не хотела — дело ее нельзя было откладывать ни на минуту. Ей необходимо было немедленно увидеть короля и уговорить его принять все меры для возвращения Гальшки. Доступ к королю не представлял никаких затруднений. Княгиня Беата, мать которой была приближенной и любимицей Сигизмунда I, почти все свое детство и девичество провела во дворце, росла вместе с Сигизмундом-Августом и пользовалась его дружбой. Он называл ее не иначе как своей маленькой сестрой. Правда, вот уже несколько лет, как она с ним совсем не видалась, но он очень добр и ласков — он непременно должен принять участие в старом друге...

Беата, едва переодевшись, отправилась во дворец. Антонио пошел к папскому послу, кардиналу Коммендоне, который знал его лично. Коммендоне, энергичный и настойчивый, умел заставлять короля делать по-своему и мог в данном случае очень помочь своим влиянием.

Дворец был ярко освещен. На площадке перед главным въездом толпился народ и медленно подвигалась вереница тяжеловесных экипажей. Княгиню впустили без всяких затруднений, и она в первых же комнатах встретила многих знакомых. Ей тяжело было рассказывать посторонним о своем горе, и она старалась скрыть настоящую причину своего приезда.

В этот вечер был назначен блестящий маскарад. Приглашенные в пестрых и причудливых костюмах уже съехались. Король не выходил еще из внутренних покоев. Княгиня просила доложить ему о ней и сказать, что она умоляет его принять ее наедине, по очень спешному делу. Ей довольно долго пришлось дожидаться ответа. Она постаралась найти более уединенный уголок и проходила через

все муки ожидания и нетерпения. Наконец к ней подбежала очень странная фигура. Это была молодая женщина в маске и костюме амура. Высоко взбитые белокурые волосы, перевитые жемчугом и алмазами, голая шея и руки, коротенькая и почти прозрачная юбочка, низкий корсаж, обтянутые шелком телесного цвета ноги, беленькие крылышки за спиною, лук и колчан со стрелами на золотой перевязи. Амур снял маску и оказался молодой двоюродной племянницей Беаты. Княгине стало противно и стыдно за почти обнаженную девушку, но она подавила в себе эти чувства и любезно отвечала на приветствия амура.

Амур, свободно вертась и болтая без умолку, объявил, что король готов принять княгиню и поручил проводить ее к нему.

Беата, не обращая никакого внимания на проходившие толпы гостей, быстро направилась через длинный ряд знакомых ей с детства, сверкавших огнями и дорогим убранством покоев.

В небольшой комнате, устроенной в виде какой-то фантастической беседки, амур оста-

новился.

Перед княгиней стоял человек, далеко уже не молодой, но, очевидно, поддурмяненный, с довольно красивым, утомленным и несколько дряблым лицом. Он был одет или, вернее, раздет каким-то мифологическим божеством. Его полное, обтянутое шелком тело местами прикрывали складки пурпурной, театрально накинутой тоги. Венок из зелени украшал его голову. Вся фигура была крайне комична. Несколько Венер и нимф окружали его, весело и шумно болтая, сверкая драгоценностями и роскошными, обнаженными формами.

Это был король Сигизмунд-Август и свита его фавориток.

Княгиня на мгновение остановилась, пораженная и смущенная. Когда-то она была очень привязана к королю как другу детства. Когда-то она была поверенной его любви к Варваре Гастольд. Она знала его человеком слабым, но добрым, любезным и остроумным. Еще несколько лет тому назад она видела его хотя постаревшим и несколько истомленным, но все же сохранившим свою привлекательность. Кроме того, даже во всех своих

слабостях, среди пиров и вечного ухаживания за женщинами он умел оставаться королем и сохранял внешние признаки своего величия. Он избегал всего вульгарного и смешного. Княгиня, вспоминая о нем, всегда представляла себе истинного короля и как королю готова была простить ему многое.

Теперь же — разве это король был перед нею? На дряблом и наруганном лице едва сохранились прежние черты. В своем безобразном, шутовском костюме он напоминал старого уличного фигляра.

Но он, очевидно, никак не мог заметить производимого им впечатления. У него явились замашки старой кокетки. Ему казалось, что никто не видит его румян, его преждевременной дряблости, которая так ужасала его перед зеркалом. Никогда еще, даже в самые лучшие дни своей молодости, не считал он себя таким красавцем, как именно теперь, когда он становился безобразен. Одевшись мифологическим божеством, выставив свои жирные руки и ноги, он был уверен, что все красавицы восхищаются им. А они все, разумеется, тотчас бежали бы от него, если б он не

назывался Сигизмундом-Августом, если б он не помогал их интригам и не позволял себя грабить...

— Добро пожаловать, княгиня Беата, — сказал король, становясь в грациозную позу. — Я думал, что ты уж в монастырь пошла, хотел писать тебе, просить, чтоб ты молилась за меня, грешного. Да, признаться, ты и то на монахиню стала похожа... Это нехорошо, княгиня; жизнь нам дана для веселья, нужно пользоваться ею... Но, однако, мне сказали — у тебя до меня дело? Жаль. Я смерть не люблю дел, мне кажется, всякое дело отнимает у меня день моей жизни... Но уж если дело, так говори скорее — и лучше будем веселиться...

— Есть у меня большое дело, государь; но я хотела бы передать его наедине вашей милости, — ответила княгиня, чувствуя на себе насмешливые, недоумевающие взгляды всех этих нимф и Венер.

— Наедине? Зачем же? Да меня и не пустят эти соколики с тобой шептаться — ревновать станут! — кокетливо улыбнулся король, указывая на окружающих женщин. — К тому же я от них ничего не скрываю, и мы все дела ре-

шаем вместе. Все это мои лучшие друзья и советники...

Делать нечего — Беата рассказала о похищении Гальшки.

Король слушал ее с видимым интересом.

— Молодец князь Сангушко! — воскликнул он. — Я на его месте непременно сделал бы то же! Говорят про твою княжну, что она хороша, как день Божий. Ну вот тебе и наказание за то, что ты держала ее взаперти, не привезла ее к нам в Краков. Отсюда бы ее уж не украли, да и сама бы бежать не захотела. Здесь, слава Богу, не то, что этот ваш Острог с волками да медведями. Удивляюсь, как еще там такая красавица не утопилась с тоски да скуки!

— Государь, мое сердце обливается кровью от позора и обиды!.. Я пришла просить у вас суда и наказания моему оскорбителю, просить, чтобы мне вернули дочь мою, вы, вы смеетесь? — отчаянно и не скрывая негодования произнесла княгиня.

— Я не смеюсь, клянусь Иисусом и Марией, не смеюсь! — заторопился король, пуще всего боявшийся слез и отчаяния. — Напротив, я со-

чувствую твоему горю, я готов сделать для тебя, что хочешь... Но погоди — что ж бы такое сделать?.. Как вы думаете, соколы мои ясные, что теперь сделать? — обратился он к ним-фам...

— Сейчас же запрягать лошадей и ехать всем маскарадом отнимать княжну! — улыбнулась одна полная и красивая блондинка.

Беата смерила ее горделивым и в то же время яростным взглядом. Она бы с радостью растерзала ее на части.

— Ну нет, это не годится — к ужину опоздаем, — весело заметила другая красавица.

Княгиня Беата быстро повернулась и направилась к двери. Она вся дрожала...

— Куда ж ты, куда ты, сестрица? — закричал Сигизмунд-Август.

Беата обернулась.

— Когда-то в присутствии короля меня бы оскорблять не посмели... Но теперь уж, верно, здесь позабыли, что я дочь Катерины Тельничанки, — проговорила она.

— Ну полно, полно, зачем сердиться... Они добрые, они вовсе не хотели оскорбить тебя — им просто весело, — успокаивал король,

останавливая ее за руку.

В это время в комнату вошел маршал — все было готово, королю следовало открыть маскарад.

Сигизмунд-Август засуетился.

— Меня ждут, мне давно пора, — сказал он княгине. — погоди, мы протанцуем только один танец. Я не забуду о тебе, я посоветуюсь с кем надо и что можно сделать — будет сделано...

И он быстро вышел, нежно взяв под руку какую-то юную богиню.

Беата в отчаянии остановилась на пороге. Ей хотелось бежать отсюда. Ей хотелось проклинать этого короля, превратившегося в старого фигляра. Но куда бежать, у кого просить помощи? Если король не поможет, кто же поможет? И она пошла, опустив голову, туда, куда шли и другие. На нее смотрели с любопытством и недоумением. Иные ей кланялись.

Многие ее знали. Ее бледное, печальное лицо с мрачно горевшими глазами казалось каким-то пятном среди этой толпы — шумной, нарядной и веселой.

— Покажите мне, пожалуйста, где здесь

княгиня Острожская? — донеслось до ее слуха.

Она оглянулась. К ней направлялась живая, энергичная фигура кардинала Коммедоне.

— Радуюсь случаю лично познакомиться с вами, княгиня, и только мне грустно, что приходится видеть вас при таких тяжелых для вас обстоятельствах, — заговорил изысканно любезный итальянец. — Я сейчас виделся с отцом Антонио — он все передал мне... Что же король... На чем вы решили?

Тщетно Беата искала, в свою очередь, любезной фразы. Она только проговорила:

— Король? Королю, кажется, не до меня — он теперь занят танцами.

Кардинал сделал жест, выражавший, что он вполне понимает ее и разделяет ее взгляд на короля.

— Да, вы правы, он занят танцами, но это ничему не мешает. Сегодня, во всяком случае, уже поздно приступать к действию, но я вам ручаюсь, что все будет сделано своевременно. Вашу жалобу нужно представить сенату, сенат не откажет издать на Сангушко декрет

Captivationis, по которому он будет арестован, где бы он ни находился...

— Но, Боже, сколько времени ждать! Он завезет мою дочь Бог знает куда... Они будут иметь время двадцать раз обвенчаться...

— В таком важном деле нужно постараться рассуждать хладнокровно, княгиня. В то время как вы ехали сюда, они уже, вероятно, успели обвенчаться. Дело сделано. Но, как я понял из слов отца Антонио, вы не желаете признавать этот брак ни в каком случае, желаете вернуть себе княжну, наказать ее похитителя...

— Да! Я хочу вернуть мою дочь, хотя бы ее обвенчали разом все еретические попы в мире.

— В таком случае декрет сената сделает свое дело, Сангушку арестуют, а брак его, как основанный на преступлении, насилии и вопреки вашей родительской воле, будет признан недействительным. Успокойтесь, княгиня: можно сделать только то, что можно...

И Коммендоне, сказав еще несколько любезных фраз, откланялся Беате.

Она вернулась к себе, пылая мстью и про-

клиная Сангушку.

Коммендоне отлично обделал дело. Он подговорил известного Станислава Чарикорского, и тот в первом же собрании сената сказал пламенную речь, где в самом ужасном виде выставлял поступок Сангушки и красноречиво толковал о поруганных правах княгини Беаты. Сенат издал немедленно декрет Captivationis. Сангушко объявлялся преступником и подлежал строгому осуждению. Только один из сенаторов, Волович, старый друг князя Константина Острожского и покойного отца Сангушки, пробовал было образумить расходившееся собрание. Но его голос одиноко замер. Король был вполне согласен с решением сената.

Беата добилась правосудия, но все же оставалось самое главное — отыскать и захватить Сангушку, отнять у него княжну Елену. Где были для этого средства? У князя Сангушки было много имений в самой глубине Полесья. Много было у него ратного люда. Наверное, он даром не дастся. Требовались войско и хороший предводитель... Беата не пожалела бы, разумеется, никаких средств, но найти вой-

ско тогда было трудно — поляки не любили драться.

Сообразительный Антонио помог в этом. Он вспомнил о пане Зборовском, который также ухаживал за Гальшкой в Остроге. Он отправился к нему и объявил, что княгиня готова выдать свою дочь за человека, который отнимет ее у Сангушки. Услыхав это, загрустивший Зборовский воспылал новой надеждой и отвагой. У него был свой собственный очень значительный отряд, отлично вооруженный и обученный. Он сам был завзятый рубака. Принять решение было для него делом минуты. Он просил Антонио передать княгине Беате, что или в скором времени ей будет возвращена дочь, или он, пан Зборовский, никогда уже больше не увидит не только Кракова, но даже и солнца небесного.

В то же время старик Волович писал Константину Острожскому: «А о том, что ты просил известить тебя о действиях княгини Беаты Андреевны, уведомляю: сенат приговорил князя Дмитрия, а отпета голова Зборовский собрал уже своих молодцов в погоню. Народ все — не трус и числом их изрядно. Твори как

ведаешь».

С этим письмом скакал гонец по дороге к Острогу.

XI

Во времена глубокой древности на обширном пространстве, занимаемом Полесьем, было море. Об этом море упоминает и Геродот, о нем ходят рассказы и в народе. Еще до сих пор по вязким и опасным болотам, запрятанным в глубине лесов, время от времени находят обломки костей морских животных, янтарь, якоря и тому подобные предметы.

Но точные сведения относительно этого моря не сохранила история. От него осталась только низкая громадная впадина да страшные, непросыхающие болота. Многочисленные реки в различных направлениях опоясывают Полесье. Среди болот рассеяны большие и малые острова — роскошные оазисы. Здесь растет трава выше человеческого роста, родится хлеб отборный, здесь много груш, яблонь, различных ягод. Трудна дорога к этим оазисам — до них добраться можно только на волах, да и то не всегда безопасно. В самое жаркое да сухое лето не просыхают полесские

болота, а среди них предательски белеют сыпучие, наносные пески, медленно и неизбежно засасывающие в себя все, попадающее на их поверхность.

В последние годы топор безжалостно прошелся по Полесью и образовал огромные просеки. Картина края начинает изменяться. Но в XVI веке необозримые леса тянулись на сотни верст и скрывали в своей непроходимой чаще дикую жизнь природы и местного люда.

А люд был совершенно дикий. Он сохранил в себе нетронутыми все черты первобытных нравов. Непрístupный в своей лесной чаще, самую природою отделенный от возможности всяких благотворных влияний, он жил только охотой да рыбной ловлей и жарко молился своим лесным и речным божествам, чтоб они послали ему удачу.

Ленивый и добродушный, этот люд был способен, однако, на самые зверские преступления, к которым побуждали его суеверия и глубоко почитаемые им колдуны и колдуньи.

Немало страшных, отвратительных тайн хранит в себе Полесье...

Но много было и поэзии в этой дикой жиз-

ни, среди мрачной величественной природы...

Был вечер 22 июня, канун праздника Купалы, одного из самых любимых и торжественных праздников языческого славянства.

Солнце давно уже скрылось за лесами. Звезды одна за другой загорались на потемневшем небе. Не слышно было ни легкого дуновения ветра. Без движения торжественной громадой стояли вековые деревья. И все это — деревья и мигающие звезды — отражалось в водах реки, будто приостановивших свое течение. Соловьи — исконные обитатели Полесья — оканчивали свои песни. Среди болот, на обширном, покрытом дивной растительностью острове-оазисе, мелькали огоньки в маленьких хатках-шалашах. Это были не оседлые жилища, а только летнее пребывание нескольких полесских семей, перебравшихся сюда для того, чтоб запастись на зиму хлебом, овощами и плодами. До сих пор еще так поступают белорусы: весной они покидают свои бедные, бесплодные деревни и перебираются в оазисы, где все произрастает в изобилии.

Осенью жизнь среди болот, вступающих во все свои права, становится окончательно невозможной, и тогда они возвращаются во-свояси...

Время близилось к полуночи; с острова по болотистой дороге к речному берегу что-то подвигалось, какое-то шествие. Доносилась тихая заунывная песня. В одном месте лес доходил до самой воды, постепенно редая. Образовалась небольшая поляна. Сочная, роскошная трава, цветы и причудливые листья папоротника покрывали ее.

У этой полянки остановилось шествие. Не прошло и полчасика, как уже ярко пылало десятка два костров, озаряя людские лица. Вокруг костров расположились группы мужчин и женщин, молодых девушек и детей. У каждого на голове венок из листьев.

Вот поднялись несколько девушек и направились в чащу. Здесь они в глубоком молчании соберут девять различных цветков, свяжут их вместе и, ложась спать, положат их себе под голову. Тогда они непременно увидят во сне всю судьбу своей жизни.

Вот молодой парень пробирается глубже в

лес. Там, в темноте и тишине, он найдет куст папоротника и станет смотреть на него не отрываясь. Этой ночью папоротник непременно зацветет ясным цветом, светлым и блестящим, как звездочка. Нужно сорвать этот цветок и бежать не оглядываясь. Добежишь — цветок даст тебе все, чего ни пожелаешь. Оглянешься — заест тебя дед-лесовик, защекочат светлые, холодные русалки.

Вот парни и девушки, высоко подвязав рубашки, которые составляют всю их одежду, собираются прыгать через огонь...

Из дальней группы отделяется молодая девушка, за ней следуют другие. Они направляются по речному берегу. Все в венках, у всех в руках цветы... Некрасива вообще белорусская женщина; но иной раз и там можно встретить красавицу. Девушка, шедшая впереди всех, была чрезвычайно красива. Высокая и стройная, с бледным лицом и глубокими карими глазами. С круглых плеч спускалась длинная белая рубашка. Распущенные темные волосы падали ниже колен. Она вся, с головы до ног, была убрана цветами.

Медленно подошла она к реке и останови-

лась.

Ее глаза были опущены. Она бросила в воду венки, заломила руки и запела.

Грустные, надрывающие душу звуки «купальной песни» огласили тишину леса:

*Если бы знал ты, Купало,
Как я по Грице тоскую,
Сколько уж слез моих горьких
Кануло в землю сырую.*

*Ты такой добрый, Купало.
Ты бы помог мне, девице,
Все про меня рассказал бы
Злому мучителю Грице.*

*Глянь, кругом вода и лес,
Глянь, Купало милый!
Мою хатку ветер снес,
Меня кинул милый!*

*Если бы знал ты, как бьется
Сердце, что птица на ветке.
Ты, такой добрый, ты б не дал
Грица злодейке-соседке.*

*Я ведь сиротка, Купало,
Нет ни отца, ни милого!*

*Кто же меня приголубит,
Скажет сердечное слово?!*

*Глянь, кругом вода и лес,
Глянь, Купало милый,
Мою хатку ветер снес,
Меня кинул милый![11]*

Далеко-далеко, в самую глубь вековечного леса, уносились эти звуки, повторяясь на бесчисленных отголосках и постепенно замирая. Они уносились туда, в светлое жилище Купалы, где за высоким тростником, за непроходимыми болотами, топиями и бочагами раскинулась благоухающая вечнозеленая поляна.

Густые тени невиданных деревьев обрамляют ее; огромные седые звери стерегут ее. Там никогда не заходит солнце, там земля также прекрасна, как и небо...

Купальные игры оживлялись. Уже начались прыганье через костры, пляска и громкие крики, визги и веселый хохот... Но что это?.. В лесу какой-то гул, будто конский топот. Все ближе да ближе. Старики и женщины стали унимать расходившуюся молодежь и прислушиваться. Точно: приближается что-

то огромное, как будто какой-то ураган ломает сучья. Вот, запыхавшись, вне себя от волнения, из лесу выбежал парень, ходивший наблюдать за папоротником. Он громко кричит и объявляет, что в лесу конные, много конных, и мчатся они прямо сюда, к речному берегу.

Все в смятении. Что это за люди: по своему делу какому или враги лютые — разбойники? Все вспоминают, как третьим летом наехали тоже всадники, человек сорок, накинулись на островок, обобрали все дочиста, последнюю рубашку отняли, захватили с собой трех молодых девушек — да и были таковы. Уж и теперь не те же ли злодеи?!

Еще встревоженный люд не знал на что решиться, как из-за деревьев показались всадники. И было их видимо-невидимо, несколько сотен. Но с виду они не были похожи на прежних разбойников. Те — оборванцы с грязными, страшными рожами, на неоседланных, шершавых лошадях, с топорами да разным дрекольем. Теперь же перед дрожавшими, обезумевшими от страха поселянами храпели лихие, взмыленные кони. Всад-

ники блестяли разным невиданным оружием, красивой, чудною одеждой.

Многие из поселян бросились бежать через болота на свой остров. Другие не шевелились, будто окаменев со страху. Вот из толпы, тесно прижавшейся друг к другу, робко вышло несколько стариков. Они приблизились к всадникам и бросились им в ноги, моля пощадить животы их.

— Дурачье! Дурачье! — крикнул на них только что слезший с коня и привязавший его к дереву тучный человек с огромными усами. — Никто вас и пальцем не тронет; но только, чур, все вон отсюда! И без вас нам места мало на этой полянке...

Старики быстро встали на ноги, вернулись к своим, и скоро вся праздничная, обвитая цветами толпа молчаливо двинулась по подсыхшему болоту.

— Эки, прости Господи, места окаянные, — ворчал между тем толстяк. — Эки проклятые болота! Во весь-то день первое удобное место сыскалось.

— Ну что ж, Иван Петрович, здесь ночевать нужно, а то и кони наши, да и мы сами

из сил выбьемся, — сказал, подъехав к нему, молодой всадник.

— А то как же, князь, разумеется, ночевать. Сейчас прикажу тебе с княгиней шатер изготовить, да и ужин найдется, — ответил толстяк.

Князь спрыгнул с коня и быстро подошел к сопровождавшему его всаднику. Это был юноша, почти ребенок. Его лицо, насколько можно было разглядеть сквозь сумрак едва побелевшей ночи и потухший огонь костров, поражало необычайной красотой. На юноше был красивый бархатный костюм, какой обыкновенно носили тогда пажи вельмож литовских.

Князь ловкой и сильной рукой помог юноше сойти с коня и нежно обнял его за талию.

— О, какое мучение! — отчаянно проговорил он. — Как ты, должно быть, устала, как ты разбита, моя Гальшка...

— Нет, ничего... теперь отдохнем, — стараюсь улыбнуться, прошептали прекрасные побледневшие губы...

Скоро войны устроили нечто вроде шатра под огромным развесистым дубом. На мягкую

траву положили несколько ковров. Князь Сангушко делал распоряжения. Он приказал небольшому отряду воинов рассыпаться в разных направлениях по лесу и чутко прислушиваться. Лошади у всех пусть останутся оседланными, никто не должен снимать оружия.

Вернувшись в шатер, князь увидел Гальшку, лежавшую на ковре и спавшую крепким сном. Она не притронулась к ужину. Ее лицо было бледно, губы пересохли. Он склонился над нею и молча сидел, смотря на нее не отрываясь и думая свои нерадостные думы.

Уж около месяца прошло с тех пор, как он похитил ее из Острога, а ни одного еще дня спокойного не выдавалось за все это время. Выбравшись из замка, скакали они тогда несколько часов в густоте леса. Ехать в Сорочи князь не решался, но у него было небольшое поместье, затерявшееся среди лесов и болот, верстах в семидесяти от Острога. Там стояла старая деревянная церковь и ветхая усадьба. Отец его наезжал иногда в это поместье для охоты. Здесь решил Сангушко обвенчаться с Гальшкой и провести первое вре-

мя, не прерывая сношений с князем Константином.

Он привез Гальшку почти полумертвую от волнения и усталости и сдал ее на попечение своей старой няньки, которая приехала из Сорочей и теперь представляла собою все женское население позабытой усадьбы. К вечеру княжна несколько отдохнула, и няня провела ее через запущенный, весь заросший густою травою сад, в низенькую, покосившуюся набок церковь. Старик священник, робкий и запуганный, с грубыми мозолистыми руками, привыкшими к земледельческой работе, встретил невесту. Он взглянул на нее и потупил глаза свои. Никогда еще не видал он такой красавицы, даже не думал, что и бывают такие.

А она стояла бледная и трепещущая, в своем простом, домашнем платье, с душистыми белыми розами в волосах, принесенными ей из сада старухой-няней.

Через несколько минут в церковь вошел Сангушко. За ним Галынский и Федя. Тяжелые, ржавые двери, ведущие на паперть, со скрипом и визгом затворились за ними. Ста-

руха-няня поместилась в уголку и, упав на колени перед иконой, горячо молилась, бия себя в грудь и обливаясь тихими, умиленными слезами. Жених и невеста взялись за руки и подошли к аналою. За ними следовали Галынский и Федя. Священник, надев почерневшую от времени ризу, начал молитву.

В открытые окна вливались длинные, косые лучи вечернего солнца, прорезывали бедную церковь от стены до стены и дрожали и искрились мириадами тонких, мечущихся пылинок. Густые, зеленые ветки смотрелись в окна. Тихо было кругом, только звонкие птицы перекликались в кустах, реяли в синеве ясного вечера. Издали доносилось мычание стада, возвращавшегося с пастбища. Слабо и тускло мигали желтые восковые свечи; тихий, разбитый голос священника медленно произносил слово за словом.

Склонив головы, не глядя друг на друга, Сангушко и Гальшка внимательно, всею душою вслушивались в то, что читал священник. Гальшка не плакала; ее чудное лицо было серьезно; она чувствовала усталость, а внутри ее водворялось глубочайшее, торже-

ственное спокойствие. Галынский едва сдерживал проклятое желание громко откашлянуться и сплюнуть в сторону, которое всегда преследовало его в самые неподходящие минуты. Федя думал только о том, как бы ему не разрыдаться. Он сам не мог отдать себе отчета в своих чувствах. В нем перемешивались и жгучая боль отчаяния, и блаженство любви, охватившее его всецело. Никогда еще он не любил так Гальшку, никогда еще не любил так и князя. О, пусть они будут счастливы, пусть только будут счастливы, а он всю жизнь свою посвятит ими, никогда они не узнают, как он их любит и как разбилось его сердце...

Так совершилось венчание одного из знатнейших вельмож литовских и красавицы Гальшки, о которой мечтали все лучшие женихи Литвы и Польши.

Первые дни после свадьбы прошли быстро, в тишине укромной усадьбы, в душистой тени запущенного сада. Но почти каждый день приносил тревожные известия. Князь Константин уведомлял, что Беата уехала в Краков... Что будет из этого? Чего опасаться?

Через неделю Острожский прислал гонца с письмом, в котором советовал князю бежать на время за границу. Это бегство оказалось неминуемым, когда получилось известие о декрете сената и предприятии Зборовского. Гальшка выказала необычайную решимость. Она объявила, что оденется в мужское платье и будет сопутствовать мужу верхом, чтобы не затруднять бегства и не возбуждать во встречных подозрений. На разведки Зборовского будут отвечать, что видели всадников, но между ними не было женщины. Она так убеждала князя, так мило, краснея, доказывала ему, что ей будет очень удобно и ловко превратиться в пажа, что он, обдумав все, согласился. Гальшка была от природы очень крепкого здоровья. К тому же она с детства любила лошадей и считалась отличной наездницей. Решено было снова собрать надежный отряд, изрядную казну и пробраться в Богемию. Сангушко уже прежде был в стране этой и знал, как ему там устроиться.

Перед самым отъездом князь Константин прислал сказать, что мешкать нечего, что Зборовский недалеко и с ним большое вой-

ско. Опасность становилась близкой.

Выехали рано утром и стали пробираться глухими дорогами, в лесах и болотах. Вот уже три дня как ехали неумоимо, останавливаясь только, чтобы покормить коней, ночуя под открытым небом. На вопросы встречных давали осторожные ответы. Впрочем, и встречных было мало. Дикий полешук, увидев толпу всадников, быстро сворачивал с дороги и скрывался в лесу. Повстречались один раз с толпой людей подозрительного вида, сильно смахивавшей на шайку разбойников; но эти люди, увидя превосходство сил и отличное вооружение отряда Сангушки, предупредительно объяснили дорогу и поскорее скрылись. От разведчиков, посылаемых князем во все стороны, не получалось тревожных известий. А вот пройдет благополучно и эта ночь, а завтра к вечеру они будут уже далеко. Только усталость Гальшки сильно тревожила князя. Как ни храбрилась его дорогая красавица, но он ясно видел ее бледность, ее волнение. Она сама признавалась, что у нее болят руки и ноги. Мужское седло и три дня пути в связи с душевной тревогой не могли не ока-

зять на нее своего действия.

Сангушко думал обо всем этом и с горячей любовью глядел на спящую Гальшку.

Прошло два часа, а может, и больше. Он не мог заснуть. Какая-то странная тоска, что-то давящее, тяжелое заползало в его сердце. Он еще никогда не испытывал такого ощущения. Ему становилось душно, даже страшно.

На поляне все было тихо. Только временами храпели кони и били копытом, да кое-где позвякивало оружие воинов. Уже совсем светало. Глаза князя стали смыкаться...

Вдруг он быстро вскочил на ноги. Что это? Шум, голоса, торопливые шаги... В шатер вбежал Федя.

— Князь, — говорит он, запыхавшись, — сейчас прискакал наш Никита. Верстах в трех отсюда они видели большой отряд поляков... Нет сомнения, что это войско Зборовского — оно напало на следы наши.

Сангушку кольнуло в сердце. Он с отчаянным ужасом взглянул на свою Гальшку.

— Скорей подавать мне лошадь! — крикнул он. — А коня княгини пусть кто-нибудь возьмет с собою.

Он разбудил Гальшку. Она взглянула на его взволнованное лицо и сразу поняла все.

— За нами погоня? Да? Они близко? — прошептала она.

Князь хотел ее успокоить:

— Еще нельзя сказать, что погоня. Видели только какой-то отряд, не очень далеко отсюда. Но мало ли кто это может быть, да еще по какому направлению поедут эти люди — может, совсем в другую сторону.

Но его голос дрожал. Он не обманул Гальшки.

— Не успокаивай меня, мой милый, — печально сказала она. — Лучше скажи прямо, что за нами погоня. Я не боюсь ничего, куда ты со мною... Если суждено нам умереть, так и умрем вместе. Только вот о чем прошу я тебя: не оставляй меня одну, возьми меня к себе на седло. Твой гнедой так силен — он меня и не почувствует. А я хочу быть с тобою: и в двух шагах от тебя мне будет казаться, что я одна, и станет мне страшно.

— Я уж так и распорядился, — отвечал, обняв жену, Сангушко.

Конь был подведен, и минут через десять

весь отряд снялся с места. Скакали быстро, насколько позволяла густота леса; старались держаться вместе, объезжали болота. Проводник был отлично знаком с местностью. Он обещал часа в два вывести на хорошую дорогу. По временам останавливались и прислушивались к лесному гулу.

Федя первый слышал зловещие звуки. Отряд Сангушки оставлял за собою помятую траву, сломанные ветки. Погоня становилась не только возможной, но и легкой. Кони мчались быстро. Лес то редел, то снова сходилась в труднопроникаемую чащу. Необходимы были некоторые остановки. Повернули направо — болото. Одна из передовых лошадей стала сильно вязнуть, так что ее пришлось вытаскивать.

А между тем гул приближался. Проводник объявил, что он немного ошибся в повороте. Нужно вернуться назад, а то тут все пойдет болото, а с другой стороны такая чащоба, что не только конным, да и пешему нельзя пробраться.

Галынский задыхался от бешенства.

— Что ж это ты, предатель, собака! Губить

нас вздумал?! — кричал он. — Братцы, топить его в болоте, пускай себе околевает!

Сангушко едва удерживал своих людей, которые уже кинулись на проводника, побелевшего со страху. Возвращаться назад не стоило — погоня была близко, уйти от нее теперь не представлялось возможности. Нужно было защищаться. Князь приказал своим людям занять позицию у леса, перед болотом. Но они еще не успели исполнить этого, как за ними показались всадники.

Не оставалось никакого сомнения — это было войско Зборовского. Слышался польский говор. Начались переговоры. Вот и сам пан Зборовский, весь закованный в железо. Он издали узнал Сангушку. Он требовал, чтоб ему отдали княжну Острожскую, — объявил, что он послан княгиней. Ему отвечали звуком обнажаемых мечей. Завязалась ожесточенная битва.

Поляки с паном Зборовским во главе старались прорваться к Сангушке. Литвины обступили его плотной стеной и отражали нападение. С обеих сторон дрались ожесточенно и стойко. Но поляков было много, по край-

ней мере раза в три больше, чем всех людей Сангушки.

Князю Дмитрию Андреевичу оставалась одна надежда — пробраться в лес и бежать одному, в сопровождении только двух-трех всадников. Он и попытался сделать это, еще крепче охватив Гальшку, которая с ужасом глядела на битву и горячо шептала молитвы.

Но движение Сангушки было замечено врагами. Он не успел отъехать и тридцати сажень, как со всех сторон послышался треск ломавшихся веток. Его окружили поляки.

Он крикнул своим. Приспела подмога. Битва перешла в глубь леса. Раздались отчаянные крики, проклятия... Все смешалось. Ветки хрустели. Кони всадников ржали и метались. Слышались стоны раненых и умиравших.

Сангушко не знал, что делать. Он был окружен со всех сторон. На каждом шагу грозила встреча с врагом. Он выхватил саблю и остановился. Перед ним, за деревом, как бешеный рубился Галынский. Глаза его налились кровью и, казалось, готовы были выскочить. Шапка слетала, по красному лицу струился пот. Он был один, а на него наступало

несколько человек. Оглянувшись, он заметил Сангушку.

— Князь, назад! — крикнул он охрипшим голосом. — Отсюда эти черти как горох посыпались... Назад, говорю тебе... авось Бог поможет...

В это время подоспели два литвина, а из кустов показалось несколько всадников в кольчугах и между ними пан Зборовский.

Галынский кинулся на него и ударил со всего размаха саблей. Но сабля не пробила кольчуги. Зборовский только покачнулся и нанес меткий удар противнику. Оружие выпало из рук толстяка. Еще удар, другой — и Галынский, свалившись с лошади, тщетно силился подняться. Он обливался кровью. Раны его были смертельны.

— Прости, князь, привел Господь умереть за тебя и княгиню, — едва внятно прошептал Галынский.

Но князь не слышал предсмертных слов своего пестуна и друга — перед ним мелькнула фигура Зборовского. Одной рукой держа Гальшку, другой он отбивался от яростного противника. Он звал к себе на помощь; но в

горячей схватке никто не расслышал его зова. Какой-то глухой удар потряс его. Все закружилось перед его глазами. Ему казалось, что он летит куда-то... Вот как будто пронзительный крик Гальшки, вот еще что-то, как будто гул колоколов или бурные всплески моря...

Князь Сангушко лежал на траве без движения, с закрытыми глазами. По его бледному лбу стекала струйка крови. Зборовский, крепко охватив метавшуюся и безумно кричавшую Гальшку, мчался из чащи. К нему со всех сторон приставали его поляки. Среди кустов и деревьев валялись трупы, слышались стоны раненых. Почти все литвины были перебиты. Остальные бежали в ужасе и падали, изнемогая от усталости. Из войска Зборовского осталось не больше четверти. Литвины дорого продали жизнь свою.

Разноцветные, красивые бабочки летали над мертвыми и полуживыми. Здесь и там были сломаны сучья, смята трава, свежие цветы обгажены кровью. Солнце лило свои жаркие, отвесные лучи и сушило лужи крови.

Разлетавшиеся со страху птицы снова слетались и заводили свои песни. Проворная

белка перескакивала с ветки на ветку и изумленно, недоверчиво поглядывала блестящими, зоркими глазами.

XII

В то время как Сангушко отражал Зборовского и упал, раненный в голову, оставляя Гальшку в руках противника, Федя также выдерживал сильное нападение. На него наступали два поляка, которым, очевидно, очень нравилось его богатое оружие, — они хотели поделить его между собою. Уже лошадь Феде, тяжело раненная, не в силах была его сдерживать. Он соскочил на землю и ловко увертывался от ударов. Поляки, наступая, загоняли его все дальше и дальше, в глубину леса.

Эта травля наконец истощила все терпение Феде. Он решился или умереть, или убить своих врагов и спешить на помощь князю. Ловким движением он вдруг сделал оборот и, в свою очередь, напал на поляков. Они, никак не ожидая этого, сразу растерялись. Федя быстро воспользовался их замешательством и в одно мгновение уложил одного из них. Борьба с другим не была особенно затруднительна. Поляк, видя силу и ловкость

противника, очевидно, трусил — это его погубило. Федя отбросил свою саблю, выхватил кинжал и набросился на него с бешенством. Они оба упали на землю. Борьба длилась несколько мгновений. Поляк выпустил Федю, застонал и опрокинулся навзничь, извиваясь всем телом и хватаясь за грудь, кинжал попал ему почти прямо в сердце.

Федя поднялся, тяжело дыша, и нашел свою саблю. У него только на руке была небольшая царапина. Его платье было разорвано. Смоченные потом волнистые волосы прилипали к щекам.

— Теперь бежать к князю! Быть может, ему плохо! Что с ним? Что с Гальшкой? И как это он мог отойти от них, как мог допустить себя увлечься битвой?! Скорее, скорее — времени терять нечего...

И Федя бросился назад по тому направлению, откуда он бежал, как ему казалось. Одно его удивляло — тишина леса. Разгоряченный борьбою, он не заметил времени, не сообразил, как далеко преследовали его поляки. Он прислушался. Вон, кажется, какой-то шум — что-то похожее на ржание коней, на челове-

ческий голос. Нужно бежать туда. А между тем такая густота леса! Нет, он здесь не был — ни одна былинка не примята. Трава почти в рост человеческий, какие-то не виданные им цветы и растения. Кусты переплетаются. Мощные древесные ветви низко-низко наклоняются и загораживают дорогу. Что-то зашипело под ногами, какое-то длинное, тонкое тело, быстро извиваясь, шмыгнуло в сторону. Нет, он решительно здесь не был, да тут и не проберешься — только время потеряешь.

Назад, назад, а там, верно, направо — вон, кажется, редуют деревья. Федя бросался из стороны в сторону. В иных местах он даже саблей обрубал ветки и таким образом расчищал себе дорогу. Но все усилия его были напрасны. Он попал в какую-то заколдованную чащу, из которой не было выхода. Прошло немало времени. В лесу стояла тишина. Юноша отчаянно боролся с обступавшими его врагами — деревьями и уже начинал чувствовать сильную усталость. Наконец он вырвался на поляну. Перед ним лежало болото, скрывавшееся между деревьями и пересеченное песчаной полосой. Кажется, он видел это

болото — оно должно быть очень близко от места битвы. Только странно, что ничего не слышно. Неужели уж все кончено? Кто победил? Спасен ли князь и Гальшка? А что, если они убиты, а что, если Зборовский отнял княгиню? При этой мысли отчаяние захватило душу Феде. Он пустился бежать по болоту, держась ближе к песчаной полосе, чтобы не так вязли ноги...

Вот как будто опять что-то слышно — да, это точно людской голос. Скорее!

Однако как он устал! Он не может бежать скоро, он с трудом поднимает ноги... Какая тяжесть в ногах, как трудно идти... Федя на мгновение остановился. Что это? Нога ушла в землю. Да, это топкое болото. Нужно идти по песку. Он своротил на песчаную полосу, ярко залитую светом солнца. Ноги все так же вязнут, вязнут еще больше... Мелкий блестящий песок посыпался в сапоги...

Федя вспомнил что-то ужасное и даже вскрикнул. Уж не наносный ли это песок, о котором он слышал столько страшных рассказов. Под этим песком всегда бездонная топь, и из нее нет никакого спасения.

Назад, в сторону, опять к болоту, к тем деревьям, откуда он вышел!

Он повернул, ступил шаг, нога ушла в песок по колено; в другую сторону — еще того хуже. Что теперь делать, где искать спасения? При каждом движении немая, беспощадная пучина все глубже и глубже всасывает свою жертву. А кругом тишина, только знойно светит солнце, только, едва шевеля вершинами, стоят вековые деревья, а на их ветках чирикают и заливаются птицы. Неужели смерть, неужели нет пощады?!

Холодный пот струился по лицу несчастного Федя. Черты его обезобразились ужасом. Он попробовал не шевелиться и потом медленно, медленно приподнял ногу. Может быть, тут, в этой вот стороне, не так вязко. Но нет, при первом движении ноги ушли глубже: холодная, влажная, отвратительная бездна тянула в себя с новой силой. Федя отчаянно зарыдал, ломая руки. Он стал громко молиться, впиваясь взором в голубое, глубокое небо; он звал Божью помощь, просил оттуда, с высоты, спасительной руки, которая бы вырвала его из бездны. Он просил чуда, и была

минута, когда он верил жадно и отчаянно, что чудо это совершится. Он заметил в синеве маленькое белое облачко. Ему казалось, что облачко сейчас станет спускаться, спускаться, что он за него ухватится и полетит выше и дальше от этого ужасного места. Но облачко расплылось, растаяло. Федя стал молиться еще громче, еще отчаяннее. Он собрал все силы, подпрыгнул и ушел в песок почти по пояс. Стон и проклятие вырвались из груди его. Он кричал, звал к себе на помощь, он сбросил все оружие, сбросил кафтан, чтобы легче было...

Песок делал свое дело медленно, но беспощадно.

Федя понял, со всем ужасом этого сознания, что он обречен на гибель, что никто уже не спасет его. О! Зачем, не убили его поляки, зачем, наконец, он сам отбросил от себя кинжал, вместо того чтобы заколоться. Самая мучительная смерть, но смерть быстрая, представлялась ему теперь высочайшим блаженством. Что такое минута страданий перед той отвратительной смертью, которая его ожидала. Быть может, пройдут еще целые часы,

прежде чем песок его окончательно задушит. Он будет стоять здесь, в этой холодной, густой могиле, будет стоять здоровый, сильный, зная, что никакая сила не спасет его.

На него стало находить оцепенение. Мысли одна за другой, сбиваясь и переплетаясь, роились в голове его. Он слышал, как колотилось его сердце, как кровь стучала в висках. Его горло пересохло от отчаянного крика и томившей его жажды. В глазах мутилось.

Вот мысли стали обрываться, наплывали грезы, проносились отрывки воспоминаний. Вспоминались Сорочи — красивое богатое поместье князя Сангушки, в котором Федя провел все свое детство. Он рано лишился родителей, принадлежавших к шляхетскому и далеко не бедному роду. Старый Сангушко был крестным отцом и опекуном Феде. Он взял его к себе в замок и обращался с ним, как с сыном. И Федя любил его, но больше всех на свете любил он молодого князя Дмитрия Андреевича. Это было какое-то обожание. Ему казалось, что в князе соединились все доблести человеческие. Подражать ему во всем, заслужить его внимание и ласку было для Феде

высочайшим счастьем.

Ему вспомнился один летний вечер прошлого года. Он вышел тогда погулять на берег озера. По гладкой поверхности воды тихо качалась лодка. Князь Дмитрий Андреевич сидел в ней, едва шевеля веслом, погруженный не то в задумчивость, не то в полудремоту. Федя издали глядел на него и думал: «Вот он едет мимо меня и не обращает на меня никакого внимания. Он не знает, как я люблю его, да и любовь-то моя ему ни на что непригодна. Ах, если б сделать что-нибудь такое, чтоб доказать ему эту любовь, чтобы понадобиться ему, спасти его от какой-нибудь опасности. Вот если б поднялась теперь буря — вон ведь какая туча с той стороны заходит, — если б князь стал тонуть, я бросился бы в воду и спас бы его...» Так думал Федя, а лодка удалялась от берега. Тишина наступила полная — вода не шелохнется. Становилось душно. Вдруг пронесся ветер, туча, казавшаяся сначала только далекой, темной полоской, стала быстро расти и надвигаться. Не прошло и десяти минут, как сильный вихрь промчался по озеру. Федя в ужасе остановился, ему казалось,

что он накликал эту бурю и должен принять на себя все последствия.

Между тем князь повернул лодку к берегу и греб изо всех сил. Волны заходили, озеро покрылось пеной. Легкую лодку подбрасывало как щепку. Вот она уже довольно близко, но ее постоянно относит в сторону, очевидно, князь не может справиться... Федя сбросил кафтан и кинулся в воду. Немало труда ему стоило бороться с волнами: буря разыгрывалась с каждой минутой. Он смотрел все вперед, на лодку. Она взлетела кверху, потом нырнула, почти стоймя, в воду, сильная волна плеснула, и лодка в одно мгновение опрокинулась. С минуту ничего не было видно — князь не показывался. Потом оказалось, что его ударило в голову краем лодки и ошеломило. Федя был отличный пловец, он напруг все усилия и был возле лодки. Между тем князь очнулся от удара и, захлебнувшись, едва сохранявший сознание, показался на поверхности. Федя схватил его и поплыл к берегу...

С тех пор самая тесная дружба завязалась между ним и князем — они стали неразлучны. Даже образ Гальшки, овладевший юно-

шей, не мог изменить его чувства к Дмитрию Андреевичу. В последнее время Федя только тогда и был несколько спокоен, когда мог оказать им какую-нибудь серьезную услугу. И вот теперь — где они и что с ними? Не удалось даже умереть за них честной смертью храброго воина, а приходится медленно задыхаться здесь, в этом ужасном болоте. И никто даже не передаст им его последнее прощальное слово...

А что там внизу под ногами? Бедный Федя весь задрожал от ужаса и отвращения... Песок, какая-то полувода, дальше липкая, черная грязь, жидкая и зловонная, — и конца ей нет, и уходит она в самую середину земли... О! Какой ужас!..

Снова отчаянный, пронзительный вопль огласил пустынное болото. Федя опять стал биться в песке, ломать руки, кричать и звать на помощь. Он пробовал ложиться, садиться, скакать и выпрямляться — ничто не помогало: песок беззвучно, непреодолимо тянул его в бездну... Вот неподалеку, у крайних деревьев, показалось несколько всадников. В сердце Феде проснулась надежда. Он закри-

чал изо всех сил и замахал им руками. Они услышали его, они придут к нему на помощь... Они остановились, оглядываются во все стороны.

— Я здесь, здесь, в наносном песке, я гибну, он мне подходит уже под плечи. Спасите, спасите, Христа ради, спасите, добрые люди, не дайте мне погибнуть, сжальтесь надо мною! — кричал Федя.

Всадники его увидели. Они что-то говорят, очевидно, совещаются. Один из них поехал в его сторону. Но конь стал вязнуть... Всадник взял направо, взял налево — везде топко! Он махнул рукой и вернулся назад.

Федя замер от ужаса. Потом горькие, отчаянные слезы полились из глаз его. Он рыдал как безумный, он кричал диким, хриплым голосом.

— О, Боже, Боже! Неужели в вас нет и капли жалости! Неужели вы так и оставите меня околевать как собаку? Братцы, голубчики, родные мои! Помогите, наломайте хоть веток да свяжите их крепче. Не близко подъезжайте, а только бросьте мне конец этих веток... Я ухвачусь за него, авось меня можно

будет вытащить...

Но всадники уже не слышали. Они решили, что спасать его, значит, самим погибнуть, и быстро уезжали от страшного, тяжелого зрелища.

Федя задыхался. Он рвал на себе волосы, царапал себе лицо, кричал и визжал в иступлении.

Песок был уже близко. Вот он щекочет ему шею. Несчастный отгребает его руками, корчится, силится прыгнуть. Ноги и все тело поледенели. Как будто гири привешены к ногам, как будто чьи-то тяжелые, холодные руки тянут их вниз...

А солнце все светит, птицы поют, наступают тихий, душистый вечер. Так хорошо, так чудно хорошо там, среди этих деревьев, на сочной траве, где пестреют цветы, где жужжат пчелы... Так чудно хорошо на свете, так сладка жизнь со всеми своими радостями, со всем своим горем. Феде безумно, отчаянно захотелось жизни — хоть день один, хоть час один... Только бы еще пожить, еще посмотреть на солнце...

Песок уже у рта, несчастный запрокинул

голову... лицо посинело, глаза, широко открытые, выражают безумство и ужас. Он ревет, как зверь, он в кровь искусал себе губы и руки... Песок посыпался в рот и задушил крик. Вот и глаза исчезли. Виден только лоб... волосы стоят дыбом. Еще две, три минуты — и ничего не видно. Из глади песка вырвалась рука с искривленными пальцами, но и она бес- сильно исчезла...

Все тихо... Только птицы-рыболовки с жалобным писком кружатся над страшной могилой.

Часть вторая

I

В конце шестидесятых годов XVI столетия столица Литвы, Вильна, была одним из знаменитейших городов в Европе. Ее население превышало двести тысяч. Кроме того, сюда стекались люди со всех краев Литовского Великого княжества.

Расположенный в красивой местности, широко раскинувшийся город представлял самую оживленную и пеструю картину. Роскошные замки вельмож, дома богатой шлях-

ты и горожан просвечивали сквозь листву садов, освежавших городской воздух. По праздничным дням разноплеменное население стекалось в многочисленные церкви, соборы, костелы, кирки, мечети и синагоги. Богатые рынки кипели движением и торговлей.

Хорошо и мирно жилось в Вильне — как будто какая-то благодетельная рука удалила отсюда все смуты и страсти, все религиозные волнения и вражду, бушевавшие в то время во всех центрах Европы. Пришелец с Запада, навидавшийся всяких ужасов, поражался неожиданной картиной: русские, поляки, литвины, греки, армяне, татары, евреи и немцы, представители самых различных вероисповеданий, не питали друг к другу никакой вражды: не ссорились, жили дружно и спокойно предавались своим занятиям. Всех соединяла самая широкая веротерпимость. Город процветал и богател с каждым годом. Мирные жители ниоткуда не ждали себе напасти. Только однажды, именно осенью 1569 года, они были встревожены слухом о том, что в город должны въехать отцы-иезуиты, о которых составилось в народе самое ужасное

представление. Этот слух не замедлил подтвердиться. Действительно, епископ виленский, Валериан Проташкевич-Сушковский, просил прислать ему надежных помощников в деле распространения и утверждения шатающегося католицизма. Иезуиты, уже давно наметившие Вильну, поспешили откликнуться на этот зов. Пять избранных отцов известили епископа о своем приезде. Проташкевич, видя народное настроение, побоялся допустить их въезд открыто, и они пробрались в город тайно, в темный ненастный осенний вечер, в епископской карете, посланной к ним навстречу с надежным конвоем.

Жители Вильны только через несколько дней узнали о пребывании в их городе новых гостей и пришли в крайнее смущение — нельзя же было силою, без всяких достаточных улик, выгнать их из епископского замка, где они поселились на первое время. Положение было тщательно следить за ними и при первом же незаконном их действии настоятельно требовать их удаления. Но иезуиты отлично понимали свое положение. Они почти никогда не показывались на улицах, а если

выходили, то поражали своим необычайным смирением и скромностью.

Вильна снова успокоилась и перестала обращать на них внимание. Черт оказался не так страшен, как его малюют...

Тогда по одиночке, так же тихо и незаметно, стали являться новые отцы с удивительными комплиментами епископу, с хитро подготовленными, красноречивыми фразами, от которых Проташкевич проливал слезы умиления. Скоро для отцов-иезуитов был приготовлен заранее купленный епископом дом напротив его собственного замка. Дом был большой и вполне удобный для устройства в нем коллегіума. Тут же, через улицу, находились два других прекрасных дома с обширными плацами. И эти дома купил для иезуитов растроганный епископ. Здесь должна была произойти в скором времени закладка иезуитского костела. На содержание отцов Проташкевич обязался ежегодно выдавать 2000 коп литовских грошей и обеспечил эту сумму одним из своих имений. На устройство школы он подарил несколько деревень, так что сразу можно было содержать сорок вос-

питанников. Кроме того, для ловли рыбы в постное время все тот же благодетельный епископ пожертвовал иезуитам большое и прекрасное озеро Рыконты.

Скоро и многие частные лица последовали примеру Проташкевича, и месяца через четыре у первых виленских иезуитов оказались богатейшие имения с весьма внушительной цифрой доходов.

Отцы не дремали — они сразу выказали удивительную, всестороннюю деятельность. Для управления коллегиумом приехал Станислав Варшевицкий, человек замечательный по уму, энергии и учености. Еще недавно Варшевицкий был посланником Сигизмунда-Августа в Турции, потом, в должности королевского секретаря, он пользовался при дворе огромным влиянием и был любимцем сестры короля, Анны Ягеллонки, будущей жены Стефана Батория. Но он не удовольствовался своим блестящим положением, он жаждал другой деятельности. Три года тому назад он отказался от всех своих должностей и званий, явился в Рим и поступил в иезуиты. Здесь его оценили, и генерал ордена помимо всех дол-

госрочных испытаний сразу сделал его профессором. Варшевицкий начертал превосходный план для виленского коллегиума и быстро принялся приводить его в исполнение.

Меньше чем в год коллегиум был готов, и происходило его торжественное открытие. Знаменитый иезуит Магиус, провинциал австрийских и польских иезуитов, приехал благословить начинавшееся дело. В день открытия епископ Проташкевич был встречен отцами торжественною речью. Роскошная обстановка, смирение и ученость наставников поразили не только епископа, но и весь капитул, духовенство и многочисленных приглашенных. Все видели в этом открывающемся коллегиуме восходящую звезду литовского просвещения, некоторые из присутствовавших тут же решились отдать своих сыновей иезуитам. Провозглашенный ректором коллегиума Варшевицкий был именно таким наставником, о котором только и могло мечтать чадолюбивое литовское шляхетство.

Между тем остальные отцы-иезуиты делали все, чтобы заслужить любовь обитателей Вильны. В это время над городом разразилось

страшное бедствие. Неурожай и голод последнего года породили моровую язву. Народ в огромном количестве погибал от ужасной болезни. В городе царили всеобщее уныние и паника. Кто мог — бежал, запирая свой дом и покидая почти все имущество. Скоро уехал епископ с капитулом, за ним потянулось и остальное духовенство. Дошло до того, что некому было совершать богослужения, отпевать и хоронить мертвых. Одни только иезуиты были все налицо. Они ходили по улицам с крестом, Евангелием и Святыми Дарами, входили в дома, лечили и утешали больных, помогали бедным, исповедовали и приобщали, некоторые из них погибли от заразы во время исполнения священных обязанностей у одра умиравших. Такие поступки, такое удивительное самоотвержение не могли не подействовать на народ. Его подозрительность и ненависть, покуда ни на чем не основанные, исчезли и уступили место полному уважению. Немало православных людей, получивших от них денежную помощь и духовное утешение, спасшись от моровой язвы, перешли в католицизм и сделали их ревностны-

ми учениками. Только немногие продолжали относиться к ним с недоверием.

Когда ужасное бедствие и народная паника миновали, когда город снова зажил своей здоровой и деятельной жизнью, иезуиты очутились совершенно в новом положении. Они уже не скрывались, не избегали народа; они мало-помалу начинали явно проповедовать на площадях, устраивали торжественные процессии, поражавшие и увлекавшие воображение. Иезуитские средства для достижения своих целей прежде всего были: школа, исповедь, проповедь, обрядность и приобретение денег и имений. Из этих средств обрядность приносила им великую пользу. Никогда еще виленские жители не видали такого блестящего богослужения, как в иезуитском костеле. Роскошное убранство храма, драгоценные ризы и утварь, чудные иконы, выписанные из Италии, торжественная музыка, благоухание фимиама, поразительная, вдохновенная речь проповедника — все это доводило присутствовавших до самозабвения и религиозного восторга.

В первое время действия иезуитов глав-

ным образом были направлены против реформатов. Для успешнейшего достижения цели отцы вздумали даже давать нечто вроде представлений, собиравших толпу праздного люда...

Перед нами один из населеннейших кварталов Вильны. Весь рынок запружен всевозможными сельскими продуктами, привезенными из ближних деревень. Солидные литвины, закусывая свои длинные усы, медленно прохаживаются по рядам и прицениваются к предметам, необходимым для домашнего обихода. Женщины льнут под навесы, где черномазые греки и армяне разложили свои пестрые товары и различные сласти. Юркие, быстроглазые евреи с длинными пейсами и в ермолках шныряют между народом, треща на своем жаргоне, прищелкивая и похлопывая себя по полам длинных засаленных кафтанов. Они носятся с какою-то дрянью, которую в конце концов им все же удастся продать за возмутительно высокую цену. Несчастный покупатель, оглушенный градом уверений, рассказней и отчаянных клятв с биением себя в грудь и подниманием глаз к небу, только

тогда приходит в себя, когда негодная вещь уже у него в руках и за нее заплачены бешеные деньги. Он понять не может, где был его разум, где были глаза, когда он покупал эту дрянь и платил за нее такую цену. Но дело уже сделано — еврей позвякивает полученными деньгами, и теперь его можно исколотить, оплевать, вырвать все его пейсы и бороду, но денег он уже не вернет ни за что в мире.

В крайнем случае он возьмет их в рот, он готов проглотить их с явной опасностью для своей жизни; он клянется Богом и всеми своими чадами и домочадцами, призывает на себя самые невероятные и неслыханные бедствия в доказательство того, что проданная вещь — перл создания и что он продал ее себе в убыток. Легкомысленному покупщику останется только плюнуть и крепкою бранью ответить себе душу...

Вот приезжие немцы собрались в небольшую кучку. На них широкополые шляпы с перьями, кургузые темные куртки, перехваченные толстым кожаным ремнем, в который зашита казна и из-за которого выглядывает

оружие. На ногах крепкие башмаки и длинные чулки в обтяжку. Они лопочут между собою на непонятном для толпы диалекте. Они посматривают кругом себя с видом превосходства и даже презрения; но, обращаясь к кому-нибудь, выказывают большую любезность. Несмотря на то что Вильно прекрасный, живописный город с большими зданиями новейшей европейской постройки и богатыми церквами, им кажется, что они находятся в совершенно дикой стране, среди дикого люда, едва отличающегося от животных. Но этот люд богат и стоворчив, радушен и хлебосолен, в городе много всякого дела, всякой выгодной работы — и немцы решаются жертвовать собой и наживать деньги. Они хвастаются друг перед другом своими родными городами и блестящим положением, которое там занимали. И в то же время мысли их невольно возвращаются к покинутым на родине семействам, к черной нужде и обидам, от которых они бежали в далекие литовские земли...

Жар безоблачного полдня спал. Длиннее становятся тени от навесов. Оживленнее идет

торговля, больше и больше разного люда прибывает на рынок. При входе на площадь в прохладной тени каменной церковной паперти появляется фигура кальвинского сеньора. Этот сеньор как две капли воды похож на иезуитского патера, который прошлое воскресенье говорил проповедь в костеле и отчаянно нападал на учение Кальвина. Теперь же у него все ухватки, все манеры сурового кальвиниста. К нему навстречу сквозь самую густоту толпы пробирается другой иезуит, направо и налево объявляя, что он идет к церкви, чтоб завести спор с кальвинским сеньором и оспорить все его доводы, разъяснить чистоту веры.

Народ, жадный до всяких сцен и бурных прений, отрывается от своих делишек и следует за иезуитом.

Отцы подходят друг к другу и важно раскланиваются.

Разноплеменная толпа, перешептываясь, обступает их со всех сторон и готовится слушать.

Иезуиты, отличные лингвисты, уже хорошо познакомились с литовским языком и на-

чинают свой спор на общепонятном наречии. Они относятся друг к другу с видом глубочайшего уважения.

Говорить начинает иезуит непереодетый. Он униженно кланяется мнимому кальвинисту и спрашивает вкрадчивым голосом:

— Пресветлый учитель новейшего богословия! Верите ли вы в предания церкви и св. отцов?

— Веруем, — отвечает сеньор. — А вы, отче, скажите мне где Христос?

— Христос везде, — звучным голосом провозглашает иезуит, набожно крестясь и поднимая взоры к небу. — Везде Христос — и на небе, и на земле, и в алтаре, по Его же слову «сие есть тело Мое».

Кальвинист приводит тексты из Св. Писания. Но в устах иезуита на один текст противника появляется пять, шесть текстов, целая фаланга красноречивейших фраз, образов, сравнений, произносимых одушевленным, вдохновенным голосом, с блеском глаз и театральными, эффектными движениями.

С каждой минутой усиливается внимание слушателей. Католики не могут воздержаться

от громких возгласов одобрения.

Кальвинисты окружают сеньора и жадно прислушиваются к словам его.

Прения продолжают. Отец-иезуит то как будто начинает уступать противнику, сдается на некоторые его доводы, то вдруг ловко нападет на него и одним словом разбивает его красноречиво запутанное положение. Вот мало-помалу кальвинист как будто утомляется и затихает. Он возражает вяло, заикается, смущается. Он волнуется, и всем очевидно, что он начинает себя чувствовать побежденным. Иезуит уже громко, торжественно нападает и громит его самым неопровержимым образом. Сеньор окончательно не в силах защищаться — он должен молчаливо признавать справедливость доказательств патера, ошибки своего учения и торжество истины в лице католицизма...

В толпе поднимается волнение. В нескольких шагах от патера и сеньора католик-горожанин с торжествующей миной наступает на своего соседа-кальвиниста. Тот весь побагровел и сверкает глазами. Они селятся перекричать друг друга. Еще минута — и завязывает-

ся кулачная потасовка.

— Нет, так нельзя! — с сердцем говорит толстый шляхтич-кальвинист, подходя к переодетому сеньором иезуиту. — Спорить так спорить. Этак всякий тебя побьет словами, отче, коли ты сам поддаешься нарочно. Не о том совсем говоришь, о чем нужно, да и слова-то твои, словно у неразумной бабы. Этак нельзя, говорю, этак только срамota на нас и на веру нашу!

— Чего кипяتيشься, старина! — останавливает расходившегося шляхтича молодой его единоверец. — Это не в церкви, не всерьез... Люди, так себе, толкуют забавы ради, а ты сейчас в обиду! Отчего же не поспорить отцам — тоже ведь не зазорный спор какой, а все от божественного... Умную речь умно и послушать...

Толстый шляхтич отходит, увлекаемый товарищами, но продолжает ворчать и даже ругаться.

Некоторые от души смеются, глядя на смущенную фигуру и ужимки побежденного сеньора.

Он уже окончательно разбит по всем пунк-

там и только руками отмахивается от потока красноречия, извергаемого противником.

Толстый шляхтич не в силах больше вытерпеть. Он снова подвигается к спорящим и вдруг бросается с кулаками на сеньора.

Перепуганный сеньор пятится и старается оттолкнуть наступающего шляхтича.

Но тот уже вошел в азарт и себя не помнит. Он замахивается кулаком, и звучная затрещина оглашает воздух.

— Ратуйте! Ратуйте! — кричит сеньор.

Собравшиеся ребятишки, на радостях подняв целое облако пыли, начинают орать и визжать невыносимо.

Несколько человек схватывают шляхтича за руки, но у него оказываются защитники. Начинается возня и драка. Раздается несколько крупных ругательств, обращенных против иезуитов. Отцы, воспользовавшись суматохой, благоразумно скрываются за церковной оградой.

Долго еще волнуется толпа и не хочет расходиться. Одни смеются, другие наступают друг на друга.

И снова ожесточенная драка, подбитые

скулы, изорванное платье.

И нет уже прежней тишины и спокойствия, нет прежней веротерпимости, которой так отличалась и славилась Вильна. Бывало, и еще так недавно, всяк знал свое дело и дружески сходил с соседом. Никто не спрашивал друг друга о вере, никто не спорил и не злобствовал. Всяк шел в свою церковь, молился своему Богу, как понимал Его, но в то же время с уважением, без насмешки, относился к чужой церкви. Правда, под влиянием Радзивиллов и их клеветов совершалось немало переходов из православия и католичества в протестантство; но все это делалось тихо, это было делом совести обращаемых и не возбуждало против них всеобщей ненависти.

Недаром, видно, боялся народ иезуитов, предчувствовал недоброе при их появлении. Пришли эти смиренные служители церкви, солдаты Иисусова воинства, стали действовать не страхом и трепетом, а добротою, кротостью, наукою и милосердием. Стали для досуга народного, ради умственной пользы устраивать зрелища, примерные споры, а злодовитое так сразу и брызнуло во все стороны

из всего их добра лицемерного.

Не смущались отцы-иезуиты, что толпа иногда смеялась над ними и даже их била. Они продолжали свои уличные драматические представления и неустанно делали свое дело. Что ж такое, что иные бранились и дрались, зато немало разного люда вслушивалось в их прения и делалось верными сынами католицизма, удобным орудием в руках их благоразумных. Не по дням, а по часам прибывало новообращенной паствы. Заводились широкие сношения, учреждалась деятельная, тайная иезуитская полиция. Тайственной, несокрушимой сетью опутывался человек, поддавшийся иезуитам. Для него уже не было возврата... Время от времени в Вильне стали ходить слухи о пропадавших людях. В водах Вилии находили обезображенных утопленников, сохранивших все следы страшной пытки.

В одном месте между иезуитским костелом, быстро разраставшимся в большой монастырь, и речным берегом по ночам слышались как будто глухие подземные стоны... Но ни одной явной улики не было против отцов.

Народное мнение успокоилось на том, что, мол, мало ли о чем сдуру брешут люди.

II

Так быстро создавшийся виленский коллегиум помещался в прекрасном здании, устроенном со всеми удобствами. Здесь было собрано все, что только могло благоприятно действовать на воображение, ум и чувства. Громадный транспорт различных предметов прибыл из Италии: большая библиотека, коллекция прекрасных картин и статуй, лаборатория, физический кабинет, музей редкостей — все это обязательно показывалось и разъяснялось многочисленным посетителям коллегииума. Светлые, высокие классные комнаты, столовые и дортуары сулили поступающим ученикам всевозможные удобства и полное довольство. Серьезные, но ласковые лица наставников, их любезное, мягкое обращение сразу располагали к себе и внушали доверие.

Но была и непоказная половина дома, куда не допускались посетители. Там помещались покои самого отца-ректора и прочих иезуитов. Все эти покои выходили в сад с заднего фасада здания. Высокие окна с разноцветны-

ми стеклами скрывали от непосвященного взора эти уединенные кельи. В них царствовала вечная тишина, говорившая о серьезных научных занятиях, размышлениях и молитве. Однако внутренность монашеских покоев не соответствовала всем этим внешним признакам. Здесь царствовала еще большая роскошь, чем на лицевой стороне дома. Уже прошло то время, когда первые последователи Лойолы считали своим главнейшим долгом умерщвление плоти, строгий пост и даже самоистязания. С тех пор нравы и привычки иезуитов значительно изменились. Человек, прошедший школу испытаний и лишений и торжественно принятый в лоно ордена, получал разрешение на многое такое, что никак не допускалось ни в одном из орденов монашеских. Иезуиты отлично поняли, что успех их дела не в посте и молитве, не в чистоте жизни, а в одном лицемерии. Монахи только по имени, они были искуснейшими дипломатами и администраторами, могущественной политической силой, охранявшей престол римского первосвященника. Их труды — на пользу латинства, их заслуги были действи-

тельно так велики, что они считали себя за все это вправе пожить в полное удовольствие. Всюду, где ни устраивались они, сейчас же появлялась роскошь. Они любили хорошо поесть и выпить, держали отличных поваров, а в погребах их хранились лучшие вина. Они могли удовлетворять всем своим прихотям, лишь бы это делалось прилично и без шума. Все допускалось без исключения, не допускался только скандал, явное бесчинство, за которое виновный подвергался строгой каре. Всякая тайна, все, могущее хоть сколько-нибудь компрометировать орден, портить его репутацию, замирало и скрывалось, не выходя из среды иезуитской. Если же находился иезуит, способный выдать орденскую тайну, приподнять пред посторонними завесу внутренней жизни ордена, он немедленно подлежал изгнанию, а в более важных случаях должен был проститься даже с жизнью. Святые отцы никогда не задумывались над убийством, если оно было в видах ордена.

Виленский коллегиум был окончательно устроен. Все было отлично распределено, одного только недоставало — достаточного ко-

личества учеников. Православные и протестанты сначала не пускали туда детей своих. Виленский капитул запрещал и католикам отдавать детей к иезуитам, боясь, чтобы не упало его кафедральное училище. Однако Варшевицкий и отцы-наставники не унывали. Они убедительно приглашали всех присутствовать на их уроках, наглядно доказывали превосходство своего преподавания перед остальными школами, указывали на богатства и удобства коллегиума, проникали в богатые дома иноверцев, неутомимо обращали в латинство. Мало-помалу коллегиум стал наполняться. Принимали всех бесплатно — и богатых и бедных, и знатных и простолюдинов. Только отношение наставников к этим детям было далеко не равное.

Гулко раздался звонок по высоким, просторным комнатам и коридорам коллегиума. Звонок этот возвещал об окончании классов. Десятка три мальчиков от двенадцати до шестнадцатилетнего возраста вышли, сопровождаемые надзирателями, в залу рекреации. Ученики, одетые в черное, красивое и удобное платье, держали себя чинно и не заводи-

ли шалостей. Они знали, что в это время обыкновенно коллегиям показывается посетителям и им было строго внушено вести себя примерно.

Вечером, по окончании всех занятий, они могли делать что угодно; но теперь, при возможности появления посторонних, они должны выказывать удивительное послушание и скромность. Отцы-наставники заранее приучали детей к лицемерию и быстро достигали своих целей.

На этот раз ректор дал знать надзирателям, чтобы они особенно позаботились о порядке, так как он ожидает посещения одной знатной и очень богатой женщины, которая уже много пожертвовала в пользу иезуитов и от которой ожидают еще более крупные пожертвования.

Мальчики ходили парами по огромному залу и тихо разговаривали. Трое из них под наблюдением учителя в соседней комнате собирались делать копию с только что привезенной из Италии картины, изображавшей Св. семейство.

Массивные двери, ведущие в залу, раство-

рились, и вошел Варшевицкий в сопровождении двух женщин и высокого, бледного иезуита, не принадлежавшего к коллегии. Одна из посетительниц была уже немолода, но сохранила еще следы красоты. Что-то порывистое, экзальтированное замечалось в ее движениях. Это была княгиня Беата Острожская. За нею следовала Гальшка. Кто не видал красавицы в продолжение двух лет, непременно должен был поразиться происшедшей в ней перемене. Куда девалась ее свежая юность, ее веселая детская улыбка?! В девятнадцать лет она казалась старше своего возраста; на бледных матовых щеках лежала тень неизменной, сосредоточенной грусти, даже страдания. Глаза стали как будто еще больше, еще глубже. Она безучастно останавливала загадочный, ушедший в себя взор на окружающих предметах. Очевидно, ничто не интересовало ее, ничто не нарушало печальную нить ее мыслей. Она похудела и как бы выросла. Но вся эта перемена нисколько не уменьшала красоты Гальшки; напротив, красота ее получила теперь еще высшее, поразительное обаяние. Это была красота не ребен-

ка, не ангела, а женщины, много страдавшей и пережившей.

В долгие бессонные ночи до сих пор все грезилась Гальшке страшная сцена в густоте леса. Как сейчас, раздавались в ушах ее стоны раненых, звук мечей, дикие крики. У самых глаз своих видела она лезвие оружия, постоянно направляемого Зборовским в грудь ее любимого мужа, который, крепко обняв ее, ожесточенно защищался. Не могла забыть она его искаженного ужасом лица, его тщетных усилий или убить противника, или как-нибудь от него отвязаться. Что-то ужасное творилось тогда с нею — потом она понять не могла, как не умерла в те минуты, как не сошла с ума... А дальше?! Воспоминания становились все страшнее и невыносимее: она закрыла глаза, чтобы ничего не видеть больше, она кричала, сама себя не помня, но никто не являлся на помощь. И вдруг обнимавшая ее рука князя как будто дрогнула и ослабела. Горячая кровь брызнула ей в лицо... Она взглянула — князь выпустил ее и, покачнувшись на седле, готов был упасть. Вся голова его была в крови... Он падал. Она хотела к нему ки-

нуться, хотела убить себя его кинжалом, но уже чьи-то сильные, будто железные, руки обвились вокруг ее стана. Ее схватили... Она кричала и билась, хотела задушить себя собственными руками. Ей осторожно, но крепко связали руки. Дальше она уж ничего не помнила...

В ближайшем городе Зборовского дожидались княгиня и Антонио. Гальшка не узнавала матери. Она бредила и стонала. Ее болезнь продолжалась мучительно долго. Выписанный из Кракова медик-немец только пожимал плечами. Всякий день ожидали смерти. Княгиня дни и ночи не отходила от постели больной, плакала и молилась. Она просила у Бога выздоровления дочери, но ни разу не созналась себе самой, ни на минуту не поняла, что сама причина всего несчастья. Она призывала Антонио, требовала, чтоб он умолил Бога спасти Гальшку, чтоб он утешил, успокоил ее разрывающееся от горя сердце. Но Антонио не мог найти слов утешения. Целыми часами сидел он молча, с бледным и страшным лицом и не отрываясь смотрел на мечущуюся, стонавшую и бредившую Гальшку.

Она все говорила, отрывисто и задыхаясь, о черном, страшном, бесконечном лесе, о деревьях с косматыми, длинными руками. Ей казалось, что железные когти вырастают на руках этих. Страшные руки тянутся к ней со всех сторон, острые когти впиваются в ее тело...

Она вскакивала, дико озираясь широко раскрытыми, неестественно блестящими глазами.

— Кровь! Кровь! — кричала она. — Вот здесь, здесь, у меня на лице! Это его кровь! Что они с ним сделали? Где он, где он? Пустите меня к нему! Отдайте мне его, дайте мне умереть с ним!..

Но иногда ее горящее, осунувшееся лицо вдруг преображалось. Выражение ужаса и отчаяния сменялось радостью. Сухие, запекшиеся губы счастливо улыбались. Она глядела пристально перед собою и протягивала вперед свои тонкие, обессилившие руки.

— Это ты?! Ты! — шептала она сладким, ласкающим шепотом. — Тебя не убили, ты жив... Я знаю, что ты жив, что ты придешь ко мне... Зачем ты не приходил так долго? Зачем

ты так долго оставлял меня одну в этом ужасном, ледяном лесу, с этими страшными мертвецами?! О, если бы ты знал, как они отвратительны... Вот посмотри, посмотри, вот этот все на меня смотрит, все смотрит прямо в мое сердце... Какие у него глаза! И знаешь ли — он не мертвец, он дьявол!.. Спаси меня от него, убей его, а то он скоро загрызет меня до смерти!..

Она с ужасом впивалась глазами в Антонио, закрывала лицо руками и, изнеможенная, падала на подушки.

Княгиня рыдала и молилась, Антонио опускал глаза. Его пальцы судорожно сжимались и разжимались. Капли холодного пота выступали на лбу его.

Гальшка снова силилась приподняться, снова манила к себе кого-то. Снова раздавался ее слабый шепот:

— Милый мой, милый! Ведь уж теперь ты не уйдешь от меня? Ведь уж теперь все конечно и мы навеки с тобою! Что это такое было? Скажи мне, что сон! О, как во сне мне было тяжело и душно, как было страшно! Мне казалось, что тебя нет со мною, что тебя убили!..

Но теперь все прошло... пойдём в сад — знаешь мою любимую яблоню, я покажу тебе, как быстро на ней растут яблоки, они уж и теперь больше самого крупного ореха. Федя говорил, что это очень вкусные яблоки — сладкие и с янтарным наливом... Федя добрый, славный мальчик, только отчего он все так печально на меня смотрит? Верно, у него есть какое горе — спросил бы ты его, он тебе скажет... Митя, голубчик мой, как мне хорошо с тобой... Одно меня мучит — матушка. Но неужели она так и не простит меня?! Нет, простит, простит — не может быть, чтоб она была такая злая, ведь я не виновата, что всей моей душою люблю тебя, что жизнь мне без тебя хуже самой смерти... А знаешь что? Я видела нынче во сне отца Антонио, и будто он такой бледный-бледный и страшный, еще страшнее, чем на самом деле. Будто он подходит ко мне, а глаза у него горят как огонь, и будто говорит, что мать моя отдала ему мою душу, что он не монах, а сам дьявол...

Антонио не может вынести. Он поднимается и, шатаясь, выходит из комнаты...

Наконец здоровый организм Гальшки

справился с болезнью. Внутренний жар, паливший ее, уменьшился, бред прошел. Больная пришла в себя. Сначала она ничего не помнила из происшедшего с нею; но, когда сознание окончательно вернулось, положение ее сделалось опаснее, чем в страшные минуты горячки. Невозможно изобразить того горя, которое охватило бедную Гальшку. Она была окончательно подавлена тяжестью своей потери. Она не проклинала своих врагов, из которых первым была ее родная мать. Она не выказывала ненависти к княгине Беате, но относилась к ней совершенно безучастно. По целым дням она молчала и лежала, не шевелясь, слабая и изнуренная. Ее едва можно было уговорить принимать пищу. Выздоровление подвигалось медленно, но, когда она уже стала ходить, первой ее мыслью было умолять мать пустить ее к дяде Константину. Княгиня и слышать не хотела об этом. Напротив, она и Антонио употребили все старания, чтобы предотвратить всякую возможность сношений Гальшки с Острогом. Князь Константин ездил в Краков и требовал возврата в Острог племянницы, основываясь на

завещании князя Ильи и на православии Гальшки. Красноречивый Чарыковский по поручению короля доказал ему незаконность его требований. В городе ходили слухи, что князь вышел из себя и даже ударил Чарыковского. Как бы то ни было, верно одно, что он уехал из Кракова с большими неприятностями и ничего не добившись. Княгиня, очевидно, успела привлечь на свою сторону и всю партию Радзивиллов, всегда враждовавших с Острожским, и влиятельных фавориток Сигизмунда-Августа. Такое неприятельское войско было не по силам князя Константина. Он был герой в открытом бою, но не был в состоянии интригой победить интригу. Он пробовал посылать своих людей разыскивать место битвы, приказал им во что бы то ни стало найти труп князя Сангушки, чтоб предать его честному погребению. Одни из этих людей пропали без вести, другие вернулись и объявили, что в глухом лесу, среди болота напали на множество разлагавшихся трупов. Задыхаясь от смрада, эти люди обошли всех мертвецов, но князя Сангушки не было между ними. А его легко было бы отличить по

многим признакам.

Это известие подало князю слабую надежду. А что, если Сангушко жив, что, если он спасся каким-нибудь образом, находится где-нибудь в безопасном месте и вот-вот явится?.. Правда, декрет Captivationis был в своей силе, но только бы явился Дмитрий Андреевич, только бы жив он был — тогда еще можно многое сделать! Князь Константин сам поехал к Гальшке, чтобы внушить и ей свою надежду; но Беата заперлась и наотрез отказалась принять его. Он бы не задумался, пожалуй, и силой увидаться с племянницей, да к нему выбежала вся в слезах панна Зося и рассказала о том, что княжна все еще без памяти (Гальшку все продолжали называть княжной). Старик Острожский не решился шумом тревожить больную и уехал, оставив Зосе записку, которую просил ее тайно и осторожно передать Гальшке, когда она будет поправляться. Молодая полька, любившая Гальшку, исполнила эту просьбу. Записка князя Константина была единственным светлым проблеском в невыносимой жизни Гальшки. Теперь она знала, что добрый дядя не забыл ее,

заботится о ней по-прежнему; она создала себе целый мир мечтаний, основанный на возможности возвращения ее дорогого мужа. Она только хотела скорее увидеться с дядей, выплакать перед ним свое горе... Но это свидание было невозможно. Княгиня, Антонио и все в доме по пятам следили за нею. Только одна надежда и оставалась на Зося. Гальшка передала ей письмо к князю Константину, прося ее уговорить кого-нибудь отвезти его в Острог. Зося через два дня таинственно и с сожалением объявила ей, что исполнить ее поручения невозможно, так как князь уехал воевать с турками. Бедная Гальшка и не заметила, что Зося краснела и потупляла глаза, говоря это.

Это уже было в то время, когда княгиня Бата со всем домом переселилась в Вильну. Скоро явился сюда и пан Зборовский за получением награды, т. е. обещанной ему руки Гальшки. Княгиня даже и не сказала об этом дочери. Она любезно приняла жениха и объявила ему, что, к несчастью, Гальшка не может быть его женою. Она все еще не поправилась, но, главное, не может даже и слышать

имени Зборовского, клянется наложить на себя руки, если ее станут принуждать выходить за него замуж. Княгиня не в силах неволить дочь, да и вряд ли сам пан Зборовский захочет иметь жену, которая его ненавидит. Храбрый воин объявил на это, что ему нет никакого дела до ненависти Гальшки, — он убил Сангушку, доставил княжну матери и требует исполнения условия. Тогда Беата несколько изменила тон и сказала, что в таком случае он может жаловаться королю, а дочери она ему и не покажет. Зборовский понял, что пойман в ловушку, и уехал, разражаясь проклятиями и клянясь мстью Беате.

Гальшка никому не показывалась, да мать и не неволила ее к этому. Она понимала, что теперь нужна осторожность, что только время исцелит Гальшку.

Она никогда не позволила себе ни одного намека на прошлое и упорно не признавала дочь княгиней Сангушко. Этого имени никто никогда не слышал в доме. Была княжна Острожская, которую похитили было какие-то разбойники и которая теперь едва-едва поправлялась от тяжелой болезни. И все бе-

режно обращались с княжной, старались ничем ее не тревожить.

И жила красавица Гальшка жизнью затворницы, подолгу молясь и от молитвы переходя в мир своих грез, где только и была ее отрада. Она внутренне как-то все больше и больше начинала верить в то, что князь Дмитрий Андреевич жив, что в конце концов он приедет за нею и спасет от ее лютого горя. Такая уверенность иногда доводила ее даже до оживления. Но проходила светлая минута, и снова весь мир покрывался мраком. Оставалась одна молитва. И Гальшка молилась горячо и спасала себя этой молитвой.

А между тем время шло; проходили недели, месяцы. Прошел год, начался другой. Князь Константин как в воду канул: ни письма от него, ни весточки. И спросить-то не у кого — о нем, как и о Сангушке, шепнуть никто не смел в доме. Идет время... И начинает чувствовать Гальшка, что надежды ее и грезы были тщетны — не вернется муж ее любимый, убит он и тлеет под вековыми деревьями Полесья. В душе ее уже нет жгучей боли, ядовитого, разрушающего страдания. Время

и молитва спасают ее. Горячая вера в Бога и чтения житий святых отгоняют ее черные мысли, соблазнительные мысли о самоубийстве. Нет, нужно жить, коли Бог не хочет послать смерти, нужно стараться безропотно нести свою долю, несмотря на всю ее тяжесть. И Гальшка живет день за днем. Она не ропщет. Только уж ничто в мире не занимает ее — жизнь потеряла всякое значение. Хотелось бы уйти куда-нибудь подальше, в какой-нибудь уединенный монастырь, где никто и ничто не потревожило бы ее уединения.

Но и это невозможно. Княгиня слышать ничего не хочет. Напротив, с некоторого времени она стала приставать к ней, уговаривая ее бросить замкнутую жизнь. Не век же быть больной, не век от людей прятаться. Вот скоро соберется она в Краков, повезет с собою дочь, представит ее ко двору. И кто знает, какая еще судьба ожидает Гальшку. Княжна Острожская не кто-нибудь — и женихи королевской крови не погнушаются ею. Но если Гальшка не хочет до конца губить мать свою и заслужить ее справедливое проклятие, она должна присоединиться к истинной, рим-

ско-католической церкви...

Чаще и чаще заводятся подобные разговоры. Неизменно сопровождающий княгиню отец Антонио изоцряет перед Гальшкой весь свой ум, все свое красноречие, чтоб убедить ее в истинах латинства. Он старается постоянно возбудить в ней интерес к религиозному спору и вооружается всеми аргументами своих богословских знаний. В последнее время его тактика изменяется. Он очень ловко доказывает Гальшке, что все ее спасение — в католицизме. О, он отлично понимает, как должна страдать она; если бы он тогда мог думать, что она действительно любит Сангушку, он, конечно, никогда бы не допустил княгиню жаловаться королю. Но ведь теперь уж дело сделано, прошлого не воротишь. Она никогда не забудет своей утраты, она хочет навсегда удалиться от мира, посвятить себя Богу. Решение естественное и похвальное, и уж, конечно, он может только уважать его. Но ведь она знает, что княгиня никогда не позволит ей уйти в монастырь православный. Может быть, очень плохо, может быть, и даже наверное, мать вздумает ее выдавать замуж,

а пользуясь своей властью, и выдаст насильно... Так не лучше ли ей перейти в католицизм и обратиться к папе. Он ей поможет. Мать не осмелится запретить ей идти в католический монастырь. Только этим способом она и будет иметь возможность исполнить свое задушевное желание...

Так соблазнял Антонио свою жертву.

Матери Гальшка отвечала слезами. Иезуиту она отвечала негодованием. Она давно уж видела в нем врага, она понимала, что он — главный виновник ее горя, что княгиня Беата — послушное орудие в руках его. Она помнила, как он поднял тревогу в ночь похищения, помнила, как он мчался, рубя направо и налево, как он жаждал сделаться убийцей ее князя. К чему ей его оправдания, его уверения, что он не знал чувств ее, что он думал только о ее спасении. Его присутствие было для нее пыткой, она отшатывалась от него с ужасом и отвращением.

А между тем и он, и мать мучили ее все больше и больше. Беата лишила ее православной церкви, стала почти силой, угрозами и сценами брать ее с собою в костел иезуит-

ский. Вот и теперь ее заставили приехать осматривать этот новый коллегийум, о котором бредили все у них в доме. Зачем это? Как будто ей не все равно, как будто что-нибудь может развлечь ее, показаться интересным...

Гальшка молча следовала за матерью и не слыхала объяснений Варшевицкого. Когда он обращался к ней, почтительно склоняясь и называя ее княжною, она удивленно взглядывала на него и почти не отвечала.

Разве ей не все равно, что ее почтут душой или сумасшедшей, разве есть ей какое дело до мнения людского...

В большом рекреационном зале княгиня остановилась. Варшевицкий представлял ей учеников коллегийума.

Гальшка машинально прошла в соседнюю комнату, где занимались живописью.

В комнате было пусто — учитель и мальчики вышли в зал по зову ректора. Только один из учеников в уголку спешно оканчивал свою работу.

Гальшка подошла к нему. Он поднял свою кудрявую голову и смущенно взглянул на нее светлыми глазами.

Она слабо вскрикнула и отшатнулась в сторону. Ее поразило сходство этого мальчика с князем Дмитрием Андреевичем.

— Кто ты? Как зовут тебя? — задыхаясь, спросила Гальшка.

— Лев Сапега, — тихо ответил мальчик, краснея и изумленно смотря на эту бледную красавицу, почему-то так его испугавшуюся.

— Сапега! — повторила Гальшка. И она вспомнила, что Сапегы были в родстве с Сангушками. Неодолимое чувство влекло ее к мальчику. Она жадно всматривалась в черты его лица, ища в нем намеков на милый образ. Но сходство поражало только сразу, это было простое фамильное сходство.

— Скажи мне, мой милый мальчик, только скажи скорее и тише, не слыхал ли ты чего про князя Дмитрия Андреевича Сангушку?..

Бедная Гальшка вся дрожала, произнося это имя. На глазах ее выступали слезы.

А мальчик, пораженный красотой молодой женщины, спешил исполнить ее желание, то есть заговорил как можно тише и скорее:

— Дмитрий Андреевич! Я его помню... Бед-

ный дядя — он умер, его убили... Он украл себе жену, король рассердился и велел убить его...

— Но может быть... может быть, он жив... никто не говорил тебе, что он жив, что он как-нибудь спасся?!..

— Нет, где ж жив — ведь уж давно его убили... Я знаю, что и Сорочи — отличный такой дом и сад, и город, я был там, — теперь уже достались другому моему дяде... Да, дядя Дмитрий умер, моя мать по нем панихиды служила — все знают, что он умер... это правда...

Гальшка и сама уж потеряла всякую надежду. В последнее время она даже не мечтала: она знала, что на земле ей не видать своего милого мужа. «Убит! Убит! И нет его могилы!» — часто повторяла она в бессонные ночи, тщетно борясь со своей безысходной тоскою. Маленький Сапега не сказал ей ничего нового и неожиданного. Но она еще ни от кого не слыхала такого прямого, решительного слова: «Где ж жив — ведь уж давно его убили... все знают, что он умер».

И, видно, до сих пор еще, несмотря на всю

ее уверенность, помимо ее воли, помимо ее сознания жила в ней безумная надежда.

«Все знают — его давно убили!» Она сама себе часто повторяла это. Но это сказал посторонний, сказал так уверенно, тем грустным спокойным тоном, каким говорят о давнем, почти позабытом покойнике.

Безумная надежда, неизвестно чем жившая и питавшаяся уже больше года, улетела в один миг от одного слова. И только теперь, когда уж воротить ее не было возможности, Гальшка поняла, что значила для нее эта надежда.

Она отчаянно вскрикнула, зашаталась и без чувств упала на пол.

Из зала слышали этот крик. Княгиня, Антонио, Варшевицкий, иезуиты и ученики бросились в рисовальную комнату.

Гальшка лежала без движения. Маленький Лев Сапега стоял над нею перепуганный, дрожащий, заливаясь слезами.

— Я не знаю, что это! — шептал он сквозь рыдания. — Она только спросила, правда ли, что убит дядя Дмитрий Сангушко. И я сказал, что правда... Ведь это правда, ведь все зна-

ют...

Варшевицкий сделал недовольную гримасу. Как мог он так оплошать — он знал все подробности семейной истории Острожских, знал о родстве Сапег с Сангушками. Он должен был все предвидеть, должен был на этот день удалить мальчика. Неприятная история... скандал в коллегииуме... сплетни...

Но вот Гальшка пошевелилась. Он велел всем выйти и скорее увести Сапегу.

III

Холодная, снежная зима стояла над Вильной. Морозная бурая мгла глядела в высокие окна палат княгини Беаты Острожской. По временам доносился откуда-то слабый благовест, далекие отзвуки затихавшего городского шума.

Гальшка сидела одна в своей комнате. Она закрыла тяжелую книгу, которую читала, пока не смерклось, и теперь в долгих, медленно наползавших сумерках отдавалась своей грусти. Она мысленно упрекала себя за то, что вчера в коллегииуме не сумела совладать со своим ужасом... Как бы горько ей ни было, люди не должны знать об этом. Она твердо

решилась отныне все хоронить в себе и казаться спокойной при посторонних. Но чего стоит это притворство, эта необходимость, на которой так настаивает княгиня, выходить к приезжающим гостям, говорить с ними, быть любезной. Все люди казались Гальшке такими скучными, такими ненужными. Но скучнее и ненужнее всех были для нее некоторые знатные вельможи, очевидно, искавшие ее благосклонности, желавшие на ней жениться.

Выйти замуж!.. Не только теперь, но когда-либо, за кого бы то ни было — эта мысль представлялась Гальшке самой невероятной бессмыслицей. Она не могла смотреть на брак иначе, как на союз по сердцу, а ее сердце было уже раз навсегда и беззаветно отдано ее князю. Князя погубили, погубили из-за нее, самым страшным, несправедливым образом. И с тех пор ее сердце разбито, и никогда оно не забудет свою потерю, потому что больше этой потери ничего быть не может. А между тем мать все чаще и чаще заговаривает с ней о замужестве. Еще счастье, что все наезжающие в Вильну женихи кажутся ей недостой-

ными Гальшки. Она говорит, что княжна Острожская, обладающая необыкновенной красотой и огромным богатством, должна сделать самую блестящую партию. Она не хочет и знать, что вот уже больше года, как нет никакой княжны Острожской, а есть только безутешная вдова убитого князя Сангушко.

Но главное, чего требует Беата от будущего мужа Гальшки, — это его принадлежность к римско-католической религии. Она ни за что не выдаст дочери ни за православного, ни за лютеранина, ни за кальвиниста.

И все знают решение княгини, да никому не мешает бывать у них в доме, преследовать Гальшку любезностями, мучить ее влюбленными взглядами, прозрачными намеками. Больше всех ее мучают и преследуют два старых, неизменных ухаживателя — князь Слуцкий и граф Гурко. Вот уже год, как от них нет проходу. У Слуцкого огромное богатство и родство с домом Острожских; но он православный. У Гурки связи в Кракове, блестящее положение, но он лютеранин.

Князь Олелькович-Слуцкий добрый, простой и недалекий малый. Гальшка, пожалуй

бы, ничего против него не имела, если бы он являлся в дом как родственник. Но он ухаживает, он, очевидно, страстно влюблен, он всякую речь оканчивает вздохом — и Гальшке тошно с ним, невыносимо его слушать. Гурко еще того хуже — что-то фальшивое, что-то злое в нем видно и вдобавок он еще ко всем ее ревнует, будто не видит, что может ревновать только к тяжкому ее горю... А что же впереди? Впереди Краков, двор, опять женихи, шум, невыносимая жизнь, в которой видят такое блаженство все люди. Попадется человек, который покажется подходящим княгине Беате, — и выдадут Гальшку замуж, выдадут насильно, в силу того, что они называют своим правом...

Страшные, черные мысли! И эти мысли стучались долго, долго в голову Гальшки. Эти мысли, с каждым днем все более страшные и томительные, сделали наконец свое дело. Гальшка стала доходить до состояния полной апатии, полного безучастия к внешней судьбе своей. Она отказывалась от борьбы, для которой не была создана. Она знала только одно: что никому и ни за что в мире не отдаст сво-

ей веры, своего православия и своей горькой, священной памяти о погибшем муже. А затем пусть делают с ней, что хотят, пусть распоряжаются ею. Она даже и на замужество стала смотреть иначе — и в этом заключалась последняя степень ее отчаяния, ее безнадежности. Она думала: ну что ж, если мать непременно хочет по-своему распорядиться ею, пусть приходит этот жених, кто бы он ни был, и чем он хуже, тем даже лучше. Она скажет ему, что он берет не ее, не ее сердце, которое безучастно к жизни и радости, которое давно умерло и никогда не воскреснет, — он возьмет только бедное, больное тело. И если он будет таким зверем, если мать будет настаивать, прикажет ей венчаться — что ж, она и замуж выйдет... Разве не все равно, Боже! Разве не все равно — лишь бы жизнь кончилась скорее...

И она была одна, одна, и некому было ей открыть свою душу, не с кем было поплакать. Все же ей было девятнадцать лет, и хоть бессознательно, а искало участия ее сердце. Из всех окружающих только одна Зося к ней ласкалась, выражала свою преданность.

Но Зося какая-то странная девушка — сегодня одна, а завтра совсем другая. То утешает, успокаивает, совсем, кажется, понимает ее, то вдруг начинает давать такие советы, что не лучше отца Антонио.

Зосю, действительно, разобрать было трудно. Сам проницательный иезуит ошибся в ней, и последствия были для него горьки. Панна Зося чувствовала себя очень несчастной. Мучительный бес поселился в ней и не давал ей покою. Этот бес — была ее страсть к отцу Антонио. Где бы она ни находилась, что бы она ни делала, прекрасный монах был в ее мыслях и сердце. Не было такой затруднительной задачи, такого даже преступления, на которое бы она ни пошла, закрыв глаза, по одному его требованию. Но ее чувство было далеко не бескорыстно — ей нужна была награда, ей нужна была любовь монаха, его ласка. И она решилась во что бы то ни стало этого добиться. Оставаясь с ним наедине, приходя к нему исповедоваться во всех грехах своих, она пускала в ход все уловки кокетства.

Но Антонио был закован в броню неуязвимую — нося в душе своей чудный образ

Гальшки, весь ушедший в свои мысли, поглощенный своими целями, он не был уже в состоянии отзываться на другие чувства. Хорошенькая Зося, несмотря на все свое кокетство, на всю страсть, только надоедала ему. Она рассчитала очень дурно — ей следовало бы носить маску величайшей неприступности, чистоты и святости. Тогда она, быть может, обратила бы на себя внимание Антонио, расшевелила бы застывшую кровь его. Только то, что представляло ему решительное, могучее сопротивление, чего достигать нужно было с тысячами преград, трудной и запутанной борьбою, — только то и было достойно его внимания. Он давно уж убежал от легких побед, и игра в любовь надоела ему даже прежде, чем он надел платье иезуита.

Но Зося была полезна ему и нужна — все считали ее любимой наперсницей Гальшки. Он выпытывал от нее на исповеди все, что Гальшка ей поверяла. Таким образом он узнал и о доставленном Зосей письме князя Константина. Это обстоятельство указало ему на необходимость несколько измениться в отношении к Зосе. Молодая девушка могла

быть очень полезной, но могла принести и большой вред, причинить много затруднений. Следовало забрать ее в руки совершенно, следовало отнять или купить у нее привязанность к Гальшке...

И вот отец Антонио начал ласковее глядеть на духовную дочь свою. Выслушивая ее исповедь и благословляя ее, он как будто забывал свою руку на горящей голове ее. Иногда в его глазах она замечала нежность. Обмануть Зою было нетрудно. Она была вполне уверена, что ее красота и кокетство подействовали наконец на сурового монаха. Она не только забыла Гальшку и ее интересы — она забыла весь мир при этом сознании. Немало писем, переданных ей тайно посланными от князя Константина, перешли к Антонио. Кончилось тем, что месяца через три, не получая никакой вести от Гальшки, Острожский понял, что Зося его обманула, и прекратил с ней всякие сношения. Между тем Зося все больше и больше сближалась с Гальшкой, уверяла ее в любви своей и испытывала ее мысли. Скоро она стала внушать ей то же, что и отец Антонио. Она красноречиво описывала ей преле-

сти жизни в католических монастырях, уверяла, что скоро сама пойдет в монастырь, что решила это неизменно...

— Уйдем вместе в монастырь, коханая моя княгиня, — сладко говорила Зося, засматривая в глаза Гальшки. — Ведь в русские, православные, тебя все равно не пустят, да у нас и не в пример лучше, а Бог один, и молимся мы ему одинаково... Ну что тебе стоит, золото твое ненаглядное, хоть для виду одного перейти в католичество — и матушку свою успокоишь, и желанию твоему найдешь исполнение... Не упрямясь, голубка моя, не мучь себя понапрасну...

Гальшка строго приказывала ей замолчать и не заводить подобные речи.

Зося замолкала, но только до первого удобного случая.

Вдруг с ней произошла перемена. Она стала говорить совсем другим тоном. Причина такой перемены заключалась в том, что Зося наконец убедилась в холодности к ней Антонию. Он не только не сказал, что любит ее, но даже упорно избегал всякого решительного объяснения. Удивительно скучна и несносна

казалась ему эта ластившаяся, нескромная Зося. Он еще не предвидел от нее настолько важной услуги, чтобы решиться на нежные отношения с нею...

Но он жестоко ошибался, несмотря на свою хитрость и мудрость. Если б он мог предвидеть то, что скоро приготовит ему Зося, он забыл бы всю свою к ней антипатию, забыл бы свое положение, свои обеты, и был бы у ног ее, и целовал бы ее руки, и клялся бы ей в вечной любви и верности...

Мучительная страсть Зоси, разжигаемая сопротивлением Антонио, достигла своего высшего предела. Если б Антонио полюбил ее, она сделалась бы его рабою, умерла бы по первому его знаку. Но он ее не любит, он ее обманывает, смеется над нею — и в кипевшую страсть стала вливаться дикая ненависть. И Зося под конец сама не знала, обожает ли она или ненавидит Антонио. Когда она замечала его ласковый взгляд, она замирала от блаженства, она рвалась к нему всем существом своим. Но вот светлый луч исчезал с его бледного, таинственного лица: он, может быть, сам того не замечая и не желая, делался

рассеян, уходил в свои мысли; от него так и веяло ледяным холодом на трепещущую в волнении Зося... И отчаянная тоска схватывала ее сердце, порыв ожесточенной ненависти потрясал ее, душила глухая злоба. И вот Зося начинала... начинала понимать, что все это неспроста... Не рассудок, не наблюдения, а инстинкт уязвленного сердца выдал ей тайну отца Антонио. «Он любит Гальшку!» — вдруг открыла Зося и удивилась этому открытию, и все же, не задумываясь, сразу в него уверовала...

«Да иначе и быть не может! А если так, если так, что же делать ей?!» Сотни планов мщения, один другого нелепее и неожиданнее, роились в голове ее. Когда она пришла в себя, то стала видеть яснее. Она без затруднения поняла все, что таил в своих мыслях Антонио. Она поняла, что замужество Гальшки будет для него жесточайшим ударом. Она готова была теперь хоть ценою собственной жизни воскресить Сангушку. Но он умер — и Гальшка должна выйти замуж за кого бы то ни было.

Зося стала пристальнее вглядываться в по-

стоянных посетителей и наметила Гурку. Он, со своей стороны, тоже обратил внимание на молодую девушку. Решение во что бы то ни стало жениться на Гальшке было принято им неизменно. Ему нужна была очень богатая невеста. До ее любви, равнодушия или даже ненависти к нему ему не было никакого дела. Но, разумеется, следовало постараться расположить в свою пользу кого-нибудь, кто бы имел влияние на Гальшку. Панна Зося, хитрая, ловкая, стоворчивая и, очевидно, более остальных близкая к неутешной красавице, по мыслям Гурки, совершенно подходила для этого. Он переговорил с нею наедине и сразу убедился в ее согласии действовать в его пользу. Он обещал ей в случае удачи свою неизменную благодарность, роскошную и веселую жизнь в его замке. Но ей вовсе и не нужны были его обещания. Она бы и говорить с ним не стала, если бы не заметила по многим признакам его непоколебимую настойчивость завладеть рукой Гальшки. Она думала только о том, как бы отплатить хорошенько иезуиту, насладиться его неудачей, его отчаянием.

И вот Зося повела новые разговоры с Гальшкой. Она перестала намекать на монастырь и переход в католичество. Она теперь толковала о том, что самое лютое горе проходит с годами, что в девятнадцать лет нельзя отказываться от жизни, что вся жизнь еще впереди и самое лучшее для «ее золотой княгини» уйти от домашних сцен и утеснений, найти себе доброго, хорошего мужа...

— Мне? Замуж? — воскликнула Гальшка. — Ты не знаешь, что говоришь, Зося!.. Мне идти замуж, когда я без тоски и тошноты не могу смотреть на всех этих женихов постылых?!

— Эх, княгиня моя, княгиня, — ластилась Зося. — Да ведь все равно найдут тебе жениха и не спросят тебя, а силой выдадут. Так уж лучше сама выбери...

Бедная Гальшка плечами только пожимала, удивляясь на Зосю.

А та не унималась:

— Ну вот возьмем для примера хоть графа Гурку...

— Гурку?! Да он самый ужасный, самый противный изо всех этих мучителей...

— Не знаю, княгиня, почему он тебе противен, а замечаю одно, что он больше всех тебя любит...

— Оставь это, оставь, Зося... И так — тоска, а ты про графа Гурку...

Так постоянно кончались их разговоры. Зося ничего утешительного не могла передать Гурке. Одно только она видела: что на Гальшку все больше и больше находит равнодушие. Она хорошо запомнила, как та один раз безнадежно сказала ей: «Ах, да мне, право, все равно — пусть делают со мною, что хотят. Ни хуже, ни лучше не будет». Зося советовала Гурке действовать решительно и просить согласия княгини Беаты — если мать прикажет, Гальшка не станет перечить.

Гурко так и сделал.

Зимние сумерки совсем стусились, когда в комнату Гальшки вошла Зося и объявила, что княгиня поскорее зовет ее к себе, в приемные покои.

— Опять гости, кто такие? — устало спросила Гальшка.

— Только граф Гурко да князь Слуцкий.

Зося была в большом смущении. По раз-

дражительному тону княгини Беаты, которым та ее кликнула и приказала позвать Гальшку, она поняла, что происходит что-то особенное. А она, как нарочно, только что вернулась домой из гостей и даже не успела узнать, кто первый приехал — Гурко или Слуцкий. Не зная обстоятельств, она решила лучше промолчать теперь, чтоб как-нибудь не испортить дела.

Она только последовала за Гальшкой и остановилась, притаив дыхание, в темном углу соседней комнаты, чтобы все видеть и слышать.

Когда Гальшка вошла к матери, та порывисто ходила по комнате, как она всегда это делала в неприятные минуты. Гурко и Слуцкий сидели тут же. Гурко казался спокойным, он только побледнел немного, и на лице у него была какая-то неприятная, злая мина. Толстяк Слуцкий не скрывал своего волнения. Он тяжело дышал и свирепо глядел на Гурку.

— Я позвала тебя, — сказала Беата, увидя дочь, — для того, чтобы ты сама решила дело, которое до тебя касается. Эти паны просят у меня твою руку... Что ты им ответишь на это?

Княгиня злорадно взглянула на женихов. Она была уверена в ответе дочери. Она знала, что Гальшка станет говорить о том, что вовсе не хочет идти замуж.

Гальшка молчала, едва держась на ногах. Ее сердце ныло. Тоска и скука давили ее. И вдруг она почувствовала, совершенно ясно и решительно, что ей все равно, что бы ни случилось с нею...

— Что же ты ничего не говоришь, Гальшка? — повторила Беата. — Скажи им сама, а то ведь меня считают какой-то тигрицей... Не хочу я, чтоб думали, что я тебя принуждаю или отказываю женихам, которые тебе любы...

Гальшка взглянула своим равнодушным взором на Слуцкого и Гурку и слабо улыбнулась совсем растерянной, полупомешанной улыбкой.

— Мне все равно, — тихо сказала она, — я выйду за того, за кого прикажет матушка.

Беата быстро обернулась.

— А! За кого прикажу! Ну, так я тебе ничего не приказываю... А вас, мои дорогие гости, я не хочу обидеть — оба вы обладаете такими

достоинствами, что мне нельзя выбирать между вами. Ищите же себе других невест — мало ли их здесь, и в Кракове... А я... я всегда рада вас видеть в моем доме.

— Княгиня, это решительное слово? — шипящим голосом спросил Гурко.

— Решительное. Извините меня, пань, мне нездоровится, и я должна вас оставить.

И княгиня, взяв Гальшку за руку, вышла из комнаты.

Женихи поневоле должны были последовать ее примеру. Они и не взглянули друг на друга, только Гурко пропустил вперед пыхтевшего, смущенного Слуцкого, а сам замешкался в комнате. Он поджидал, не пробежит ли Зося.

Она тихонько вышла из своего угла.

— Я все слышала, — прошептала она, — успокойся, граф, еще можно кое-что сделать.

— Что такое можно? — проскрежетал Гурко. — Можно одно: собрать войско и поступить так, как поступил покойный Сангушко. Вряд ли этой безумной бабе удастся и на меня добыть декрет сенатский — в Кракове меня не выдадут...

— Ничего этого не нужно, — все так же тихо шепнула Зося, сверкая глазами. — Не нужно войска, не нужно битвы, без крови и шума достигнешь ты цели... Мне кажется, я что-то придумала...

— Что такое? Говори скорее!

— Нет, теперь не скажу: дай срок... все нужно хорошенько обдумать... Дня через три, много четыре, я дам тебе знать, а покада ничего не предпринимай и не выезжай из Вильны.

Гурко хотел допроситься, узнать непременно, в чем дело, но Зося покачала головой и, чутко прислушавшись, скрылась в полутьму пустых комнат.

IV

Рождественский мороз заглянул в Полесье, да так расхотелся, что даже земля в ином месте вдруг с гулким треском лопалась от его напора. Закутаны вековые деревья в хрустальный иней — и стоят, не шелохнутся. Непробудная мертвая тишь легла повсюду. Короткий день быстро побледнел, нахмурился и расплылся в морозном тумане. На черное небо высыпали звезды и запестрели, замель-

кали, замигали переливчатым блеском. Только и свету, что от этих звезд далеких да от яркого, густо выпавшего снега. Перед глазами ходят какие-то красные круги, то удаляясь, то приближаясь. Пробыть одному в этой тиши морозной — покажется, что остановилось время, замерзла жизнь, а соблазнительный, опасный сон так и клонит...

Посреди высокого снега слабо виднеется полоса дороги. Какая-то темная масса быстро движется по ней к раскинувшемуся недалеко селению. Ближе, ближе — вот уже можно распознать несколько широких самодельных пошевней, запряженных маленькими, лохматыми, но бойкими лошаденками. Вот уж на бледном фоне снега выделяются закутанные фигуры. Визг и смех наполняют ледяное, безжизненное пространство. То святочный поезд молодых крестьянок, отправляющихся поселиться в соседнюю деревню.

Весело, удивительно весело девушкам; они перекликаются, переговариваются и никак не могут удержаться от безумного, раскатистого хохота, вспоминая, как парни хотели было увязаться за ними, навалиться к ним в сани...

А они их и давай хлестать заранее приготовленными, спрятанными до поры до времени за пазухой жгутами!.. Инда взвыли парни, жгут не разбирает: хлещет себе по чему попало — лицо попадает, так и по лицу — уж не прогневайся. Теперь девкам своя воля — Святки. Нароботались, насиделись — довольно. Надо теперь свое взять — досыта нагуляться, досыта натешиться в две святочных недельки.

— Нет, парни, теперь шалишь! Не пустим вас в сани. А хотите, ступайте за нами рысцою на своих на двоих — авось перегоните...

И лихие девушки изо всей мочи погоняют лошадок.

— Аленка! Держи правее — не то прямо на тебя так и наеду! — кричит здоровенная, курносая Аниска, стоя в пошевнях и обгоняя передовую тройку.

За Аниской целая куча девушек — штук семь навалились в пошевни. А посреди них какая-то мужская фигура.

Аниска гаркнула, передернула вожжами, хлестнула своих лошадок и перегнала Аленку.

— Ха, ха, ха! — залилась Аленка и ее спутницы. — Ишь, как жарит, того гляди, в сугроб угодит — не вытащишь! А вы бы вот что, девки, вы бы своего дурачка править доставили, все же мужчина...

— Нет, ты дурачка не тронь, дурачка мы не дадим в обиду; мы вот его промеж себя посадили да укрыли, чтоб тепленько ему было. Что, хорошо тебе, родненький, тепло?..

— Хорошо, тепло, спасибо вам, девушки! — раздался из саней мужской голос.

— А мы вот тебе и песенку споем. Послушай-ка, хорошая песенка, святочная... Запевай-ка, Маруська!..

Маруська была красивая, бледная девушка, известная всему окрестному населению запевала, которая вот уже два года с ума сводила всех парней, но ни за что в мире не хотела покидать своего девчества. Отец даже бил ее за это сначала, да ничего не поделаешь с упрямой девкой, к тому же и одна она у него — других детей нет, старуху тоже похоронил; да и любит он Марусю — по-своему, грубо любит, а крепко.

Маруська подняла голову, блеснула в полу-

мраке своими карими глазами, глянула на звезды небесные, на дурачка, сидевшего рядом с нею, и запела звонким, чистым голосом.

И еще звонче, еще чище понеслась ее песня по морозному воздуху:

*За Припятью, за быстрою
Леса стоят дремучие,
А в тех лесах огни горят,
Огни горят великие.
Кругом огней все пни стоят,
Все пни стоят дубовые;
На пнях тех хлопцы-молодцы,
Молодки, девки красные
Поют колядки-песенки.
В середине их старик сидит,
Сидит себе, на всех глядит —
И сам запел колядочку!..*

— Вот и ты, мой пригожий, погляди, погляди на нас, да и сам запой тоже колядочку... А то что хорошего — все молчишь да смотришь так жалостно, ажно жутко становится...

Так говорила красивая Маруся, окончив песню и наклоняясь к своему дурачку-соседу. И откуда только взялся у этой дикарки полеской такой сладкий, ласкающий шепот, такая женственная грация?.. Но дурачок как будто

ее и не слышал — он запрокинул голову и, не отрываясь, не мигая, смотрел в высокое небо.

Быстро мчались пошевни, и вот в стороне зачернелась деревня, запахло дымом. Поезд подкатил к одной из мазанок-избушек. Она была обширнее и выше остальных. У маленькой двери виднелись люди. Вынесли ярко пылавшую лучину. Громкие веселые голоса и крики приветствовали приезжих.

Девушки выпрыгивали из пошевней, здоровались, смеялись и, перебивая друг друга, рассказывали все о том же, как они отделали парней.

Несколько мужчин взяли вожжи и, отворив ветхие ворота, заводили тройки на обширный двор под соломенные навесы.

— А! И дурачок ваш с вами! Ну, хорошо, что привезли, чего ему со стариками оставаться, пускай и он повеселится на Святки, — говорил какой-то молодой голос.

Все стали входить в избу, освещенную несколькими лучинами. Неприглядна была обстановка избы этой. Бедно и печально жилище полесского крестьянина. В наши дни, как и триста лет тому назад, совершенно пер-

вобытна эта жизнь, скудны средства... Прошли века, не тронув и не изменив лесного захолустья. Сменился целый ряд поколений, все кругом преобразилось и зажило новой жизнью, а здесь те же люди, тот же глубокий мрак невежества, диких суеверий, тот же от пращуров сохранившийся быт, те же убогие лачуги. Но, несмотря на всю свою дикость, народ полесский — самый добродушный народ в мире. Он ничего не видал, кроме своей тяжелой доли, совершенно доволен ею и в редкие минуты отдыха предается беззаветному веселью. Он свято хранит все древние обряды и обычаи и никак не может понять того, что эти остатки языческого культа несовместимы с исповедуемым им христианством. Да и христианин-то полешук только по имени. Вся природа кажется ему населенной добрыми и злыми духами. И он отдает себя под покровительство первых и ведет ожесточенную борьбу с последними. В своем сердце он бессознательно хранит один клад, который красит его тяжелую жизнь. Клад этот — поэзия. Прекрасны полесские песни, и много говорят они душе человека. Они затрагивают лучшие чув-

ства, питают и возбуждают жалость ко всему несчастному, угнетенному, больному.

Именно с этой жалостью и добротой отнеслась молодежь к дурачку, привезенному девушками. Его очень редко видали в этой деревне. Знали только, что он уже второй год живет у отца Маруськи, все больше молчит, не любит показываться в люди. Полно, да уж дурачок ли это? Может, просто какой больной, порченный человек... И откуда он взялся? О том дядя Семенко никому не говорит — просто, мол, подобрал на дороге. Дядя Семенко — знахарь, человек зажиточный, хлеба вдоволь — богаче всех он в деревне. Ему человека прокормить нетрудно, да и дурачок-то, говорят, стал всякую работу исполнять, помогать хозяину.

Ну, вот теперь и посмотрим, что за дурачок такой, может, и не дурачок совсем, а так, только слава прошла такая. А вдруг это, прости Господи, не человек, а лесовик в образе человеческом — ведь и такое бывает! При этой мысли не то что девки, а даже парни и те побаивались дурачка и тихонько от него сторонились. Но при внимательном взгляде

на него всякий страх проходил, поднималась жалость.

Дурачок был молод и статен. Его красивое, тонкое лицо резко отличалось от типа местного населения. Все девки в один голос говорили, что такого пригожего парня они и во сне не видали. Даже завидовали Маруське, что живет с ним под одним кровом. Не будь он дурачок, наверное, сплели бы целую историю, да и была бы история. Маруська всех парней от себя отгоняет — а девка уж на возрасте. Но нельзя же чего подумать про дурачка, да и Маруську стыдно обидеть. Всякий видит, какой он, — и слова-то от него трудно добиться.

— Ишь, Маруська-то, — скажет кто-нибудь, — словно за малым ребенком, за своим дурачком ходит.

— Известно, жалко небось, ведь тоже человек, да пригожий такой, тихий — как и не пожалеть-то.

И на том успокаивались люди.

Теперь дурачок стоял среди избы и безучастно глядел на всех своими светлыми, грустными глазами. Его грубая, сермяжная

одежда была опрятна. Густая русая борода еще больше отличала его от этих полешуков с жидкими, почти белыми бородами. В лице не замечалось того ужасного, отталкивающего выражения, которое так поражает в настоящих дурачках, в несчастных идиотах от рождения. Только глаза смотрели слишком пристально, слишком странно. Дурачок на задаваемые ему вопросы иногда вовсе ничего не отвечал, иногда ограничивался словом, другим. Но этот краткий ответ всегда показывал, что он все понимает. Только когда его спрашивали, кто он, откуда, с ним делалось что-то странное. Он начинал говорить какие-то несообразности, на каком-то непонятном даже наречии. Иное слово и скажет как следует, да что в том толку — все равно сообразить ничего не могут добрые люди.

Вот теперь посадили его на лавку, потчуют лепешками, заговаривают с ним. Ответит он: да! нет! — да и замолчит. А лепешки ест исправно. Скучный такой, право... А все же его жалко...

Молодежь начинает затевать гаданья и игры. Подросли парни — хохочут, в шутку ру-

гаются.

Только один дурачок не принимает ни в чем участия, молча сидит в углу да посматривает равнодушными глазами.

Есть тут одна молодка — Настюха. Взял ее недавно себе в жены со стороны откуда-то Павлюк — сын хозяина избы этой. Настюха — «молодица» славная, и пришлась она по сердцу Маруське. Ушли они теперь из большой избы. Настюха ее повела к себе — тут, в двух шагах, Павлюхина избенка. Подобрались они к огню, от холода разведенному, и беседуют обе втихомолку.

— А что я тебя спросить хотела, — говорит молодка. — Скажи ты мне всю правду про дурачка вашего: что он за человек, откуда вы его взяли? Спрашивала я, спрашивала, да ни от кого толку не добиться. Право, чудные у вас люди, ни до чего им дела нету — был бы кусок хлеба во рту, а там хоть трава не расти...

— Вот что! — таинственно начала Маруся. — Напрасно его все дурачком кличут — совсем он не дурачок, а думаю я так, что это болесь у него такая. А отчего она ему приклю-

чилась — вот послушай... Давно это было уж — позапрошлым летом, в самый купальный вечер. Мы тогда с нашего островка болотного ходили к реке игры справлять, венки в воду кидали. Как сейчас помню: пропела это я купальную песенку, бросила в воду веночек, смотрю, потонет он али поплывет в свою сторону... Вдруг, откуда ни возьмись, наехали ратные люди на конях. Мы перепугались было, да они ничего нам не сделали, только прогнали нас — так мы и побросали наши костры, игр не кончили... Со страху едва добежали до дому, забились в шалашики, всю ночь глаз не сомкнули. А из лесу под утро гул шел. Должно, тут сеча недалеко — бьются, говорили наши.

Прошел день целый — никого не видно, ничего не слышно... И собрался это батька мой под вечер в лес. Чай, знаешь ты: батька-то знахарь — от трясовицы да от колтуна травы такие знает. А растут эти травы в лесу далеко, в одном только месте, и собирать их надо на закате, на другой вечер после Купалы... Жутко мне было пускать батьку, да он не послушал, говорит: травы все вышли, на весь

год запас нужно сделать... И пошел. Жду я, жду — нету батьки. Стала я плакать. Сижу себе и плачу. Вдруг вижу — батька: согнулся весь, а за спиной у него человек. Замерла я. Ну, думаю, лесовик это вскочил ему на спину... не отпускает...

— О, что ты, родная! Ой, страшно! — не вытерпела Настюха, с ужасом озираясь, будто боясь увидеть лесовика вот тут, сейчас, перед собою.

— Да ты слушай — чего бояться, — слабо улыбнулась Маруся. — Не лесовик то был, а дурачок наш...

Вошел батька тихонько и мне головой замотал: молчи, мол. Свалил он человека, меня подозвал. Уж светать начинало — ночь-то короткая... Глянула я — ахти мне! Парень молодой, голова вся, лицо в крови, одежда чудная, алая да мягкая — тоже в крови, изодрана. Сам парень еле дышит, глаз не раскрывает. Приказал мне батька за водой сбегать, да как принесла воды, он уж и раздел парня, зипун свой на него накинул — и грозно так говорит мне: «Никому, Маруся, не моги сказывать того, что видела... Одежу я эту спрячу до поры до

времени, а как поставлю молодца на ноги, так он нам с тобою большое спасибо скажет». Я и молчала, что соседи спрашивали — у меня один ответ: не знаю.

— Ну и что же парень?

— Парень лежит да слабо так, жалобно стонет. Батька ему лицо и голову вымыл, кровь стал заговаривать, травы прикладывать. Много ден лежал парень — куска хлеба съесть не мог, только пил все. Умаялась я, его сторожимши. Вот и голова зажила: встал парень на ноги, да дурачком и вышел. Страшен он мне сначала показался: ничего не говорит, только упрется глазами в одно место да вдруг как захохочет! Ажно мороз по коже подирает... И батька с ним говорить пробовал: бывало, сидит сидит, толкует — нет никакого проку. И сказал мне тогда батька, что это с ним от крови да от раны в голову такое приключилось... Как ударили, говорит, ему в голову, так у него мысли и спутались... Може, говорит, пройдет, а може, и нет — Бог его ведает, только травами поить его надо каждый вечер...

— Ну и что ж, и ничего, так дурачком и

остался? — с соболезнаванием спросила Настюха.

— Так и остался — чай, сама видела! — горько прошептала Маруся. — А уж я ли не ходила за ним, я ли не берегла его... По вечерам травы настаивала — горькие такие травы... Стал он тише, перестал страшно смеяться. Иной раз и слово молвит, и понимает все, что его ни спросишь, а все ж таки порченый, порченый, и о себе ничего не знает — забыл, видно, все, совсем забыл...

Маруся опустила голову и смигнула набежавшие слезы.

— Да как же звать-то его?

— Кто же его знает — что сам говорит, не разберешь. Мы с батюшкой Ванюшей его прозвали, а народ дурачком величает — при том он и остался... Теперь, никак уж с осени, кажись, другое стало. Начал он работать, батюшке во всем помогать, каждое дело справить умеет, иной раз сам заговорит со мною... Вон вчерась подошел, по голове стал гладить: добренькая ты, говорит, добренькая...

И Маруся вдруг залилась слезами.

— Что ты, что ты — о чем? Чего пла-

чешь? — встрепенулась удивленная Настюха.

— Жалко мне его, жалко, сердце болит на него, бесталанного, гляючи...

— Вестимо, жалко...

— И вот думаю я, думаю, — сквозь слезы продолжала Маруся, — неужто ж этому и конца не будет, неужто так он дурачком навсегда и останется?.. Ведь вот разве мало времени прошло, а все то же! Да хоть бы знать — кто он такой, откуда...

— Я так смекаю — не из тех ли он ратных людей, что к вам тогда в купальную ночь понаехали, — заметила Настюха.

— Это-то верно, что из тех, и одежда на нем была такая же, как на них, и даже, мне думается, не набольший ли он ихний... Може, кралевич какой — уж больно пригож... А руки-то у него, руки! Как лежал тогда — гляжу я — белые да нежные такие руки, ровно у ребенка. А на шее крест у него большой, золотой, на золотой же толстой нитке... Батька на нем так этот крест и оставил... Кралевич, как есть кралевич!

Маруся замолчала, охваченная своими мыслями о заколдованном королевиче.

— Ишь дела-то, дела какие! — шептала Настюха, глубокомысленно качая головою.

И она стала торопить Марусю в большую избу — после этих рассказов ей не терпелось, хотелось скорее посмотреть на дурачка, взглянуть на его руки. «Може, и впрямь кра-левич!» — думала она и начинала чувствовать к дурачку и жалость, и какое-то благоговение.

В большой избе дым стоял коромыслом. Парни и девки, очевидно, помирились и сидели попарно. Хором пели песни и под шумок перешептывались друг с дружкой. Многие девки хоть и не гадали еще в этот вечер, а уж заранее и наверно знали, кто их суженый-ряженный.

Тепло, даже душно было в избе. Ярко горели лучины, рдели румянцем щеки девушек. Только дурачок в своем уголку был бледен и грустен по-прежнему. К нему подсаживались и девки, и парни, заговаривали с ним, угощали его своими незатейливыми лакомствами. Но ничто не выводило его из задумчивости.

Настюха и Маруся были встречены шутками и догадками, тятка — знахарь. А Настюхе

не годилось бы — и чего Павлюк смотрит, не учит, как надо, свою бабенку.

Настюха удовлетворила свое желание — рассмотрела дурачка, убедилась в красоте его рук, но заговорить с ним не посмела.

— А дурачок-то твой ведь тебя спрашивал, — сказали Марусе. — Сидел это он, молчал, молчал, да вдруг: Маруся, говорит, спой песню!..

Девушка взглянула на своего любимца. Он ничего не слышал — если и были у него какие мысли, то, видно, они ушли далеко.

Она вошла в кружок и приготовилась петь. Все замолчали. Маруся запела:

*Не цветок в лесу душистый
Рано увядает,
А меня, дивчину, горе,
Горе сокрушает.*

*Ясным утром выйдет солнце,
Цветик приголубит...
А меня, меня, дивчину,
Милый мой не любит...*

Никогда еще не певала так полесская дикарка. Недаром некоторые парни начинали

считать ее чаровницей. Ее песня сразу всех заорожила, никто не решился подтянуть ей... Все слушали, не переводя дыхания, боясь пропустить хоть один звук чудной песни. И плакали, плакали звуки, и говорила в них безысходная боль души девичьей...

Чудно хороша была и сама певица. В этой душевной, закоптелой избе, среди не особенно красивых, грубоватых лиц, в грязи и бедности еще более поражало ее вдохновенное лицо, ее глаза — глубокие и темные.

Вдруг дурачок поднялся со своего места и стал жадно слушать. Он тяжело дышал, выражение безжизненности, безучастности, поражающее в нем, пропало.

Вот кинулся он к Марусе и впился в нее глазами.

— Не то, не то! — прошептали его губы.

V

Что же такое случилось с дурачком? Отчего на него так подействовала песня Маруси? Никогда еще, ни разу во все эти долгие месяцы он не плакал, ни разу не вышел из своей апатии. А тут вдруг волнение, отчаяние, слезы и рыдания!

Уж, конечно, не полесский знахарь Семенко мог ответить на эти вопросы. И в наши дни, при развитии науки и тончайших, добросовестнейших наблюдениях психиатров, такие вопросы остаются без ответа. Душевная болезнь, поражающая человека, составляет самое изумительное, таинственное явление...

Как бы то ни было, что-то могущественное потрясло дурачка, когда он вслушивался в горькие, страстные звуки; эти рыдания и стоны, раздавшиеся в них, пробудили какое-нибудь далекое, заснувшее воспоминание. Быть может, самое лицо певицы, преображенное силой поэтического вдохновения и душевного порыва, напомнило ему другое лицо, черты которого, едва пронесшись перед ним, должны были вызвать к деятельности его пораженную умственную жизнь и жизнь его сердца.

Он упал и так долго не мог прийти в себя, что Маруся, а за нею и остальные стали думать, что он уже умер. Всеобщее веселье было нарушено. Маруся плакала, стараясь привести в чувство своего дурачка. Наконец он пошевелился и открыл глаза. Он быстро, жадно

стал всматриваться в окружающие предметы, как будто видел их в первый раз; не узнавал Марусю, не понимал, где он и что с ним такое.

Старики и старухи, призванные на совет молодежью, взглянули на дело очень просто. Они прежде всего выбрали девушек за то, что те привезли с собою порченого. Если дядя Семенко взял его к себе, пусть за ним и смотрит. А тут, чего доброго, случится с ним что-нибудь... Нет, уж лучше подальше от беды, везти его скорее обратно... На том и порешили.

Павлюк заложил пошевни и обещался доставить дурачка к дяде Семенке. Марусю упрасивали остаться, но она и слышать ничего не хотела — живо собралась и тоже уехала. Потужили парни, да нечего делать. Ну и Бог с ней, с этой Маруськой — славная девка и поет, что твой соловей, да больно что-то мудрена, с ней не стоворишься... Аниски да Аленки лучше — эти не отвертываются от парней...

Когда Маруся и Павлюк привезли дурачка, дяди Семенки не было дома — он тоже отправился попить куда-то по соседству. Пав-

люк спешил вернуться восвояси. Маруся заперла за ним дверь хатки, развела огонь и пошла к куче соломы, на которую прилег дурачок. Она села с ним рядом, приподняла его голову и положила ее к себе на колени. Он не сопротивлялся. На него нашло как бы забытье, только нервная судорога иногда пробежала по лицу.

Маруся гладила его мягкие волосы; ее грудь высоко поднималась, а из глаз то и дело капали тихие слезы. Она никогда не задумывалась над вопросом: дорог он ей или нет, и как дорог?.. Она просто любила его всею жалостью своего сердца. Теперь, когда его голова лежала у нее на коленях, когда она слышала его горячее дыхание, смотрела на его бледное, прекрасное лицо, ей было и сладко, и больно.

Минуты шли за минутами. Отец не возвращался. Все было тихо в хатке — только трещали зажженные сухие сучья. Маруся вполголоса запела длинную жалобную песню. Она сама забылась. Она не замечала, как дурачок приподнял голову с ее колен, с каким изумлением смотрел он на нее.

— Кто ты? Кто ты? — вдруг спросил он, хватая ее руки.

Она вздрогнула. Она взглянула на него и отшатнулась — перед ней был совсем новый человек. Неуловима была перемена, происшедшая с ним, но она поразила Марусю. Теперь уж никто не назвал бы его дурачком — в его глазах была мысль, был огонь.

— Кто ты? Кто ты? — повторил он.

— Ванюша, что с тобой? Разве ты не узнаешь меня, Ванюша? Посмотри хорошенько — ведь я Маруська...

— Маруська!.. Я не знаю Маруськи. Боже мой, да где же я? Скажи мне, где я?.. Что это такое?

— Как где? Дома, дома ты, Ванюша...

— Ты меня называешь Ванюшей, постой, постой...

Он схватил руками свою голову и силился что-то вспомнить. Он ужаснулся тому мраку и туману, который был в его мыслях... Маруська! Да, эта молоденькая крестьянка как будто ему знакома, да, он знает ее грустное, красивое лицо... и эта бедная хата, и все — тоже знакомо... Но отчего она его называет Ва-

нюшей?! Он стал жадно припоминать. В его голову разом стучалось столько мыслей, столько воспоминаний...

И вдруг одно страшное, ужасное воспоминание поглотило все остальные. Его мысли разом прояснились. Он вздрогнул всем телом.

— Гальшка, Гальшка! — крикнул он диким голосом, бросился к двери и почти выбил ее одним ударом.

Клубы морозного пару хлынули на него... Ночь непроглядная, снег, зима!

Он попятился в ужасе.

И вот человек, к которому только что вернулся рассудок после долгого сумасшествия и беспамятства, подумал, что он с ума сходит.

Он подбежал к перепуганной, трясущейся, как в лихорадке, Марусе и схватил ее за руку так, что у нее кости затрещали.

— Кто ты, кто ты? Человек или дьявол? Кто ты — ведьма, чаровница проклятая?! Это ты, видно, опоила меня зельем каким, что все у меня в глазах мутится?! Что это? Что это? Говори — ведь это зима?!

— Зима! — едва прошептала Маруся.

Он, себя не помня, метался по хате. Он

схватился за пояс, хотел выхватить кинжал и убить заколдовавшую его, превратившую лето в зиму ведьму. Кинжала нет... Что это?! При вспышках угасавшего огня он увидел, что на нем надета какая-то грубая, холопская сермяга...

Еще несколько таких мгновений, и он, может быть, вторично сошел бы с ума... Но испуганное, умоляющее, жалкое лицо Маруси утишило его бешенство. Она кинулась перед ним на колени, обливаясь слезами.

— Сядь, родной мой, сядь, успокойся... Что я тебе сделала?! Слыхал ли ты когда от меня дурное слово... Разве зиму и лето не ходила я за тобою, как за малым ребенком?! — рыдала и причитала Маруся.

— Зиму и лето! Зиму и лето! — и ему, точно, начинало как будто казаться, что он здесь уже давно. Но ясно он ничего не помнил. Он только невольно как-то отказался от своей мысли, что перед ним ведьма. Он знал уже теперь почему-то, что эта девушка близка ему, но только никак не мог понять, не мог вспомнить, кто она и почему он с нею.

— Когда я пришел сюда, что со мной было?

Расскажи мне все — я ничего не помню.

Маруся сразу и понять не могла, что дурачок действительно пришел в себя. Она видела только, что с ним делается что-то страшное... Он чуть не убил ее, бранить стал; но вот теперь утих и задает такие удивительные вопросы. И она принялась ему рассказывать, как ее отец принес его, раненного в голову, как он был болен, а она за ним ходила...

— Да когда ж это было?

Услышав ее ответ, несчастный застонал в невыразимом отчаянии. Его ноги подкосились, и он почти упал на солому.

«Боже мой! Боже мой! — думал он. — За что Ты так наказал меня? Полтора года я был, значит, как во сне, и вышло из моей памяти все, что было за это время. Полтора года прошло с тех пор, как мы бились в лесу, как у меня отняли мою Гальшку. Что теперь с нею? Жива ли она? Что мне делать?!»

Он стал спрашивать Марусю о том, что неужели никто не искал его, не спрашивал о нем?.. Нет, никто! Все считают его, значит, убитым, и она — его Гальшка! Куда бежать? Где теперь искать ее?

Он был еще полон своим ужасом и не мог справиться с возникавшими один за другим вопросами, когда в хату вошел дядя Семенко. Добродушный старик в себя не мог прийти от радости, убедившись в чудном исцелении спасенного им человека. Он тотчас же принес ему его платье и оружие, его пояс с защитой в нем казною.

Он рассказал ему, как напал, бродя по лесу, на место битвы, как осмотрел все трупы...

— Все до одного побывшились — один ты только шевелился да стонал полегоньку. Поглядел я тебе голову — здорово тебя рубанули, сердешного... Знаю я одну траву такую — всякие порезы, ожоги как рукой снимает... Вот я и взвалил тебя на плечи, да и до дому с тобой добрался... Думал, поправишься ты через неделю-другую, а ну тебя Господь разум и отнял! Ну, да что теперь толковать об этом...

И старик снова радовался и спрашивал, как по-настоящему звать-величать их богоданного Ванюшу.

— Дмитрий Андреевич — вот мое имя, — ответил князь Сангушко.

Он не знал, как и выразить свою благодар-

ность этим людям. Он предложил Семенке всю его казну, зашитую в пояс, просил оставить ему только на дорогу. Но старик упорно отказался от этого. Не из корысти взял он к себе умиравшего воина, не объел тот его, не обездолил — и своего добра довольно; да и куда здесь деваться с деньгами, на что они в глуши полесской, где ничего не покупается и не продается, где живут люди только тем, что дает земля-кормилица. Одежда — так и ту Маруська изо льну да из овечьей шерсти сама мастерит...

Обещал Семенко и коня добыть Дмитрию Андреевичу.

Только куда теперь поедет добрый молодец? Тоска навалилась ему на сердце — и давит, не отпускает. Чай, в лесу теперь только кости белые остались от его храбрых ратников, за него живот свой положивших. Где жена-голубка, ненаглядная красавица? Надругалась, натешилась над нею и мать-злодейка, и злодейка-кручина... Быть может, и она уж в земле сырой... А старый пестун Галынский?.. А Федя?! Болело, болело бедное сердце Дмитрия Андреевича, лютая тоска к самому горлу

подступала, душила — а слез нет, не вылились они, не выплакались, а камнем тяжелым канули в глубину душевную...

Одна надежда — князь Константин Острожский: к нему теперь ехать — он и правду скажет, и наставит, и поможет.

Заторопился Дмитрий Андреевич, спрашивает дядю Семенко про дорогу к Острогу. А старый знахарь никогда из своего лесу и не выглядывал... Правда, слышал он от прохожих людей про Острог-город, но этот Острог-город представляется ему чем-то сказочным, далеким.

Как бы там ни было, положил Дмитрий Андреевич на другой день выехать. Он сообразил, что Острог не может быть уж очень далеко отсюда — дня в четыре, в пять, может, и найдет его.

Посмотрел коня — конь неказистый, но крепкий, надежный...

Всю ночь напролет горел огонь в хате знахаря Семенки. Не до сна было ее обитателям. Судьба тесно сблизила этих двух дикарей темных и литовского князя. Для Семенко и Маруси он был все тот же их Ванюша бесталан-

ный, а он в них видел не грязных, презренных холопов, а лучших своих друзей и благодетелей. И хоть никак не мог он припомнить подробностей всего этого времени, когда Господь отнял у него и разум, и память, но все же он чувствовал горячую привязанность к старику и девушке. Он даже изумился, как ему вдруг жалко их стало... А они! Семенко был старик, путем долгой жизни и близости к природе выработавший в себе своеобразные философские взгляды и необычайное душевное спокойствие. Раз убедившись в неизбежности чего бы то ни было, он молчаливо и покорно принимал эту неизбежность. Так он отнесся и к отъезду своего Ванюши. Ведь так оно и нужно было, чтобы парень пришел в себя и вернулся восвояси. Так чего же тут кручиниться... Вестимо, жалко, и свыклись тоже... Ну, да ничего не поделаешь с этим, а теперь скорее снаряжать его надо в путь-дорогу.

Не то было с Марусей — она ни о чем не рассуждала. Она знала только, что ее Ванюшка уезжает и навсегда уезжает, что она теперь остается одна-одинешенька. Вот и батьку-старика она любила, и песни свои любила, и хат-

ку свою бедную, и ночку морозную, звездную... А теперь вдруг как будто ни батьки, ни песен, ни хатки, ни звезд небесных не стало. Все куда-то пропало — никого и ничего нет. Пусто вокруг Маруси, постыло ей все на свете...

Бледная, бледная, с затуманившимися глазами сидит она тихонько на пыльной, старой соломе. Смотрит она на своего Ванюшу, то бишь Дмитрия Андреевича, и не может от него оторваться.

Запало ей в сердце слово его, которое он крикнул: «Гальшка! Гальшка!» Что такое? Кто такая Гальшка? Неужто он так и уедет, ничего не сказав про себя, не поведав им правды?!

Она решилась спросить его. К ее просьбе присоединился и знахарь. Князь не стал от них таиться. Стараясь говорить как можно проще, яснее для их понимания, он рассказал им свою историю.

Они молча слушали этот рассказ из далекой, неведомой им жизни. Многие так и остались для них непонятным. Маруся хорошо поняла одно, да и то не рассудком, а сердцем, что только будучи дурачком, он и был ее Ва-

нюшей, а теперь он так же далек от нее, так же высок, как и светлый Купало, живущий на своей заколдованной, вечно зеленой поляне. Но еще лучше поняла она, что у него есть милая жена, которая, должно быть, краше солнца небесного, которая для него дороже всего мира и которую отыскивать он теперь так спешит, что не хочет пропустить и часочка...

Он уедет и забудет Марусю, и никогда о ней не вспомнит... А она как же? Как жить будет без своего пригожего кравевича? И быстро, быстро переживала она в мыслях и в сердце все эти полтора года. И чем больше она думала, тем милее казалось ей прошлое, тем более щемило ее сердце.

Ей хотелось хоть напоследок приласкать да приголубить своего любимца, но не смела она этого... Горькие, долго подавляемые слезы полились из глаз ее.

Дмитрий Андреевич печально взглянул на девушку. Он знал теперь, что она была ему заботливой, доброй сестрою, что она ходила за ним, поила, кормила, берегла его во все время его несчастного состояния. И вот она плачет, ей жалко расстаться с ним, она к нему привя-

залась...

Он попробовал ее успокоить, взял ее руки, заговорил с ней нежно и ласково. Он обещал ей и Семенке, если только Бог поможет ему найти свою жену и побороть вражеские козни, взять их к себе, не разлучаться с ними до смерти. Он говорил о том, как добра и прекрасна его Гальшка, как она полюбит их за то, что они для него сделали.

Старик сидел молча и как-то загадочно, слабо улыбался — видно, он никак не рассчитывал покидать своего леса, в котором родился и где умереть ему следовало.

Маруся тоже слушала рассеянно — не то чтоб она не верила Дмитрию Андреевичу, но ей просто казалась невозможной эта новая, обещанная им жизнь. Она чувствовала, мучительно чувствовала, что вот он сядет на коня, уедет — и в этот миг все кончится, порвется всякая связь между ними.

И ей хотелось бы, чтоб как можно, как можно дольше тянулось время. А время, как нарочно, шло быстро, и наступил час отъезда.

Сангушко настоял на своем и оставил часть зашитых в поясе денег хозяину. Лошадь

нужна в хозяйстве и не даром же добудет ее Семенко.

Забелелось морозное утро — пора было ехать. Маруся приготовила князю на дорогу все, что только было у нее съестного. Семенко снарядил лошадку. Потеплее запахнул Дмитрий Андреевич овчинный тулупчик, прицепил свое оружие. Помолились Богу, стали прощаться...

Не выдержала Маруся — с отчаянным воплем бросилась она на шею своему кралевиичу и покрывала его поцелуями, и мочила слезами горькими. Семенко стыдить ее пробовал, да и махнул рукою — сама не в себе Маруся. Под конец силой пришлось оторвать ее от князя. Тогда она упала лицом на солому и вся трепетала от глухих, сдавливаемых рыданий.

Растроганный, грустный и смущенный сел Дмитрий Андреевич на коня и выехал на лесную дорогу. За ним оставалась темная, бедная жизнь, из которой он невольно унес единственную отраду. Перед ним была такая страшная неизвестность, такая возможность неисходного горя и несчастья, что его сердце заранее содрогалось от ужаса. Но он твердо

решился отгонять от себя мучительные мысли и думать теперь только о том, как бы не заблудиться, как бы скорее добраться до Острога. Указаний, данных Семенком, было достаточно на первое время — верстах в пятидесяти был небольшой городок, — там авось укажут ему прямую дорогу.

Он ехал на мохнатой лошаденке, в домодельной одежде крестьянина полесского. И никто во всей земле Литовской не ведал, что так едет убитый в кровавой битве и вновь воскресший князь Дмитрий Сангушко. Родовыми его поместьями, всем его огромным состоянием владел его брат двоюродный. Несколько его добрых родственников да друзей-товарищей давно служили по нем панихиды и поминали его в своих молитвах как усопшего.

VI

Уныло и пасмурно глядел Острожский замок — не было уже в нем заметно прежнего оживления. Состояние духа хозяина отражалось на всех многочисленных придворных. Только во время отлучек князя Константина и дышалось привольно жаждавшей удо-

вольствий челяди. Тогда по вечерам в широко разбросанных строениях раздавались звуки музыки; в цветнике и по аллеям виднелись толпы гуляющих, слышался веселый смех, завязывались ссоры, а иногда даже и драки. Но стоило появиться в замке князю Константину, как все это куда-то исчезало, лица у всех вытягивались, все прятались по домам. В обширных палатах и коридорах замка люди молчаливо и неслышно скользили, как тени, и у каждого была только одна забота: как бы не попасться на глаза князю.

А Константин Константинович и не замечал всего этого, не подозревал внушаемого им и довольно неосновательного страха. Он и не думал налагать обета тишины и молчания на свой двор, не думал запрещать веселья. Он только сам не был способен веселиться. Он весь ушел в свои разнообразные заботы, в свои печальные мысли и чувства.

После похищения Гальшки и отъезда княгини Беаты ему удалось открыть в Остроге многое такое, относительно чего он и не имел никаких подозрений. Некоторые из приближенных, молчавшие, как это всегда бывает,

когда еще было время принять меры, вдруг решились и донесли ему, что в замке не совсем благополучно: эта римская вешалка — духовник княгини Беаты — понастроил немало каверз. Он сманил в латинство некоторых придворных, а те теперь, в свою очередь, смущают кого могут. И все это подтверждалось самыми очевидными доказательствами и убедительными рассказами...

Князь Константин пришел в ужас. Недаром он с самого начала стал глядеть на Антонио как на вредного гада. Но как мог он ничего до сих пор не заметить, как мог допустить в своем доме торжество вражеских козней! И нет, значит, у него надежных друзей и помощников, всем лишь бы наживаться за его счет, лишь бы жить в свое удовольствие его милостями, а там — хоть трава не расти, никому ни до чего нет дела. Недогляди он, недослушай, так, чего доброго, и его самого изведут, в пищу ему подсыплют отраву. А где же ему одному за всем усмотреть, все предвидеть — ведь только два глаза, две руки только, одна голова на плечах, да и та от забот и черных мыслей к земле клонится. Со всех сто-

рон приходят недобрые вести: рознь, полное равнодушие к вере, к старым литовским нравам и вольностям царствуют в государстве. И приходится князю работать рук не покладая, всеми средствами, и головою, и деньгами поддерживать, оживлять свое заповедное дело. Не работай он, не будь он лично и там и здесь, везде, где нужен его пример, его влияние, его казна неистощимая, — так что же от всей Литвы православной останется?! Ведь и так уж всех его трудов и усилий оказывается далеко не достаточно, да иной раз и самым ясным разумом невозможно взвесить всех последствий своих действий... Для примера взять хоть Люблинскую унию: как он для нее работал, сколько надежд возлагал на нее. А вышло совсем не по его мыслям, вышло так, что, того и гляди, все чаемое благо превратится во зло и ни к чему окажутся все положенные в дело усилия.

Такое сознание тяжелой грустью ложилось на сердце князя Константина. А тут еще в своем собственном доме, в его любимом Остроге, заводятся и торжествуют латинские козни. Нельзя этого терпеть, нужно вырвать

зло с корнем! Князь нарядил строгое следствие, сам вел его без отдыха и не успокоился до тех пор, пока не уличил всех совращенных отцом Антонио. Под конец они сами не стали запираяться. Они уже находились под влиянием религиозного фанатизма, который постоянно с таким успехом развивает в своих неопитах римская пропаганда. Все эти шляхтичи и шляхтянки вдруг почувствовали величайшее блаженство в сознании, что они гонимы за правую веру, что они мученики...

Немало труда стоило князю Константину воздержаться от гнева, не злоупотреблять своим положением могучего и почти безответственного властелина. Он заперся у себя в покоях на целый день и отдал приказ, чтобы в 24 часа все семейства, значившиеся по его списку, выехали из Острога и остальных княжеских владений. Приказ был немедленно приведен в исполнение — все знали, что князь повторять своих слов не любит.

Но эту беду не ограничились домашние невзгоды Константина Константиновича. Его ожидало новое, ужасное испытание. Как-то, улучив добрую минуту и взяв с мужа обеща-

ние, что он отнесется к словам ее по возможности благоразумно и хладнокровно, добродушная княгиня передала ему некоторые свои опасения. Со слезами на глазах рассказала она о том, что их два старших сына, Януш и Константин, совсем от рук отбились. Они пользуются всяким предлогом и даже решаются явно лгать, чтоб только не ходить в церковь. Если же пойдут, то не молятся как следует, а глядят по сторонам, шепчутся друг с другом и ежеминутно жалуются на усталость. Януш недавно так прямо и говорит ей: «Отчего, говорит, отец не прикажет поставить в церкви скамеек и стульев — разве не все равно Богу, что молятся ему стоя или сидя? Человек не может не устать, когда служба наша так долго тянется. А если устанешь, так какая тут молитва на ум придет — только досадно становится. Нет, говорит, у католиков не в пример лучше; в их костелах только и можно молиться как следует». Досказав слова Януша, княгиня взглянула на лицо мужа — и сердце у нее упало.

Уж лучше бы она молчала, сама попробовала бы как-нибудь образумить детей...

Князь страшно побледнел. Все черты его исказились от страдания и ужаса.

— Боже! Боже! Только этого еще недоставало! — прошептал он каким-то бессильным, старческим жалким голосом.

Но вдруг кровь ударила ему в голову, залила все лицо его, лоб и шею багровым румянцем. Он поднялся во весь рост и со сжатыми кулаками кинулся к двери.

— Где они, где они, эти щенки негодные?! Дайте мне их сюда, дайте! Я убью их своими руками, прежде чем они уложат меня в могилу! Позор, позор всему нашему роду!..

Он кричал, не помня себя, задыхаясь от бешенства и отчаяния. Он мог вынести и победить в себе все. Но одна мысль о том, что его собственные дети готовятся сделаться отступниками православия, подавляла его и разрывала болью его сердце.

Княгиня, вся в слезах, упала перед ним на колени, вцепилась руками в его платье, не пускала...

— Убей, убей лучше меня! — рыдала она. — Я не могу слышать твоих слов. Подумай, что ты сказал, что ты хочешь сделать! Вспомни,

ведь что бы ни было, они еще дети... ведь Янушу всего пятнадцать лет... На них можно подействовать лаской, образумить их... Успокойся, князь, не гневи Бога, не испытывай Его...

Но князь ничего не видел и не понимал. Грубым движением он готов был отбросить жену... Она выпустила его, стремительно бросилась вперед и, вся бледная, дрожащая, с остановившимися слезами и решительным, строгим, непривычным ей выражением в глазах, прислонилась к запертым дверям.

— Я не пущу тебя! — сказала она.

— Прочь! — крикнул князь диким голосом.

— Убей меня, но я не пущу тебя! — почти даже спокойно повторила княгиня.

С неестественно расширившимися глазами, весь багровый и страшный, он кинулся было на нее... И остановился... Его руки опустились, глаза наполнились слезами...

— Прости меня, прости! — прошептал он, бессильно опускаясь на стоявшую возле парчовую скамейку.

Княгиня подошла к нему и положила ему на плечи свои руки. На ее лице и следа не

осталось от недавнего ужаса, отчаяния и сменившей их строгой решимости. Вся она олицетворяла собою любовь и жалость. Она всем сердцем своим понимала, что должен испытывать князь в эти минуты.

А ему было стыдно за свой безумный порыв, ему было совестно поднять глаза на нее. Давящая тоска овладевала им больше и больше.

— Оставь меня одного, — чуть слышно сказал он.

Княгиня припала к нему и поцеловала его сидящую, смоченную холодным потом голову.

— Успокойся, Бог поможет! — нежно и одобрительно сказала она и быстро вышла из комнаты.

Она хорошо знала своего князя: теперь ей уж нечего бояться: его страшный, но минутный гнев прошел, он не сделает ничего жестокого и неблагоразумного. Но все же — как он встретится с детьми, что им скажет, какие меры примет?..

А князь Константин опустил голову и долго сидел неподвижно. Если б его теперь уви-

дели его враги и сподвижники, все, кто знал его на сеймах, во дворце королевском и в ратном поле, с каким бы изумлением они на него взглянули. Это был не могучий, грозный и гордый вельможа литовский, «великий князь», как звали его в народе. Это был не муж совета с честным, горячим и смелым словом, не сановник, всю жизнь свою не унижившийся до лести, в глаза прямо и резко говоривший королю горькую правду; не бесстрашный военачальник — герой, пример которого возбуждал мужество и отвагу в войнах. Это был жалкий, как-то в один миг опустившийся старик, подавленный страшным горем и сознающий свое бессилие...

Всякий, даже самый посторонний и равнодушный человек, взглянув на него теперь, почувствовал бы к нему сожаление. Не могло быть для него большего несчастья, как то, о котором возвестила ему княгиня. Она говорит: Януш и Константин еще дети... Так что же, что дети! Тем хуже, тем хуже, что с этих лет они уже так испорчены, способны на такие мысли... И откуда берется все это? Опять тот же проклятый иезуит?! Но ведь ничего об-

щего не могло быть между ними — он никогда не показывался на эту половину замка, а дети не ходили к Беате. Разумеется, они где-нибудь могли встречаться — мальчишки резвы, бегают всюду, нельзя же следовать по пятам за ними... Но в таком случае это были тайные сношения... И если ни отец, ни мать, никто из приближенных и приставленных к детям до сих пор ничего не знал об этих сношениях и разговорах, так, значит, мальчишки скрывались, прятались... Они должны были прийти к отцу с матерью, ну, наконец, к дядькам и мамкам, что ли, и сказать, что этот монах заговаривает, учит совсем не тому, чему учат родители...

«Боже мой! За что мне такое наказание? — думал князь Константин. — Разве я не люблю детей своих, разве я не забочусь об их благе, разве не старался я постоянно внушать им добрые правила, развивать в них благочестие. Разве они видели во мне или в жене дурной пример?» И вспомнились ему те тихие вечерние часы, когда в присутствии мальчиков, Гальшка читала вслух Евангелие, или Жития Святых, или другие выбранные

им книги. Он постоянно прерывал Гальшку и делал разъяснения, и постоянно говорил, приноравливаясь к детскому пониманию. Он всегда и неустанно следил за собою, чтоб при детях не сказать лишнего слова, чтоб не дать им возможности превратно истолковать смысл и истинное значение слов своих. Он был вполне уверен, что и княгиня поступала точно так же... Да и может ли она что-нибудь сказать или сделать такое, что было бы для детей дурным примером! О, он не хочет величаться и фарисействовать — он знает и чувствует, что во многом грешен перед Богом, грешен и гневом, и гордостью, и ропотом... Но все же он всю жизнь свою боролся с собою и старался поступать так, чтоб уважать себя и по праву требовать от людей к себе уважения. Никто не может указать детям такой его поступок, за который им краснеть пришлось бы. В этом отношении чиста его совесть... За что же, за что ему такое наказание, за что через детей Бог хочет покарать его?!

И вот откуда-то, с самого дна глубины душевной, почти бессознательно для него и неясно шептал обвиняющий голос: да, он лю-

бит детей, он всегда старался заботиться об их благе, он оставит им в наследство, кроме богатства земного, свое ничем незапятнанное имя, громкую память о себе как о честном, мужественном деятеле, бойце за святое дело... Всего этого много, но все же недостаточно для отца, желающего исполнить относительно детей все свои обязанности. Правда, он подавал им добрый пример, он старался наставлять их словом и говорил перед ними так, что они могли понимать его... Но старался ли он убедить, произвел или нет его пример на них впечатление, действительно ли, доступно им его слово и горячо ли оно принято? Знал ли он мысли и чувства своих детей, ясна ли была для него их глубина душевная, врожденные особенности их характеров, указывающие на необходимость тех или других средств для того, чтобы влиять на них? Установил ли он с первых лет между собою и детьми то сердечное, откровенное и невольное общение, при котором только и возможно полное понимание друг друга и благотворное влияние старшего на младших?

Ведь вот — объясняя прочитанное, рассуж-

дая о догматах православия, говоря о нравственных обязанностях человека, он хоть и имел в виду присутствие своих мальчиков, но все же преимущественно обращался к Гальшке. Ему необходимо было парализовать влияние Беаты, утвердить племянницу в православии. Он вслушивался в ее вопросы и ответы, следил за ее мыслями. Между ними велась живая, откровенная беседа. Иной раз Гальшка выказывала и некоторое непонимание, но это его не раздражало. Ему достаточно было взглянуть на ее чудное лицо, на ее светлые глаза, устремленные на него с доверием и любовью, — и раздражение мигом проходило... А мальчики были в стороне, и они отлично понимали себя простыми слушателями. Он говорил понятно и для них, но никогда не убеждался, следят ли они за его словами, заинтересованы ли они ими, все ли понимают и со всем ли согласны. Он редко обращался к ним с вопросами, и, если они чего не понимали или не знали, он сердился и не старался скрывать этого. Поэтому они краснели и путались, когда им говорить приходилось. Они боялись его гнева. Они не знали его ласки, пото-

му что ласка была не в его характере. Если он ласкал кого, так только Гальшку. А с мальчиками что за нежности, к чему эти лизания да по голове глажение — не в них любовь выражается. Да, не в них выражается любовь, но ведь дети не могут жить без ласки. Они охотно забудут всякий гнев, всякую грозу, простят всякую обиду, если знают, что и до гнева была нежная ласка, и после гнева ее опять заслужить можно. Но гнев никогда не ласкающего отца возбуждает только страх, поселяет в сердце ребенка тяжелое, нездоровое чувство. При таких отношениях немислима откровенность, немислимо полное понимание друг друга...

Зачем же считает он себя невинным перед детьми и ропщет на Бога?!

Ему невольно и ясно вспоминается теперь, как часто он замечал, что мальчики прекращали свой смех и живой говор при его появлении. Тот же Януш, бывало, не раз подходил к нему с явным желанием приласкаться, рассказать о каком-нибудь своем детском горе или своей детской радости. И всякий раз отец, занятый своими мыслями и заботами, сухо

отстранял его ласку, не выслушивал его лепет. И Януш уходил, не высказавшись, уходил униженный, оскорбленный в своем лучшем чувстве и самом естественном порыве. Он даже не знал, что этот Януш необыкновенно впечатлителен и самолюбив. Теперь уж он не придет больше к отцу, он горько плачет и жалуется брату, что отец его не любит. «Да, он нас не любит, он любит только сестрицу Гальшку — она шутит с ним, смеется, целует его, и он ей все позволяет, сам ее ласкает!» Так решают мальчики, и между ними и отцом встает непреодолимая преграда. И вот пройдут года, и они отлично поймут, что поцелуй и ласки не всегда служат доказательствами любви, но никогда не поймут, что мальчики должны расти в почтительном отдалении от отца и не помнить ни одной его ласки, ни одного его горячего, невольного поцелуя.

И если когда-нибудь им придется ошибаться и падать, и если в трудную, критическую минуту жизни они не решатся прийти к нему за советом и помощью, боясь, что он холодно, по обычаю, отстранит их откровенность или,

еще того хуже, легко, с высоты своего седого благоразумия, отнесется к их скорбям и сомнениям, неосторожно, неумело прикоснется к их ранам — разве он будет вправе винить их за это, разве будет вправе, без всякого упрека себе, карать их за их ошибки?!

Но что же ему делать? Нельзя же ему разорваться на части! Кипучая, священная деятельность, в которую он погружен, наполняет почти все его время; он часто должен отлучаться из замка, да и дома всегда много всякой работы. Ему нет времени, решительно нет времени заниматься детьми, следить за ними, изучать их характеры, сближаться с ними. Он живет не для своего удовольствия, не пирует, не бражничает. Он живет для всей страны, для святого дела православия; своею деятельностью он ведь и детям же своим расчищает широкую дорогу!.. Все это так, и его труды не пропадут даром, и история почти-точно запишет его имя на свои страницы. Но ведь человек, совершающий даже самое великое дело, не вправе отговариваться этим делом от исполнения своих первых, неизбежных, непреложных обязанностей. Если же у

него не хватает на это ни сил, ни сознания, то он должен одного себя винить в последствиях и ниже опускать свою голову...

И ниже, ниже опускается голова князя Константина, и внятнее, понятнее звучит для него внутренний обвиняющий голос. Ему тяжело, ему горько, но он уже не ропщет, не негодует на детей, а горячо молится. И вот к мысли о детях примешивается мысль о дорогой, несчастной Гальшке.

С ней он не мог быть суровым. При одном взгляде на это светлое Божье создание разглаживались его морщины и теплело у него на сердце. И она знала это, и доверялась ему, и любила его откровенной, дочерней любовью. Она не боялась его гнева и смело требовала от него ласки. И у него находилась для нее ласка. Он едва-едва сдержался от рыданий, от отчаяния, расставаясь с нею, благословляя ее на неизвестную будущность. Эта будущность оказалась непредвиденно страшной и печальной. И он не мог и не может спасти ее. Его многочисленные враги сделали свое дело — они поставили между ним и племянницей такую непреодолимую преграду из своих

жестоких прав и законностей, что ему приходится сложить оружие. По решению короля и сената ее не признают княгиней Сангушко и как несовершеннолетнюю отдают в полную власть матери. Приходится ждать еще так долго до тех пор, пока можно будет вырвать ее от мучителей... И что они теперь делают с нею?.. Ему невыносима была эта неизвестность. Много раз пытался он письменно уговорить Беату допустить его свидание с Гальшкой, но та каждый раз отвечала ему, что между ними все кончено, что она хозяйка у себя в доме и принимать его не намерена. Если же он захочет ворваться силой, то встретится с ее вооруженными людьми. Вильна не Острог — здесь разбойничать и затруднительно, и опасно. Беата действительно содержала вооруженный отряд и неусыпно следила за Гальшкой. Все попытки тайных сношений оказывались неудачными. Отец Антонио учредил безупречную, бессонную тайную полицию в доме княгини.

Острожскому оставалось только со стороны следить за Гальшкой и в случае какого-нибудь насилия над нею вмешаться в дело —

все равно, будет ли это законно или незаконно...

Но как же быть с сыновьями, как предотвратить ужасное несчастье? Порыв дикого гнева давно утих и под влиянием жены, и под влиянием собственных неожиданных мыслей... Наказания, строгие меры не приведут ни к чему, только, пожалуй, окончательно погубят дело. Нужно узнать всю правду, все подробности и действовать убеждением, кротостью. В этом поможет княгиня.

И действительно, она скоро узнала про многое. Она узнала, что у детей под великой тайной и в сокровенном месте хранятся резное католическое распятие и некоторые книги, подаренные им на память отцом Антонио. Точно, дети как-то и где-то встречались с ним, беседовали и считают его святым человеком и своим лучшим другом. Он им рассказал о Риме, папе, чудесах и блаженстве, которые ждут их, если они откажутся от православия и сделаются сынами католической церкви. Они уже строят разные планы и продолжают мечтать о своем иезуите...

Получив такие сведения, князь Констан-

тин чуть было опять не предался бешенству, но теперь его справедливый гнев был направлен на Антонио. Князь поклялся умертвить его собственными руками, если когда-нибудь встретит. Мальчиков же он призвал к себе и долго, внушительно, спокойно беседовал с ними. Они слушали его внимательно и даже казались растроганными... Они торжественно обещались посещать церковь и молиться Богу. Затем князь приставил к ним священника, на которого мог положиться. Он должен был следить за ними и наставлять их в Законе Божьем.

Устроив все это и успокоившись, князь снова и всецело отдался своей общественной деятельности. Время было кипучее, тревожное. От него требовалось все больше и больше усилий; борьба становилась труднее. Чаше и чаще приходилось выезжать из Острога, действовать то там, то здесь, то в Кракове, то в какой-нибудь глуши литовской.

Среди забот и трудов князь забывался от своей грусти, но, возвращаясь в Острог, он чувствовал невыносимую сердечную тяжесть.

Время шло, проходили месяцы, прошло полтора года с тех пор, как опустела половина замка, занимавшаяся княгиней Беатой. В замок редко наезжали гости; о пирах не было и помину. Все, что прежде тщательно скрывало свои враждебные чувства к князю ради возможности видеть княжну Гальшку и добиваться руки ее, — все это теперь стремилось в Вильну, осаждало дом Беаты. Да и, кроме того, нерадостно было теперь посещать Острожский замок. Все в нем как-то пусто и мрачно. Хозяйка — женщина добрая и радушная, но она не умеет оживлять общества, очевидно, даже тяготится им, она вся ушла в домашние хлопоты и заботы, всю отдала себя младшему сыну, который еще был на руках у нее. Хозяин редко бывает дома и кажется таким мрачным и грозным.

А князь был очень доволен этой тишиной и спокойствием. Он всегда приезжал в Острог утомленный и раздраженный. Он любил теперь в зимнее время бродить по опустевшей половине замка. Здесь все ему напоминало Гальшку; здесь, невидимо для посторонних взоров, выступала наружу вся нежность,

на какую только было способно его сердце. Он иногда заставлял себя на самых несбыточных грезах: то мечтал он о том, что Гальшка снова и навсегда переселится к нему и не расстанется он с нею до самой смерти; то начинало ему казаться возможным появление Сангушки... Но он быстро останавливал свою расходившуюся фантазию и горько усмеялся. Действительная жизнь вступала во все права — он начинал строить возможные планы, он задумывал издание в своей типографии полной Библии, помышлял воздвигнуть новые православные храмы в местностях, где это могло помешать распространению латинства и реформатства...

Незаметно набегали ранние зимние сумерки, а он все ходил одиноко по опустевшим полям. Только в случае особенно важного дела приближенные решались тревожить его уединение...

В один из таких дней, когда особенно тяжело было у него на сердце, когда вьюга особенно злилась и снежные хлопья так и бились, так и бились о стекла, ближний шляхтич смущенно доложил князю, что в замок явился ка-

кой-то холоп. Он ни за что не хочет сказать, чего ему надо, и настоятельно требует, чтоб его немедленно провели к князю...

— Что за вздор! — раздражительно крикнул князь Константин.

Шляхтич замялся.

— Прости меня, князь государь, — волнуясь и даже заикаясь, начал он, — дело такое, что и ума приложить трудно... Или всех нас бес попутал и глаза нам отводит, или... этот холоп — сам покойный князь Дмитрий Андреевич Сангушко...

— Что? Что! Где он, где он, где?! Веди скорее, веди...

И князь, боясь верить, боясь радоваться, следом за шляхтичем бежал, забыв свои годы, бежал, как мальчик...

— Скорей сюда, ко мне... Живо!..

Он остановился и нетерпеливо стал шагать по комнате.

Двери растворились.

Сомнения не оставалось — в грязной, мокрой от снега, заскорузлой одежде, бледный, изменившийся, постаревший — но все же это был Сангушко.

Они бросились друг к другу, обнялись и, не выдержав, оба зарыдали, как отец с сыном, свидетели после долгой, казавшейся вечной, разлуки.

— Голубчик, голубчик! Жив ли ты, жив? — мог только выговорить князь Константин, с радостью и счастьем вглядываясь в лицо Сангушки...

VII

Недели через две после неудачного сватовства Гурки и Олельковича-Слуцкого княгиня Беата собралась на богомолье в монастырь Св. Мартина, находившийся в городе Вилькомире. Эта поездка была ею предположена уже недели две тому назад, и все о том знали в доме. Монастырь Св. Мартина был построен в конце XVI столетия, в царствование Ягайло, который, женившись на Ядвиге, стал употреблять все усилия, чтобы вводить католичество в Литовском крае. Беата особенно почитала этот старый монастырь и делала на него большие пожертвования. Она ездила туда несколько раз в год в сопровождении Антонио. Гальшка тоже сопутствовала ей, если княгиня уж очень настаивала на этом. На по-

ездку обыкновенно полагалось недели две, а иногда и больше — ехали медленно и в монастыре проводили с неделю.

Экипаж княгини сопровождала большая свита.

Теперь решено было не брать Гальшки — она, действительно, кажется нездоровой, да и опасаться нечего. Из верных источников известно, что князь Константин в Остроге. Княгиня не замешкается в дороге, а, вернувшись, станет немедленно приготавливаться к переезду в Краков. Да, Гальшка должна остаться дома, а то она слишком утомится перед большим предстоящим путешествием.

Гальшка была очень довольна таким решением. По крайней мере ее хоть на неделю оставят в покое, ей можно будет запереться у себя и никого не видеть, ничего не слышать.

Утром, перед самым отъездом, княгиня призвала Зою, которая обыкновенно спала рядом с комнатой Гальшки.

— Как провела эту ночь княжна? — спросила она.

— Плохо, очень плохо! — с соболезнованием ответила Зоя. — Вот уже три ночи как

княжна совсем почти не спит, а заснет, так во сне стонет... Нынче два раза вставала, зажигала огонь, читать принималась... Только утром заснула — я и будить ее не велела...

«Нет, решительно ей не следует ехать!» — подумала Беата, отходя от зеркала, перед которым кончала свой туалет.

Зося почтительно и неподвижно стояла, ожидая приказаний.

Что-то выпало из рук княгини и покатилося по полу.

— Подними, пожалуйста, Зося, — рассеянно проговорила княгиня. Девушка быстро нагнулась, нашла кольцо и подала его Беате.

Та взяла его, даже не поблагодарив, машинально положила на маленький столик и сама села возле.

— Ты, кажется, собралась ехать с нами, Зося? Нет, уж лучше останься с княжною — и, пожалуйста, чтоб все было тихо, чтоб никто ее не беспокоил...

Зося сама хотела просить позволения остаться с Гальшкой. Княжна не совсем здорова, скучать будет; она постарается развлечь ее, станут вышивать вместе... Княгиня Беата

доверяет Зосе больше, чем другим, но все же она болезненно мнительна, каждое слово взвешивает, во всем какой-нибудь умысел подозревает — с ней нужно быть очень осторожной. А тут она сама избавляет от всяких затруднений, сама велит остаться.

— Хорошо, я останусь, — тихо произнесла Зося, делая грустную мину, как будто бы ей очень хотелось ехать и она теперь огорчена не на шутку.

Княгиня заметила эту мину.

— Ах, да поезжай, если так уж тебе трудно исполнить мое желание! — раздражительно заметила она.

— Разве я что-нибудь сказала, княгиня? Я останусь, я очень рада остаться с княжною... А теперь пойду к ней, посмотрю — может быть, она проснулась.

И она поспешно вышла из комнаты.

Через час княгиня выезжала.

Отец Антонио, встретясь с Зосей, шепнул ей:

— Хорошо, что ты остаешься, не отходи от княжны... За Вилией, в лесах, говорят, стаи волков показались — княгиня весь отряд бе-

рет с собою, в замке остаются только слуги.

— Чего ж нам бояться, отец мой? — пожалала Зося плечами, пристально глядя в глаза иезуиту. — Неужто в Вильне нападать станут?! Ведь и двери крепки, и соседи услышат... А если кто захочет пробраться к княжне, чтоб напугать ее, так опять я говорю: двери крепки... Благословите меня, отец мой!

Зося низко наклонила перед ним свою хорошенькую голову.

Он, благословляя ее, не видел ее лица, но если бы он теперь заглянул ей в глаза, то, наверное, заставил бы Беату отложить поездку и остаться дома.

Княгиня перед самым отъездом зашла проститься с дочерью и нашла ее, действительно, очень бледной и слабой. Когда она, обнимая Гальшку, положила свою руку ей на плечо, то Зося, стоявшая возле, так и впилась глазами в эту руку. Какое-то неуловимое выражение пробежало у нее по лицу; но она тотчас же справилась с собою и снова казалась совершенно спокойной.

Экипажи были поданы. Вооруженный отряд, на конях и в красивых костюмах, выстро-

ился на обширном дворе, приготавливаясь провожать княгиню.

Минут через десять все выехали, и сторож запер засовами тяжелые ворота.

Зося стояла у окна, нетерпеливо дожидаясь. Только что закрыли ворота, она поспешила в уборную княгини.

Служанка еще не успела прибрать комнаты.

Зося подбежала к маленькому столику. Кольцо, поднятое ею и в рассеянности позабытое княгиней, лежало на прежнем месте. Она жадно схватила это кольцо и пристально, пристально рассматривала его. Глаза ее горели, она вся покраснела от волнения и тяжело дышала. Что-то решительное, злое, торжествующее выражалось в лице ее.

Ей хотелось хохотать, петь. Она спрятала дрожащими руками кольцо в свой корсаж и, даже не зайдя к Гальшке, поспешно оделась и вышла из замка черным ходом.

Глухими закоулками и задворками спешила Зося.

В одной из отдаленных от центра улиц Вильны стоял старый дом, окруженный высо-

ким забором и густо разросшимся садом. За углом, где начинался узенький, грязный переулок, в сад была проделана маленькая калитка, которую сразу даже трудно было заметить. Но Зося, очевидно, была здесь уже не в первый раз. Она оглянулась во все стороны, убедилась, что кругом никого нет, вынула из кармана ключ и отперла калитку. Шмыгнуть в нее и плотно захлопнуть ее за собою было для нее делом одной секунды.

Она очутилась в саду, среди высоких глыб ярко горевшего на солнце снега. От калитки шла почищенная, но уже занесенная ночной метелью тропинка. Снег забивался в башмаки Зоси — она даже стала ворчать и браниться! Но вот тропинка вывела ее из сада, и она очутилась перед стеной дома. Тут была запертая дверь. Зося постучалась. Никто не отворял ей. Она подождала немного и стала опять стучаться, но уже громче. «А вдруг никого нет, а вдруг он не дождался и уехал?!» — подумала она и даже побледнела при этой мысли. «В последний раз он так сердился, что ему надоело уезжать попусту... Ну уж и человек! Трудно с ним поладить... А ведь

если уехал, так что же теперь?! Ведь тогда все пропало!» Она стала просто приходить в отчаяние и принялась стучать еще громче.

Наконец ее услышали. Изнутри раздались шаги. Кто-то спускался с лестницы, повозился с дверью. Дверь поддалась и отворилась.

— Кто тут? А, это вы, паненка, пожалуйста!

— Что же не отпирали? Стучала я, стучала... Тут у вас можно замерзнуть и никто не услышит... Граф дома?

Голос ее дрогнул: а вдруг скажут, нет его — уехал. Что тогда?

— Дома, дома — войдите.

Зоя глубоко вздохнула и нетерпеливо, радостно побежала по крутой каменной лестнице. Отворивший ей слуга литвин едва поспевал за ней.

Войдя наверх, она прошла ряд пустых, довольно плохо меблированных и пыльных комнат. Литвин стукнул у запертой двери и, услышав голос, сказавший «можно!», впустил Зою. С низенького восточного дивана ей навстречу поднялся граф Гурко.

— А, наконец-то ты заглянула, моя милая пташка, наконец-то обо мне вспомнила. Ну

что? Опять ждать? Да ведь пойми, ты сказала: дня три, четыре, а уж теперь две недели прошло — и все нет никакого толку; ведь я в это время успел бы съездить в Краков и вернуться... Только водишь ты меня за нос и ничего больше...

Гурко начал говорить с большой досадой, но кончил довольно ласково и шутливо. Он взглянул на Зосю — раздурманенная, с лицом, еще застывшим от мороза, с блестящими смелыми глазами она показалась ему очень хорошенькой и заманчивой.

— Садись, садись, птичка; рассказывай, с чем пожаловала?

Он взял ее за руки, посадил на диван и сам сел рядом с нею, не выпуская ее рук и пожимая их своими худыми, жилистыми руками...

— Ишь ведь озябла — холодные какие ручки...

Он начинал глядеть на нее очень нежно.

— С того бы начать надо, граф, спросить, с чем пожаловала, а не накидываться с попреками, ничего еще не узнавши. Хорошую весточку принесла я тебе, даже сама не чаяла, что так оно выйдет.

— Что такое? Говори скорее!

Зося была теперь почти уверена в торжестве своем, в полной возможности исполнения своего плана — недаром она его обдумывала и так и этак, ломала свою хитрую голову. А тут еще сама судьба дает ей оружие в руки, да такое оружие, о котором она даже и не мечтала. В последнее время она решительно не могла дать себе отчета в том, что творилось с ее сердцем. Ей казалось, что ее безумная любовь к Антонио совсем прошла. Когда она встречалась с ним, она чувствовала только одно желание — измучить его, посмеяться над ним, насладиться его отчаянием.

Сознание, что она способствует его горю, тайно, хитро расставляет ему сети, в то время как тот и не подозревает об этом и совершенно полагается на ее преданность, доставляло ей бесконечное наслаждение. Ее мучений, ее тоски как не бывало. Она вся, всеми своими помыслами и чувствами, ушла в интригу и жила ею, и в ее удаче находила счастье. Относительно Гальшки она успокоила себя тем, что та сама же объявила, что ей решительно все равно, что бы ни сделали с нею, — хуже

ей не будет.

Теперь в этой огромной, пыльной комнате графа Гурки на нее нашел просто припадок ребяческого веселья. Ей хотелось шалить, хотелось вполне насладиться предстоящей сценой, выдавать Гурке свой план понемногу, подразнить его, поиграть с ним...

— Нет, граф, постой — я устала, дай отдохнуть сначала, рассказать все подробно еще успею...

Она кокетливо прислонилась к шелковой подушке дивана.

— Ну, не дурачься, панночка, говори скорей!

— А чем отплатишь за это? Я дорого ценю каждое свое слово.

Она смеялась, сверкала глазами и показывала на розовых щеках самые соблазнительные ямочки.

Гурко просто загляделся на нее.

«Да она прелесть какая хорошенькая! — думал он. — Будь у этой девочки миллиона три-четыре приданого, и не посмотрел бы я на то, что она простая шляхтянка, сразу бы предложил ей руку и сердце... Ну, а теперь не

взыщи, коханка, только сердце и могу предложить тебе...»

— Чем отплачу? — шутливо заговорил он, улыбаясь своим большим ртом с неровными, широкими зубами. — Проси чего хочешь, только не томи, говори скорее.

— А мне лень придумывать плату — сам придумай.

— Ничего я не пожалею для таких глазок... Ну, скажи же, моя коханочка, свою новость.

Он наклонился к ней, заглядывая ей в глаза, опять взял ее маленькие, красивые ручки и стал целовать их.

— Ого, граф! Так вот ты как! — вскрикнула она, вырывая руки и смеясь во весь голос. — На мне начинаешь учиться ухаживать за красавицей Гальшкой! Стыдись — ну зачем ты целуешь мои дрянные руки, когда скоро, может быть, будешь целовать самые прекрасные ручки в мире... Или ты так влюблен, что тебе всюду мерещится твоя красавица. И теперь чудится, что перед тобою не я, а она?

Гурко, действительно, начинал немного забываться, по своему обычаю. Он нежно ответил Зосе:

— Ничего мне не чудится, птичка, а вижу я только одно — что ты прелесть, что ты ничуть не хуже Гальшки... Отчего же мне и не целовать твои маленькие, славные ручки.

Зосе даже стало неловко. Ей невольно было стыдно за него. Но это продолжалось только секунду. Он сравнил ее с Гальшкой, сказал, что она ничуть ее не хуже. Она была большого мнения о своей красоте и тщательно и ежедневно изучала ее перед зеркалом. Но все же ей никогда и во сне не снилось, чтобы кто-нибудь мог сравнить ее с Гальшкой. Ведь Гальшка неслыханная, невиданная красавица, ведь на нее молиться хочется... Что ж это он, насмеяется, что ли, над нею? Нет, он не смеется, он глядит так нежно и сладко — этот противный Гурко... Ведь вот нашелся же человек, который считает ее прелестной даже рядом с Гальшкой!..

И Зосе невольно представился Антонио — и в эту минуту она ненавидела не его одного, она ненавидела и Гальшку...

Она взглянула на Гурку, и Гурко показался ей далеко не таким противным, как прежде. Сознательно или бессознательно, но

лучшего он и не мог придумать, как сказать ей, что она не хуже Гальшки.

— Зачем ты так зло смеешься надо мною? — проговорила Зося, надувая губки и грациозно притворяясь обиженной. — Только в насмешку и можно сравнить меня с такой красавицей. По всей Литве и Польше говорят, и говорят справедливо, что никогда не родилась еще такая красота на свет божий... Я ничего тебе не сделала дурного, граф, я за тебя же хлопотала изо всех сил моих... Но после обиды и насмешки не взыщи — я для тебя ничего не стану делать...

Она даже приподнялась с дивана и сделала вид, что хочет уходить...

Гурко удержал ее и схватился за ее платье.

— Что ты, что ты, Господь с тобою! Я над тобою насмехаюсь?! Видно, мало ты глядишься в зеркало, что такого плохого о себе мнения... Да, княгиня Острожская, или, как ты ее называешь, княгиня Сангушко — для меня это все одно — хороша; но, право, о ней гораздо больше кричат, чем есть на самом деле. К тому же у всякого свои глаза и свой вкус — я, признаюсь, не очень люблю таких бледных

святых лиц, как у Мадонны... Я не молиться хочу на женщину — я живой человек и жизнь люблю. По мне, то ли дело эти черные хитрые глазки, эти розовые щечки и веселые на них ямки...

Гурко окончательно забылся. Иногда он делался нахально, откровенно циничен, и теперь на него нашла именно такая минута.

Зоя далеко не прочь была выслушать такие комплименты. Он говорил так убедительно и красноречиво. Ей самой уж начинало казаться, что, пожалуй, он и прав. Точно, Гальшка слишком похожа на святую, в ней мало жизни... и теперь она так бледна и худая! Высокое мнение о своей красоте с необычайной быстротою разрасталось в Зое. Она так хороша, она лучше знаменитой, всеми прославляемой красавицы! У нее голова закружилась от гордости и счастья...

Но все же она остановила Гурку.

— Если б даже это и была правда, что ты говоришь, — а это неправда — то все же, разве ты смеешь, граф, говорить мне это?! Ты собираешься жениться на княгине Гальшке, я хлопочу для того, чтоб устроить тебе это дело,

а ты вдруг такой вздор болтаешь... Я думала, ты влюблен в Гальшку — иначе не стала бы помогать тебе...

— Послушай, кохана я Зося, — ответил Гурко. — Ты девушка умная — разбери же хорошенько: разве я должен непременно быть влюбленным, чтоб хотеть жениться? Посмотри на всех магнатов наших, разве они по любви женятся? Женитьба должна приносить богатство, упрочивать связи. Что же бы случилось со всеми нашими старыми родами, если б мы женились без всякого расчета? В каких-нибудь сто лет ничего не осталось бы от родовых богатств, и все мы превратились бы в нищих. Нет, нам брак не любовь сулит, да иначе и быть не может, пока мы будем заботиться о себе и о детях наших, пока не захотим холопского царства... Так не смотри же так сурово, моя ласточка, сердце не камень, а от твоих глазок и камень теплее станет.

Хорошо и разумно говорил «пан грабя». Если б он был покрасивее да помоложе, да если бы сердце Зоси не устало теперь от всех своих волнений, не наполнено было жгучей, страстной ненавистью к Антонио, он, пожалуй, по-

бедил бы ее, сумел бы внушить ей свои мысли и чувства... Но в настоящую минуту Зося могла плениться только одним — могуществом красоты своей, сам же «пан грабья» и не существовал для нее.

Она вспомнила, что слишком засиделась, что ей пора домой, к Гальшке.

Она решительно поднялась с дивана, оставляя Гурку на почтительном от себя расстоянии.

— Может быть, ты и прав, только бросим все это, — серьезно сказала она. — Вот ты, кажется, совсем забыл, что сам же торопил меня говорить скорее мою новость. Мне уж и домой пора, а я еще не сказала ни слова...

На Гурку подействовала ее серьезность. Он сообразил, что она права. Дело, дело, прежде всего дело. Перед ним соблазнительно мелькнула цифра огромных доходов Гальшки и возбуждала всю природную его алчность, при которой немедленно замолкали остальные чувства... Ведь Зося не уйдет от него, будет еще время — она такая рассудительная, сговорчивая девочка...

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал он, отки-

дываясь на подушку. — В чем же дело...

— Княгиня Беата уехала недели на полторы в Вилькомир, на богомолье...

— А Гальшка?

— Гальшка осталась дома, и я с нею.

— А отец Антонио?

— Разумеется, с княгиней, и на этот раз их сопровождает весь наш отряд, да штук семь рыдванов, человек по шести в каждом.

— Вот это хорошо, вот это хорошо! — даже вскочил и заволновался Гурко. — Так, значит, украсть можно невесту? Да? Ты мне в этом поможешь, Зося?

— Не больно торопись, «пан грабя»! Все же мы в Вильне, а в доме остались люди. Тихо, без шума и драки можно украсть невесту только тогда, когда она сама согласна, чтоб ее украли. А разве ты сговорился с княгиней Гальшкой, разве она потерпит новый срам и убежит с тобою?.. Плохо, видно, ты ее знаешь!

— Ну так как же? Я и ума не приложу...

— А вот как: при тебе она сказала, что выйдет за того, за кого прикажет княгиня?

— Да.

— Она от слов своих не отопрется. Уж боль-

но измучила ее матушка родная, да и тоска-кручина. Не раз она мне говорила: «Прикажет матушка — за кого хочет, за того и пойду, мне все равно, хуже не будет!» Ну уж, граф, отказалась бы я от такой невесты! — неволь-но dokonчила Зося.

— А я не откажусь, — резко заметил Гурко.

— Твое дело... Так вот что: значит, ее надо уверить, благо уехала княгиня, что та поладила с тобою и тебя выбрала в мужья ей.

— А если она не поверит? Нет, это что-то неладно, Зося!

— Я и сама думала, голову ломала, как бы такое выдумать, чтоб она не сомневалась. Положим, она не то, что другие... Бог ее ведаёт, где иной раз ее мысли: ясное, как день белый, дело, всем видно, а ей и невдомек, она и не замечает... Уверить да обойти ее нетрудно, а все же в таком случае и с ней нужно ловко придумать...

— Вот то-то и есть! — задумался Гурко. — Разве сказать ей...

— Ничего не сказать! Лучше и не придумавай — все равно пустое скажешь. Все уж без тебя придумано, да так придумано, что

лучше и быть не может... Недаром я бежала к тебе, ног под собой не слышала...

И Зося опять стала кокетничать, дразнить Гурку.

Он бросился к ней, силою ее обнял и, прежде чем она успела опомниться, звонко поцеловал ее в губы.

— Говори, говори, не томи — не то я тебя насмерть зацелую, дьяволенок ты этакий!

— Что же это в самом деле! — возмутилась и даже отплюнулась Зося. — Если ты еще хоть пальцем меня тронешь, то — вот клянусь тебе Иисусом и Девой Марией — замолчу я, и не услышишь ты от меня ни одного слова...

— Ну прости, не буду! И ведь сама же ты виновата — зачем меня мучишь...

— Так-то! Садись-ка, «пан грабя», смирно и слушай. Только вот что, наперед уговор: делать все так, как я знаю, и мне ни в чем не перечить. Послушаешь меня, не станешь торопиться, так ровно через полторы недели, слышишь, через полторы недели, не раньше, не позже, княгиня Гальшка будет твоею женою.

Она стала передавать ему свой план. Он слушал молча, и удивлялся ее хитрости, и лю-

бовался ею. «Вот так бесенок! — думал он. — Ну нет, такую Зосю и с миллионами взять за себя страшно. С нею всякий день опасаться нужно... И обманет, и проведет, и отравит, чего доброго, если захочет... а сама и бровью не поведет! Бесенок!..»

VIII

Тихо стало в доме княгини Беаты — никто не решался посещать Гальшку в отсутствие матери, да и трудно было предположить, что она кого-нибудь примет. Среди женщин у нее не было друзей, она ни с кем не сближалась. Ее тоскливый, сосредоточенный вид, полная апатия ко всему окружавшему избавляли ее от женской навязчивости. Об ней было много толков, и под конец все решило, что если так будет продолжаться, если что-нибудь не оживит ее, то вряд ли она долго проживет на свете. Она слишком тоскует, она чахнет, бедняжка! Почти всем, конечно, была подробно известна ее история. Многие обвиняли Беату. Передавались даже рассказы и слухи, что и теперь она всячески мучает дочь, бьет и запирает. Вообще княгиня не пользовалась почти ничьим расположением,

да она, по правде, и не заботилась об этом. Если она поддерживала знакомства, то только по необходимости и иногда слишком явно показывала, что тяготится гостем.

Как бы то ни было, все жалели Гальшку и считали ее жертвой. Но никому в голову не приходило серьезно вознегодовать на Беату и открыто выразить презрение, которого заслуживали ее поступки. Княгиня была слишком знатна и богата, и раздражать ее не приходилось. Почти каждый мог ожидать от нее себе выгод и должен был бояться зла, на которое она была способна, по общему мнению. И все как-то осторожно сторонились Гальшки, за исключением холостых магнатов, видевших в ней необыкновенно богатую невесту...

По отъезде матери Гальшка заперлась в своих комнатах и допускала к себе только Зою. Она чувствовала себя очень утомленной и телом, и душою. Страшная безнадежность и апатия, охватившие ее в последнее время, усиливались в ней с каждым днем, с каждой минутой. Прежде она все-таки жила, отмечала жизнь и время хоть бы по своим страданиям, слезам и грезам. Теперь же как будто

жизнь для нее остановилась — не было уже ни грез, ни мучений. Она не плакала, ее сердце не тосковало о погибшем муже, ее мысль не возвращалась к прошлому. Ничто ее не волновало и не тревожило. Она совершенно машинально пила, ела, читала и занималась какой-нибудь ручной работой. Высшее для нее благо был сон; если б она могла только, она бы спала целые сутки; но сон ее не слушался — она часто и по ночам страдала бессонницей. Она рада была, если, проснувшись утром, замечала, что уже довольно поздно. Иногда по целым дням единственной ее заботой было отсчитывать часы и ждать приближения ночи. Но в такие дни, как нарочно, время тянулось ужасно долго. Сначала она часто думала о князе Константине и даже строила одно время планы как бы убежать к нему или, по крайней мере, тайно с ним увидеться. Теперь она и о нем перестала думать. Она убедилась, что все ее планы неосуществимы, что ее стерегут, как дикого зверя, и малейшая ее попытка будет сейчас же обнаружена. Если дядя не является, если он до сих пор не увидался с нею, значит, и для него это невозмож-

но: при первой же возможности он, наверно, будет здесь — в этом она не сомневалась. Но когда это будет?! Она ждала, ждала, но теперь и ждать перестала, как будто даже забыла своего любимого дядю. Острог и ее жизнь там представлялись ей ужасно далекими, как будто даже и не бывшими совсем в действительности.

Такое душевное состояние, пожалуй, со стороны могло показаться лучше, чем слезы, мучения и острое отчаяние.

Но что-то страшное, что-то невыносимое было в этом мертвом спокойствии, в этой бессознательно охватившей Гальшку жажде смерти. Если б не ее вера, если б не молитва, вызывавшая иногда облегчающие слезы, она бы, не задумываясь, убила себя самым жестоким образом. Смерть была для нее высочайшим и, как ей казалось, недостижимым блаженством...

Прошло уже полторы недели со дня отъезда княгини Беаты. Давно смерклось. Гальшка велела растопить большой очаг в одной из комнат, присела к огню, да так и замерла, глядя на огонь, следя за его движением и перели-

вами. Зося, еще недавно бывшая с нею, ушла куда-то. Вот мало-помалу глаза Гальшки стали смыкаться. Ах, если бы заснуть! И она, действительно, скоро забылась в полудремоте...

Между тем Зося скользнула узеньким, длинным коридором, спустилась с темной лестницы и почти неслышно отодвинула небольшие, но крепкие засовы наружной двери. Большие дома в то время строились непременно с разными замаскированными, потайными ходами. Мало ли что могло случиться, мало ли на что могли понадобиться такие ходы.

Зося уже заранее подготовила все, что ей было нужно. Она озабоченным голосом объявила всем, что княжна сегодня нездорова и просит не тревожить ее весь вечер, велела даже запереть двери, ведущие в ее покои. Таким образом, она могла быть совершенно уверена, что никто ничего не услышит и не увидит, что бы ни творилось у Гальшки. Дом был огромный, а «покоями княжны» называлась целая анфилада комнат. Потайной коридорчик шел именно отсюда, комнаты за четыре от той, где теперь сидела Гальшка, следова-

тельно, в него невозможно было проникнуть, не нарушая многого, но весьма правдоподобного запрещения княжны. Да и кто, за какую надобностью, пойдет сюда?!

Одна только тревога и была у Зоси — это сторож в дальнем закоулке заднего двора, где находилась калитка, откуда можно было обратиться к потайной дверке. Но и со сторожем оказалось немного хлопот. Гурко расщедрился и вручил Зосе изрядную сумму денег. Сторож, увидев блестящие монеты в огромном, по его мнению, количестве, пришел в дикий восторг. Он поклялся, что будет нем, как рыба, и впустит в калитку хоть целую Вильну. Да лучше вот что: он отопрет калитку, а сам, чтоб не быть в ответе, убежит — земля велика, а с такими деньгами он так запрячется, что и в жизнь его не сыщет княгиня... Зося отперла дверку и прислушалась. Пусто на дворе, тихо. Ночь черная — зги не видно. Она кинулась к калитке — отворена. Сторожа нет. Издали донеслись мерные удары, каждый час отбиваемые с вышки виленской ратуши. Условленное время — теперь они скоро явятся!.. И точно — за калиткой послышались ти-

хие голоса, скрипнул снег. Калитка отворилась. Зося тихонько кашлянула три раза, ей ответили тем же... Они! Уж можно различить несколько крадущихся фигур...

— Зося! Где ты? — прошептал голос Гурки.

— Здесь, здесь, тише...

Она одного за другим стала вводить таинственных гостей в открытую калитку...

С Гуркой было семь человек. В числе их находился и пастор.

Все они медленно, бесшумно поднимались по темной лестнице. Зося провела их через коридор и остановила в слабо освещенной комнате. Тяжелые занавеси были спущены на всех окнах. Двери, ведущие в эту часть, были на запоре.

— Постой, я доложу Гальшке, она здесь недалеко, — шепнула Зося Гурке.

Гальшка сидела по-прежнему перед огнем и дремала.

— Княгиня, ты спишь? Вставай, вставай...

— Что такое? — очнулась Гальшка, изумленно взглянув на нее своими чудными глазами.

Зося невольно потупилась перед этим взо-

ром. Что-то похожее на упрек совести кольнуло ее в сердце. Она не могла не сознавать, что коварно, безбожно предает эту беззащитную, убитую горем женщину. Но другие побуждения заговорили сильнее совести. Зося быстро справилась с собою и начала тревожно и скоро:

— Я не знаю, что случилось, только граф Гурко откуда-то приехал, прямо с дороги к нам, говорит, что встретился с княгиней и привез тебе от нее какое-то поручение.

Она уже две недели тому назад успела сообщить Гальшке, что Гурко уехал из Вильны тотчас же после своего неудачного сватовства и отправился, кажется, в Краков.

— Где же он мог видеть матушку? Какое поручение? — усталым голосом проговорила княгиня.

— Он просит тебя принять его, сейчас все узнаешь...

— Ах, разве он не может передать через тебя... Скажи ему, что я больна, что я раздета, что я никого не принимаю...

— Я так уж ему и сказала, мне не хотелось будить тебя, княгиня. Но он говорит, что дол-

жен объяснить все тебе самой и что дело спешное, иначе он бы не осмелился тревожить тебя вечером, до завтрашнего дня бы дождался.

— Так неужели ж я в самом деле должна принять его?..

— Что же делать!.. Верно, важное что-нибудь... Еще княгиня, пожалуй, сердиться будет...

— Ну хорошо, попроси его в голубую комнату — там, кажется, светло... Только, пожалуйста, будь тут же и не отходи от меня, Зося... Я сейчас выйду...

Гурко отослал четырех из своих сообщников обратно в темный коридор, пастора и двух других оставил в комнате, а сам последовал за Зосей.

Гальшка встретила его молча, одним только изумленным взглядом.

Он почтительно к ней приблизился и заговорил очень бойко, даже с улыбкой:

— Княгиня, я расстался с вами в очень печальную для меня минуту — ваша матушка отказала мне в руке вашей, а вы прямо объявили, что полагаетесь на ее выбор.

— Да, и опять повторяю это: если моя мать непременно будет настаивать, чтоб я вышла замуж — я выйду, но только по ее приказу... Да к чему все это?! Вы, граф, имеете ко мне поручение от матушки?! Где и когда вы ее видели?

— Позвольте, княгиня, я даже не извиняюсь перед вами за ту одежду, которую вы на мне видите, — я к вам прямо с дороги... Мчался во весь дух, лошадей загонял до смерти... Я прямо из Кракова.

— Но матушка в Вилькомире... Что все это значит?!

Гальшка растерянно взглянула на Зосю и хотела выйти из комнаты.

— Ваша матушка не в Вилькомире, она в Кракове, во дворце королевском, — поспешно сказал Гурко. — Выслушайте меня, княгиня... Когда мне отказали в руке вашей, я сообразил только одно: не вы мне отказали, а княгиня Беата Андреевна. Я знал, что все это оттого, что я не католик... Католичество, простите меня, — это печальная слабость княгини, но из-за такой слабости, смею сказать, каприза, я не мог же отказаться от счастья всей моей

жизни. Я решился бороться. Я сейчас же отправился к королю в Краков. Наш добрый король принял во мне горячее участие и согласился помочь мне. Он послал нарочного гонца к княгине с приказом, чтобы она немедленно приехала в Краков. Он присоединил к этому формальному приказу свою письменную, собственноручную просьбу. Гонец встретил княгиню на дороге, только случайно узнал ее, вручил ей королевский приказ и письмо, и она вместо Вилькомира приехала прямо в Краков. Король был моим сватом, а княгиня Беата Андреевна не решилась отказать его настоятельной просьбе и желанию...

Гальшка не казалась пораженной, услышав это, она только тихо проговорила:

— Но, граф, я все же ничего не понимаю... Где моя мать теперь? Когда она приедет? Если она прикажет мне, я сказала уж, что не слушаюсь ее воли... А до тех пор я прошу вас, граф, меня оставить. Я не могу говорить с вами, я не буду вас видеть до ее приезда.

Гурко не смутился.

— Я снова прошу позволения докончить, — сказал он. — Княгиня хотела ехать за

вами, но король удержал ее при себе. Мне кажется, он был прав, полагая, что дорогой она снова поддастся убеждениям своего духовника, этого итальянца-иезуита, который возбуждает в ней такую... печальную ненависть ко всему не католическому. Княгиня уже не раз доказывала королю, что от нее можно ожидать самых быстрых и непредвиденных поступков. Одним словом, было решено так: княгиня останется во дворце, а я поеду за вами. Но для того, чтобы вам не было неловко и неприлично со мной ехать, нас должны немедленно обвенчать тут же, у вас в доме, ведь лютеранское венчание не требует церкви и очень просто, а пастора я привез с собою из Кракова. Таким образом, мы явимся к королю и княгине уже мужем и женою...

Гурко и Зося впились глазами в Гальшку. Что она скажет?!

Она вздрогнула и еще больше побледнела. «Что же это? — мучительно подумала она. — Неужели уж пришло время, и теперь, сейчас, ее будут приносить в жертву. Или все это обман безбожный и расставленные ей сети?!»

Она собрала все свои силы и дрожащим го-

лосом сказала:

— Граф, я не хочу сомневаться в истине слов ваших, но все, что вы говорите, так неожиданно, так странно, что я не могу решиться. Без самых верных доказательств, что такова именно воля матушки, я ни за что не выйду замуж ни за вас, ни за кого другого... Если вы даже письмо ее покажете — я и ему не поверю. Мне нужно слышать этот приказ из уст ее или иметь такое доказательство, которое подозревать невозможно... Простите меня, но иначе говорить и поступать я не вправе...

Выражение нескрываемого торжества изобразилось на лице Гурки, Зося затаила дыхание и то бледнела, то краснела. Приближалась роковая минута, сейчас все должно решиться...

— Конечно, вы можете мне не верить, княгиня, — с достоинством сказал Гурко. — Ваш ответ предвидел и я, и Беата Андреевна, и сам король. Я просил вашу матушку дать мне в руки именно такое доказательство, чтобы вы никак уже не могли сомневаться. И она дала мне его...

Он протянул Гальшке какой-то маленький предмет.

Она взяла его, взглянула и слабо вскрикнула.

Это был заветный, старинный перстень ее матери.

Ей ли не признать его! Она помнила, как еще маленькой девочкой, сидя на коленях у княгини, она часто любовалась этим перстнем. Потом мать не раз рассказывала ей о его происхождении. Он был вывезен из турецкой земли каким-то их предком. Там он считался талисманом, мусульмане думали, что в нем заключены сверхъестественные чары. Кругом на золоте мелко-мелко были вырезаны непонятные знаки. Посередине был вделан большой камень, которому никто не знал названия. Это был чудный камень — он постоянно изменял цвет свой и казался то голубым, то розовым, то зеленым. Если человек, носивший его, был здоров, то камень светился ясным, веселым блеском; коли человек заболел, камень тотчас же тускнел и делался темным. Княгиня Беата необыкновенно дорожила им и всегда его носила. Гальшка не мог-

ла ее себе иначе представить, как с этим кольцом на пальце.

Бывало, давно уж, в Остроге, Беата говорила Гальшке: «Когда я умру, мне кажется, в этом кольце я оставлю тебе частицу меня самой — оно будет говорить с тобою обо мне, передавать тебе мои мысли».

Гальшка понимала и чувствовала, что теперь она уже никак не может сомневаться. Это кольцо Гурко мог получить только из рук ее матери, только это кольцо и могла прислать княгиня как неопровержимое, хорошо известное дочери доказательство своего участия в деле.

Бедная Гальшка еще раз взглянула на перстень. Он показался ей чем-то живым и страшным. Таинственный камень был темен и мрачен, слабо светился синевато-зеленым цветом.

Итак, решено! Она должна стать женою этого чуждого ей, производившего всегда на нее такое томительное, неприятное впечатление человека... Женою!.. Какая жестокая, последняя насмешка над ее положением... Но ведь все равно, ведь мать не оставит ее в по-

кое, ведь рано или поздно, сегодня ли, через две ли недели, через месяц, а должно это случиться. Не он, так другой... У этого Гурки такое злое лицо — он не может быть добрым, хорошим человеком... Вероятно, ее ожидают новые муки... Да разве брак уж сам по себе не будет для нее жесточайшей, невыносимой мукой!.. Авось она не выдержит этого, авось Бог сжалятся над нею и скорее пошлет ей смерть... Пусть же будет, чего они желают...

— Этот перстень для меня достаточное доказательство, — сказала она Гурке слабым голосом. — Я знаю, что его нельзя подделать и что моя мать должна была послать именно его, чтоб убедить меня... Я поклялась ей исполнить ее волю — теперь делайте, что хотите. Но, прежде чем вы станете моим мужем, вы должны узнать, кого вы за себя берете. Садитесь и выслушайте меня, граф.

И она сама села, так как ноги отказывались держать ее.

— Но только одно — мы не можем терять времени, — заметил Гурко, боявшийся, что кто-нибудь или что-нибудь помешает исполнению его намерения теперь, когда все устро-

илось так скоро и без всяких затруднений. — Пастор и два моих свидетеля здесь, со мною, а после венчания мы сейчас же и отправимся в Краков. Экипаж приготовлен, и, если вам угодно, вас будет сопровождать панна Зося...

— Ах, не бойтесь — я не задержу вас, но я непременно должна сказать вам два слова...

Гурко приготовился почтительно слушать.

— Здесь почти все называют меня княжною, — начала Гальшка, задыхаясь и едва выговаривая слова. — Но ведь вы должны знать, что я вдова князя Сангушки. Моего мужа убили на моих глазах, мне не дали умереть с ним, связали мне руки и полумертвую привезли к матери. Я жива, но во мне все умерло — знайте это... Жизнь мне несносна, и люди несносны, мне бы умереть только — вот все, чего я желаю. Посмотрите на меня — разве я гожусь вам в жены: я больна, слаба, со мною ведь тяжело жить — я иногда по целым дням не в силах сказать слова... Мне нечего говорить вам, что я не люблю вас, — вы это и так, я думаю, видите. Но знайте, что никогда, никогда я не полюблю вас, ни вас, ни кого на свете. Если в вас есть хоть капля жалости, вы

откажетесь от меня и оставите меня в покое... Если у вас нет ни сердца, ни совести, берите меня и замучьте меня скорее...

Она зарыдала... Она, кажется, умерла бы на месте, если б не вылились эти слезы, которые ее душили. Зося бросилась к ней и обняла ее. Она сама дрожала и плакала. Она не в силах была смотреть на несчастную Гальшку. Ей хотелось признаться во всем, молить себе прощения, выгнать Гурку.

Но разве это возможно? А ее собственное горе, ее обида, жажда мести, сосавшая ей сердце... Отказаться, и теперь, теперь, когда все готово, все устроено так смело и ловко... Нет, это невозможно!

И она только плакала и покрывала поцелуями холодные руки Гальшки.

— Успокойтесь, успокойтесь, моя дорогая Елена, — вкрадчивым голосом заговорил Гурко, — я не могу отказаться от своего счастья... Вы теперь нездоровы, и все вам кажется так мрачно. Новая жизнь спасет вас... Я сделаю все, чтобы успокоить вас, облегчить ваш недуг, излечить вас от него... Вы так еще молоды, рано думать о смерти, нужно жить.

Успокойтесь!

— Я спокойна! — вдруг сказала Гальшка, отстранив Зося и вставая.

Лицо у нее помертвело, глаза были сухи.

— Берите меня... ведите!

Она прошептала это страшным, не своим голосом.

Гурко бросился к ней и хотел обнять ее.

Она отшатнулась.

— Я еще не жена ваша!.. Вы сказали, что пастор здесь, с вами, что по вашей религии можно венчаться без всяких приготовлений дома... Так зовите его сюда, зовите скорее...

Гурко только этого и желал — он поспешил за пастором.

Зося решительно не понимала, что с нею. Ее била лихорадка, зубы стучали, а неудержимые слезы так и катились.

Гальшка это заметила.

— Ты плачешь, моя добрая Зося, — сказала она. — Тебе меня жалко... Не жалея... Так лучше, все лучше. Разве ты не видела Гурки?.. Да, ты правду говорила, когда советовала мне выбрать его в женихи... Он в самом деле самый лучший жених для меня... Теперь я вижу, чув-

ствую, что с ним скоро успокоюсь. Так чего же ты — не плачь, не жалея... поздравь меня!

Зоя закрыла лицо руками и уже громко рыдала.

Гальшка подошла к ней, обняла ее.

— Не плачь, не плачь, моя дорогая. Пойди собери скорее, что нужно для тебя и для меня. Ведь мы вместе поедem, сегодня же, скоро... Не оставляй меня...

В это время входил Гурко с пастором и своими двумя свидетелями.

Зоя взглянула на них страшными, покрасневшими от слез глазами и выбежала из комнаты.

IX

Гальшка как будто преобразилась. Она не казалась уже больше подавленной горем, безнадежной и беспомощной женщиной. Даже усталости и слабости в ней не было заметно. Если она что-нибудь чувствовала, то разве только нетерпение, чтобы скорее все кончилось, чтобы скорее вырваться отсюда и уехать все равно куда, только чтоб была ночь кругом, холодная, черная ночь с завыванием ветра и снежной вьюгой. Ей отвратительны ка-

зались эти комнаты, стены ее как будто давили.

Только бы скорее отсюда!

Пастор, человек очень сдержанный и холодный, всецело преданный интересам Гурки, поразился, увидя Гальшку. Как и все, он много слышал о красоте ее, но он не мог себе и представить ничего подобного.

Она просто, с врожденной ей величественной грацией ответила на его поклон и вопросительно взглянула на Гурку. Тот взял ее за руку и подвел к столу, на котором пастор уже разложил бумагу для подписи и открыл молитвенник.

Пастор начал говорить мерным голосом, с заученными ударениями на некоторых словах. Гурко, набожно склонив голову, казалось, внимательно слушал. Но это не мешало ему то и дело искоса взглядывать на Гальшку. Ему с трудом верилось, что все обошлось так благополучно. Он ожидал сцен, слез, рыданий, боялся, что кто-нибудь услышит их и станет стучаться в комнаты...

Но ничего этого не случилось. Гальшка только назвала его человеком без сердца и со-

вести, да и то в такой приличной форме, что ему нечего было обижаться. Она сама торопила венчание, она так спокойна, так удивительно спокойна... И как хороша она! Нет, он до сих пор, значит, еще не разглядел ее как следует. Ему казалось, что она подурнела после болезни. Правда, она очень худа и страшно бледна, но что это за чудная мраморная бледность, как к ней идет это величавое спокойствие и полное равнодушие ко всему, которое так и бросается в ней в глаза с первого раза!..

Нет, из нее выйдет отличная жена... О, он сумеет заставить ее отказаться от всяких причуд и капризов... Только бы ему вступить во все права, так или иначе закрепить за собою ее огромное приданое. Она нездорова теперь, но это пройдет — она столько вынесла, у нее, должно быть, железное здоровье. Он в первое время будет заботиться о ней... Он заставит ее часто бывать при дворе... С такой женой можно многое сделать: все будут ему завидовать, для того, чтоб он сквозь пальцы смотрел, как у нее целуют ручку. Все влиятельные люди станут исполнять всякое его желание. Что ж,

пускай увиваются, пускай целуют ручки — такой женой это неопасно: в этом отношении, кажется, на нее можно положиться... А король-то, король — старый волокита — как увидит, так сейчас и обезумеет... Да за то только, чтоб поглядеть ей в глаза, он готов будет всю Польшу отдать ему в аренду!.. Только отчего она так спокойна? Это даже неестественно... А вдруг она что-нибудь замышляет? Но что же? Ведь вот, минут через пять, она станет его законной женой и он ни на минуту не отпустит ее от себя... Они сейчас же уедут... Нет, ему нечего бояться...

Пастор продолжал говорить. Он перешел в декламацию и с театральными жестами обращался к жениху и невесте.

Гальшка не слышала ни одного слова из того, что говорил он. Как ни велико было оцепенение, в которое она погрузилась, но все же невольно припомнилось ей ее первое венчание в маленькой деревенской церкви, в ясный, душистый летний вечер.

Это было так еще недавно, но казалось ей так страшно давно, так бесконечно далеко. Невыносимая боль и тоска заключались для

нее в этом воспоминании, но она не заплакала, не убежала в ужасе и гневном от отвратительного жениха, от декламировавшего и воздевавшего к потолку руки пастора. Она продолжала стоять неподвижно, опустив голову и стиснув зубы.

На нее находило забытье, свинцовый сон охватил ее сердце...

Ей все продолжала мерещиться старая деревянная церковь. Но она не видела возле себя любимого, дорогого князя, не слышала за собою тяжелого дыхания Галынского, не чувствовала над головой своей венца, по временам вздрагивавшего в руке Феди. Не видела она и добродушного, грубого лица старика-священника... Ей виделось только одно, виделось ясно-ясно, как будто бы это было теперь, в действительности перед нею — ей виделся косою, вечерний луч солнца, перерезавший пополам всю маленькую церковь и поднявший столб бесчисленных пылинок... Пылинки сверкали, искрились и металась в непрерывном движении...

Зачем это теперь так живо, так ясно вспомнилось? Зачем она так жадно следит за игрою

этих воображаемых пылинок, как будто во всем мучительном, бесконечно тяжелом воспоминании самое главное — мечущиеся пылинки... Как будто можно об этом думать теперь, теперь!

Но она не задавала себе никаких вопросов, она просто, в своей душевной дремоте, следила за непрерывным движением мертвых пылинок, озаренных солнцем...

Голос Гурки вывел ее из забытья. Венчание было кончено, пастор благословил новобрачных и приветствовал их высокопарной фразой. Все, что требовалось, было исполнено. Гальшка стала законной женой познанского воеводы, графа Луки Гурки.

Он был настолько умен, что, почтительно поцеловав у нее руку, не стал ее тревожить разговором.

Она спросила, скоро ли они должны выехать, и, получив в ответ, что это от нее зависит, пошла в дальние свои комнаты поторопить Зосю.

Зося, запыхавшись, увязывала необходимые вещи.

Увидя Гальшку и поняв, что все кончи-

лось, она не посмела подойти к ней и ее поздравить. Она смущенно наклонилась над ящиком, в котором разбиралась.

— Поторопись, Зося, пора ехать; да что ж ты одна, позови же кого-нибудь помочь тебе! — спокойным голосом выговорила Гальшка и прошла в маленькую комнату, где находилась ее образная.

Несколько лампад горело перед образами в богатых ризах, осыпанных дорогими камнями.

Гальшка упала на колени и, наконец, зарыдала горько и отчаянно...

Она не слыхала, как в соседней комнате Гурко говорил Зосе:

— Нужно торопиться... мне и во время венчания слышалось, что кто-то громко кричал в дальних комнатах и стучался... теперь опять стук... слышишь... может быть, что-нибудь случилось в доме... Мешкать невозможно.

Зося побледнела. Она бросила свою работу и почти неслышно пробежала ряд комнат.

Да, стучатся.

Она чутко прислушалась к голосам, гово-

рившим у двери.

— Не слышит никто, да и полно! — сказал мужской голос. — Доложи княгине, что княжна еще в сумерки приказала запереть эти двери... Теперь она, должно быть, с панной Зосей в спальне, может, спят обе, так где им услышать...

От дверей отошли. Все смолкло.

У Зоси от ужаса подкашивались ноги. Она едва добежала до комнаты, где был Гурко.

— Княгиня, княгиня вернулась! — задыхаясь, проговорила она.

Гурко вскочил как ужаленный. Что теперь делать?

— Что ж ты, что ж ты — продала меня, что ли? — заскрежетал он на Зою, сжимая кулаки и багровея от гнева.

Зося даже и внимания на это не обратила. Ее мысль деятельно работала.

— Еще есть время, — поспешно заговорила она, сообразив. — Я слышала — пошли докладывать княгине, что дверь заперта на ключ. Покуда вернутся, мы еще успеем сойти потайной лестницей...

И она бросилась к Гальшке.

— Пора, пора, все готово, едем!

Гальшка поднялась, вся в слезах, и, шатаясь, вышла из образной.

Зоя спешно подала ей меховую шубку. Гурко уже ждал у двери потайного хода.

— Зачем же отсюда? — удивленно спросила Гальшка. — Зачем тайком, как будто я бегу из дома?!

Никто не предвидел подобного вопроса.

Гурко на минуту замялся.

— К чему же терять время, — сказал он. — Все захотят прощаться, а ты и так утомлена. Выйдем скорее отсюда и поедем.

— Но я именно и хочу со всеми проститься. Я не могу так уехать...

— Нет, решительно ни к чему все эти пустые проволочки. Все уже знают в доме, в чем дело. Пастор еще до венчания объяснил всем вашим домашним... Едем!

— Зоя, позови мою мамку, я прощусь хоть с нею...

Из дальних комнат раздался сильнейший стук в дверь.

Гурко быстро обхватил Гальшку и готов был силой увлечь ее в коридор к лестнице.

— Что это значит? Что? Стучат?! Вот трещат двери! — воскликнула она, оттолкнула Гурку и бросилась навстречу поразившим ее звукам.

Все двери были настежь. Княгиня входила в комнату.

— Ты здесь! Меня обманули! — простонала Гальшка и упала на пол.

В это время Гурко с пастором и с провожаемыми был уже в коридоре. Их догоняла Зося. Они быстро, толкая друг друга, спустились с лестницы и выбежали на двор. В этой части двора никого не было, но близко раздавались голоса, скрип шагов по снегу. Мелькал свет от фонарей, с которыми ходили люди. За калиткой Гурку дожидались два крытых рыдвана на полозьях.

Зося подбежала к Гурке.

— Ведь я погибла, граф, если ты меня оставишь... Возьми меня! — прошептала она.

Он обернулся.

— А! Вместо одной жены другую!.. Ну, да и та не уйдет — вот завтра еще увидим... Поедем, Зося, поедем, я от тебя не отказываюсь.

Он посадил ее в рыдван, вскочил сам и ве-

лел кучеру скорее ехать к своему дому...

Княгиня Беата пришла в неопишемую ярость, когда услышала от Гальшки о том, что случилось. Недаром она поспешила домой раньше срока. Чужало недоброе ее сердце. Она даже хотела вернуться с дороги, спохватившись, что забыла дома перстень, с которым никогда не разлучалась. Но потом сочла это малодушием. Однако она все время не была спокойна, да и отец Антонио торопил ее... И все-таки они опоздали — опоздали несколькими минутами!

Какое удивительное враждебное стечение обстоятельств, какой хитрый, смелый план! И кто же, кто устроил это ужасное дело? Девчонка, никому не внушавшая подозрений, втершаяся в доверие и к Гальшке, и к княгине, и к Антонио! Счастлива она, что успела скрыться; но княгиня найдет ее, отдаст в руки инквизиции. Пусть пытаются ее, пусть замучают. Нет таких пыток, которые были бы достаточны для этой негодяйки...

Отец Антонио не предавался гневу и казался спокойным; но он лучше княгини понимал всю серьезность их общего положения. Он

внутренне проклинал себя, он презирал себя за свою позорную неосмотрительность. Молоденькая девушка, воспользовавшись случайными, благоприятными обстоятельствами, разбила в прах его долгую, мучительную работу, смело и самоуверенно расстроила его планы!.. И он не сумел понять этой девочки, он, со своим опытом и пониманием людей, забыл, что страстная, неразборчивая на средства женщина всегда отыщет самый действенный яд, чтобы отомстить человеку, оскорбившему ее чувство и самолюбие...

Кто отнял у него его ум и наблюдательность, когда он осмеливался пренебрегать Зосей? Он должен был знать, что она не простит ему своих долгих и тщетных усилий покорить его сердце. Но он поступал как глупец, поступал вопреки мудрым правилам тайных иезуитских наставлений и теперь должен нести тяжкую кару. Зося отомстила ему так ловко, так жестоко, что теперь вряд ли удастся выпутаться из этих обстоятельств. Княгиня Беата в своем необдуманном гневе не видит и не понимает, до какой степени серьезно это дело.

Взвешивая и соображая все, Антонио чувствовал, что он сам готов дойти до полного отчаяния. Но он все же победил свои чувства и решился бороться до конца. А теперь следовало дожидаться, что предпримет Гурко.

Гурко не заставил себя долго ждать. На другой день он явился в сопровождении целой толпы своих сотрудников и единоверцев к дому княгини.

Его не впустили.

Тогда он послал Беате заранее составленное письмо, в котором требовал выдачи ему его законной жены, графини Елены Гурко, вопреки всем правилам и законам задерживаемой ее матерью.

Княгиня возвратила ему письмо и посоветовала удалиться.

Он, действительно, удалился, но скоро вернулся с городскими властями. Княгиня должна была принять их, а с ними вместе вошел в дом и Гурко. Власти объявили, что брак графа совершен законно и что, не говоря уже о венчавшем пасторе, он может выставить свидетелей как со своей стороны, так и со стороны новобрачной (подразумевалась Зося) в том,

что здесь не было никакого принуждения, а, напротив, полное согласие невесты.

Княгиня, подчинившись просьбам и советам Антонио, сначала старалась говорить сдержанно и хладнокровно. Но скоро она стала раздражаться. На ее обвинения Гурки в обмане и насилии, ей отвечали, что обман не доказан и все свидетели в один голос его отрицают. Да, граф Гурко сознается, что он вошел в дом через задний двор и провел с собою пастора, но так у него было заранее условлено с невестой...

— Ты говоришь это? Повтори! — вся побледнев и приближаясь к Гурке, проговорила княгиня.

— Да, я говорю, что так было, — спокойно ответил он.

— Негодяй, лжец! — дико вскрикнула Беата и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, изо всей силы ударила Гурку по лицу.

Он хотел на нее броситься, но его окружили со всех сторон и удержали.

— Вы видите, вы видите! — в бессильной ярости и задыхаясь кричал он. — Вы видите, это зверь, а не женщина! Она помешана. Она

всячески мучила свою дочь, запирала ее, отказывала всем женихам для того, чтобы силой упрятать ее в католический монастырь... Весь город, все это знают! Так разве можно верить ей... Она почти до смерти запугала несчастную, и, понятное дело, мы должны были обвенчаться тайно... Во имя закона и справедливости заставьте ее выдать мне жену мою!..

— Идите все вон из моего дома! — грозно и величественно сказала княгиня. — Или вы забываете кто я, что позволяете себе такое бесчинство? Я не только не отдам этому негодяю моей дочери, но и не покажу вам ее — она больна. И я посмотрю, кто решится на насилие, кто станет выламывать мои двери...

— А ты, — обратилась она к Гурке, — ступай и жалуйся королю. Я посмотрю, признает ли он твое право. Если он сам приедет и потребует ее у меня, чтоб отдать тебе, тогда другое дело, но иначе ты никогда ее не увидишь!..

И она удалилась, велела запереть все двери и расставила почти по всем комнатам вооруженных людей.

Городские власти не решались действовать силой, как ни упрашивал их Гурко. Он в тот же день помчался в Краков, уверенный, что его огромные связи и личное расположение к нему короля сделают свое дело. Зося отправилась с ним и ради собственной безопасности, и как могущая очень пригодиться свидетельница венчания...

Что же теперь оставалось делать княгине? Она чувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Чем она согрешила, что на нее обрушиваются такие несчастья?! Наученная горьким опытом, она неотступно следила за дочерью целых полтора года. И все-таки это ни к чему не привело. Простой, глупый случай обратил в ничто все ее усилия. Она уже вернулась, была дома, в своей комнате и искала забытый перстень, а в это самое время тут же, в доме, обманутая с помощью перстня Гальшка венчалась с Гуркой. К чему же все усилия, хитрости, строгий, даже жестокий надзор! Второй раз отнимают у нее дочь самым возмутительным, неслыханным образом. И ей приходится переживать не одно только горе, а и стыд, позор перед людьми, сделаться жи-

вою сказкой по всей Литве и Польше.

Зачем она родилась ей на мучение, эта Гальшка, зачем у нее такой непокорный, упрямый характер! И прежде все еще завидовали, говорили о том, какое счастье иметь дочь-красавицу... О, как бы она была счастлива, если б Гальшка была безобразна, — тогда ничего бы не случилось... Но нет, и не в красоте тут дело, а в этом проклятом характере, в ненавистном влиянии князя Константина. Боже! Была ли еще на свете такая несчастная мать и такая непокорная дочь! Где это видано, чтоб молоденькая девушка, едва выйдя из пеленок, ни во что не ставила матери, все делала по своей воле, хотела распоряжаться своей жизнью на свою погибель?!

Беата кончала тем, что во всем обвиняла только одну Гальшку. И она вдруг почувствовала к ней страшную злобу, даже почти ненависть.

Да, да, во всем виновата Гальшка! Это она нарочно срамит и себя и ее, чтобы причинять ей горе. Гурко сказал, что она сама была согласна с ним тайно обвенчаться, сама провела его через темную лестницу... Княгиня, воз-

мущенная этим, назвала его лжецом и него-
дям и ударила. Но почему она знает, может
быть, он сказал правду. Действительно, трудно
предположить, чтоб без ее ведома все про-
изошло так шито и крыто...

Беата не задумалась явиться с этими подо-
зрениями к дочери.

Та выслушала ее молча, только взглянула
на нее изумленными глазами.

— А! Ты молчишь — значит, это правда! —
закричала княгиня.

— Правда, если тебе нужно, чтоб это было
правдой, если ты способна предположить,
что это может быть правдой, — упавшим го-
лосом проговорила Гальшка. Она даже не
ужаснулась словам матери — казалось, ничто
уже не может поразить ее.

— Оставь эти взгляды, эти ни к чему не ве-
дущие хитрости! Говори мне сейчас: ты име-
ла уговор с Гуркой, ты согласилась на венча-
ние, ты обманула меня? — бешено, даже с ка-
ким-то шипением спрашивала княгиня.

— Я ничего не скажу тебе, матушка, — я
еще вчера все сказала.

— А! Ты запираешься! Ну, так знай же: как

ни велика твоя хитрость — ты не будешь женой Гурки, ты не уйдешь из рук моих. Я не отдам тебя ему, хотя бы вы двадцать раз были обвенчаны... Слышишь — не отдам, хотя бы сам Господь сошел с неба и приказывал мне это... Я отдам тебя за первого встречного, за первого холопа, но Гурке ты не достанешься... А! Тебе мало прежнего позору, ты хочешь на весь мир осрамить род свой, ты хочешь свети меня в могилу! Ты с семнадцати лет стала всем вешаться на шею, заводить любовные истории! Тебе нипочем бегать из дому с каждым нахалом. Позор, позор! Скоро все, во всем свете, будут называть княжну Острожскую блудницей! Да, верно, уж и называют! Но довольно, довольно... Я не допущу тебя больше глумиться надо мною... Я задушю тебя своими руками, если ты еще пикнешь, если хоть шаг сделаешь без моего ведома!..

И Беата разразилась истерическими рыданиями.

Гальшка упорно молчала, стараясь не слышать ужасных, безумных слов матери. Она только с отчаянием помышляла о том, что, видно, смерть никогда не сжалится над нею.

Очнувшись и несколько успокоившись, Бата призвала отца Антонио. Ей бы хотелось и его упрекать, и его обвинять в чем-нибудь, но она не посмела этого.

Что теперь делать, что он ей посоветует?

— Мне кажется, Гурко рассчитал верно, — сказал Антонио. — У него при дворе большая сила, ему легко будет убедить короля и выставить все в благоприятном для себя свете. Остается одно: постараться предупредить его — пишите сейчас же королю, я продиктую, и немедленно пошлите гонца в Краков. Нужно будет написать еще некоторым лицам... А покуда я бы посоветовал вам переехать из дома в наш монастырь... Я уже переговорил с Варшевицким и другими... Мне обещали деятельную поддержку ордена... Наши отцы и в Кракове могут очень помочь, да и, во всяком случае, в монастыре будет безопаснее... Теперь вы видите, что можно ожидать всего самого невероятного и неожиданного...

Недаром иезуит говорил это. Еще одна мысль, одна надежда мелькнула в нем. Никакие ухищрения не помогли ему совратить Гальшку в латинство, добровольно заставить

ее переменить веру и постричься в монахини, а между тем это было его единственной целью. Теперь же уж и невозможно было действовать убеждением — она не позволит ему сказать и слова. Теперь, в случае удачи Гурки, нужно сообща, соединенными усилиями иезуитов, уговорить княгиню допустить пострижение Гальшки...

Пусть насилие, пусть — но цель будет достигнута. Гальшка никому не достанется, а орден получит ее состояние. Только бы уговорить княгиню, которая и до сих пор еще и слышать ничего не хочет об этом, желает самым блестящим образом выдать дочь замуж.

Но, в крайнем случае, можно обойтись и без согласия княгини. У себя в монастыре иезуиты сумеют распорядиться. Быть может, даже и сама Гальшка из всех зол, обрушившихся на ее голову, выберет католический монастырь. Не он станет объясняться с нею, он предоставит это другим...

Антонио мучительно задумался о себе и о Гальшке. Какая страшная судьба его преследует! В последние два года какое-то проклятие легло на все его замыслы, на все поступ-

ки... Огромная интрига приведена в действие, совершено немало решительных дел, пролито немало крови. Убит Сангушко, отстранен князь Константин, Беата в Вильне — ее состоянием распоряжаются иезуиты. Но к чему повело все это — жизнь Гальшки разбита, и еще удивительно, как выносит она свои страдания. Он имеет возможность ежедневно видаться с нею, говорить без помехи. Не было таких приемов, не было такой хитрости, которую бы он не пустил в ход с нею. Не только слабая, измученная и запутанная женщина, а и всякий сильный человек давно подчинился бы его влиянию, давно был бы в руках его. Но ничего не мог он сделать с Гальшкой. Всякое оружие ломается об ее неприступность. И чем тяжелее ее жизнь, чем ужаснее обстоятельства, чем невыносимее испытания, тем крепче и непоколебимее ее православие... За все эти два года он добился только одного: прежде она относилась к нему с равнодушием, теперь он ей страшен и ненавистен — она видит в нем не только своего врага, она видит в нем дьявола.

Вот что он сделал, вот чего он добился со

всем своим умом и хитростью...

Так пусть же теперь конец всему — одним разом нужно разрубить этот страшный, заматавшийся узел. Пусть гибнет она, пусть последнее, ужаснейшее насилие совершится над нею, но он все же не отдаст ее жизни, не отдаст ее людям!

Х

Недавно возникший, уже совершенно устроенный иезуитский монастырь в Вильне находился вблизи от замка епископа. Костел величественной итальянской архитектуры выходил на обширную площадь. За костелом начинались высокие, крепкие каменные стены без всяких признаков окон и ворот. Очевидным казалось, что проникнуть в монастырь можно только через ворота костела.

А между тем очень часто отец-иезуит, вышедший утром из монастыря, вечером оказывался в своей келье, и два сторожа, день и ночь стоявшие у входа, могли чистосердечно поклясться, что они его не впускали. Это значило только, что для удобства сообщений и разных предвиденных и непредвиденных об-

стоятельств иезуиты устроили подземный ход в монастырь, куда проникать можно было с нескольких пунктов. Ход этот тянулся на значительном расстоянии и доходил до самого речного берега, где заканчивался небольшим отверстием, тщательно скрытым в глухом и никем не посещаемом овраге. Остальные входы находились в домах, принадлежавших иезуитам.

Подземелье имело вид узкого коридора, выложенного камнем, и заключало в себе множество разветвлений. Следы его еще недавно находили в Вильне. В иных местах, где это было удобно и не представляло никакой опасности для сохранения тайны, коридор сообщался с поверхностью земли посредством труб, проводивших в него воздух и слабые проблески света. По временам на всем протяжении подземелья в стенах попадались железные окованные дверки. Здесь помещались тоже кельи, но обитать в них приходилось, разумеется, не сподвижникам ордена. Здесь висели тяжелые цепи, большая часть которых в то время еще только ожидала несчастных жертв иезуитской таинственной

инквизиции. Но все же некоторые из этих страшных подземных темниц уже были оглашены человеческими стонами.

Стоило человеку узнать какую-нибудь тайну ордена или так или иначе показаться опасным виленским отцам, его тотчас же заочно судили, и через несколько дней он пропадал бесследно. Выследив его где-нибудь в глухом месте или заманив в монастырь, его схватывали и с завязанными глазами приводили в судилище. Когда снимали с его глаз повязку, он невольно должен был помертветь от ужаса — иезуиты, всегда любившие разные эффекты, постарались сделать из своего судилища какое-то подобие мрачной могилы. Оно помещалось под землю. Сводчатые стены и пол — все было черное. За черным столом сидели судьи, как страшные привидения, скрывая свои лица под масками. Украшение sklepa составляли только человеческие черепа да кости. На столе лежали цепи и орудия пытки. И все это озарялось тусклым светом черных восковых свечей, вставленных в железные канделябры.

Угрозами, страхом, разнообразными пыт-

ками из человека выжимали все сведения, какие он мог доставить. Ему даже не говорили, в чем его обвиняют, не давали права защищаться. Он должен был только отвечать правдиво на задаваемые ему вопросы. Когда вопросы истощались, железная дверь скрипела на своих петлях; несчастного тащили в подземный коридор, приковывали к стене в душной, маленькой темнице и огромными замками запирали ее дверцу. Он оставался в спертом, удушливом воздухе, среди полнейшей темноты; он мог ощупать только холодные, мокрые стены, мог слышать только звук цепей, которыми был прикован. Его отчаянный вопль и стоны гулко оглашали низкий свод и замирали в мертвом подземелье... Проходили долгие адские часы, и никто к нему не являлся, не приносил ему питья и пищи. Проходили еще часы, и к его душевным мукам, к его ужасу начинали примешиваться страдания голода и жажды... Тщетно кричал он и звал к себе на помощь — никто не мог услышать его, никто не мог явиться на его зов, потому что голодная смерть была единогласно присуждена ему на судилище отцов-иезуитов.

ТОВ...

И умирал человек в лютых муках, и долго еще его семья и родные ожидали его возвращения и никак не могли понять, куда это он девался. Быть может, кто-нибудь из них проходил над его головою, быть может, в глухую ночь, когда стихали дневной шум и движение, можно было расслышать из глубины земли его тяжкие, предсмертные стоны.

Изредка обезображенный, неузнаваемый труп всплывал на поверхность Вилии. Чаще же несчастных так и забывали в подземных могилах, пока еще оставались свободные цепи — всюду в развалинах иезуитских монастырей на всем протяжении Литвы и теперь еще, спустившись в подземелья, можно видеть целые груды человеческих костей, сваленных вместе, и отдельные скелеты под ввинченными в стены тяжелыми цепями...

А над страшным мраком этих коридоров и склепов, где замирали предсмертные стоны и разлагались прикованные трупы, в кельях монахов царила роскошь. Обширный внутренний монастырский двор был превращен в прелестный цветник. Кроме того, здесь были

устроены оранжереи и парники, выращивались дорогие растения и всевозможные фрукты.

Таков был монастырь, куда по приглашению отцов-иезуитов переселилась княгиня Беата с Гальшкой и Антонио.

Гонец от княгини уже мчался в Краков, но невозможно было скоро ожидать его возвращения.

Несколько красноречивых монахов, пользовавшихся расположением Беаты, вполне одобрили план Антонио и тотчас же приступили к его исполнению.

Они неустанно, порознь и вместе, старались убедить Беату, что самое лучшее, особенно при настоящих обстоятельствах и в случае успеха Гурки, посвятить Гальшку Богу. Отдать ее лютеранину Гурке — значит согласиться на ее верную гибель. Если она сама так молода и неразумна, что не может понять этого, то мать имеет полное право решить за нее, силой принудить принять католичество и постричься. Есть обстоятельства, когда Бог разрешает насильственные действия, — совершая их, нужно только постоянно иметь в

мыслях ту благую цель, к которой они приводят. Если Гальшка упорно откажется произносить обеты и совершать все, что требуется правилами, то княгиня может это исполнить за нее.

За этими советами следовали потоки самого обольстительного красноречия. Отцы-иезуиты рисовали яркими красками последствия такого доброго дела. Если княгине тяжело отказать от дочери, от своих материнских надежд видеть ее среди блестящей светской обстановки, то тем угоднее будет Богу эта великая ее жертва. Пусть она обдумает все хорошенько, взглянется во все обстоятельства; не видимо ли перст Божий указывает ей, что она должна поступить именно так и что к этому клонится судьба ее дочери?! Другая девушка вырастет, выйдет замуж, и все это совершится естественным порядком. С Гальшкой не то: вот она в короткое время уже два раза обвенчана, а между тем у нее нет мужа. К тому же она, очевидно, не создана для светской жизни — живя в доме матери, окруженная блестящим обществом и толпой поклонников и искателей, она не наслаждается жизнью, а

тоскует и вянет. Она сама просится в монастырь... Но в русском схизматическом монастыре она не спасет свою душу. Княгиня как ревностная и благочестивая католичка сама понимает, что обязана привести дочь к истинной церкви... Да и кто знает, какие еще новые испытания судьба готовит Гальшке, если она останется в свете, какое новое горе, быть может, ожидает и княгиню... Сколько ежедневных волнений и опасностей! А в монастыре, благословленная папою, Гальшка успокоится, успокоится на ее счет и княгиня. Неужели так уж дорог этот весь мишурный блеск, успехи при дворе, пороки, искушения и ежеминутная вероятность падения, что нельзя отдать всего этого за жизнь, посвященную только Богу, молитве и святым помыслам. Да и сама княгиня — разве дорожит она светом, разве давно уж не отказалась от него, не отдала своей жизни делам благотворительности и молитве?! Зачем же не хочет она того же и для своей дочери?!

Княгиня Беата вслушивалась в эти речи и сознавала их справедливость. Ведь то же самое давно уж и постоянно твердит ей и Анто-

нию. Но и тогда, и теперь, не возражая, она все же колебалась последовать благочестивым советам. В ее сердце жили иногда самые противоположные чувства, в ее голове гнездились противоречившие друг другу помыслы. Она искренно ненавидела свет и жила почти как монахиня, но в то же время она всякий раз, упорно и невольно, гнала от себя мысль видеть Гальшку в монашеской одежде. Все, о чем во дни молодости она мечтала для себя самой, все свои честолюбивые планы она перенесла на дочь — чудную, изумляющую всех красавицу... Нет, такая красота рождена не для монашеской кельи. Пред такой красотой должен преклониться свет, она должна принести честь и славу всему их роду. Гальшка не может, не может ограничиться глухой, будничной долей! Что бы ни случилось в прошлом, все это пройдет, пройдет; и в конце концов красавица Гальшка очутится наверху земной славы и земного величия... Так еще недавно думала и чувствовала княгиня — и нелегко было ей расстаться с этими мыслями.

Но последние обстоятельства, неожидан-

ные и ужасные, довели ее до высшей степени раздражения. Она перестала мечтать о будущем Гальшки. Теперь в ней была только ненависть к дочери и Гурке. Дойдя до убеждения, что дочь сама устроила все дело, чтобы причинить ей горе, она поклялась обуздать ее и показать ей свою силу... Но ненавистнее всех и всего был для нее Гурко. При одной мысли о нем она доходила до бешенства и клялась, что, несмотря ни на какие приказы королевские, он никогда не увидит Гальшки...

Во время одного из разговоров с отцом Антонио она сказала ему:

— Вот уж и время было бы возвратиться гонцу нашему, а его все нет... Боюсь, что дела плохи... Теперь пора действовать...

— Давно пора действовать, — ответил Антонио. — Здешние отцы только и ждут вашего разрешения — скажите слово, и завтра княжна будет монахиней. Вы немедленно отправите ее в Италию с надежными друзьями нашего ордена, я сам, наконец, берусь сопровождать ее. Тогда вам останется только устроить здесь свои денежные дела так, как уже

было условлено между нами, и мы будем ожидать вас в Риме... Пора, пора, княгиня, для всех нас должна начаться новая жизнь...

Беата заволновалась — в последнее время она не могла говорить спокойно и благоразумно.

— Нет, отец мой, нет — мы могли так мечтать и строить планы... Но теперь нечего и думать исполнять их... Пустить Гальшку в монастырь! Я думаю, она будет рада этому — она знает, что не к тому я ее предназначала... В монастырь! Для чего? Для того, чтоб обмануть Бога?! Мы два года бились с нею, всячески ее убеждали; но ведь вы знаете теперь, понимаете, что никогда она не будет католичкой... И потом, и потом — разве вы не видели ее в последнее время — ведь теперь она помышляет только об одном, чтоб от меня избавиться... Я теперь знаю, до чего она хитра, — она, пожалуй, для виду и примет католичество, и пострижется, а потом найдет способ убежать из монастыря к своим защитникам, к тому же Гурке... И будет кричать о насилии, и вооружит всех против нас, и доведет меня до могилы...

Антонио только пожал плечами. Он не мог считать Гальшку способной на все это. Он знал, что, вольно или невольно попав в монастырь, она уже не уйдет оттуда...

Княгиня продолжала, волнуясь все больше и больше:

— Нет, мне теперь дела нет никакого до моей дочери... Я забываю о ней, она сделала все, чтоб уничтожить во мне материнские чувства. Мне теперь дело только до Гурки, я докажу ему, что безнаказанно нельзя глумиться надо мною! Я и королю скажу, с кем он имеет дело! А! Они увидят, что и я способна быть решительной, когда надо!

Она остановилась, сверкая глазами и задыхаясь. Антонио понял, что в голове ее внезапно созрел какой-то безумный план.

— Что вы еще задумываете? — усталым голосом спросил он.

— Что я задумываю?! Я задумываю такое, чего они никак не ожидают! Я буду их бить их же оружием... Пускай Гурко теперь является сюда с приказом короля за своей законной женой! Он не найдет здесь графини Гурко — Гальшка уж будет тоже законной женой дру-

того.

Антонио взглянул на Беату как на сумасшедшую — этого даже от нее он не мог ожидать.

Но она жадно ухватилась за свою внезапную, сумасбродную мысль и с каждой секундою находила ее все более и более целесообразной. Она чувствовала какое-то наслаждение в сознании, что всех поразит своим поступком, запутает дело до невозможности... Что ж Гальшка?! Пусть пропадет теперь Гальшка, лишь бы ее враги растерзали друг друга.

— Да! — быстро заговорила она. — Я знаю человека, который будет здесь по первому моему знаку и обвенчается с Гальшкой — ведь ей, видно, так уж суждено всю жизнь венчаться! Это Омелькович-Слуцкий. Он православный... пусть... ничего... но у него знаменитое имя, богатство, родство с нами — он все же лучший муж, чем этот Гурко... Да я этим поступком заставлю лютого врага моего, князя Константина, способствовать моим целям, он станет хлопотать за Слуцкого... Они все там перегрызутся, как собаки... Слуцкий обо-

жает Гальшку и ненавидит Гурку... Я знаю: чем бы ни кончилось у них там в Кракове, что бы ни постановили сенат и король, Гурко не увидит Гальшки. Если решат дело в пользу Слуцкого, Гурко должен будет замолчать и всю жизнь не забудет, что значит оскорбить Беату Острожскую. Если он добьется своего и ему велят отдать Гальшку, то, прежде чем он ее увидит, Слуцкий уж убьет его — я знаю Слуцкого, он не отдаст Гальшки...

— Княгиня, да ведь это безумство! — вскричал Антонио. — Вы только погубите княжну и ничего не достигнете.

Он даже испугался. Он видел, что Беата теперь не способна ничего понимать. Уже не в первый раз, дойдя до такого состояния, она во что бы то ни стало приводила в исполнение первую безумную мысль, приходившую ей в голову. Отговаривать ее, убеждать — значило только подливать масла в огонь. Бывали минуты, когда для нее не существовало ничьего авторитета, ничьего влияния. Она не терпела тогда постороннего вмешательства и, несмотря на всю близость к отцу Антонио, вдруг доказывала ему, что он далеко не всецело завла-

дел ее душою. Какой-то упорный бес сидел в этой женщине и мучил иногда ей разум.

Антонио замолчал. Он знал, что, покуда они в монастыре, иезуиты не допустят ее до сумасбродного плана. Но ведь нельзя было силой удержать ее в монастыре, если она пожелает вернуться в свой дом. Княгиня Беата Острожская не могла пропасть в иезуитских подземельях. Это значило бы чересчур уж рисковать и приготовить ордену много неприятностей и бедствий. Но и это бы еще ничего — изобретательность и хитрость иезуитов, пожалуй бы, победили все улики и подозрения, сумели бы тщательно и безопасно для себя скрыть новую свою тайну. Княгиня Беата не могла бесследно исчезнуть по иным соображениям. Большая часть ее состояния, равно как и состояние Гальшки, были еще в ее руках. С ее исчезновением орден должен был бы упустить это богатство, а оно всецело предназначалось в его собственность.

Да, делать нечего — придется обойтись без Беаты.

И вот после таинственного совещания, — один из иезуитов — почтенный седовласый

пастырь — пробрался в небольшую, но очень удобную и красиво убранную келью, занимаемую Гальшкой.

Гальшка все дни проводила, почти не выходя отсюда. Сначала она чувствовала себя очень слабой. Ее забытие и обычная апатия сменялись порывами отчаяния. Но потом она стала находить даже некоторое успокоение в ничем не возмущаемой тишине этой кельи.

Мать к ней не показывалась. Молчаливая служанка, взятая из дому, поспешно исполняла свои обязанности и затем удалялась. Какой-то сгорбленный старик-итальянец приносил ей изысканную пищу на массивном серебряном подносе.

До каких же пор будет продолжаться эта тихая жизнь и чем она кончится?! Быть может, скоро явится Гурко, заявит свои законные права и увезет ее. При этой мысли она снова приходила в себя и содрогалась. То, на что она согласилась несколько дней тому назад, теперь представлялось ей чудовищным и невозможным. «Все равно, все равно! Пусть делают со мною, что хотят!» — говорила она недавно в полном упадке нравственных сил.

Но вот новые ужасы, случившиеся с нею, не убили ее, а, напротив, возбуждали в ней всю жизнь, на какую еще была способна душа ее. Она в первый раз за все эти тяжкие полтора года взглянула на судьбу свою с негодованием и горечью.

До сих пор она только мучилась, тосковала и молилась, чтоб победить сердечный ропот. Она старалась никого не винить и подчинялась воле матери во всем, за исключением вопроса о православии. Под конец ее апатия и жалкая покорность стали переходить почти в тихое помешательство. Последнее потрясение, измена Зоси, страшные речи матери дали ей толчок — и она очнулась. Здесь, в этой уютной келье, она поняла, что слабость, выказанная ею, была преступной, недостойной человека слабостью. У нее отняли все, что было ей дорого, ее отравили медленным ядом, а она и не пробовала бороться! Когда-то она горячо любила мать, она хорошо понимала свои обязанности перед нею; но ведь та целым рядом неслыханных, ужасных поступков доказала ей, что должен быть предел дочернему послушанию и смирению. Кто же, нако-

нец, ее злейший враг, как не княгиня? Кто убил ее мужа, кто вытягивал всю ее душу, заставляя отказаться от веры, в которой она была воспитана, кто страшно оскорбил ее, ни в чем не повинную, такими словами, что она даже боится повторить их в своих мыслях?! Боже, прости ее, но она не может больше считать княгиню матерью!..

И теперь она будет бороться, покуда смерть не положит конец ее усилиям. Она не может и не должна больше так жить, она при первой возможности убежит из дому. Она найдет добрых людей, которые доставят ее к князю Константину, а он даст ей возможность все равно где, в монастыре или у него в доме, запереться навсегда от света и отдаться одной молитве... Как могла она не сделать этого гораздо раньше? Что такое творилось с нею? Где был ее разум?!

Но что же теперь, если явится Гурко? Ведь она не может же быть его женою... Боже, что она сделала!

Как могла она дойти до такого непонятного безумства?! Она не знает, как это будет, она знает только одно: что не пойдет к Гурке, не

опозорит себя его прикосновением... Разве возможно подобное супружество, разве оно не равняется самоубийству?!

Ей становилось страшно, и она начинала горячо молиться.

В одну из таких минут кто-то постучался у ее двери.

Она отворила и увидела старого монаха.

— Что вам нужно, отец мой? — с изумлением спросила она.

Иезуит взглянул на нее добродушно и ласково и просил позволения поговорить с нею о деле.

«Опять католичество!» — раздражительно подумала она и молча указала ему на стул.

Он сел и начал тихим, приятным голосом:

— Дочь моя, я знаю, что ты страдаешь, что жизнь твоя нерадостна... И некому тебя утешить, и ты окружена врагами. Я знаю, что ты с предубеждением смотришь на религию, которую я исповедую, и невольно должна глядеть на меня как на недруга и навязчивого, непрошеного гостя... Но если даже горе и несправедливости людские ожесточили твое сердце, все же оно еще так молодо, что не мо-

жет не понять естественных побуждений другого сердца. Прошу тебя — забудь, что я католический монах, и смотри на меня просто как на человека... Когда-то у меня была тоже дочь там, далеко в Италии... И я схоронил ее... Видя твою молодость, зная о твоих несчастиях, я не могу о тебе не думать и не жалеть тебя... И вот я пришел к тебе, чтобы поговорить с тобой о твоём тяжелом положении и поискать из него выхода...

Он остановился в волнении. Он глядел на Гальшку как добрый отец и, очевидно, с трудом сдерживал слезы, уже блестевшие на глазах его.

«У него такой искренний, добрый вид, он даже плачет... Но, Боже, ведь и Зося казалась искренней и плакала!» — подумала Гальшка.

— Благодарю вас, отец мой, но я не вижу, что вы могли бы для меня сделать, — сказала она.

— Сделать я, конечно, могу очень мало, — ответил иезуит, — но позволь мне откровенно высказать свои мысли...

— Я вас слушаю.

— Чувствуешь ли ты влечение к жизни в

свете, к земному блеску?

— Зачем вы меня спрашиваете об этом?! Если вы знаете мое прошлое...

— Да, да, — перебил иезуит, — прости меня, мой вопрос излишен... Следовательно, я не ошибаюсь, думая, что ты ищешь тишины и успокоения, желаешь посвятить себя Богу?

Бледные щеки Гальшки слабо вспыхнули, в лице изобразилось раздражение. Она уже была не та, что прежде, — теперь она умела негодовать и возмущаться.

Она поднялась со своего места и довольно резко ответила иезуиту:

— Я знаю, что вы хотите сказать мне... Вы хотите предложить мне это успокоение. Моя мать не пустит меня в православный монастырь, так я должна перейти в католичество и с вашей помощью постричься... Ведь так?! Но, отец мой, я уже давно все это слушаю, и нового вы мне ничего не скажете!

Монах даже вздрогнул и невольно смутился от такой неожиданности. Он никак не мог предположить от Гальшки подобного ответа — значит, ему ее плохо описали. Но ведь не уходить же!

Он горько вздохнул и печально посмотрел на Гальшку:

— Да, я это самое и хотел сказать тебе, потому что никто другого тебе и сказать не может. Но я хотел тебе сказать это, быть может, иначе, чем ты до сих пор слышала... Я католик и готов сейчас же принять мучения за свою веру... Если б я родился и был воспитан в православии, я думал бы так же, как и ты, и считал бы свой переход в иную религию грехом великим. И знаю, что я не стал бы слушать никаких увещаний точно так же, как и ты это делаешь. Но, дочь моя, Господь милосерд, и бывают в жизни человека такие минуты, когда Он разрешает невинный обман ради благой цели и спасения... Как слуга Божий, прихожу я к тебе, чтобы внушить добрую мысль и рассеять твои сомнения. Ты равно будешь служить Богу молитвой, безгрешной жизнью и добрыми делами как в русском монастыре, так и в монастыре католическом. Я настаиваю не на твоём переходе в нашу религию, я не стану доказывать теперь тебе твои заблуждения. Я просто хотел бы помочь твоему спасению. Подчинись только видимо воле

твоей матери, только внешним образом прими католичество, а внутри себя, тайно обращаясь к Богу, скажи, что остаешься при прежней вере и вынуждена принять на себя словесный обман только в силу тяжелых обстоятельств. И Господь разрешит тебе это, и не отворотит от тебя лица своего. Католичка только по внешности, ты останешься православной в душе своей... А крест и Евангелие, и святая молитва одни и те же во всех монастырях христианских — и ваших, и наших... Если в моих словах ты видишь что-нибудь кроме желания помочь тебе и указать единственный, возможный для тебя выход — суди меня, а я удаляюсь, сокрушаясь по тебе и моля за тебя Бога...

Он говорил с Гальшкой на своем родном прекрасном языке и произнес эту речь коротким и несколько грустным голосом. Содержание ее было заманчиво, способ действий, предлагаемый им, действительно, мог привести Гальшку к ее цели. Но она возмущалась всем своим сердцем, вслушиваясь в слова его.

Он кончил. Что она ответит? Неужели он не сумеет убедить ее, неужели он не дал сво-

ими последними словами нового толчка ее мыслям?!

— Отец мой! — ответила Гальшка спокойно и просто. — Я верю в ваше желание мне добра и пользы. Но откуда вы знаете, что ложь и обман, что ложная клятва разрешаются Богом когда бы то ни было? В этом я не могу вам верить — я знаю, что это неправда!

Иезуит постарался не смутиться. Он пробовал развивать свою мысль дальше, говорил долго, убедительно, красноречиво. Но все его доводы, основанные на слишком житейской, практической точке зрения, не могли поколебать Гальшку.

Они не понимали друг друга.

Он вышел из ее кельи таким же грустным и соболезнующим, каким и пришел, и только рассказывая в собрании отцов о своей неудаче, разразился негодованием на неразумное упрямство Гальшки.

XI

По всему Острожскому замку быстро расходился, на разные лады повторяемый, рассказ о приключениях Сангушки и весть о его приезде. Многие упорно отказывались верить

всему этому; но вот им удавалось взглянуть на князя — и сомнениям не оставалось места. Да, это он, живой и невредимый... Но как же он постарел, как изменился! Видно, нелегко дались ему эти полтора года! Но, слава Богу, слава Богу! Вот уже просветлело мрачное лицо князя Константина, и разом как будто новая жизнь прилила в замок. Все суетились, и толковали, и судили, что теперь будет...

Много было разного люда в замке — попадались и добрые люди, попадались и негодные. Много было разноголосицы, споров и перекоров. Но в одном все сходились и стояли как один человек — в теплом, восторженном чувстве к прекрасной Гальшке. Она представлялась всем добрым ангелом замка, вечной и всеобщей заступницей перед князем Константином. Ее никто не забыл, о ней постоянно шли тихие, грустные разговоры. Ее горькую судьбу оплакивали. «Что-то теперь с нашей голубушкой, загубили ее друга милого, загубили и ее, сердечную!» — со слезами на глазах говорили женщины. И мужчины не смеялись над их чувствительностью, над этими причитаниями, а сами задумывались и

угрюмо молчали. По Гальшке все полюбили и князя Дмитрия Андреевича и его оплакивали. Среди населения замка сложилась даже легенда о любви княжны прекрасной. Рассказывалось с поэтическими прикрасами и подробностями о том, как она и князь Сангушко на балу открылись друг другу — будто кто-нибудь мог знать это кроме душистой, летней ночи да подслушивавшего в кустах бледного иезуита...

Теперь все надеялись на счастливую развязку страшной истории и с нетерпением ждали событий.

Те же самые надежды питали в себе и князь Константин, и Сангушко. Острожский на время забыл все свои дела и заботы. Он быстро снаряжал значительное войско и, только оно было готово, двинулся во главе его с князем Дмитрием Андреевичем в Краков...

Они остановились, не въезжая в город. Константин Константинович отправился один во дворец королевский. Там шло обычное ликование; дряхлеющий Сигизмунд-Август наполнял свою жизнь всяким вздором. Однако же он тотчас принял Острожского,

просившего аудиенции с глазу на глаз. Князь повел речь смело и решительно. Он сразу рассказал, в чем дело, и объявил, что Сангушко дожидается за городскими воротами с отлично вооруженным и значительным войском. Что-нибудь одно — или король поступит как государь добрый и справедливый, уничтожит силу сенатского декрета и прикажет возвратить мужу законную жену, или он, князь Константин Острожский, вместе с Сангушкою тотчас же покинут пределы Польши и Литвы и перейдут на службу к царю московскому. Пусть король собирает свое войско и шлет его им в погоню. Настигнут их — войска сразятся, и неизвестно еще за кем останется победа... Пусть король задержит теперь же князя Константина — и через несколько часов огромное войско добудет его из дворца королевского, из-под замков и дверей тюремных. Пусть король немедленно казнит его — но в таком случае ведь он знает, чем может кончиться дело.

Король был смущен и взволнован этой неожиданной речью. Он, действительно, понимал всю силу угроз князя Константина, а

бороться с ним ему почти не предстояло возможности. Волнения в Литве, насильственные меры против ее главного представителя — допустить это было бы весьма неблагоразумным шагом. Да и, кроме того, несмотря на всю свою пустоту душевную, король еще способен был отзываться на человеческие чувства. Он понял, что перед ним не дерзкий наглец, а мужественный человек, требующий от него справедливости. Но, видно, Острожский еще не знал того, что случилось с его племянницей. И король показал ему только что полученное письмо Беаты, передал о просьбе Гурки.

Князь Константин просто остолбенел на месте.

Боже! Еще несколько дней, и все было бы потеряно, и совершилось бы самое гнусное насилие! О, что они сделали с его несчастной Гальшкой, до чего довели ее! Но, слава Богу, еще есть время, Гальшка не вдова, ее первый муж жив — второе венчание незаконно.

Долго беседовал он с королем, и под конец они совершенно поладили. Сигизмунд-Август был тронут рассказом о несчастьях Гальшки

и приключениях Сангушки. Он обнял князя Константина и сказал, что от души прощает ему его грубые слова и угрозы. «Хорошо, что никто нас не слышал — забудем и мы об этом», — сказал он.

Он явился в сенат, чего с ним давно не бывало, и своими приемами и решительной речью напомнил окружавшим то время, когда он, забыв всю свою природную слабость, энергично защищал страстно любимую им Варвару Гастольд и принудил признать ее королевой.

После долгих прений сенат согласился на королевское требование: князь Сангушко объявлялся свободным от всякого преследования и законным мужем Елены Острожской. Притязания Гурки падали сами собою — ему оставалось только удалиться в свое воеводство и постараться утешить себя панной Зосей. Он так и сделал. Зося долго потом проклинала тот день, в который она связала свою судьбу с этим жестоким, бессердечным человеком...

Скоро войско Острожского мчалось по дороге в Вильну. Князь Константин и Сангушко везли с собою приказ короля Беате, но нера-

достны были их мысли. Какою еще застанут они Гальшку? До чего довела ее, что с нею сделала эта безумная мать — враг их лютей?! Князь Константин видел себе молчаливый упрек в глазах Сангушки. Но что же мог он сделать? Сколько раз пытался он хлопотать в Кракове, сколько раз пробовал увидеться с Гальшкой. Закон, холодный и неумолимый, заступал ему дорогу. Неисповедимы пути Божии; тяжелое послал Он испытание; но истощимо Его милосердие, и положит Он конец всем мукам и бедам.

Сангушко с ужасом помышлял о том, что только день еще, быть может, — и он навсегда бы лишился Гальшки. Мелькнула было в нем и еще одна страшная мысль: а что если бы Гальшка забыла его и утешилась, что если она добровольно, по влечению сердца обвенчалась с Гурко? Но с негодованием отогнал от себя мысль эту Дмитрий Андреевич. Разве он не знает Гальшку, разве он смеет подозревать ее! Нет, видно, и вправду заслужил он тяжкие беды и горе, обрушившиеся на его голову, если допустил себе хоть на мгновение усомниться в жене своей. Когда же, когда они на-

конец доедут! Как они встретятся? Жива ли она, здорова ли?.. Боже, сколько выстрадала она за это время!..

Темно было и пустынно на улицах Вильны. Ненастный вечер давно загнал жителей по домам. Лавки с товарами были заперты. Только сторожа изредка перекликались друг с другом да лаяли цепные собаки. С утра еще началась сильная оттепель — почерневший снег таял и образовывал мутные лужи. Порывистый ветер стучал о ставни и забивался в щели. Темной, унылой громадой глядели костел и монастырь отцов-иезуитов. По длинным, слабо освещенным коридорам мелькали черные фигуры. Иногда образовывались группы в несколько человек, оживленно разговаривали и передавали что-то друг другу.

В монастыре готово было совершиться насильное пострижение Гальшки.

Княгиня Беата все время настаивала на своем плане и послала письмо к Олельковичу-Слуцкому, объявляя ему, что соглашается выдать за него дочь, если он немедленно явится в монастырь с изрядным количеством людей и священником. Сама же она боится

вернуться домой, так как с часу на час может приехать Гурко и расстроить дело. Само собою, что письмо это не было передано князю. Иезуиты объявили Беате, что его нет в Вильне. Но вместе с ложью они принесли и правдивое известие: их шпионы, давно разосланные к городским воротам, объявили, что в город въезжает многочисленное войско. Время мирное — откуда же это войско? Невозможно было сомневаться в том, что это Гурко во всеоружии закона и военной силы.

Княгиня побледнела. Она поняла, что времени терять нечего. Еще час, другой — и ее враг ворвется сюда и силой отымет Гальшку.

— Можно ли постричь ее теперь же, сейчас? — спросила она упавшим голосом.

Для отцов-иезуитов редко что казалось невозможным. Они ответили, что для этого нужно только привести Гальшку в костел, и через полчаса все уже будет кончено.

Княгиня бросилась к дочери.

— Следуй сейчас за мною! — грозно сказала она ей.

Гальшка не шевельнулась.

— Я не выйду отсюда! — расслышала Беата

ее тихий голос.

— Что? Что?.. Ты не выйдешь? Ну так я вытащу тебя силой.

Она стала звать Антонио и других монахов. Они были тут же, у двери.

— Моя дочь, должно быть, помешалась или она так слаба, что не может сама двигаться. Пожалуйста, возьмите ее и перенесите.

Несколько человек подошло к Гальшке. Она теперь поняла, куда хотят увлечь ее. Она видела, что ей невозможно от них вырваться, что только чудо может спасти ее. Ей оставалось одно — рыдать, стонать и защищаться до последних сил, до самой смерти.

И вот эта слабая, запуганная женщина сделалась страшной. Она вскрикнула диким голосом и неестественным усилием оттолкнула от себя двух монахов.

— Звери лютые, злодеи! — рыдала она. — Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне... Боже, защити меня!..

Но ни один из них не остановился перед ее ужасом и беззащитностью. На их лицах не выражалось ничего, кроме обычного, мрачно-

го спокойствия, — они действовали с разрешения орденского начальства, которому были обязаны безусловным послушанием. Они дерзко искушали Бога, призываемого этой несчастной, они в Него не верили — они делали из Него только пустую вывеску.

Гальшка не могла долго защищаться — ее схватили и понесли в костел, где уже все было приготовлено для церемонии.

Раздались торжественные и мерные звуки церковной музыки, слова латинской молитвы пронеслись и замерли в глубине темного купола. Гальшку крепко держали под руки, а она слабо билась и рыдала. Ей казалось, что ее опустили в страшную могилу. Великолепный костел, светлый и наполненный благоуханием в часы публичного богослужения, теперь, при слабом мерцании свечей, представлялся мрачным и говорил о смерти. От стен его веяло холодом и сыростью; сквозь витрины высоких, узких окон доносилось завывание ветра.

Княгиня Беата, на коленях, напрасно силилась молиться. Она только жадно прислушивалась и мучилась продолжительностью

службы. Рыдания Гальшки не производили на нее никакого впечатления — они замирали, не выходя за пределы костела, и с этой стороны она была спокойна. Никто их не услышит.

Отец Антонио прислонился к холодной стене и, не отрываясь, глядел на Гальшку своими сухими, блестящими глазами. Каждый звук ее рыдания, каждое ее конвульсивное движение производили в нем дрожь, боль и ужас. Но его совесть молчала, молчали его мысли. Он находил какое-то наслаждение, мучительное и страстное, во всем, что он теперь видел, слышал и чувствовал...

Гальшка все рыдала и металась. Вот уже скоро, должно быть, приступят к пострижению... Вот уже что-то собираются делать с нею...

— Боже! — громко воскликнула она. — Пошли мне смерть, сжапись надо мною!..

Но что это?! Кто-то снаружи потрясал тяжелые двери костела.

— Именем короля! Отворите! — явственно расслышали все и вздрогнули, и музыка оборвалась, и патер опустил свои руки, воздетые

к небу.

Из-за маленькой ниши, где скрывалась невидимая дверка, появился иезуит и спешно что-то говорил своим.

Ни Беата, ни Гальшка не расслышали и не поняли того, что сказал он. Их окружили монахи, повлекли в глубину костела, за алтарь. Еще мгновение — приподнялся почти без звука каменный квадрат пола, их спустили с лестницы и оставили в темном подземелье. Беата поняла, в чем дело, и свободно вздохнула. У Гальшки кружилась голова — она не могла больше ни рыдать, ни кричать, ни молиться.

А между тем над их головами, в костеле, продолжалась вечерняя служба. Несколько монахов, и в том числе Антонио, отперли двери.

Перед ними виднелась толпа вооруженных людей, грозная фигура князя Острожского и бледное лицо Дмитрия Андреевича Сангушки.

Антонио взглянул на это лицо — и что-то ужасное потрясло его. Его волосы встали дыбом. С искаженными чертами, дрожа всем те-

лом, он протянул вперед себя руки, как бы желая защититься от страшного призрака.

Иезуиты, еще не зная, кто перед ними, не видя Гурки, с деланным негодованием изумлялись поступку людей, врывающихся в церковь во время службы.

Здесь нет никакой княгини Беаты, здесь нет ее дочери.

— Они здесь! Вот духовник ее, — разом крикнули несколько голосов в толпе воинов.

Одним движением и Острожский, и Сангушко хотели кинуться на Антонио, но победили свой порыв и взглянули на бледного, потрясенного иезуита с полным презрением. Нет, они не осквернят своих рук... и к тому же они в церкви. Теперь только одно было в их мыслях и сердце — скорее увидеть, скорее обнять Гальшку.

— Моя племянница, жена князя Дмитрия Сангушко, княгиня Елена Ильинишна, здесь, в стенах этого монастыря! — громко обратился князь Константин Константинович к иезуитам. — Я наверное знаю это. Мы с князем приехали за нею. С нами приказ короля и разрешение употребить в дело военную силу, ес-

ли княгиня не будет нам добровольно выдана. Скажите же нам, где она, проводите нас к ней... Берегитесь, отцы-иезуиты, вы вмешались не в свое дело!.. Исполните немедленно наше законное требование, не глумитесь над королевской властью и подумайте о последствиях!..

Делать было нечего. Иезуиты знали, что им нужно быть крайне осторожными и всеми силами избегать огласки своих тайных действий. Они еще недостаточно укрепились в Литве, они еще не смели пренебрегать общественным мнением. Они знали, что Острожский не задумается привести в исполнение свою угрозу, а бесцеремонный осмотр монастыря не будет говорить в их пользу. Некоторые открытия возбудят против них по меньшей мере сильные подозрения. Делать нечего — приходится выдать Гальшку. Но, во всяком случае, в их руках останется княгиня Беата...

И вот они стали хитрить и оправдываться перед неожиданными гостями. Точно, две знатные княгини, мать и дочь, нашли в их смиренной обители приют, но зачем же было

так стучаться в костел и нарушать тишину святого места! Они никогда не могут восстать против законных требований, они сейчас проведут князей в отделение монастыря, где помещаются их гости. Они не вмешиваются в семейные дела, но принимать у себя прибегающих под их защиту — это священное их право...

— Так она здесь! Она жива! Слава Богу! Скорее к ней, скорее!

Но иезуиты под всякими предлогами мешкали. Им нужно было время для того, чтобы вывести Беату и Гальшку из подземелья. Наконец после долгих переходов и остановок сопровождаемые несколькими монахами и сотнею своих воинов Острожский и Сангушко остановились у какой-то двери.

— Здесь! — сказал чей-то голос.

Князь Дмитрий Андреевич с замирающим сердцем отворил двери.

Перед ним стояла княгиня Беата.

Она еще издали слышала голоса, слышала бряцание оружия. Приведшие их сюда из подземелья монахи ничего ей не сказали. Она была уверена, что сейчас встретится лицом к

лицу с Гурком. Обезумевшая от ярости и злобы, она готовилась на страшное дело. Уже давно она носила с собою кинжал с одной заветной мыслью. Судьба, очевидно, желает исполнения этой мысли. Кинжал сверкнул в руке ее. Прежде чем Гурко скажет слово, прежде чем он увидит Гальшку, она повалит его мертвого перед собою. А там пусть будет, что угодно Небу.

Дверь отворилась. Беата сделала шаг и яростно взглянула на входившего...

И вдруг она отшатнулась. Оружие выпало из руки ее.

— Мертвец! — дико взвизгнула она и упала навзничь, теряя сознание.

Но князь Дмитрий Андреевич не видел всего этого, не заметил Беаты.

Там, в углу небольшой кельи, было что-то. Какое-то бледное, бледное лицо с распухшими и потускневшими от слез глазами вдруг выглянуло на него из полумрака.

Он вскрикнул и, шатаясь, протягивая вперед свои дрожавшие руки, кинулся в келью:

— Гальшка! Гальшка!

Она оставалась неподвижной, она глядела

и не понимала.

— Гальшка! Гальшка! — повторял он, прижимая ее к груди своей и обливая ее чудное, помертвевшее лицо слезами.

Судьба сжалилась над нею: она очнулась и зарыдала, охватив его шею руками:

— Митя! Митя! Ты жив! Ты со мною!

И она поняла наконец, что это не сон, что такое счастье может быть только наяву, в действительности.

Она рыдала, рыдала блаженными, спасающими слезами на плече мужа. И сквозь слезы она видела, что чье-то еще другое, родное лицо склоняется над нею и знакомый голос, прерываясь, шепчет ее имя...

А в это время в глубоком мраке монастырского подземелья медленно подвигалась человеческая тень и неровные, останавливающиеся шаги гулко отдавались под каменным сводом.

Зачем зашел сюда этот человек, чего он ищет без огня во тьме сырого коридора?! Вот он остановился, тяжело дыша. Только это дыхание и можно было услышать среди невозмутимой тишины, наполнявшей душное под-

земелье.

Прошло несколько минут. Человек стоял неподвижно. Вдруг он сделал быстрое движение рукою и, застонав, повалился на землю. И долго потом слышались стоны и страшное хрипение...

На другой день один из иезуитов, пробираясь подземным ходом, наткнулся на какое-то лежавшее тело. То был труп отца Антонио. На несколько шагов виднелась широкая струя крови. Тут же нашли и кинжал, которым он нанес себе несколько ран дрожавшей рукою.

Имя княжны Гальшки до сих пор еще не забыто в юго-западном крае. Ее красота и необычайные несчастья вызвали целый ряд народных рассказов. Существуют свидетельства, судя по которым окончание ее приключений было печально. Но народ не любит печальных окончаний. Он верит, что после тяжелых бедствий, после незаслуженного горя приходит счастье. Он воскрешает своих героев и наделяет их светлой долей...

История красавицы Гальшки в том виде, как она здесь рассказана, передается из рода в род в далеких уголках Полесья. Ее можно

услышать и на деревенских посиделках, и в скучные сумерки где-нибудь в маленьком домике на самом краю городской слободки.

«А что же случилось с княгиней Беатой?» — спрашивают обыкновенно слушатели по окончании рассказа.

«Что же с ней другое и могло стать, как не то, что отправилась она к своему папе римскому и стала раздавать деньги лысым патерам, пока еще у нее были деньги», — отвечает рассказчик.

«А что случилось с князем Острожским, его сыновьями и всем его родом?»

На такой вопрос не всегда можно дождаться удовлетворительного ответа.

Но за полесского рассказчика обстоятельно отвечает история. Князь Константин еще долго боролся, словом и делом отстаивал православие. Он учредил в Остроге академию, несколько типографий, издал множество книг, в том числе Новый Завет, Псалтырь и, наконец, Библию, известную под названием Острожской. Он умер столетним старцем после деятельной и славной жизни, записанной в истории. Много разного горя перенес он; но

не было для него пущего горя, как видеть сыновей своих католиками. Никакие увещания, никакие строгости не помогали с Янушем и Константином. Семя, посеянное иезуитом, созрело в душе их, и еще в ранней молодости оба они тайно перешли в католичество. Особенно мучился и негодовал князь Константин, глядя на Януша, обладавшего блестящими способностями. Он возлагал на него такие надежды, он мечтал увидеть в нем деятельного себе помощника, сильного представителя русской народности и православия. Немало пришлось вытерпеть молодому Янушу от вольного и невольного родительского гнева. Но он остался тверд в своем отступничестве и ушел из Острога ко двору Сигизмунда III. Здесь его ожидала блестящая будущность. Еще молодым человеком он уже был сенатором и в течение тридцати лет сидел в сенате выше отца своего. Без конца сыпались на него королевские милости, но он мало дорожил ими и даже принимал участие в восстании, предводимом Яном Радзивиллом. Он скоро усвоил все польские нравы и обычаи, позабыл все русское и роскошно жил в Крако-

ве польским магнатом. Он женат был три раза, но оставил после себя только двух дочерей и ни одного сына. Его великолепный памятник еще до сих пор можно видеть в Тарнове. Из трех детей князя Константина один младший, Александр, остался верен православию. Это был человек прямой и энергичный, скоро ставший с отцом во главе русской православной партии. Но слишком рано, еще при жизни отца, он был отравлен любовным зельем, поданным ему в стакане с медом влюбленной в него девушкой. Два его сына умерли тоже в молодых летах, и с ними прекратилась мужская линия рода князей Острожских.

Вдова князя Александра Анна, ревностная католичка, поселилась в Остроге тотчас после смерти Константина Константиновича. Острожский замок, бывший еще так недавно центром литовского православия, превратился в иезуитский монастырь. Отцы-иезуиты управляли всеми делами, пользовались всеми доходами, владели всецело совестью княгини Анны и ее дочери Алоизы.

Содрогались кости князя Константина в его родовом склепе, но иезуиты не боялись

выходцев из могил. Они неустанно работали всеми своими ужасными средствами и в немногие годы погубили и обезличили целый прекрасный край русский, подчинили его дряхлой и больной Польше.

Однако пришел конец и их владычеству. Они исчезли с оскверненной ими земли русской. Быстрее и быстрее исчезает и зло, посеянное ими. В развалинах стоят монастыри их со всеми своими страшными тайнами, с цепями и грудями костей человеческих, разбросанными в подземельях. А на этих развалинах создается православная церковь и звучит русское слово. Добродушный, забитый народ полесский мало-помалу пробуждается от своей вековой спячки. Но все еще не тронута лесная глушь, и в ней до сих пор живут в первобытном невежестве тихие, темные люди. Они продолжают боготворить природу, поют свои грустные песни, завивают венки светлому Купале и думают, что Полесьем управляет королева Бона.

Примечания

1

Добро пожаловать, маркиз (*фр.*).

[^^^]

2

Маркиз прибѹдет сюда на следующей неделе, — это конфетка для нас (*фр.*).

[^^^]

3

Вы знаете, арестован матрос Толстой (*фр.*).

[^^^]

Мой дорогой (*фр.*).

[^^^]

5

Ах, Боже мой! Боже мой! *(нем.)*.

[^^^]

О, Господи! (нем.).

[^^^]

Мое сердечко *(нем.)*.

[^^^]

Дорогой (*фр.*).

[^^^]

Дорогой друг (*фр.*).

[^^^]

Выборные городские должности.

[^^^]

Это почти буквальный перевод старинной по-лесской «Купальной песни».

[^^^]